

Записки домового. Фантастические повести //Правда, М., 1990
ISBN: 5-253-00032-1
FB2: "Неизвестный автор", 130580352371400000, version 1
UUID: {2958A9B1-F877-4E0D-8696-76BF6FFD7BCA}
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Осип Сенковский

Записки домового

Сборник представляет фантастическую прозу русского писателя, журналиста, востоковеда Осипа Ивановича Сенковского (1800–1858). В него вошли повести «Большой выход у Сатаны», «Ученое путешествие на Медвежий остров», «Записки домового» и другие произведения этого самобытного автора.

Содержание

УЧЕНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МЕДВЕЖИЙ ОСТРОВ	0005
СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГОРУ ЭТНУ	0175
БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ	0282
ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОЙ РЕВИЖСКОЙ ДУШИ ..	0342
ЗАПИСКИ ДОМОВОГО	0444
ПРЕВРАЩЕНИЕ ГОЛОВ В КНИГИ И КНИГ В ГОЛОВЫ	0526
ПАДЕНИЕ ШИРВАНСКОГО ЦАРСТВА	0593
Юрий Медведев «...И ГЕНИЙ, ПАРАДОКСОВ ДРУГ»	0843
ПРИМЕЧАНИЯ	0859

Осип Сенковский
Записки домового
Фантастические повести

УЧЕНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МЕДВЕЖИЙ ОСТРОВ

*Итак, я доказал, что люди, жившие до
потопа, были гораздо умнее нынеш-
них; как жалко, что они потонули!..^{1}*

Барон Кювье

Какой вздор!..

Гомер в своей «Илиаде»

.....

••• ...14 апреля (1828) отправились мы из Иркутска в дальнейший путь, по направлению к северо-востоку, и в первых числах июня прибыли к Берендинской станции, проехав верхом с лишком тысячу верст. Мой товарищ, доктор философии Шпурцманн, отличный натуралист, но весьма дурной ездок, совершенно выбился из сил и не мог продолжать путешествия. Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, согнутого дугою на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеины-



ми кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломой сусликами и птицами, из которых одного ястреба особенного рода, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он

было у себя на шапке. В селениях, через которые мы проезжали, суеверные якуты, принимая его за великого странствующего шамана, с благоговением подносили ему кумысу и сушеной рыбы и всячески старались заставить его хоть немножко пошаманить над ними. Доктор сердился и бранил якутов по-немецки; те, полагая, что он говорит с ними священным тибетским наречием и другого языка не понимает, еще более оказывали ему уважения и настоятельнее просили его изгнать из них чертей. Мы хохотали почти всю дорогу.

По мере приближения нашего к берегам Лены вид страны становился более и более занимательным. Кто не бывал в этой части Сибири, тот едва ли постигнет мыслию великолепие и разнообразие картин, которые здесь на всяком почти шагу прельщают взоры путешественника, возбуждая в душе его самые неожиданные и самые приятные ощущения. Все, что вселенная, по разным своим уделам, вмещает в себе прекрасного, богатого, пленительного, ужасного, дикого, живописного: съезженные хребты гор, веселые бархатные

луга, мрачные пропасти, роскошные долины, грозные утесы, озера с блестящею поверхностью, усеянную красивыми островами, леса, холмы, рощи, поля, потоки, величественные реки и шумные водопады — все собрано здесь в невероятном изобилии, набросано со вкусом или установлено с непостижимым искусством. Кажется, будто природа с особенным тщанием отделила эту страну для человека, не забыв в ней ничего, что только может служить к его удобству, счастью, удовольствию, и, в ожидании прибытия хозяина, сохраняет ее во всей свежести, во всем лоске нового изделия. Это замечание неоднократно представлялось нашему уму, и мы почти не хотели верить, чтоб, употребив столько старания, истощив столько сокровищ на устройство и украшение этого участка планеты, та же природа добровольно преградила вход в него любимому своему питомцу жестоким и негостеприимным климатом. Но Шпурцманн, как личный приятель природы, получающий от короля ганноверского деньги на поддержание связей своих с нею, извинял ее в этом случае, утверждая положительно, что она была при-

нуждена к тому внешнею силою, одним из великих и внезапных переворотов, превративших прежние теплые края, где росли пальмы и бананы, где жили мамонты, слоны, мастодонты, в холодные страны, заваленные вечным льдом и снегом, в которых теперь ползают белые медведи и с трудом прозябают сосна и береза. В доказательство того, что северная часть Сибири была некогда жаркою полосою, он приводил кости и целые остовы животных, принадлежащих южным климатам, разбросанные во множестве по ее поверхности или, вместе с деревьями и плодами теплых стран света, погребенные в верхних слоях тучной ее почвы. Доктор был нарочно отправлен Геттингенским университетом для собирания этих костей и с восторгом показывал на слоновый зуб и винную ягоду, превращенные в камень, которые продал ему один якут близ берегов Алдана.

Он не сомневался, что до этого переворота, которым мог быть всеобщий потоп или один из частных потопов, не упомянутых даже в священном писании, в окрестностях Лены вместо якутов и тунгусов обитали какие-ни-



будь предпотопные индийцы или итальянцы, которые ездили на этих окаменелых слонах и кушали эти окаменелые винные ягоды.

Ученые мечтания нашего товарища сначала возбуждали во мне улыбку; но теории прилипчивы, как гнилая горячка, и таково действие остроумных или благовидных учений на слабый ум человеческий, что те именно головы, которые сперва хвастают недоверчивостью, мало-помалу напитавшись летучим их началом, делаются отчаянными их после-

дователями и готовы защищать их с мусульманским фанатизмом. Я еще спорил и улыбался, как вдруг почувствовал, что окаянный немец, среди дружеского спора, привил мне свою теорию, что она вместе с кровью расходится по всему моему телу и скользит по всем жилам, что жар ее бьет мне в голову, что я болен теориею. На другой день я уже был в бреду: мне беспрестанно грезились великие перевероты земного шара и сравнительная анатомия с мамонтовыми челюстями, мастодонтовыми клыками, мегалосаурами, плезиосаурами, мегалотерионами, первобытными, вторичными и третичными почвами. Я горел жаждою излагать всем и каждому чудеса сравнительной анатомии. Быв нечаянно застигнут в степи припадком теории, за недостатком других слушателей, я объяснял бурятам, что они, скоты, не знают и не понимают того, что сначала на земле водились только устрицы и лопушник, которые были истреблены потопом, после которого жили на ней гидры, драконы и черепахи и росли огромные деревья, за которыми опять последовал потоп, от которого произошли мамонты и дру-

гие колоссальные животные, которых уничтожил новый потоп, и что теперь они, бура-ты, суть прямые потомки этих колоссальных животных. Потопы считал я уже такую безделицею — в одном Париже было их четыре!⁽²⁾ — такую, говорю, безделицею, что, для удобнейшего объяснения нашей теории тетушке или попросту в честь великому Кювье, казалось, я сам был бы в состоянии, при маленьком пособии со стороны природы, одним стаканом пуншу произвести всеобщий потоп в Торопецком уезде.



Наводняя таким образом обширные земли, искореняя целые органические природы, чтоб на их месте водворить другие, переставляя горы и моря на земном шаре, как шашки на шахматной доске, утомленные спорами, соображениями и походом, прибыли мы на

Берендинскую станцию, где светлая Лена, царица сибирских рек, явилась взорам нашим во всем своем величии. Мы приветствовали ее громогласным — ура! Доктор Шпурцманн снял с шапки своего ястреба, поставил в два ряда на земле все свои чучелы и окаменелости, повесил барометры на дереве и, улегшись на разостланном плаще, объявил решительно, что верхом не поедет более ни одного шагу. Я тоже чувствовал усталость от верховой езды и желал несколько отдохнуть в этом месте. Прочие наши товарищи охотно согласились со мною. Один только достопочтенный наш предводитель, обербергпробирмейстер⁽³⁾ 7-го класса Иван Антонович Страбинских, следовавший в Якутск по делам службы, негодовал на нашу леность и понуждал нас к отъезду. Он не верил ни сравнительной анатомии, ни нашему изнеможению и все это называл пустою теориею. В целой Сибири не видел я ума холоднее: доказанной истины для него было не довольно; он еще желал знать, которой она пробы. Его сердце, составленное из негорючих ископаемых веществ, было совершенно неприступно воспламенению. И

когда доктор клялся, что натер себе на седле окончечность позвоночной кости, он и это причислял к разряду пустых теорий, ни к чему не ведущих в практике и по службе, и хотел наперед удостовериться в истине его показания своей пробирною иглою. Иван Антонович Страбинских был поистине человек ужасный!

После долгих переговоров мы единогласно определили оставить лошадей и следовать в Якутск водою. Иван Антонович, как знающий местные средства, принял на себя приискать для нас барку, и 6-го июня пустились мы в путь по течению Лены. Берега этой прекрасной, благородной реки, одной из огромнейших и безопаснейших в мире, обставлены великолепными утесами и убраны непрерывною цепью богатых и прелестных видов. Во многих местах утесы возвышаются отвесно и представляют взорам обманчивое подобие разрушенных башен, замков, храмов, чертогов. Очарование, производимое подобным зрелищем, еще более укрепило во мне понятия, почерпнутые из рассуждений доктора о прежней теплоте климата и цветущем неко-

гда состоянии этой чудесной страны. Предаваясь влечению утешительной мечты, я видел в Лене древний сибирский Нил и в храмообразных ее утесах развалины предпотопной роскоши и образованности народов, населявших его берега. И всяк, кто только одарен чувством, взглянув на эту волшебную картину, увидел бы в ней то же. После каждого наблюдения мы с доктором восклицали, восторженные: «Быть не может, чтоб эта земля с самого начала всегда была Сибирью!» — На что Иван Антонович всякий раз возражал хладнокровно, что с тех пор, как он служит в офицерском чине, здесь никогда ничего, кроме Сибири, не бывало.

Но кстати о Ниле. Я долго путешествовал по Египту и, быв в Париже, имел честь принадлежать к числу усерднейших учеников Шампольона Младшего, прославившегося открытием ключа к иероглифам. В короткое время я сделал удивительные успехи в чтении этих таинственных писем: свободно читал надписи на обелисках и пирамидах, объяснял мумии, переводил папирусы, сочинял иероглифические каймы для салфеток,

иероглифами писал чувствительные записки к французенкам и сам даже открыл половину одной египетской дотоле неизвестной буквы, за что покойный Шампольон обещал доставить мне бессмертие, упомянув обо мне в выноске к своему сочинению. Правда, г. Гульянов^{4} оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой, им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону; но это не должно никого приводить в сомнение, ибо спор, завешенный почтенным членом Российской Академии с великим французским египтологом, я могу решить одним словом: метода, предначертанная Шампольоном, так умна и замысловата, что ежели египетские жрецы в самом деле были так мудры, какими изображают их древние, они не могли и не должны были читать своих иероглифов иначе, как по нашей методе; изобретенная же г. Гульяновым иероглифическая азбука так нехитра, что если где и когда-либо была она в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с кото-

рыми мы не хотим иметь и дела.

В проезд наш из Иркутска до Берендинской станции я неоднократно излагал Шпурцманну иероглифическую систему Шампольона Младшего; но верхом очень неловко говорить об иероглифах, и упрямый доктор никак не хотел верить в наши открытия, которые называл он филологическим мечтательством. Как теперь находились мы на барке, где удобно можно было чертить углем на досках всякие фигуры, я воспользовался этим случаем, чтоб убедить его в точности моих познаний. Сначала мой доктор усматривал во всем противоречия и недостатки; но по мере развития остроумных правил, приспособленных моим наставником к чтению неизвестных писем почти неизвестного языка, недоверчивость его превращалась в восхищение, и он испытал над собою то же волшебное действие вновь постигаемой системы, какое недавно произвели во мне его сравнительная анатомия и четыре парижские потопа. Я растолковал ему, что, по нашей системе, всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая известное понятие, или

вместе буква и фигура, или ни буква, ни фигура, а только произвольное украшение почерка. Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы; где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему. Шпурцманн, которому и в голову никогда не приходило, чтобы таким образом можно было дознаваться тайн глубочайшей древности, почти не находил слов для выражения своего восторга. Он взял все, какие у меня были, брошюры разных ученых об этом предмете и сел читать их со вниманием. Прочитавши, он уже совершенно был убежден в основательности сообщенной мною теории и дал мне слово, что с будущей недели он начнет учиться чудесному искусству читать иероглифы; по возвращении же в Петербург пойдет прямо к Египетскому мосту, ⁽⁵⁾ виденному им на Фонтанке, без сомнения, неправильно называемому извозчиками Бердовым и гораздо древнейшему известного К. И. Берда, ⁽⁶⁾ и, не полагаясь на чужие толки, будет сам лично разбирать находящиеся на нем

иероглифические надписи, чтоб узнать с достоверностью, в честь какому крокодилу и за сколько столетий до рождества Христова построен этот любопытный мост.

Наконец, увидели мы перед собою обширные луга, расстилающиеся на правом берегу Лены, на которых построен Якутск. Июня 10-го прибыли мы в этот небольшой, но весьма красивый город, изящным вкусом многих деревянных строений напоминающий Царско-сельские улицы, и остановились по разным домам, к хозяевам которых имели мы рекомендательные письма из Иркутска. Осмотрев местные достопримечательности и отобедав поочередно у всех якутских хлебосолов, у которых нашли мы сердце гораздо лучше их «красного ротвейну», всякий из нас начал думать об отъезде в свою сторону. Я ехал из Каира в Торопец, и, признаюсь, сам не знал, каким образом и зачем забрался в Якутск; но как я находился в Якутске, то, по мнению опытных людей, ближайший путь в Торопец был — возвратиться в Иркутск и, уже не связываясь более ни с какими натуралистами и не провожая приятелей, следовать через То-

больск и Казань на запад, а не на восток. Доктор Шпурцманн ехал без определенной цели — туда, где, как ему скажут, есть много костей. Иван Антонович Страбинских отправлялся к устью Лены, имев поручение от начальства обозреть его в отношениях минералогическом и горного промысла. Мой натуралист тотчас возымел мысль обратить поездку обербергпробирмейстера 7-го класса на пользу сравнительной анатомии и вызвался со-путствовать ему под 70-й градус северной широты, где еще надеялся он найти средство проникнуть и далее, до Фадеевского острова и даже до Костяного пролива.

Утром курил я сигарку в своей комнате, наблюдая с ученым вниманием, как табачный дым рисуется в сибирском воздухе, когда Шпурцманн вбежал ко мне с известием, что завтра отправляется он с Иваном Антоновичем в дальнейший путь на север. Он был вне себя от радости и усердно приглашал меня ехать с ним туда, представляя выгоды этого путешествия в самом блистательном свете — занимательность наших ученых бесед — случай обозреть величественную Лену во всем ее

течении и видеть ее устье, доселе не посещенное ни одним филологом, ни натуралистом — удовольствие плавать по Северному океану, среди ледяных гор и белых медведей, покойно спящих на волнуемых бурями льдинах — счастье побывать за 70-м градусом широты, в Новой Сибири и Костяном проливе, где найдем пропасть прекрасных костей разных предпотопных животных — наконец, приятность совокупить вместе наши разнородные познания, чтоб сделать какое-нибудь важное для науки открытие, которое прославило б нас навсегда в Европе, Азии и Америке. Чтоб подстрекнуть мое самолюбие, тонкий немец обещал доставить мне лестную известность во всех зоологических собраниях и кабинетах ископаемых редкостей, ибо, если в огромном числе разбросанных в тех странах остовов удастся ему открыть какое-нибудь неизвестное в ученом свете животное, то в память нашей дружбы он даст этому животному мою почтеннейшую фамилию, назвав его мегало-брамбеусотерион, велико-зверем Брамбеусом или как мне самому будет угодно, чтоб ловче передать мое имя отдаленным векам,

бросив его вместе с этими костями голодному потомству. Хотя, сказать правду, и это весьма хороший путь к бессмертию, и многие не хуже меня достигли им громкой знаменитости, однако ж к принятию его предложения я скорее убедился бы следующим обстоятельством, чем надеждою быть дружески произведенным в предпотопные скоты. Доктор напомнил мне, что вне устья Лены находится известная пещера, которую в числе прочих Паллас и Гмелин⁽⁷⁾ старались описать по собранным от русских промышленников известиям, весьма сожалея, что им самим не случилось видеть ее собственными глазами. Наши рыбаки называют ее «Писанною Комнатою», имя, из которого Паллас сделал свой *Pisanoi Komnat*[1] и которое Рейнеггс перевел по-немецки *das geschriebene Zimmer*. [2] Гмелин предлагал даже снарядить особую экспедицию для открытия и описания этой пещеры. Впрочем, о существовании ее было уже известно в средних веках. Арабские географы, слышавшие об ней от харасских купцов, именуют ее *Гар эль-Китабе*, то есть «Пещерою письмен», а остров, на котором она находится

ся, *Ард эль-гар* или «Землею пещеры».[3] Китайская Всеобщая география, приводимая ученым Клапротом,^[8] повествует об ней следующее: «Недалеко от устья реки *Ли-но* есть на высокой горе пещера с надписью на неизвестном языке, относимую к веку императора Яо. Мын-дзы полагает, что нельзя прочесть ее иначе, как при помощи травы *ши*, растущей на могиле Конфуция».[4] Плано Карпини,^[9] путешествовавший в Сибири в XIII столетии, также упоминает и любопытной пещере, лежащей у последних пределов севера, *in ultimo septentrioni*, в окрестностях которой живут, по его словам, люди, имеющие только по одной ноге и одной руке: они ходить не могут и, когда хотят прогуляться, вертятся колесом, упираясь в землю попеременно ногою и рукою. О самой пещере суеверный посол папы присовокупляет только, что в ней находятся надписи на языке, которым говорили в раю.

Все эти сведения мне, как ученому путешественнику, кажется, давно были известны; но оно не мешало, чтобы доктор повторил их мне с надлежащею подробностью, для воспламенения моей ревности к подвигам на

пользу науки. Я призадумался. В самом деле, стоило только отыскать эту прославленную пещеру, видеть ее, сделать список с надписи и привезти его в Европу, чтоб попасть в великие люди. Приятный трепет тщеславия пробежал по моему сердцу. Ехать ли мне или нет?.. Оно немножко в сторону от пути в Торопец!.. Но как оставить приятеля?.. Притом Шпурцманн не способен к подобным открытиям; он в состоянии не приметить надписи и скорее все испортит, чем сделает что-нибудь порядочное. Я, это другое дело!.. Я создан для снимания надписей; я видел их столько в разных странах света!

— Так и быть, любезный доктор! — вскричал я, обнимая предприимчивого натуралиста: — Еду провожать тебя в Костяной пролив.

На другой день поутру (15 июня) мы уже были на лодке и после обеда снялись с попутным ветром. Плавание наше по Лене продолжалось с лишком две недели, потому что Иван Антонович, который теперь совершенно располагал нами, принужден был часто останавливаться для осмотра гор, примыкающих во многих местах к самому руслу реки.

Доктор прилежно сопровождал его во всех его официальных вылазках на берег; я оставался в лодке и курил сигарки. В продолжение этого путешествия имели мы случай узнать покороче нашего товарища и хозяина: он был не только человек добрый, честный, услужливый, но и весьма ученый по своей части, чего прежде, сквозь казенную его оболочку, мы вовсе не заметили. Мы полюбили его от всего сердца. Жаль только, что он терпеть не мог теорий и хотел пробовать все на своем оселке.

Время было ясное и жаркое. Лена и ее берега долго еще не переставали восхищать нас своею красотой: это настоящая панорама, составленная со вкусом из отличнейших видов вселенной. По мере удаления от Якутска деревья становятся реже и мельче; но за этот недостаток глаза с избытком вознаграждаются постепенно возрастающим величием безжизненной природы. Под 68-м градусом широты река уже уподобляется бесконечно длинному озеру и смежные горы принимают грозную альпийскую наружность.

Наконец, вступили мы в пустынное цар-

ство Севера. Зелени почти не видно. Гранит, вода и небо занимают все пространство. Природа кажется разоренною, взрытою, разграбленною недавно удалившимся врагом ее. Это поле сражения между планетою и ее атмосферою, в вечной борьбе которых лето составляет только мгновенное перемирие. В непрозрачном, тусклом воздухе, над полюсом, висят растворенные зима и бури, ожидая только удаления солнца, чтоб во мраке, с новым ожесточением, броситься на планету; и планета, скинув свое красивое растительное платье, нагою грудью сбирается встретить неистовые стихии, свирепость которых как будто хочет она утратить видом острых, черных исполинских членов и железных ребр своих.

2 июля бросили мы якорь в небольшой бухте, у самого устья Лены, ширина которого простирается на несколько верст. Итак, мы находились в устье этой могущественной реки, под 70-м градусом широты; но ожидания наши были несколько обмануты: вместо пышного, необыкновенного вида мы здесь ничего не видали. Река и море в своем соединении представили нам одно плоское, синее,

необозримое пространство вод, при котором великолепие берегов совершенно исчезло. Даже Ледовитый океан ничем не обрадовал нас после длинного и скучного путешествия: ни одной плавающей льдины, ни одного медведя!.. Я был очень недоволен устьем Лены и Ледовитым океаном.

Доктор остановил мое внимание на особенном устройстве этого устья, которое кажется как будто усеченным. Берега здесь не ниже тех, какие видели мы за сто и за двести верст вверх по реке; из обоих же углов устья выходит длинная аллея утесистых островов, конец которой теряется из виду на отдаленных водах океана. Нельзя сомневаться, что это продолжение берегов Лены, которая в глубокую древность долженствовала тянуться несравненно далее на север; но один из тех великих переверотов в природе, о которых мы с доктором беспрестанно толковали, по видимому, сократил ее течение, передав значительную часть русла ее во владение моря. Шпурцманн очень хорошо объяснял весь порядок этого происшествя, но его объяснения несколько меня не утешали.

— Если б я управлял этим переворотом, я бы перенес устье Лены еще ближе к Якутску, — сказал я.

— И вы бы были таким вандалом, портить такую прекрасную реку! — сказал доктор.

Мы нашли здесь несколько юрт тунгусов, занимающихся рыбной ловлею: они составляли все народонаселение здешнего края. Два большие судна, отправленные одним купцом из Якутска для ловли тюленей, стояли у островка, закрывающего вход в нашу бухту. По разным показаниям мы уже знали с достоверностью, что Писанная Комната находится на так называемом Медвежьем острове, лежащем между Фадеевским островом, Новою Сибирью и Костяным проливом. Как Иван Антонович намеревался пробыть здесь около десяти дней, то мы с доктором вступили в переговоры с прикащиком одного судна о перевезении нас на Медвежий остров. Смелые промышленники в полной мере подтвердили сведения, сообщенные нам в разных местах по Лене о предмете нашего путешествия, уверяя, что сами не раз бывали на этом острове и в Писанной Комнате. Заключив с ними усло-

вие, 4 июля простились мы с любезным нашим хозяином, который душевно сожалел, что должен был расстаться с нами, тогда как и сам он очень желал бы посетить столь любопытную пещеру. Он обещал дожидаться нашего возвращения в устье Лены и, когда мы поднимали паруса, прислал еще сказать нам, что, быть может, увидится он с нами на Медвежьем острове, ежели мы долго пробудем в пещере и ему нечего здесь будет делать.

Миновав множество мелких островов, мы выплыли в открытое море. Безветрие удержало нас до вечера в виду берегов Сибири. Ночью поднялся довольно сильный северо-западный ветер, и на следующее утро мы уже неслись по Ледовитому океану. Несколько отдельно плавающих льдин служили единственною вывескою грозному его названию. После трехдневного плавания завидели мы, вправо, низкий остров, именуемый Малым; влеве высокие утесы, образующие южный край Фадеевского острова. Скоро проявились и нагруженные ледяными горами неприступные берега Новой Сибири, за юго-западным углом которой прикащик судна указал нам

высокую, пирамидальную массу камня со многими уступами. Это был Медвежий остров.

Мы прибыли туда 8 июля, около полудня, и немедленно отправились на берег. Медвежий остров состоит из одной, почти круглой, гранитной горы, окруженной водою, и от Новой Сибири отделяется только небольшим проливом. Вершина его господствует над всеми высотами близлежащих островов, возвышаясь над поверхностью моря на 2260 футов, по барометрическому измерению доктора Шпурцманна. Пещера, известная под именем Писанной Комнаты, лежит в верхней его части, почти под самую крышею горы. Один из промышленников проводил нас туда по весьма крутой тропинке, протоптанной, по его мнению, белыми медведями, которые осенью и зимою во множестве посещают этот остров, отчего произошло и его название. Мы не раз принуждены были карабкаться на четвереньках, пока достигли небольшой площадки, где находится вход в пещеру, заваленный до половины камнями и обломками гранита.

Преодолев с большим трудом все препят-

ствия, очутились мы наконец в знаменитой пещере. Она действительно имеет вид огромной комнаты. Сначала недостаток света не позволил нам ничего видеть; но когда глаза наши привыкли к полумраку, какое было наше восхищение, какая для меня радость, какое счастье для доктора открыть вместе и черты письмен, и кучу окаменелых костей!.. Шпурцманн бросился на кости, как голодная гиена; я засветил карманный фонарик и стал разглядывать стены. Но тут именно и ожидало меня изумление. Я не верил своим взорам и протер глаза платком; я думал, что свет фонаря меня обманывает, и три раза снял со свечки.

— Доктор!

— Мм?

— Посмотри сюда, ради бога!

— Не могу, барон, я занят здесь. Какие богатства!.. Какие сокровища!.. Вот хвост плезиосауров, которого недостает у Геттингенского университета...

— Оставьте его и пойдите скорее ко мне. Я покажу тебе нечто гораздо любопытнее всех твоих хвостов.

— Раз, два, три, четыре... Четыре ляжки разных предпотопных собак, *canis antediluvianus*... И все новых, неизвестных пород!.. Вот, барон, избирайте любую: которую породу хотите вы удостоить вашего имени?.. Эту, например, собаку наречем вашей фамилией; эту мою; этой можно будет дать имя вашей почтеннейшей сестр...

Я не мог выдержать долее, побежал к Шпурцманну и, вытащив его насильно из груди костей, привел за руку к стене. Наведя свет фонаря на письма, я спросил, узнает ли он их. Шпурцманн посмотрел на стену и на меня в ошолоблении.

— Барон!.. это, кажется?..

— Что такое?.. Говорите ваше мнение.

— Да это иероглифы!..

Я бросился целовать доктора.

— Так, точно! — вскричал я с сердцем, трепещущим от радости. — Это они, это египетские иероглифы! Я не ошибаюсь!.. Я узнал их с первого взгляда; я могу узнать египетские иероглифы везде и во всякое время, как свой собственный почерк.

— Вы так же можете и читать их, барон?..

ведь вы ученик Шампольона? — важно при-
совокупил доктор.

— Я уже разобрал несколько строк.

— Этой надписи?

— Да. Она сочинена на диалекте, немножко различном от настоящего египетского, но довольно понятна и четка. Впрочем, вы знаете, что иероглифы можно читать на всех языках. Угадайте, любезный доктор, о чем в ней говорится?

— Ну, о чем?

— О потопе.

— О потопе!.. — воскликнул доктор, прыгнув в ученом восторге вверх на пол-аршина. — О потопе!! — И, в свою очередь, он кинулся целовать меня, сильно прижимая к груди, как самый редкий хвост плезиосауров. — О потопе!!! Какое открытие!.. Видите, барон, а вы не соглашались ехать сюда со мною и в устье Лены хотели наплевать на Ледовитый океан?.. Видите, сколько еще остается людям сделать важных для науки приобретений. Что вы там смотрите?..

— Читаю надпись. Судя по содержанию некоторых мест, это описание великого пере-

ворота в природе.

— Возможно ли?

— Кажется, будто кто-то, спасшийся от потопа в этой пещере, вздумал описать на стенах ее свои приключения.

— Да это клад!.. Надпись единственная, бесценная!.. Мы, вероятно, узнаем из нее много любопытных вещей о предпотопных нравах и обычаях, о живших в то время великих животных... Как я завидую, барон, вашим обширным познаниям по части египетских древностей!.. Знаете ли, что за одну эту надпись вы будете членом всех наших немецких университетов и корреспондентом всех ученых обществ, подобно египетскому паше?..

— Очень рад, что тогда буду иметь честь именоваться вашим товарищем, любезный доктор. Благодаря вашей предприимчивости, вашему ученому инстинкту, мы с вами сделали истинно великое открытие; но меня приводит в сомнение одно обстоятельство, в котором никак не могу отдать себе отчета.

— Какое именно?

— То, каким непостижимым случаем египетские иероглифы забрались на Медвежий

остров, посреди Ледовитого океана. Не белые ли медведи сочинили эту надпись?.. — спросил я.

— Белые медведи?.. Нет, это невозможно! — отвечал пресерьиозно немецкий Gelehrter.[5] — Я хорошо знаю зоологию и могу вас уверить, что белые медведи не в состоянии этого сделать. Но что же тут удивительного?.. Это только новое доказательство, что так называемые египетские иероглифы не суть египетские, а были переданы жрецам того края гораздо древнейшим народом, без сомнения, людьми, уцелевшими от последнего потопа. Итак, иероглифы суть очевидно письмена предпотопные, *literae antediluvianaе*, первобытная грамота рода человеческого, и были в общем употреблении у народов, обитавших в теплой и прекрасной стране, теперь частью превращенной в Северную Сибирь, частью поглощенной Ледовитым морем, как это достаточно доказывается и самым устройством устья Лены. Вот почему мы находим египетскую надпись на Медвежьем острове.

— Ваше замечание, любезный доктор, кажется мне весьма основательным.

— Оно, по крайней мере, естественно и само собою проистекает из прекрасной, бесподобной теории о четырех потопах, четырех почвах и четырех истребленных органических природах.

— Я совершенно согласен с вами. И мой покойный наставник и друг, Шампольон, потирая руки перед пирамидами, на которых тоже найдены иероглифические надписи, сказал однажды своим спутникам: «Эти здания не принадлежат египтянам: им с лишком 20 000 лет!»

— Видите, видите, барон! — воскликнул обрадованный Шпурцманн. — Я не египтолог, а сказал вам тотчас, что египетские иероглифы существовали еще до последнего потопа. Двадцать тысяч лет?.. Ну, а потоп случился недавно!.. Итак, это доказано. Правда, я иногда шутил над иероглифами; но мы в Германии, в наших университетах, очень любим остроумие. В сердце я всегда питал особенное к ним почтение и могу вас уверить, что египетские иероглифы я уважаю наравне с мамонтовыми клыками. Как я сожалею, что, будучи в Париже, не учился иероглифам!..

Объяснив таким образом происхождение надписи и осмотрев с фонарем стены, плотно покрытые сверху донизу иероглифами, нам оставалось только решить, что с нею делать. Срисовать ее всю было невозможно: на это потребовалось бы с лишком двух месяцев, а с другой стороны, у нас не было столько бумаги. Как тут быть?.. По зрелом соображении мы положили, возвратясь в Петербург, убедить Академию Наук к приведению в действие Гмелинова проекта отправлением нарочной ученой экспедиции для снятия надписи в подлиннике сквозь вощеную бумагу, а между тем самим перевести ее на месте и представить ученому свету в буквальном переводе. Но и это не так-то легко было бы исполнить. Стены имеют восемь аршин высоты и вверху сходятся неправильным сводом. Надпись, хотя и крупными иероглифами, начинается так высоко, что, стоя на полу, никак нельзя разглядеть верхних строк. Притом строки очень не прямы, сбивчивы, даже перепутаны одни с другими, и должны быть разбираемы с большим вниманием, чтоб при чтении и в переводе не перемешать порядка

иероглифов и сопряженных с ними понятий. Надобно было непременно наперед построить леса кругом всей пещеры и потом, при свете фонарей или факелов, одному читать и переводить, а другому писать по диктовке.

Рассудив это и измерив пещеру, мы возвратились на судно, где собрали все ненужные доски, бревна, багры и лестницы и приказали перенести в Писанную Комнату.

Трудолюбивые русские мужички за небольшую плату охотно и весело исполнили наши наставления. К вечеру материал был уже на горе; но постройка лесов заняла весь следующий день, в течение которого Шпурцманн копался в костях, а я отыскивал начало надписи и порядок, по которому стены следуют одни за другими. На третий день поутру (10-го июля) мы взяли с собою столик, скамейку, чернила и бумагу и, прибыв в пещеру, немедленно приступили к делу.

Я влез на леса с двумя промышленниками, долженствовавшими держать предо мною фонари; доктор уселся на скамейке за столиком; я закурил сигарку, он понюхал табаку, и мы начали работать. Зная, какой чрезмерной

точности требует ученый народ от списывающих древние исторические памятники, мы условились переводить иероглифический текст по точным правилам Шампольоновой методы, от слова до слова, как он есть, без всяких украшений слога, и писать перевод каждой стены особо, не изобретая никакого нового разделения. В этом именно виде ученые мои читатели найдут его и здесь.

Но при первом слове вышел у нас с доктором жаркий спор о заглавии. Питомец запачканной чернилами Германии не хотел и писать без какого-нибудь загадочного или рога того заглавия. Он предлагал назвать наш труд «*Nomo diluvii testis*», «Человек был свидетелем потопа», потому, что это неприметным образом состояло бы в косвенной, тонкой, весьма далекой и весьма остроумной связи с системою Шейхцера, который, нашед в своем погребу кусок окаменелого человека, под этим заглавием написал книгу, доказывая, что этот человек видел из погребя потоп собственными глазами, в опровержение последователей учению Кювье, утверждающих, что до потопа не было на земле ни людей, ни даже погре-

бов. Я предпочитал этому педантству ясное и простое заглавие: *«Записки последнего предпотопного человека»*. Мы потеряли полчаса дорогого времени и ни на что не согласились. Я вышел из терпения и объявил доктору, что оставляю его одного в пещере, если он будет долее спорить со мною о таких пустяках. Шпурцманн образумился.

— Хорошо! — сказал он, — мы решим заглавие в Европе.

— Хорошо! — сказал я, — теперь извольте писать.

СТЕНА I

«Подлейший раб солнца, луны и двенадцати звезд, управляющих судьбами, Шабахубосаар сын Бакубароса, сына Махубелехова, всем читающим это желаем здравия и благополучия.

Цель этого писания есть следующая: Мучимый голодом, страхом, отчаянием, лишенный всякой надежды на спасение, среди ужасов всеобщей смерти, на этом лоскутке земли, случайно уцелевшем от разрушения, решил я начертать картину страшного происшествия, которого был свидетелем.

Если еще кто-либо, кроме меня, остался в живых на земле; если случай, любопытство или погибель привлечет его или сынов его в эту пещеру; если когда-нибудь сделается она доступною потомкам человека, исторгнутого рукою судьбы из последнего истребления его рода, пусть прочитают они мою историю, пусть постигнут ее содержание и затрепещут.

Никто уже из них не увидит ни отечеств, ни величия, ни пышности их злосчастных предков. Наши прекрасные родины, наши чертоги, памятники и сказания покоятся на дне морском или под спудом новых, огромных гор. Здесь, где теперь простиралось это бурное море, покрытое льдинами, еще недавно процветало сильное и богатое государство, блистали яркие крыши бесчисленных городов, среди зелени пальмовых рощ и бамбуковых плантаций...»

— Видите, барон, как подтверждается все, что я вам доказывал об удивительных исследованиях Кювье? — воскликнул в этом месте Шпурцманн.

— Вижу, — отвечал я и продолжал диктовать начатое.

«...двигались шумные толпы народа и паслись стада под светлым и благо-творным небом. Этот воздух, испещренный гадкими хлопьями снега, замешанный мрачным и тяжелым туманом, еще недавно был напитан благоуханием цветов и звучал пением прелестных птичек, вместо которого слышны только унылое карканье ворон и пронзительный крик бакланов. В том месте, где сегодня, на бушующих волнах, носится эта отдаленная, высокая ледяная гора, беспрестанно увеличиваясь новыми глыбами снега и окаменелой воды — в том самом месте, в нескольких переездах отсюда, пять недель тому назад возвышался наш великолепный Хухурун, столица могущественной Барабии⁽¹⁰⁾ и краса вселенной, огромностью, роскошью и блеском превосходивший все города, как мамонт превосходит всех животных. И все это исчезло, как сон, как привидение!..

О Барабия! о мое отечество! где ты теперь?.. где мой прекрасный дом?..

моя семья?.. любезная мать, братья, сестры, товарищи и все, дорогие сердцу?.. Вы погибли в общем разрушении природы, погребены в пучинах нового океана или плаваете по его поверхности вместе с льдинами, которые трут ваши тела и разламывают ваши кости. Я один остался на свете, но и я скоро последую за вами!..

В горестном отчуждении от всего, что прежде существовало, одни лишь воспоминания еще составляют связь между мною и поглощенным светом. Но достанет ли у меня силы, чтоб возобновить память всего ужасного и смешного, сопровождавшего мучительную его кончину?.. Вода смыла с лица земли последний след глупостей и страданий нашего рода, и я не имею права нарушать тайны, которою сама природа, быть может, для нашей чести, покрыла его существование.

Итак, я ограничусь здесь личными моими чувствованиями и приключениями: они принадлежат мне одному, и я, для собственного моего развлечения, опишу их подробно с самого начала постигшего нас бедствия.

В 10-й день второй луны сего 11789 года в северо-восточной стороне неба появилась небольшая комета. Я тогда находился в Хухуруне. Вечер был бесподобный; несметное множество народа весело и беззаботно гуляло по мраморной набережной Лены, и лучшее общество столицы оживляло ее своим присутствием. Прекрасный пол... прекрасный пол...»

— Чем вы затрудняетесь, барон? — прервал Шпурцманн, приподнимая голову. — Переводите, ради бога: это очень любопытно.

— Затрудняюсь тем, — отвечал я, — что не знаю, как назвать разные роды древних женских нарядов, о которых здесь упоминается.

— Нужды нет: называйте их нынешними именами с присовокуплением общего прилагательного *antediluvianus*, «предпотопный». Мы в сравнительной анатомии так называем все то, что неизвестно, когда оно существовало. Это очень удобно.

— Хорошо. Итак, пишите.

«Предпотопный прекрасный пол, в богатых предпотопных клоках,^{11} с щегольскими предпотопными шляпками

и предпотопными турецкими шальями, искусно накинутыми на плеча, сообщал этому стечению вид столь же пестрый, как и заманчивый».

— Прекрасно! — воскликнул мой доктор, нюхая табак, — и коротко, и ясно.

— Но мне кажется, — примолвил я, — что было бы еще короче не прибавлять слова «предпотопный».

— Конечно! — отвечал он, — это будет еще короче.

— Не прерывайте же меня теперь, — сказал я, — а то мы никогда не кончим.

«Лучи заходящего солнца, изливаясь розовыми струями сквозь длинные и высокие колоннады дворцов, украшавших противоположный берег реки, и озаряя волшебным светом желтые и голубые крыши храмов, восхищали праздных зрителей, более занятых своими удовольствиями, чем кометою и даже новостями из армии. Барабия была тогда в войне с двумя сильными державами: к юго-западу (около Шпицбергена и Новой Земли)[6] мы вели кровопролитную войну с Мурзуджаном, повелите-

лем обширного государства, населенного неграми, а на внутреннем море (что ныне Киргизская степь) наш флот сражался со славою против соединенных сил Пшармахии и Гарры. Наш царь Мархусахааб лично предводительствовал войсками против черного властелина, и прибывший накануне гонец привез радостное известие об одержанной нами незабвенной победе. Я тоже гулял по набережной, но на меня не только комета и победа, но даже и величественная игра лучей солнца не производили впечатления. Я был рассеян и грустен. За час перед тем я был у моей Саяны, прелестнейшей из женщин, живших когда-либо на земном шаре, — у Саяны, с которою долженствовал я скоро соединиться неразрывными узами брака и семейного счастья, — и расстался с нею с сердцем, отравленным подозрениями и ревностью. Я был ревнив до крайности; она была до крайности ветрена. Несколько уже раз случалось мне быть в размолвке с нею и всегда оставаться виноватым; но теперь я имел ясное доказательство ее измены. Те-

перь я сам видел, как она пожала руку молодому (предпотопному) франту, Саабарабу. „Возможно ли, думал я, чтоб столько коварства, вероломства таилось в юной и неопытной девушке, и еще под такую обворожительную оболочкою красоты, невинности, нежности?.. Она так недавно клялась мне, что кроме меня никого в свете любить не может; что без меня скучает, чувствует себя несчастною; что мое присутствие для нее благополучие, мое прикосновение — жизнь!.. Но, может статься, я ошибаюсь: может быть, я не то видел, и она верна мне по-прежнему?.. В самом деле, я не думаю, чтобы она могла любить кого-нибудь другого, особенно такого вертопраха, каков Саабараб... Впрочем, он красавец, знатен и нагл: многие женщины от него без памяти... Да и что значила эта рука в его руке?.. Откуда такая холодность в обращении со мною?.. Она даже не спросила меня, когда мы опять увидимся!.. Я приведу все это в ясность. И если удостоверюсь, что она действительно презирает мою любовь, то клянусь солнцем и

луною!..“ — Тут мои рассуждения были вдруг остановлены: я упал на мостовую, разбил себе лоб и был оглушен пронзительным визгом придавленного мною человека, который кричал мне в самое ухо: „Ай!.. ай!.. Шабахубосаар!.. сумасшедший!.. что ты делаешь?.. ты меня убил!.. ты меня душишь!.. Господа!.. пособите!..“

Я вскочил на ноги, весь в пыли и изумлении, среди громкого смеха прохожих и плоских замечаний моих приятелей, и тогда только заметил, что, обуреваемый страстью, я так быстро мчался по набережной, что затоптал главного хухурунского астронома, горбатого Шимшика, бывшего некогда моим учителем. Шимшик хотел воспользоваться появлением кометы на небе, чтоб на земле обратить общее внимание на себя. Став важно посреди гульбища, он вытянул шею и не сводил тусклых глаз своих с кометы, в том уповании, что гуляющие узнают по его лицу отношения его по должности к этому светилу; но в это время неосторожно был опрокинут мною на мостовую.

Прежде всего я пособил почтенному астроному привстать с земли. Мы уже были окружены толпою ротозеев. Тогда как он чистил и приводил в порядок свою бороду, я поправил на нем платье и подал ему свалившийся с головы его остроконечный колпак, извиняясь перед ним в моей опрометчивости. Но старик был чрезвычайно раздражен моим поступком и обременял меня упреками, что я не умею уважать его седин и глубоких познаний, что он давно предсказал появление этой кометы и что я, опрокинув его во время астрономических его наблюдений, разбил вдребезги прекрасную систему, которую создавал он о течении, свойстве и пользе комет. Я безмолвно выслушал его выговоры, ибо знал, что это громкое негодование имело более предметом дать знать народу, что он астроном и важное лицо в этом случае, чем огорчить или унижить меня перед посторонними. Веселость зрителей, возбужденная его приключением, вдруг превратилась в любопытство, как скоро узнали они, что этот горбатый человек может

растолковать им значение появившейся на небе метлы. Они осыпали его вопросами, и он в своих ответах умел сообщить себе столько важности, что многие подумали, будто он в самом деле управляет кометами и может разорвать любое светило над головою всякого, кто не станет оказывать должного почтения ему и его науке. Я знал склонность нашего мудреца к шарлатанству и при первой возможности утащил его оттуда, хотя он неохотно оставлял поприще своего торжества. Когда мы очутились с глазу на глаз, я сказал ему:

— Любезный Шимшик, вы крепко настращали народ этою кометою.

— Нужды нет! — отвечал он равнодушно, — это возбуждает в невеждах уважение к наукам и ученым.

— Но вы сами мне говорили...

— Я всегда говорил вам, что придет комета. Я предсказывал это лет двадцать тому назад.

— Но вы говорили также, что комет нечего бояться, что эти светила не имеют никакой связи ни с землею, ни с судьбами ее жителей.

— Да, я говорил это, но теперь я сочиняю другую, совсем новую систему мира, в которой хочу дать кометам занятие несколько важнее прежнего. Я имею убедительные к тому причины, которые объясню тебе после. Но ты, любезный Шабыхубосаар! ты рыскаешь по гульбищам, как шальной палеоте-рион. Ты чуть не задавил своего старого учителя, внезапно обрушившись на него всем телом. Я уже думал, что комета упала с неба прямо на меня.

— Простите, почтенный Шимшик: я был рассеян, почти не свой...

— Я знаю причину твоей рассеянности. Ты все еще возишься с своею Саяною. Верно, она тебе изменила?

— Отнюдь не то. Я люблю ее, обожаю; она достойна моей любви, хотя, кажется, немножко... ветрена.

— Ведь я тебе предсказывал это восемь месяцев тому назад? Ты не хотел верить!

— Она... она кокетка.

— Я предсказал это, когда она еще была малюткою. Мои предсказания всегда сбываются. И эта комета...

— Я предсказал это, когда она еще бы-

ла малюткою.

— Понапрасну, друг мой Шабыхубосар! Что же тут необыкновенного?.. Все наши женщины ужасные кокетки».

— Пойдите, барон, одно слово! — вскричал опять мой приятель Шпурцманн. — Я думаю, вы не так переводите.

— С чего же вы это взяли? — возразил я.

— Вы уже во второй раз упоминаете о кокетках, — сказал он. — Я не думаю, чтоб кокетки были известны еще до потопа... Тогда водились мамонты, мегалосауры, плезиосауры, палеотерионы и разные драконы и гидры; но кокетки — это произведения новейших времен.

— Извините, любезный доктор, — отвечал я Шпурцманну. — Вот иероглиф: лисица без сердца; это по грамматике Шампольона Младшего должно означать кокетку. Я, кажется, знаю язык иероглифический и перевожу грамматически.

— Может статья! — примолвил он, — однако ж ни Кювье, ни Шейхцер,^{12} ни Гом, ни Букланд, ни Броньяр, ни Гумбольдт не говорят ни слова об окаменелых кокетках, и осто-

ва древней кокетки нет ни в парижском Музее, ни в петербургской Кунсткамере.

— Это уж не мое дело! — сказал я. — Я перевожу так, как здесь написано. Извольте писать.

«Все наши женщины ужасные кокетки...»

— Пойдите, барон! — прервал еще раз доктор. — Воля ваша, а здесь необходимо к слову «женщины» прибавить «предпотопные или ископаемые». Боюсь, что нынешние дамы станут обижаться нашим переводом, и сама цензура не пропустит этого места, когда мы захотим его напечатать. Позвольте поставить это пояснение в скобках.

— Хорошо, хорошо! — отвечал я. — Пишите как вам угодно, только мне не мешайте.

— Уж более не скажу ни слова.

— Помните же, что это говорит астроном своему воспитаннику, Шабахубосаару.

«Все наши (предпотопные или ископаемые) женщины ужасные кокетки. Это естественное следствие той неограниченной сво-

боды, которою они у нас пользуются. Многие наши мудрецы утверждают, что без этого наши общества никогда не достигли бы той степени образованности и просвещения, на которой они теперь находятся; но я никак не согласен с их мнением. Просвещенным можно сделаться и заперши свою жену замком в спальне — даже еще скорее; а что касается до высокой образованности, то спрашиваю: что такое называем мы этим именем? — утонченный разврат, и только! — разврат, приведенный в систему, подчиненный известным правилам, председательские кресла которого уступили мы женщинам. Зато они уж управляют им совершенно в свою пользу, распространяя свою власть и стесняя наши права всякий день более и более. Могущество их над обществом дошло в наше время до своей высочайшей точки: они завладели всем — нравами, разговорами, делами — и нас не хотят более иметь своими мужьями, а только любовниками и невольниками. При таком порядке вещей общества неминуемо должны погибнуть.

— Вы, почтенный астроном, принадлежи-

те, как вижу, к партии супружеского абсолютизма.

— Я принадлежу к партии людей благонамеренных и не люблю революций в спальнях, какие теперь происходят во многих государствах. Прежде этого не было. Пагубное учение о допущении женщин к участию в делах, о верховной их власти над обществом появилось только в наше время, и они при помощи молодых повес совершенно нас поработили. У нас в Барабии это еще хуже, чем в других местах. Наконец, и правительства убедились, что с подобными началами общества существовать не могут, и повсюду принимаются меры к прекращению этих нравственных бунтов. Посмотрите, какие благоразумные меры приняты в Гарре, Шандарухии и Хаахабуре для обуздания гидры женского своенравия! Говорят, что в Бамбурии власть мужа уже совершенно восстановлена, хотя в наших гостиных утверждают, что в тамошних супружествах еще происходят смятения и драки. Но и мы приближаемся к важному общественному перелому: надеюсь, что владычество юбок скоро кончится в нашей святой Барабии. Зна-

есть ли, Шабахубосаар, настоящую цель нашего похода против негров Шах-шух (Новой Земли)?

— Нет, не знаю.

— Так я тебе скажу. Это большая тайна, но я узнал ее через моего приятеля, великого жреца Солнца, который давно уговаривает царя принять действительные меры к ограничению чрезмерной свободы женского пола. Мы предприняли эту войну единственно для этой цели. Все обдумано, предусмотрено как нельзя лучше. Мы надеемся поработить полмиллиона арапов и составить из них грозную армию евнухов. Они будут приведены сюда в виде военнопленных и распределены по домам, под предлогом квартиры, по одному человеку на всякое супружество. При помощи их в назначенный день мы схватим наших жен, запрем их в спальнях и приставим к дверям надежных стражей. Тогда и я с великим жрецом, хоть старики, имеем в виду жениться на молодых девушках и будем вкушать настоящее супружеское счастье. Но заклинаю тебя, не говори о том никому в свете, ибо испортишь все дело. Ежели мы этого не сдела-

ем, то — увидишь! — не только с нами, но и со всем родом человеческим, и с целою нашею планетою может случиться из-за женщин величайшее бедствие!..

— Вы шутите, любезный Шимшик!

— Не шучу, братец. Я убежден в этом: женщины нас погубят. Но мы предупредим несчастье: скоро будет конец их самовластию над нравами. Советую и тебе, Шабахубосаар, отложить свою женитьбу до благополучного окончания войны с неграми.

Я смеялся до слез, слушая рассуждения главного астронома, и для большей потехи нарочно подстрекал его возражениями. Как ни странны были его мнения, как ни забавны сведения, сообщенные ему по секрету, но они, по несчастью, были не без основания. С некоего времени все почти народы были поражены предчувствием какого-то ужасного бедствия; на земле провозглашались самые мрачные пророчества. Род человеческий, казалось, предвидел ожидающее его наказание за повсеместный разврат нравов, и как сильнейшие всегда сваливают вину на слабых, то все зло было естественно приписано людьми

женскому их полу. Повсюду принимались меры против неограниченной свободы женщин, хотя мужчины не везде оставались победителями. Это было время гонения на юбки: все супружества в разбранке; в обществах господствовал хаос.

Шимшик расстался со мной очень поздно. Его причуды несколько рассеяли мою грусть. Как я был сердит на Саяну, то озлобление старого астронома против прекрасного пола отчасти заразило и мое сердце, и, ложась спать, я даже сотворил молитву к Луне об успехе нашего оружия против негров.

На другой день я застал город в тревоге. Все толковали о комете, Шимшике, его колпаке и его предсказаниях. Итак, маленькое небесное тело и маленький неуклюжий педант, о которых прежде никто и не думал, теперь сделались предметом общего внимания! И все это потому, что я этого педанта сшиб с ног на мостовой!!. О люди! О умы!..

Я побежал к своей любезной с твердым намерением в душе наказать ее за вчерашнюю ветреность самым холодным с нею обращением. Сначала мы даже не смотрели друг на

друга. Я завел разговор о комете. Она обнаружила нетерпение. Я стал рассказывать о моем приключении с Шимшиком и продолжал казаться равнодушным. Она начала сердиться. Я показал вид, будто этого не примечаю. Она бросилась мне на шею и сказала, что меня обожает. Ах, коварная!.. Но таковы были все наши (ископаемые)[7] женщины: слава Солнцу и Луне, что они потонули!..

Я был обезоружен и даже сам просил прощения. Наступили объяснения, слезы, клятвы; оказалось, что вчера я не то видел, что у меня должен быть странный порок в глазах — и полная амнистия за прошедшее была объявлена с обеих сторон. Я был в восторге и решился принудить ее родителей и мою мать к скорейшему окончанию дела, тем более что женитьба во всяком случае почиталась у нас (т. е. до потопа)[8] вернейшим средством к прекращению любовных терзаний.

Хотя брак мой с прекрасною Саяной давно уже был условлен нашими родителями, но приведение его в действие с некоторого времени встречало разные препятствия. Отец моей любезной занимал при дворе значи-

тельное место: он был отчаянный церемониймейстер и гордился тем, что ни один из царедворцев не умел поклониться ниже его. Он непременно требовал, чтоб я наперед как-нибудь втерся в дворцовую переднюю и подвергнул себя испытанию, отвесив в его присутствии поклон хоть наместнику государства, когда тот будет проходить с бумагами: опытный церемониймейстер хотел заключить по углу наклона моей спины к полу передней при первом моем поклоне, далеко ли пойдет зять его на поприще почестей. С другой стороны, моя мать была весьма недовольна будущею моею тещею: последняя считала себя не только знаменитее родом, но и моложе ее, тогда как матушка знала с достоверностью, что моя теща была старше ее шестюдесятью годами — ей тогда было только двести пятьдесят пять лет, а той уже за триста!.. Они часто отпускали друг на друга презлые остроты, хотя в обществах казались душевными приятельницами. Матушка не советовала мне спешить свадьбою под предлогом, что, по дошедшим до нее сведениям, дела родителей Саяны находились в большом рас-

стройстве. Мать моей невесты желала выдать ее за меня замуж, но более была занята собственными своими удовольствиями, чем судьбою дочери. Но главною преградою к скорому совершению брака был мой дядя Шашабаах. Он строил себе великолепный дом с несколькими сотнями огромных колонн и по своему богатству был чрезвычайно уважаем как отцом, так и матерью Саяны. Любя меня, как родного сына, он объявил, что никто, кроме его, не имеет права пещись о моем домашнем счастье, и решил своею властью, что нельзя и думать о моей свадьбе, пока не отделает он своей большой залы и не развесит своих картин, ибо теперь у него негде дать бал на такой торжественный случай. Судя по упрямству дяди Шашабааха и по раболепному благоговению наших родных перед его причудами, это препятствие более всех прочих казалось непреодолимым. Я не знал, что делать. Я был влюблен и ревнив. Саяна меня обожала, но пока дядя развесит бы свои картины, самая добродетельная любовница успела бы раз десять изменить своему другу. Положение мое было самое затруднительное: я

признал необходимым выйти из него во что бы то ни стало.

Я побежал к матушке, чтоб понудить ее к решению моей судьбы, и поссорился с нею ужасно. Потом пошел к отцу Саяны: тот вместо ответа прочитал мне сочиненную им программу церемонияла для приближающегося при дворе праздника и отослал меня к своей жене. Будущая моя теща, быв накануне оставлена своим любовником, встретила меня грозною выходкою против нашего пола, доказывая, что все мужчины негодяи и не стоят того, чтобы женщины их любили. Я обратился к дяде Шашабааху, но и тут не мог добиться толку: он заставил меня целый день укладывать с ним антики в новой великолепной его библиотеке; на все мои отзывы о Саяне, о любви, о необходимости положить конец моим мучениям отвечал длинными рассуждениями об искусстве обжигать горшки у древних и прогнал меня от себя палкою, когда я, потеряв терпение и присутствие духа, уронил из рук на землю и разбил в куски большой фаянсовый горшок особенного вида, древность которого, по его догадкам, восходила до

двести пятнадцатого года от сотворения света. Я плакал, проклинал холодный эгоизм стариков, не постигающих пылкости юного сердца, но не унывал. После многократных просьб, отсрочек, споров и огорчений, наконец, успел я довести родных до согласия; но когда они собирались объявить нам его в торжественном заседании за званым обедом, я вдруг рассорился с Саяною за то, что она слишком сладко улыбалась одному молодому человеку. Все рушилось; я опять был повергнут в отчаяние.

Я поклялся никогда не возвращаться к коварной и целых трое суток свято сдерживал свой обет. Чтоб никто не мешал мне сердиться, я ходил гулять в местах уединенных, где не было ни живой души, где даже не было изменниц. Однажды ночь застигла меня в такой прогулке. Нет сомнения, что размолвка с любезною есть удобнеее время для астрономических наблюдений, и сама астрономия была, как известно, изобретена в IV веке от сотворения света одним великим мудрецом, подравшимся ввечеру с женою и прогнанным ею из спальни. С досады я стал считать звезд

ды на небе и увидел, что комета, которую, хлопоча о своей женитьбе, совсем выпустил из виду, с тех пор необыкновенно увеличилась в своем объеме. Голова ее уже не уступала величиною луне, а хвост бледно-желтого цвета, разбитый на две полосы, закрывал собою огромную часть небесного свода. Я удивился, каким образом такая перемена в наружном ее виде ускользнула от моего ведома и внимания. Пораженный странностью зрелища и наскучив одиночеством, я пошел к приятелю Шимшику потолковать об этом. Его не было дома, но мне сказали, что он на обсерватории, и я побежал туда. Астроном был в одной рубахе, без колпака и без чулок, и стоял, прикованный правым глазом к астробии, завязав левый свой глаз скинутым с себя от жары исподним платьем. Он подал мне знак рукою, чтоб я не прерывал его занятия. Я простоял подле него несколько минут в безмолвии.

— Чем вы так заняты? — спросил я, когда он кончил свое дело и выпрямился передо мною, держась руками за спину.

— Я делал наблюдения над хвостом коме-

ты, — отвечал он с важностью. — Знаете ли вы его величину?

— Буду знать, когда вы мне скажете.

— Он простирается на 45 миллионов миль: это более чем дважды расстояние Земли от Солнца.

— Но объясните мне, почтеннейший Шимшик, как это случилось, что он так скоро увеличился. Помните ли, как он казался малым в тот вечер, когда я опрокинул вас на набережной?

— Где же вы бывали, что не знаете, как и когда он увеличился? Вы все заняты своею вздорною любовью и не видите, не слышите того, что происходит вокруг вас. Полно, любезнейший!.. при таком ослеплении вы и того не примечаете, как ваша любезная поставит вам на лбу комету с двумя хвостами длиннее этих.

— Оставьте ее в покое, господин астроном. Лучше будем говорить о том, что у нас перед глазами.

— С удовольствием. Вот, извольте видеть: тогда как вы не сводили глаз с розового личика Саяны, эта комета совсем переменила свой

вид. Прежде она казалась маленькою, бледно-голубого цвета; теперь, по мере приближения к солнцу, со дня на день представляется значительнее и сделалась желтою с темными пятнами. Я измерил ее ядро и атмосферу: первое, по-видимому, довольно плотное, имеет в поперечнике только 189 миль; но ее атмосфера простирается на 7000 миль и образует из нее тело втрое больше земли. Она движется очень быстро, пролетая в час с лишком 50 000 миль. Судя по этому и по ее направлению, недели через три она будет находиться только в 200 000 милях от земли. Но все эти подробности давно известны из моего последнего сочинения.

— Я в первый раз об них слышу, — сказал я.

— И не удивительно! — воскликнул мудрец. — Куда вам и думать о телах небесных, завязши по шею в таком белом земном тельце! Когда я был молод, я тоже охотнее волочился за красотками, чем за хвостом кометы. Но вы, верно, и того не знаете, что постепенное увеличение этой кометы поразило здешних жителей ужасным страхом?..

— Я не боюсь комет и на чужой страх не обращал внимания.

— Что царский астроном, Бурубух, мой соперник и враг, для успокоения встревоженных умов издал преглупое сочинение, на которое я буду отвечать?

— Все это для меня новость.

— Да!.. он издал сочинение, которое удовлетворило многих, особенно таких дураков и трусов, как он сам. Но я обнаружу его невежество; я докажу ему, что он, просиживая по целым утрам в царской кухне, в состоянии понимать только теорию обращения жаркого на своей оси, а не обращение небесных светил. Он утверждает, что эта комета, хотя и подойдет довольно близко к земле, но не причинит ей никакого вреда, что, вступив в круг действия притягательной ее силы, если ее хорошенько попросят, она может сделаться ее спутником, и мы будем иметь две луны, вместо одной, что, наконец, нет причины опасаться столкновения ее с земным шаром, ни того, чтоб она разбила его вдребезги, как старый горшок, потому что она жидка, как кисель, состоит из грязи и паров, и прочая и

прочая. Можете ли вы представить себе подобные глупости?..

— Но вы сами прежде были того мнения, и когда я учился у вас астрономии...

— Конечно!.. Прежде оно в самом деле так было, и мой соперник так думает об этом по сю пору; но теперь я переменял свой образ мыслей. Я же не могу быть согласным в мнениях с таким невеждою, как Бурубух? Вы сами понимаете, что это было бы слишком для меня унижительно. Поэтому я сочиняю новую теорию мироздания и, при помощи солнца и луны, употребляю ее для уничтожения его. По моей теории кометы играли важную роль в образовании солнц и планет. Знаете ли, любезный Шабахубосаар, что было время, когда кометы валились на землю, как гнилые яблоки с яблони?

— В то время, я думаю, опасно было даже ходить по улицам, — сказал я с улыбкою. — Я ни за что не согласился бы жить в таком веке, когда, вынимая носовой платок из кармана, вдруг можно было выронить из него на мостовую комету, мимоходом упавшую туда с неба.

— Вы шутите! — возразил астроном, — однако ж это правда. И доказательство тому, что кометы не раз падали на землю, имеете вы в этих высоких хребтах гор, грозно торчащих на шару нашей планеты и загромождающих ее поверхность. Все это обрушившиеся кометы, тела, прилипшие к земле, помятые и переломленные в своем падении. Довольно взглянуть на устройство каменных гор, на беспорядок их слоев, чтоб убедиться в этой истине. Иначе поверхность нашей планеты была бы совершенно гладка: нельзя даже предположить, чтоб природа, образуя какой-нибудь шар, первоначально не произвела его совсем круглым и ровным и нарочно портила свое дело выпуклостями, шероховатостями...

— Поэтому, любезный мой Шимшик, — воскликнул я, смеясь громко, — и ваша голова первоначально, в детских летах, была совершенно круглым и гладким шаром, нос же, торчащий на ней, есть, вероятно, постороннее тело, род кометы, случайно на нее упавшей...

— Милостивый государь! — вскричал раз-

гневанный астроном, — разве вы пришли сюда издеваться над мною? Подите, шутите, с кем вам угодно. Я не люблю шуток над тем, что относится к кругу наук точных.

Я извинялся в моей непочтительной веселости, однако ж не переставал смеяться. Его учение казалось мне столь забавным, что даже расставшись с ним, я думал более об его носе, чем о вероломной Саяне. Проснувшись на следующее утро, прежде всего вспомнил я об его теории; я опять стал смеяться, смеялся от чистого сердца и кончил мыслью, что она в состоянии даже излечить меня от моей несчастной любви. Но в ту минуту отдали мне записку от... Кровь во мне закипела: я увидел почерк моей мучительницы. Она упрекала меня в непостоянстве, в жестокости!.. уверяла, что она меня любит, что она умрет, ежели я не отдам справедливости чистой, пламенной любви ее!.. Все мои обеты и теории Шимшика были в одно мгновение ока, подобно опрокинутой, по его учению, комете, смяты, переломаны, перепутаны в своих слоях и свалены в безобразную груды. Она права!.. я виноват, я непостоянен!.. Она так

великодушна, что прощает меня за мою ветреность, мое жестокосердие!.. Через полчаса я уже был у ног добродетельной Саяны и спустя еще минуту — в ее объятиях.

Я опять был счастлив и с новым усердием начал хлопотать о своем деле. Надобно было снова сблизить и согласить родных, разгневанных на меня и при сей верной оказии перессорившихся между собою, вынести их упрёки и выговоры, склонить матушку, выслушать все рассуждения дяди Шашабааха и польстить теще, которая столь же пламенно желала освободиться от присутствия дочери в доме, сколько и надоесть ее свекрови и помучить меня своими капризами. Прибавьте к тому приготовления к свадьбе, советы старушек, опасения ревнивой любви, мою нетерпеливость, легкомысленность Саяны и тучи сплетней, разразившихся над моею головою, как скоро моя женитьба сделалась известною в городе, и вы будете иметь понятие об ужасах пути, по которому должен я был пробираться к домашнему счастью.

Этот ад продолжался две недели. К довершению моих страданий, события сердца бес-

престанно сплетались у меня с хвостом кометы. Я должен был в одно и то же время отвечать на скучные комплименты знакомцев, ссориться с невестою за всякий пущенный мимо меня взгляд, за всякую зароненную в чужом сердце улыбку и рассуждать со всеми о небесной метле, которая беспрестанными своими изменениями ежедневно подавала повод к новым толкам. И когда уже гости созваны были на свадьбу, тот же хвост еще преградил мне путь в капище Духа Супружеской Верности, с нетерпением ожидавшего нашей присяги. Мой Шимшик, не довольствуясь изданием в свет сочинения, предсказывающего падение кометы на землю, еще уговорил своего приятеля, великого жреца Солнца, воспользоваться с ним пополам произведенною в народе тревогою, и в самый день моей свадьбы глашатаи известили жителей столицы, что для отвращения угрожающего бедствия колоссальный истукан небесного Рака будет вынесен из храма на площадь и что по совершении жертвоприношения сам великий жрец будет заклинать его всенародно, чтобы он священными своими клещами поймал ко-

мету за хвост и удержал ее от падения. Расчет был весьма основателен, потому что, если комета пролетит мимо, это будет приписано народом святости великого жреца, если же обрушится, то Шимшик приобретет славу первого астронома в мире. Я смеялся в душе над шарлатанством того и другого, но мой тесть, церемониймейстер, узнав о затеваемом празднестве, совершенно потерял ум. Он забыл обо мне и своей дочери и побежал к великому жрецу обдумывать вместе с ним план церемониала. Моя свадьба была отложена до окончания торжественного молебствия. Какое мучение жениться на дочери церемониймейстера во время появления кометы!..

Наконец, молебствие благополучно совершилось, великий жрец исполнил свое дело, не улыбнувшись ни одного разу, умы несколько поуспокоились, и наступил день моей свадьбы, день, незабвенный во всех отношениях. Мой дом, один из прекраснейших в Хухуруне, был убран и освещен великолепно. Толпы гостей наполняли палаты. Саяна в нарядном платье казалась царицею своего пола, и я, читая удивление во всех обращен-

ных на нее взорах, чувствовал себя превыше человека. Я обладал ею!.. она теперь принадлежала мне одному!.. Ничто не могло сравниться с моим блаженством.

Однако ж и этот вечер, вечер счастья и восторга, не прошел для меня без некоторых неприятных впечатлений. Саяна, сияющая красотой и любовью, почти не оставляла моей руки: она часто пожимала ее с чувством и всякое пожатие отражалось в моем сердце небесною сладостью. Но в глазах ее, в ее улыбке по временам примечал я тоску, досаду: она, очевидно, была опечалена тем, что брачный обряд положил преграду между ею и ее бесчисленными обожателями, что для одного мужчины отказалась она добровольно от владычества над тысячею раболепных прислужников. Эта мысль приводила меня в бешенство. Из приличия старался я быть веселым и любезным даже с прежними моими соперниками, но украдкою жалил острыми ревнивыми взглядами вертевшихся около нас франтов и в лучи моих зениц желал бы пролить яд птеродактиля, чтоб в одно мгновение ока поразить смертью всех врагов моего спокой-

ствия, чтоб истребить весь мужской род и одному остаться мужчиною на свете, в котором живет Саяна...

Ночь была ясна и тиха. После ужина многие из гостей вышли на террасу подышать свежим воздухом. Шимшик, забытый всеми в покоях, выскочил из угла и стремглав побежал за ними. Саяна предложила мне последовать за ним, чтоб позабавиться его рассуждениями. Наши взоры устремились на комету. До тех пор была она предметом страха только для суеверной черни; люди порядочные — у нас почиталось хорошим тоном ни во что не верить, для различия с чернию — люди порядочные, напротив, тешились ею, как дети, гоняющие по воздуху красивый мыльный пузырь. Для нас комета, ее хвост, споры астрономов и мой приятель Шимшик представляли только источник острот, шуток и любезного злословия; но в тот вечер она ужаснула и нас. С вчерашней ночи величина ее почти утроилась, ее наружность заключала в себе что-то зловещее, невольно заставлявшее трепетать. Мы увидели огромный, непрозрачный, сжатый с обеих сторон шар темно-серебристого

цвету, уподоблявшийся круглому озеру посреди небесного свода. Этот яйцеобразный шар составлял как бы ядро кометы и во многих местах был покрыт большими черными и серыми пятнами. Края его, очерченные весьма слабо, исчезали в туманной, грязной оболочке, просветлявшейся по мере удаления от плотной массы шара и, наконец, сливавшейся с чистою, прозрачною атмосферою кометы, озаренною прекрасным багровым светом и простиравшеюся вокруг ядра на весьма значительное расстояние: сквозь нее видно даже было мерцание звезд. Но и в этой прозрачной атмосфере, составленной, по-видимому из воздухообразной жидкости, мелькали в разных местах темные пятна, похожие на облака и вероятно, происходившие от сгущения газов. Хвост светила представлял вид еще грознейший: он уже не находился, как прежде, на стороне его, обращенной к востоку, но очевидно направлен был к земле, и мы, казалось, смотрели на комету в конец ее хвоста, как в трубу; ибо ядро и багровая атмосфера помещались в его центре, и лучи его, подобно солнечным, осеняли их со всех сторон. За всем

тем, можно было заметить, что он еще висит косвенно к земле: восточные его лучи были гораздо длиннее западных. Эта часть хвоста, как более обращенная к недавно закатившемуся солнцу, пылала тоже багровым цветом, похожим на цвет крови, который постепенно бледнел на северных и южных лучах круга и в восточной его части переходил в желтый цвет с зелеными и белыми полосами. Таким образом, комета с своим кругообразным хвостом занимала большую половину неба и, так сказать, всю массу своей тяготила на воздух нашей планеты. Светозарная материя, образующая хвост, казалась еще тоньше и прозрачнее самой атмосферы кометы: тысячи звезд, заслоненных этим разноцветным круглым опахалом, просвечиваясь сквозь его стены, не только не теряли своего блеску, но еще горели сильнее и ярче; даже наша бледная луна, вступив в круг его лучей, внезапно озарилась новым, прекрасным светом, довольно похожим на сияние зеркальной лампы.

Несмотря на страх и беспокойство, невольно овладевшие нами, мы не могли не восхи-

щаться величественным зрелищем огромного небесного тела, повисшего почти над нашими головами и оправленного еще крупнейшим колесом багровых, розовых, желтых и зеленых лучей, распущенным вокруг него в виде пышного павлиньего хвоста, по которому бесчисленные звезды рдели, подобно обставленным разноцветными стеклами лампадам. Мы долго стояли на террасе в глубоком безмолвии. Саяна, погруженная в задумчивость, небрежно опиралась на мою руку, и я чувствовал, как ее сердце сильно билось в груди.

— Что с тобою, друг мой? — спросил я.

— Меня терзают мрачные предчувствия, — отвечала она, нежно прижимаясь ко мне. — Неужели эта комета должна разрушить надежды мои на счастье с тобою, на долгое, бесконечное обладание твоим сердцем?..

— Не страшись, мой друг, напрасно, — примолвил я с притворным спокойствием духа, тогда как меня самого угнетало уныние. — Она пролетит и исчезнет, как все прочие кометы, и еще мы с тобою...

В ту минуту раздался в ушах моих голос

Шимшика, громко рассуждавшего на другом конце террасы, и я, не кончив фразы, потащил туда Саяну. Он стоял в кругу гостей, плотно осаждавших его со всех сторон и слушавших его с тем беспокойным любопытством, какое внушается чувством предстоящей опасности.

— Что такое, что такое говорите вы, любезный мой наставник? — спросил я, остановясь позади его слушателей.

— Я объясняю этим господам настоящее положение кометы, — отвечал он, пробираясь ко мне поближе. — Она теперь находится в расстоянии только 160 000 миль от земли, которая уже плавает в ее хвосте. Завтра в седьмом часу утра последует у нас от нее полное затмение солнца. Это очень любопытно.

— Но что вы думаете насчет направления ее пути?

— Что же тут думать!.. Она прямехонько стремится к земле. Я давно предсказывал вам это, а вы не хотели верить!..

— Право, нечего было спешить с доверенностью к таким предсказаниям! Но скажите, ради Солнца и Луны, упадет ли она на землю

или нет?

— Непременно упадет и наделает много шуму в ученном свете. Этот невежда Бурубух утверждал, что кометы состоят из паров и жидкостей, что они не плотны, мягки, как пареные сливы. Пусть же он, дурак, укусит ее зубами, ежели может. Вы теперь сами изволите видеть, как ядро ее темно, непрозрачно, тяжело: оно, очевидно, сделано из огромной массы гранита и только погружено в легкой прозрачной атмосфере, образуемой вокруг ее парами и газами, наподобие нашего воздуха.

— Следственно, падением своим она может произвести ужасные опустошения? — сказал я.

— Да!.. может! — отвечал Шимшик, — но нужды нет: пусть ее производит. Круг ее опустошений будет ограничен. Ядро этой кометы, как я уже имел честь излагать вам, в большом своем поперечнике простирается только на 189 миль. Итак, она своими развалинами едва может засыпать три или четыре области — положим, три или четыре царства; но зато какое счастье!.. мы с достоверностью узнаем, что такое кометы и как они устроены.

Следственно, мы не только не должны страшиться ее падения, но еще пламенно желать подобного случая для расширения круга наших познаний.

— Как? — воскликнул я, — засыпать гранитом три или четыре царства для расширения круга познаний?.. Вы с ума сходите, любезный Шимшик!..

— Отнюдь нет, — возразил астроном хладнокровно; потом, взяв меня за руку и отведя в сторону от гостей, он примолвил с презабавным жаром: — Вы мне приятель! Вы должны наравне со мною желать, чтоб она упала на землю! Как скоро это случится, я подам царю прошение, обнаружу невежество Бурубуха и буду просить о назначении меня на его место, царским астрономом, с оставлением и при настоящей должности. Надеюсь, что вы и ваш почтеннейший тесть поддержите меня при этом случае. Попросите и вашу почтенную супругу, чтоб она также похлопотала при дворе в мою пользу: женщины — знаете! — когда захотят... Притом же и сам царь не прочь от такого хорошенького личика...

Я остолбенел.

— Как!.. вы хотите!.. чтоб Саяна!.. чтоб моя жена!.. — вскричал я гневно и, вырывая от него мою руку с негодованием, толкнул его так, что горбатый проныра чуть не свалился с террасы. Прибежав к Саяне, я схватил ее в мои объятия и пламенно, страстно прижал ее к сердцу. Она и все гости желали узнать, что такое сказал мне астроном, полагая, наверное, что он сообщил мне важный секрет касательно предосторожностей, какие должно принимать во время падения комет; но я не хотел входить в объяснения и предложил всем воротиться в комнаты.

Тщетно некоторые из моих молодых приятелей старались восстановить в обществе веселость и расположение к забавам. Все мои гости были встревожены, расстроены, печальны. Столь внезапное увеличение кометы сообщало некоторую основательность пророчествам Шимшика и приводило их в ужасное беспокойство. Я желал, чтоб они скорее разъехались по домам, оставив меня одного с женою; но в общем волнении умов никто из них не думал об удовольствиях хозяина. Многочисленные группы мужчин и женщин стояли

во всех покоях, рассуждая с большим жаром о предполагаемых следствиях столкновения двух небесных тел. Одни ожидали красного снега, другие — рыбного дождя, иные, на конец, читавшие сочинения знаменитого мудреца Бурбуруфона, доказывали, что комета разобьет землю на несколько частей, которые превратятся в небольшие шары и полетят всякий своим путем кружить около солнца. Некоторые уже прощались с своими друзьями на случай, ежели при раздроблении планеты они очутятся на отдельных с ними кусках ее; и эта теория в особенности нравилась многим из супругов, которые даже надеялись в минуту этого происшествия ловко перепрыгнуть с одного куска на другой, чтоб навсегда освободиться друг от друга и развестись без всяких хлопот, без шума, сплетней и издержек. Каждый излагал свое мнение и свои надежды, и все беспрестанно выходили на террасу и возвращались оттуда в покои с кучею известий и наблюдений. Шимшик, сделавшийся душою их споров, бегал из одной комнаты в другую, опровергал все мнения, объяснял всякому свою теорию, чертил ме-

лом на полу астрономические фигуры и казался полным хозяином кометы и моего дома. У меня уже не доставало терпения. Я вздумал жаловаться на усталость и головную боль, намекая моим гостям, что скоро начнет светать, но и тут весьма немногие приметили мое неудовольствие и принялись искать колпаки. Наконец, несколько человек простились с нами и ушли. Мой тесть также приказал подвести своего мамонта, объявив торжественно, что пора оставить новобрачных. Слава Солнцу и Луне!.. Пока что случится с землею, а я сегодня женился и не могу первую ночь после брака посвятить одним теориям!

Мы уже радовались этому началу, когда двое из гостей вдруг воротились назад с известием, что никак нельзя пробраться домой, ибо в городе ужасная суматоха, народ толпится на улицах, все в отчаянии и никто немышляет о покое. Новая неприятность!.. Я послал людей узнать о причине тревоги и через несколько минут получил донесение, что в народе вспыхнул настоящий бунт. Бурубух объявил собравшейся на площади черни, что он лично был всегда врагом зловредности ко-

мет и даже подавал мнение в пользу того, чтобы эта метла пролетела мимо земли, не подходя к ней так близко и не пугая ее жителей; но что главный астроном Шимшик воспротивился тому формальным образом и своими сочинениями накликал ее на нашу столицу; и потому если теперь произойдет какое-нибудь бедствие, то единственным виновником должно признать этого шарлатана, чародея, невежду, проныру, завистника и прочая и прочая. Народ, воспламененный речью Бурубуха, пришел в ожесточение, двинулся огромною толпою на обсерваторию, перебил инструменты, опустошил здание, разграбил квартиру Шимшика и его самого ищет повсюду, чтоб принести в жертву своей ярости. Невозможно представить себе впечатления, произведенного в нас подобным известием, ибо все мы предчувствовали, что бешенство черни не ограничится разрушением обсерватории; но надобно было видеть жалкое лицо Шимшика во время этого рассказа!.. Он побледнел, облился крупным потом, пробормотал несколько слов в защиту своей теории и скрылся, не дослушав конца донесения.

В печальном безмолвии ожидали мы развязки возникающей бури. Поминутно доходили до нас известия, что народ более и более предается неистовству, грабит жилища знатнейших лиц и убивает на улицах всякого, кого лишь кто-нибудь назовет астрономом. Скоро и великолепная набережная Лены, где лежал мой дом, начала наполняться сволочью. Мы с ужасом вглядывались в свирепые толпы, блуждающие во мраке и оглашавшие своим воем портики бесчисленных зданий, как вдруг град камней посыпался в мои окна. Гости попрятались за стеною и за колоннами, Саяна в слезах бросилась ко мне на шею, теща упала в обморок, дядя закричал, что ему ушибли ногу, — суматоха сделалась неимоверною. Услышав, что буйный народ считает бальное освещение моего дома оскорблением общественной печали, я тотчас приказал гасить лампы и запирать ставни. Мы остались почти впотьмах, но тем не менее принимали все возможные меры к защите в случае нападения. Вид шумной толпы служителей, лошадей, слонов и мамонтов, собранных на моем дворе и принадлежавших пирующим у меня

вельможам, удержал мятежников от дальнейших покушений. Спустя некоторое время окрестности моего дома несколько очистились, но в других частях города беспорядки продолжались по-прежнему.

День уже брезжился. Не смея в подобных обстоятельствах никого выгонять на улицу, я предложил моим гостям ложиться спать где кто может — на софах, на диванах и даже в креслах. Все засуетились, и я, пользуясь общим движением ищущих средства пристроиться на покой, утащил Саяну в спальню, убранную со вкусом и почти с царскою роскошью. Она дрожала и краснела; я дрожал тоже, но ободрял ее поцелуями, ободрял нежными клятвами, горел пламенем, запирал двери и был счастлив. Все мятежи земного шара и все небесные метлы не в состоянии смутить блаженство двух молодых любовников, представших впервые с глазу на глаз перед брачным ложем. Мы были одни в комнате и одни на всей земле. Саяна в сладостном смущении опоясала меня белыми, как молоко, руками и, пряча пылающее стыдом девственное, розовое лицо свое на моей груди, сильно прижа-

лась ко мне — сильно, как дитя, прощающеся с дражайшею матерью. Я между тем поспешно выпутывал из шелковых ее волос богатое свадебное покрывало, срывал с плеч легкий прозрачный платок, развязывал рукава и расстегивал платье сзади; и это последнее, скользя по стройному ее стану, быстро ссунулось на пол, обнаружив моим взорам ряд очаровательных прелестей. Я жадно прикрыл их горящими устами... Казалось, что никакая сила в природе не в состоянии расторгнуть пламенного судорожного объятия, в котором держали мы тогда друг друга. Слитые огнем любви в одно тело и одну душу, мы стояли несколько минут в этом положении посредине комнаты, без дыхания, без чувств, без памяти... как вдруг кто-то чихнул позади нас. Никогда удар молнии, с треском обрушившись на наши головы, не мог бы внезапно вывести нас из упоения и скорее приостановить в наших сердцах пылкие порывы страсти, чем это ничтожное действие страждущего насморком носа человеческого. Саяна крикнула и припала к земле; я отскочил несколько шагов назад и в изумлении огля-

нулся во все стороны. В спальне, однако ж, никого, кроме нас, не было!.. Я посмотрел во всех углах и, не найдя ни живой души, уверял жену, что это нам только так слышалось. Едва успел я успокоить ее несколько поцелуями, как опять в комнате раздалось чихание, и в этот раз уже в определенном месте — именно под нашею кроватью. Я заглянул туда и увидел две ноги в сапогах. В первом движении гнева я хотел убить на месте несчастного наглеца, осмелившегося нанести подобную обиду скромности юной супруги и святотатным своим присутствием поругаться над неприкосновенностью тайн законной любви: я схватил его за ногу и стал тащить из-под кровати, крича страшным голосом:

— Кто тут?.. Кто?.. Зачем?.. Убью мерзавца!..

— Я!.. я!.. погоди, любезнейший!.. Пусти!.. Я сам вылезу! — отвечал мне незванный гость.

— Говори, кто ты таков?

— Да не сердись!.. это я. Я... твой приятель...

— Кто?.. какой приятель?..

— Я, твой друг!.. Шимшик.

У меня опали руки, Я догадался, что он, спасаясь от поиска мятежников, завернул под нашу кровать единственно со страху, и мое исступление превратилось в веселость. Несмотря на отчаяние стыдливой Саяны, я не мог утерпеть, чтоб не расхохотаться.

— Но что ты тут делал, негодяй?.. — спросил я его с притворною суровостью.

— Я?.. я, брат, ничего худого не делал, — отвечал он, трепеща и карабкаясь под кроватью. — Я хотел наблюдать затмение солнца...

Моя суровость опять была обезоружена. Тогда как помирая со смеху, я помогал трусливому астроному вылезти задом из этой небывалой обсерватории, Саяна, по моей просьбе накинув на себя ночное платье, убежала в боковые двери, ведущие в комнаты моей матери. Она была чрезвычайно огорчена этим приключением и моим неуместным смехом, и выходя из спальни, кричала гневно, пополам с плачем, что это ужас!.. что видно, я не люблю ее, когда, вместо того чтоб поразить этого дурака кинжалом, хохочу с ним об ее посрамлении!.. что она никогда ко мне не возвратится!.. Вот откуда нагрянула беда!

СТЕНА II

Я полетел вслед за Саяною, желая усмирить ее сознанием своей вины, даже обещанием примерно наказать астронома, но у матушки было множество женщин, большую часть полураздетых: при моем появлении в дверях ее покоев они подняли такой крик, что я принужден был уйти назад в спальню. Возвращаясь, я побожился, что непременно убью Шимшика, но едва взглянул на его длинное, помертвелое со страху лицо, как опять стал смеяться!..

Я взял его за руку и безо всяких чинов вытолкал коленом в залу, где, к моему удивлению, никто не думал о сне. Все мои гости были на ногах и расхаживали по комнатам в страшном беспокойстве. Нестерпимая духота, внезапно разливавшаяся в воздухе, не позволила никому из них сомкнуть глаз, а плачевные известия из города, опустошаемого бесчинствующею чернью, и вид кометы, сделавшийся еще грознее при первых лучах солнца, действительно могли взволновать и самого хладнокровного. Как скоро я появился, многие из них, окружив меня, почти насильно

утащили на террасу, чтоб показать мне, что делается на небе и на земле. Я оледенел от ужаса. Комета уподоблялась большой круглой туче и занимала всю восточную страну неба: она потеряла свою богатую светлую оболочку и была бурого цвету, который всякую минуту темнел более и более. Солнце, недавно возникшее из-за небосклона, уже скрывало западный свой берег за краем этого исполинского шара. Под моими ногами город гремел глухим шумом, и во многих местах возвышались массы густого дыму, в котором пылало пожарное пламя; по улицам передвигались дикие шайки грабителей, обагренных кровию и, перед лицом опасности, увлекающей всю природу в пропасть гибели, еще с жадностью уносящих в общую могилу исторгнутое у своих сограждан имение.

Спустя четверть часа солнце совершенно скрылось за ядром кометы, которая явилась нашим взорам черною, как смоль, и в таком близком расстоянии от земли, что можно было видеть на ней ямы, возвышения и другие неровности. В воздухе распространился почти ночной мрак, и мы ощутили приметный

холод. Женщины начали рыдать; мужчины еще обнаруживали некоторую бодрость духа и даже старались любезничать с ними, хотя многие натянутыми улыбками глотали слезы, невольно сталкиваемые с ресниц скрытым отчаянием. Мне удалось проникнуть до Саяны. Она разделяла общее уныние и, сверх того, сердилась на меня. Я взял ее руку; она вырвала ее и не хотела говорить со мною. Я упал на колени, молил прощения, клялся в своей беспредельной любви, клялся в преданности, в послушании... Ничто не могло смягчить ее гнева. Она даже произнесла ужасное в супружестве слово — мщение! Холодная дрожь пробежала по моим членам, ибо я знал, чем у нас (перед потопом)[9] женщины мстили своим мужьям и любовникам. Эта угроза взбесила меня до крайности. Мы поссорились, и я, смущенный, бледный, с расстроенным лицом, с пылающими глазами, выбежал опрометью из ее комнаты.

К довершению моего смятения я неожиданно очутился среди моих гостей. Они уже не думали ни о комете, ни о бунте, ни о пожаре столицы. Я даже удивился их веселому и

счастливному виду. Отгадайте же, чем были осчастливлены? — моим несчастьем! Они уже сообщали друг другу на ухо о любопытном происшествии, случившемся ночью в моей спальне. Одни утверждали, что новобрачная ушла от меня с криком и плачем к своей маменьке, другие важно объясняли этот поступок разными нелепыми на мой счет догадками, иные, наконец, уверяли положительно, что Саяна вышла за меня замуж по принуждению, что она терпеть меня не может и что даже я застал ее в спальне с одним молодым и прекрасным мужчиною, ее любовником, который тотчас спрятался под кроватью. Насмешливые взгляды, намеки, остроты насчет супружеского быта и кривляния ложного соболезнования, посыпавшиеся на меня со всех диванов и кресел, ясно дали мне почувствовать, что мое семейное счастье уже растерзано зубами клеветы, что мои любезные друзья, столкнув честь юной моей супруги и мою собственную в пропасть своего злословия, поспешили завалить ее осколками своего остроумия и еще стряхнули с себя на них грязь своих пороков. Я измерил мыслию эту пропасть

и содрогнулся: мое прискорбие, мое негодование не знали предела. И несмотря на это, я был принужден из приличия показывать им веселое лицо, улыбаться и дружески пожимать руки у моих убийц. О люди!.. о мерзкие люди!.. Злоба у вас сильнее даже чувства страха; вы готовы следовать ее внушениям на краю самой гибели. Общество!.. горький состав тысячи ядовитых страстей!.. жестокая пытка для неразвращенного сердца!.. Ежели тебе суждено погибнуть теперь вместе с нами, то я душевно поздравляю себя с тем, что дал бал на твое погребение.

Не зная, куда деваться от людей и от самого себя, я опять вышел на террасу, сел в уединенном месте и в моем огорчении злобно любовался зрелищем многочисленных пожаров, которым мрак затмения сообщал великолепие отверстого ада. Между тем, утомленные разбоем и застигнутые среди светлого утра полночную темнотой, мятежники мало-помалу рассеялись, и мои дорогие гости начали разъезжаться. Я уснул под раскинутою на террасе палаткою, чтоб не прощаться и не видеться с ними.

Затмение продолжалось до второго часу пополудни. Около того времени небо несколько просветлело, и узкий край солнца мелькнул из-за обращенного к западу края кометы. Я проснулся, сошел вниз и уже никого не застал в покоях. Скоро солнце засияло полным своим блеском, но в его отсутствие окружность кометы удивительно расширилась. С одной стороны значительная часть грязного и шероховатого ее диска погружалась за восточную черту горизонта, тогда как противоположный берег упирался в верх небесного свода. Такое увеличение ее наружности, при видимом удалении ее от наших глаз к востоку, ясно доказывало, что она летит на землю косвенно. В пятом часу пополудни она совсем закатилась.

Я застал Саяну и мою мать в слезах: не зная, что со мною случилось, они терзались печальными за меня опасениями — не вышел ли я из любопытства на улицу и не убит ли мятежною чернью за мои связи с Шимшиком. Мое появление исполнило их радости. Жена уже на меня не гневалась. Мы поцеловались с нею перед обедом; за обедом мы бы-

ли очень нежны; после обеда еще нежнее...

Мы тогда были в спальне. Солнце уже клонилось к закату. Саяна сидела у меня на коленях, приклонив прелестную свою голову к моему плечу и оплетая мою шею своими руками. Я держал ее в своих объятиях и с восторгом счастливого любовника повторял ей, что теперь уже ничто не разлучит нас, ничто не смутит нашего блаженства. Она скрепила мое предсказание приложением горящего девственным стыдом долгого, долгого поцелуя, и мы, сплоченные его магнитною силою, упивались чистейшею сладостью, дыша одною и тою же частицею воздуха, чувствуя и живя одною и тою же душою, — как вдруг уста наши были расторгнуты внезапным потрясением всей комнаты. Казалось, будто пол поколебался под нами. Вслед за этим вторичный удар подтвердил прежнее ощущение, и пронзительный вой собак, раздавшийся в ту самую минуту, решил все догадки. Я схватил Саяну за руку и быстро потащил к дверям, говоря: „Друг мой!.. землетрясение!.. Надо уходить из комнат“.

Мы пробежали длинный ряд покоев, среди

беспрерывных ударов потрясения, повторявшихся всякий раз чаще и сильнее. Лампы, подсвечники, статуи, картины, вазы, стулья и столики падали одни за другими кругом нас на землю; пол качался под нами, подобно палубе колеблемого волнами судна. Я кричал моим людям, чтоб они скорее спасались на двор, чтоб выводили из конюшен лошадей, мамонтов, мастодонтов, и сам, с трепещущею Саяною, стремглав бежал к лестнице, прыгая через опрокинутую утварь и уклоняясь от падающих со стен украшений: Едва достигли мы до сеней, как в большой зале с ужасным треском обрушился потолок, настанный из длинных и широких плит. На лестнице, где мы, слуги и невольники столпились все вместе, два новые подземные удара, поколебавшие землю в двух противоположных направлениях, свалили всех нас с ног и мы целою громадою покатались вниз, один чрез другого, по лопающим под нами ступеням, из которых последние уже не существовали. Стон раненых, крик испугавшихся и придавленных оглушили меня совершенно, но любовь сохранила во мне присутствие духа: я не выпу-

стил руки Саяны. Таким образом мы с нею удержались на груди свалившегося у подножия лестницы народа, не попав на торчащие обломки камней, о которые многие разразились.

Но вставание было опаснее падения, ибо одновременное всех усилие высвободиться из кучи произвело в ней страшное замешательство. Всякий толкал или старался скинуть с себя своего соседа. При помощи одного невольника, который счастливо удержался на ступенях и схватил Саяну на руки, я успел вырваться из лежащей в беспорядке толпы, и мы втроем первые выскочили на двор. Вся остальная куча была в то же мгновение сплюснута, размозжена, смолота внезапно слетевшим на нее великолепным сводом сней, и кровь выжатая из нее, брызнула на все стороны сквозь камни как вода от брошенного в нее бревна.

Мы были на дворе, но отнюдь не вне опасности. Мои мастодонты, мамонты, слоны, верблюды и лошади, ведомые верным инстинктом животных, при первых признаках землетрясения силою освободились из своих тю-

рем, разломали стойла и двери и выбежали на открытый воздух. Двор уже был наполнен ими, когда мы туда прибыли. Их беспокойство и трепет, сопровождаемые громовым ревом, умножали суматоху между спасающимися и спасающимися, которые также вопили, кричали и бегали. Положение наше было ужасно. С одной стороны целые ряды колонн, целые стены моих великолепных чертогов валились вокруг нас на землю, как детские игрушки, тронутые потаенною пружиною, бросая нам под ноги большие глыбы камня и засыпая глаза пылью; с другой — разъяренный мамонт или мастодонт одним поворотом своих исполинских клыков, похожих на длинные и толстые костяные колоды, одним ударом своих огромных ног мог бы истребить и потоптать нас. Между тем ад бушевал под нашими стопами. Подземный гром с оглушительным треском и воем непрерывно катился под самую почву, которая с непостижимою упругостью то раздувалась и поднималась вверх, то вдруг опадала, образуя страшные углубления, подобно волнам океана. В то же самое время поверхность ее качалась с се-

вера на юг, и вслед за тем черта движения переменилась и возникало перекрестное качание с востока на запад или обратно. Потом казалось, будто почва кружится под нами: мы, верблюды и лошади падали на землю, как опьяневшие; одни мамонты и мастодонты, расставив широко толстые свои ноги и вертя хоботами для сохранения равновесия, удерживались от падения. Изю всего семейства только я, Саяна и мой меньшей брат остались в живых; прочие, мать и сестры и большая половина нашей многолюдной дворни, не успели отыскать выхода и погибли в разных частях здания.

Уже наступала ночь. Землетрясение не уменьшалось, но для нас не было столь страшным. В два часа времени мы так к нему привыкли, как будто оно было всегдашнее состояние попираемой нами почвы: всякий избрал себе самое удобное на волнующейся земле положение и в молчании ожидал конца бури. Опасение быть раздавленными падением стен и портиков не могло тревожить нас более, ибо дом был разрушен до основания и представлял одну плоскую, широкую грудку

развалин, заключавшую нас и весь двор в своем кругу. Брусья и колонны были перемешаны в дивном беспорядке; связь строения разорвана; каждый камень лежал особо под другим камнем или подле него: они казались одушевленными судорожною жизнью червей, сложенных в кучу, — при всяком ударе землетрясения, особенно когда почва выдувалась и опадала, они двигались, ворочались, становились прямо, падали и пересыпались целыми массами с одного места на другое, выбрасывая по временам из недр своих смолотые члены раздавленных ими жителей и опять поглощая их во внутренность разрушения.

Все было потеряно. Оставалось только подумать о том, как провести ночь на зыблущейся земле под открытым небом, на середине обширного круга движущихся развалин. Весьма немного платья и еще меньше жизненных припасов было спасено моими людьми в самом начале бедствия: мы разделили все это между собою по равным частям. Два маленькие хлеба и кусок оставшегося от обеда жареного аноплотериума составили

превосходный ужин для Саяны и для меня с братом.[10] Я закутал мою невинную жену в плащ одного конюха, и мы решились просидеть до утра на том же месте.

Несмотря на внутренние терзания планеты, которая при всяком ударе должна бы, казалось, разбиться в мелкие куски, над ее поверхностью царствовала ночь столь же прекрасная, светлая и тихая, как и вчерашняя. Луна белыми лучами сребрила печальную могилу нашей столицы. Небо пылало звездами; но, к удивлению, не было видно кометы. Мы полагали, что она взойдет позже, и не дождались ее появления. Неужто она исчезла?.. Неужели в самом деле где-нибудь обрушилась она на землю?.. Это землетрясение не есть ли следствие ее падения?.. Проклятый Шимшик! он уверял нас, что комета опустошит только то место, о которое сама она расшибет свои бока!.. Но падение свершилось, и наш Шимшик прав: он умнее Бурубуха!.. „Впрочем, это только случай, — заметила Саяна. — Один из них предсказывал, что она упадет, другой — что она пройдет мимо: то или другое было неизбежно...“

Тогда как мы были заняты подобными рассуждениями, подземные удары становились гораздо слабее и реже. Гром, бушевавший в недрах шара, превратился в глухой гул, который иногда умолкал совершенно, и в этих промежутках мучений природы рыдания жен и матерей, стон раненых и умирающих, крик, или, лучше сказать, вой отчаяния уцелевших от гибели, но лишенных приюта и пропитания, жестоко потрясали наш слух и наши сердца. Нам довольно было взглянуть на самих себя, чтоб постигнуть горесть других.

Наконец настал день. Мы почти не узнали вчерашних развалин. Длинные брусья и большие камни были разбиты в мелкие части и как бы столчены в иготи;^{13} город представлял вид обширной насыпи обломков. Величественная Лена, протекавшая под моими окнами, оставила свое русло и, поворотясь к западу, проложила себе новый путь по опрокинутым башням, по разостланным на земле стенам прежних дворцов и храмов. Во многих местах груды развалин запрудили ее волны и заставили их расструиться по городу в разных направлениях. На площадях, на дворах

больших строений и в углублениях почвы образовались бесчисленные лужи, и вся западная часть столицы представляла слепление множества озер различной величины, из которых там и сям торчали уединенные колонны и дымовые трубы, дивною игрою природы оставленные на своих основаниях, чтобы служить могильными памятниками погребенному у их подножия городу. Наводнение не коснулось восточного берега, на котором находился мой дом; но мы заметили, что подобные лужи уже начинали появляться и по сторону прежнего русла реки. Землетрясение едва было ощутительно, однако не прекращалось, и от времени до времени более или менее сильный удар грозил, казалось, возобновлением вчерашних ужасов. Итак, нечего было долее оставаться на месте. Все уцелевшее народонаселение столицы спасалось на возвышениях, окружавших Хухурун с востока: мы последовали общему примеру.

Строение, в котором помещались мои конюшни и где жили мои мамонты, мастодонты и некоторые слуги, было деревянное, из прекрасного райского лесу. Мы раскидали пе-

реломанные бревна и вытащили из-под них все, что только нашли годного к употреблению. Нагрузив на одного мастодонта этот скудный остаток нашего богатства, я, Саяна, мой брат, два невольника и одна служанка сели на моего любимого рыжего мамонта; прочие служители взобрались на слонов и верблюдов или взялись вести в руках лошадей, и мы тронулись со двора, пробираясь через развалины дома. После долгих борений с преградами выехали мы на большую улицу, ведущую к восточной заставе, и слились с потоком народа, стремившегося в один и тот же путь с нами. Я не в силах передать впечатления, произведенного во мне зрелищем этого бесконечного погребального шествия, медленно и печально пробиравшегося узкою тропинкой между высокими валами обломков. Подобные нашей длинные цепи мертвецов, восставших поутру из могилы своей родины, тянулись и по другим улицам. Не только люди, но и животные чувствовали огромность случившегося несчастья: мамонты явно разделяли нашу горечь. Эти благородные создания, первые в природе после человека, даже

превыше многих людей одаренные редким умом и превосходною чувствительностью, принимали трогательное, хотя безмолвное участие в общественной печали. Мой рыжий мамонт, свободно понимавший разговоры на трех языках, колотил себя хоботом по бокам и грустно вздыхал, проходя мимо разрушенных жилищ моих приятелей, которых почитал он своими. Увидев моего дядю, расхаживающего по развалинам нового своего дома, он остановился и не хотел идти далее, пока мы не скажем старику несколько утешительных слов.

— Мои картины!.. мои антики!.. — восклицал дядя жалостным голосом. — Ах, если б я мог отыскать хоть мою сковороду второго века мира, за которую заплатил так дорого!..

— Возьмите вместо нее один кирпич из развалин вашего нового дома, — сказал я ему, — он с вчерашнего числа поступил в разряд драгоценных антиков.

— Ты ничего не смыслишь в древностях!.. — отвечал дядя и опять стал рыться в развалинах. Он вытащил из них какую-то тряпку и начал с жаром излагать нам ее достоинства, но мой мамонт, видя, что дядя ни-

мало не стал умнее от землетрясения, не хотел слушать вздору, и мы уехали.

Сожаление дяди о потере предмета столь пустой прихоти вынудило у меня улыбку, но она вдруг погасла, и я опять погрузился в мрачную думу, которая угнетала мою грудь с самого утра. Кроме скорби, возбуждаемой общим бедствием, моя любовь к Саяне была главным ее источником. Я принужден был страдать ревностью даже среди ужасов вспыхнувшего мятежа природы. Саяна плакала, не говорила со мною, отвергала мои утешения, и я, по несчастию, постигал причину ее горести: она грустила не о потере имения, не о гибели родных и отечества, не об истреблении нескольких сот тысяч сограждан, но о разрушении гостиных, о расстройстве общества — того избранного, шумного блестящего общества, в котором царствовала она своею красотою; где она счастливила своими улыбками и приводила в отчаяние своими суровыми взглядами; где жили ее льстецы; где она затмевала и бесила своих соперниц. Спасение одного любовника, одного верного друга не могло вознаградить ей отсутствие тол-

пы холодных обожателей, рассеянного внезапною бурей роя красивых мотыльков, с которыми играла она всю свою молодость. Я для нее был ничто или, лучше сказать, я был все — но один. Ей казалось, что нам вдвоем будет скучно!.. Я утверждал противное, доказывая, что без этих господ нам будет гораздо веселее. Легкий упрек в тщеславии, который позволил я себе сделать ей при этом случае, весьма ей не понравился. Она рассердилась, и мы поссорились верхом на мамонте. Мы оборотились друг к другу задом. Мой мамонт выпрямил свой хобот вверх, наподобие столба, и покачал им тихонько, в знак того, что нехорошо так ссориться в присутствии всего города!.. Я сказал мамонту, что он дурак.

„Итак, мои любовные мучения, — подумал я, — не прекратились ни супружеством, ни землетрясением!.. Это почти невероятно. Вот что значит модная женщина, воспитанная в вихре большого света!.. Надобно же, чтоб подобные женщины были прелестны собою и чтоб люди были обязаны влюбляться в них без памяти?..“

Мы уже выехали из города, уже поднима-

лись на высоты — и все еще не говорили друг с другом ни слова. Почва, по которой мы проезжали, была истрескана в странные узоры, и на пути нередко попадались широкие трещины, через которые следовало перескакивать. Холмы были разрушены: одни осыпались и изгладились, другие лежали, разбитые на несколько частей. В иных местах разверстая планета изрыгнула из своего лона кучи огромных утесов. Прежние озера иссякли, и вместо их появились другие. Но самый примечательный признак опустошения являли деревья: леса были включены; в рощах и на поле не оставалось двух деревьев в перпендикулярном положении к земле: все стояли вкось под различными углами наклона, и всякое в свою сторону. Многие дубы, теки, сикоморы и платаны были скручены, как липовые веточки, а некоторые расколоты так, что человек удобно мог бы пройти в них сквозь пень, как в двери. Мы долго искали цельного и не занятого другими куска земли, где бы могли временно поселиться, и, наконец, остановились в одной пальмовой роще. Мои люди мигом построили для нас шалаш из вет-

вей.

Сверх всякого чаяния, мы тут очутились в кругу наших знакомцев. Туча молодых франтов слетелась к нам изо всей рощи. Рассказы о вчерашних приключениях, шутки над миновавшею опасностью, приветствия и остроты, лесть и злословие превратили наш приют в блистательную гостиную или в храм лицемерства. Саяна вдруг развеселилась. Она опять улыбалась, опять господствовала над всем мужеским полом и опять была счастлива. В общей и весьма искусной раздаче приветливых взглядов и я, покорнейший муж и слуга, удостоился от нее одного, в котором большими иероглифами начертано было милостивое прощение моей неуместной ревности и преступного желания, чтоб моя жена нравилась только одному мне. Я чуть не лопнул с досады.

Но вскоре убедились мы, что опасность еще не миновала. Не одна Лена переменяла свое направление: все вообще реки и потоки оставили свои русла и, встретив преграды на вновь избранном пути, начали наводнить равнины. Вода показалась в небольшом рас-

стоянии от нашего стана и поминутно поглощала большее и большее пространство. Некоторые утверждали, что она вытекает из-под земли, и здесь в первый раз произнесено было между нами ужасное слово — потоп! Все были того мнения, что надобно уходить в Са-сахаарские горы, куда многие семейства от-правились еще на заре.

Роца в одно мгновение ока оживилась повсеместным движением. Одни укладывали свои пожитки, другие седлали лошадей и слонов. Пока мои люди занимались подобными приготовлениями и моя жена заключала с вежливыми прислужниками трактат не оставлять друг друга в путешествии, я узнал случайно о спасении моей матери. Она не погибла в развалинах дома; она выскочила в окно на набережную, когда мы уходили на двор; многие видели ее недалеко от роци с одним знакомым нам семейством. Сердце мое сильно забилося от радости: я хотел тотчас бежать к возлюбленной родительнице, к одному истинному другу в этой горькой жизни. Но как тут быть?.. Оставить молодую, невинную супругу в кругу этих вертопрахов невозможно!..

Я предложил Саабарубу, тому самому идолу наших женщин, к которому ревновал Саяну, будучи еще женихом, и который теперь отчаянно любезничал с нею, пособить мне отыскать матушку. Он извинился каким-то предлогом, которого я не понял, но который жена нашла крайне уважительным. Я обнаружил беспокойство. Они посмотрели друг на друга и на меня и улыбнулись. Я в ту минуту готов был убить на месте их обоих, но подумал, что женатому человеку неприлично сердиться на друзей своей супруги, даже и после землетрясения, предпочел покрыть молчанием эту обидную улыбку. Они очевидно издевались над моею ревностью!! И так, я вышел из шалаша; уходя, бросил на Саяну страшный взгляд, от которого она содрогнулась. Я взобрался на мамонта в совершенном расстройстве духа и, приказав людям дожидаться моего возвращения, с двумя невольниками правился искать матушку.

Ее уже не было в указанном месте. Я объехал все окрестности, расспросил повсюду и нигде не доискался следа ее. Эта неудача огорчила меня еще более. Около полудня воротил-

ся я в рощу, которая уже была оставлена всеми и отчасти потоплена водою. Брат и слуги находились в жестоком беспокойстве. Я рассеянно подал знак к отъезду, спрашивая, где Саяна. Мне отвечали хладнокровно, что она ушла в рощу и не возвращалась.

— Как?.. Саяна ушла?.. Она не возвращалась?..

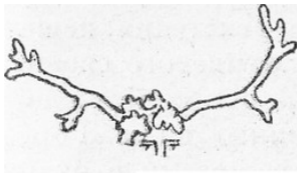
И холодный пот выступил у меня на висках, на дрожащих руках.

— Она не возвращалась!.. Моя бедная, моя дражайшая Саяна!..

Первая мысль моя была о том, что она утонула, хотел бежать искать ее по всей роще, но служанка, безмолвно протянув руку, отдала мне записку на свернутом лоскутке папируса. Я раскрыл ее... О горе!.. там были начертаны женским почерком и даже без правописания только два следующие иероглифа:



(Прощай!)



(ревнивый!)

Гнев, негодование, отчаяние, ярость вспыхнули в душе моей со всею силою огорченной любви, со всею неукротимостью обиженной чести. Итак, Саяна изменила мне!.. Она предпочла услужливость, лицемерное рабство низкого оболъстителя мне, моей любви, нашему счастью!.. Вероломная, коварная!.. уходить от своего мужа с любовником во время всеобщего потопа!.. Ах, он негодяй! Клянусь Солнцем и Луною, что этот кинжал!.. что в их преступной крови!.. — И волны мести, хлынувшие из сердца, залили мне голос в горле. Я не мог произнести более ни слова: только махнул брату рукою, давая знать, что предоставляю ему людей и все имущество, и в ту же минуту поскакал за уезжающими отыскивать жену и Саабаруба. Я не сомневал-

ся, что она убежала с этим повесою.

Но как и где найти их в такой тьме народа, бегущего из городов и селений, заваливающего все переправы, покрывающего все дороги и сухие места частыми, непроницаемыми толпами?.. Я скакал взад, вперед и поперек, бросался наудачу в различные стороны, спрашивал, заглядывал, подстерегал: нигде ни следа их!.. Как будто нырнули в воду! Я хотел воротиться к брату — и его не отыскал. Пожираемый жгучею грустью, изнемогающий под бременем уныния, бесчестия, стыда, усталый, почти мертвый, наконец, потерял я всю надежду и решил спокойно ехать вместе с прочими в горы. Там судьба счастливым случаем скорее может поблагоприятствовать моему мщению, чем здесь нарочные поиски.

В четвертом часу пополудни прибыли мы к одной переправе, образованной широко разлившимся ручьем. Бредущие в нем пешеходы расступились, чтоб пропустить меня: один лишь крошечный, горбатый человечек, стоявший по колены в воде и который, казалось, весь дрожал со страху при виде брода не по его росту, не примечал нашего натиска и,

несмотря на наш крик, никак не хотел посторониться. Мой мамонт мчался быстро, и мы уже думали, что он затопчет его в грязи, как вдруг великодушный гигант животного царства, чтоб очистить себе дорогу без угнетения пешеходцев, схватил его на бегу концом исполинского своего хобота, поднял вверх выше головы и понес через воду, как сноп соломы, воткнутый на длинные вилы. Горбатый человек визжал, вертелся, махал ногами и руками, не постигая, что с ним случилось; мои невольники помирали со смеху; я приказывал им остановить мамонта, боясь, чтобы честная скотина из человеколюбия не задушила его в своих объятиях, когда он, нечаянно поворотив к нам голову, увидел меня на седле и вскричал радостным голосом:

— Ах!.. вы здесь?.. Как я рад встретиться с вами в сем удобном мест...

— Шимшик!.. Шимшик!.. — воскликнули мы единодушно, приветствуя его громким смехом.

— Спасите меня!.. — кричал несчастный астроном. — Ай!.. Он помял мне все кости!.. Ну, что комета?.. не говорил ли я вам? Ай, ай,

ради Солнца!..

Пробежав брод, наш великан сам остановился и с удивительной ловкостью поставил бедного Шимшика на ноги. Мы бросили астроному веревочную лестницу, втащили его на седло и помчались далее. Шимшик рассказал мне свои приключения, я сообщил ему мои: он был сильно тронут моим несчастьем. Он спас свои сочинения, свои открытия и теории, которыми собирался изумить современников и потомство; все его карманы были набиты славою, и когда настигли мы его у переправы, он был в большом затруднении и не знал, что с собою делать, не смея отставать от бегущих и боясь замочить в ручье свое бессмертие. К счастью, добрый мамонт вывел его из этого неприятного положения и сохранил для науки и чести Барабии. Узнав от меня об измене Саяны, он воскликнул: „Ну, что?.. Не предсказывал ли я вам, что если бедствие случится с землею, то единственно из-за женщин?.. По несчастью, теперь нет и средства спасти ее: говорят, что негры Шахшух (Новой Земли), сведав о нашем намерении оскотить все их царство, дрались, как ме-

галотерионы, и разбили наших, которые теперь бегут от них к столице. Вся надежда на получение евнухов исчезла; а это было одно средство обуздать разврат женского пола и восстановить нравы!..“

Наконец, достигли мы гор, проскакав на мамонте в шесть часов девяносто географических миль. Мы находились на границе нашего прекрасного отечества, отделявшей его от двух больших государств, Хабара и Каско. Остановясь, мы заметили, что земля все еще шевелится под нами. В некоторых местах каменный хребет казался еще согретым от подземного огня, незадолго пред тем пролетавшего с громом в его внутренности. Разрушение природы представлялось здесь в самом величественном и ужасном виде: гранитные стены были исписаны трещинами, из которых многие походили на пропасти; ущелья были завалены обрушившимися вершинами, толстые слои камня — взорваны и взрыты, утесы вместе с росшими на них лесами — опрокинуты, смяты, растасканы. Сасахарские горы после вчерашнего землетрясения уподоблялись постели двух юных любовни-

ков, только что оставленной ими поутру в живописном беспорядке развалины пылких страстей, еще дышущей вулканической теплотой их сердец среди холодных уже следов первого взрыва их любви.

Со времени поселения нашего в горах события и ужасы преследовали друг друга и нас с такою быстротою, что никакое воображение не в силах передать их другому, ни себе представить. Земля, небо, стихии, люди и их мятежные страсти были смешаны в один огромный хаос и вместе образовали мрачную, шумную, свирепую бурю.

Когда мы прибыли, горы уже были покрыты спасавшимся отсюда народом. Противоположная их отлогость была усеяна камнями различных цветов и видов, в числе которых многие удивляли нас своею красотою, прозрачностью и огненным блеском, а иные своим сходством с громовыми стрелами. Но с одной подоблачной вершины беглецы из тех окрестностей указали нам в северо-восточной стороне горизонта зрелище еще любопытнейшее — предлинный хребет гор, съезженный чрезвычайно высокими и острыми массаами,

которого прежде там не бывало. Это была одна только оконечность развалин вчера разразившейся о землю кометы, которая разостлалась по ней необозримою чертою с бесчисленными боковыми ветвями; которая потрясла ее в самом основании и, ядром своим загроздив огромную полосу нашего шара, по сторонам наваленных ею исполинских громад гранитной материи, все пространство смежных земель залила и засыпала дождем из грязи и песку и сильным каменным градом, шедшими несколько часов сряду во время и после ее падения. Следы этого града, коснувшегося самой подошвы Сахаарских гор, видели мы в тех незнакомых нам разноцветных камнях и блестящих голышах, а беглецы представили нам образцы красного и желтого песку, составлявшего, по-видимому, почву кометы и подобранного на примыкающей к горам равнине. Желтый песок красивою, лоснящеюся своей наружностью в особенности чаровал наши взоры и сердца; всякий из нас хотел иметь у себя хоть несколько его зернышек. Он, видно, считался на комете весьма дорогою вещью.

По их рассказам, падению ее предшествовал...

СТЕНА III

...страшный гул с треском в возвышенных странах атмосферы, и вскоре совершенный мрак, прорезываемый яркими огнями, как бы выжатыми из воздуха, придавленного ее натиском, еще увеличил ужас роковой минуты. В то самое время пятьсот тысяч воинов Хабара и Каско стояли на поле сражения, защищая кровию и жизнь неприкосновенность своих предводителей, тщеславие своих сограждан и неприкосновенность небольшого куска земли, бесполезного их предводителям, согражданам и им самим. Военачальники воспаляли их храбрость, толкуя грозное небесное явление в смысле благополучного для них предвещения и напоминая им о нетленной славе, долженствующей скоро увенчать их великие, бессмертные подвиги; города, села, деревни, крыши домов и холмы кишели народом, ожидавшим в беспокойстве следствия огненной борьбы стихий и кровавой борьбы своих ближних; поля и луга пестрели несметными стадами, которые, остолбе-

нев со страху, забыв о корме, в общем предчувствии погибели соединяли печальное свое мычание с ревом львов, тигров и тапиров, трепещущих в лесах и вертепах,⁽¹⁴⁾ воздух гремел смешанным криком непостижимого множества птиц, летавших густыми стаями в поминутно усиливающимся мраке, — когда тяжелая масса воздушного камня с быстротою молнии хлынула на всю страну!.. Человечество и животное царство изрыгнули один внезапный хриплый стон, и вместе с этим стоном были разможены слетевшими с неб горями, которые обрызганным их кровию основанием мигом сплюснули, раздавили и погребли навсегда быт, надежды, гордость, славу и злобу бесчисленных миллионов существ. На необозримой могиле пятидесяти самолюбивых народов и пятисот развратных городов вдруг соорудился огромный, неприступный, гремящий смертельным эхом и скрывающий куполы свои за облаками гробовый памятник, на котором судьба вселенной разбросанными в беспорядке гранитными буквами начертала таинственную надпись: „Здесь покоится половина органической жизни этой

тусклой зеленой планеты третьего разряда“.

Мы стояли на утесе и в унылом безмолвии долго смотрели на валяющийся в углу нашего горизонта бледный, безобразный труп кометы, вчера еще столь яркой, блистательной, прекрасной, вчера еще двигавшейся собственной силою в пучинах пространства и как бы нарочно прилетевшей из отдаленных миров, от других солнц и других звезд, чтоб найти для себя возле нас, смертных, гроб на нашей планете и прах свой, перемешанный с нашим прахом, соединить с ее перстью.^{15}

Между тем другое явление, происходившее над нашими головами, проникло нас новым страхом. Уже прежде того мы заметили, что солнце слишком долго не клонится к закату: многие утверждали, что оно стоит неподвижно; другим казалось, будто оно шевелится вокруг одной и той же точки; иные, и сам Шимшик, доказывали, что оно, очевидно, сбилось с пути, не знает астрономии и забрело вовсе не туда, куда б ему следовало идти с календарем Академии в кармане. Мы объясняли событие разными догадками, когда одним разом солнце тронулось с места и, подоб-

но летучей звезде, быстро пробежав остальную часть пути, погрузилось за небосклоном. В одно мгновение ока зрелище переменилось: свет погас, небо зардело звездами, мы очутились в глубоком мраке, и крик отчаяния раздался кругом нас в горах. Мы полагали, что уже навсегда простились с благотворным светиллом, что после истребления значительной части рода человеческого та же планета, на которой мы родились, назначена быть его остаткам темницею, где мы должны скоро ожидать смертного приговора. Невозможно изобразить горести, овладевшей нами при этой ужасной мысли. Мы провели несколько часов в этом положении; но тогда, как некоторые из нас уже обдумывали средства, как бы пристроить остаток своего быта в мрачном заключении на нашей несчастной планете, волны яркого света нечаянно залили наше зрение ослепительным блеском. Мы все повернулись на землю и долго не смели раскрыть глаз, опасаясь быть поражены его лучами. Наконец, мы удостоверились, что он происходит от солнца, которое непонятным образом взошло с той стороны, где незадолго пред тем со-

вершился его внезапный закат. Достигнув известной высоты, оно вдруг покатилося на юг; потом, поворотясь назад, приняло направление к северо-востоку. Не доходя до земли, оно поколебалось и пошло скользить параллельно черте горизонта, пока опять не завалилось за него недалеко от южной точки. Таким образом, в течение пятнадцати часов оно восходило четырежды, всякий раз в ином месте; и всякий раз, исчертив его кривыми линиями запутанного пути своего, заходило на другом пункте и ввергало в ночной мрак изумленные и измученные наши взоры.

Несмотря на ужас, распространенный в нас подобным ниспровержением вечного порядка мира, нельзя было не догадаться, что не солнце так странно блуждает над нами, но что земной шар, обремененный непомерной тяжестью кометы, потерял свое равновесие, выбился из прежнего центра тяготения и судорожно шатается на своей оси, ища в своей огромной массе, увеличенной чуждым телом, нового для себя центра и новой оси для суточного своего обращения. В самом деле, мы видели, что при каждом появлении солнца точ-

ка его восхождения более и более приближалась к северу, хотя закат не всегда соответствовал новому востоку и падал попеременно по правую и по левую сторону южного полюса. Наконец, в пятый раз солнце засияло уже на самой точке севера и, пробежав зигзагом небесный свод в семь часов времени, закатилось почти правильно на юге. Потом наступила долгая ночь, и после одиннадцати часов темноты день опять начал брезжить на севере. Солнце взошло по-прежнему, предшествуемое прекрасною зарею: мы приветствовали его радостным криком, льстя себя мыслию, что теперь скоро будет конец нашим страданиям, все придет в порядок, и мы возвратимся на равнины. Один только Шимшик не мог утолить своей горести после потери прежнего востока и прежнего запада. Он говорил, что не перенесет такого безбожного переворота в астрономии и географии: двести сорок пять лет своей жизни употребил он на составление таблиц долготы и широты трех тысяч известнейших городов и местечек, а теперь, при перемене полюсов, все его исчисления, вся его ученость, заслуги перед потом-

ством и право на полный пенсион от современников не стоили старой тряпки!..

Я постигал печаль Шимшика, но он, окаянный, не умел оценить моей. Увы!.. муж, от которого жена бежала с любовником во время падения кометы на землю, во сто раз несчастнее всех астрономов. Ему скажут, что они взяли направление к востоку; он побежит за ними на восток, руководствуясь течением солнца; вдруг полюсы переменят свое положение, и он очутится на севере, в девяноста географических градусах от своей сожительницы. Это слишком жестоко!.. Сообразив все дело, я убедился, что в настоящих отношениях земли к солнцу нечего мне напрасно и искать своей жены.

Вдруг погода переменилась. Воздух стал затмеваться некоторым родом прозрачного, похожего на горячий пар тумана, и крепкий запах серы поразил наше обоняние. Мы уже приобрели было некоторую привычку к необыкновенным явлениям и сначала мало заботились о этой перемене погоды, которая, впрочем, до тех пор удивляла нас своим постоянством. Скоро солнце сделалось тускло,

кроваво, огромно, как во время зимнего заката, и в верхних слоях атмосферы начало мелькать пламя синего и красного цветов, напоминающее собою пыль зажженного спирта. Через полчаса пламя так усилилось, что мы были как бы покрыты движущимся огненным сводом.

— Воздух горит!.. — воскликнули многие из моих соседей.

— Воздух горит!!.. — раздалось по всему хребту: — Мы пропали!

Основательность этого замечания не подлежала сомнению: воздух был подожжен!.. И не трудно даже было предвидеть, какую смерть готовила нам ожесточенная природа: мы должны были сгореть живые, дышать пламенем, видеть заживо внутренности наши сожженными, превращающимися в уголь. Какое положение!.. Какая будущность!..

Пожар атмосферы принял страшное напряжение. Вместо прежних, мелких и частых клочков пламени огонь пылал на небе огромными массами с оглушительным треском; и хотя вовсе не было облаков, дождь лился на нас крупными каплями. Но пламя удержива-

лось на известной высоте, отнюдь не понижаясь к земле. Дыхание сделалось трудным; все лица облеклись смертельною бледностью. У многих голова начала кружиться: они падали на землю и в ужасных корчах, сопровождаемых поносом и рвотою, испускали дух, не дождавшись конца представления. Смерть окружила нас своим волшебным жезлом. В течение нескольких часов большая половина спасшегося в горах народа сделалась ее жертвою, покрыв долины и утесы безобразными, отвратительными трупами. Те, которые выдержали первый ее приступ на последнее убежище скудных остатков нашего рода, были повержены в опьянение, не чуждое даже некоторой веселости. Я упал без чувств на камень.

Не знаю, как долго оставался я в этом положении, но, очнувшись, я почувствовал в себе все признаки сильного похмелья. Мои товарищи чувствовали то же, хотя из них только немногие были свидетелями моего пробуждения. Мы страдали головною болью, тошнотою и оцепенением членов и в то же время были расположены к резвости. Поселение, которо-

му я принадлежал, состоявшее только из пятидесяти человек мужчин, женщин и детей, в одно это происшествие лишилось тридцати двух душ; и мы тотчас пустились обнаруживать нашу новую и для нас самих непонятную склонность к шалостям, бросая с неистовым хохотом трупы усопших наших товарищей с обитаемого нами утеса в пропасть, лежащую у его подножия. Разыгравшись, мы хотели было швырнуть туда же и нашим астрономом, Шимшиком, и простили его потому только, что он обещал кувыркнуться три раза перед нами, для нашей потехи. Но если б Саяна попалась мне тогда в руки, я бы с удовольствием перебросил ее чрез весь Сасахаарский хребет, так, что она очутилась бы на развалинах кометы.

Вместе с этою злобною веселостью в сердце ощущали мы еще во рту палящий, кислый вкус, очевидно, происходивший от воздуха, ибо, несмотря на все употребленные средства, никак не могли от него избавиться. Но гораздо изумительнейшее явление представлял самый воздух: во время нашего опьянения он очистился от туманного пара и от пылавшего

в нем пламени, но совершенно переменял свой цвет и казался голубым, тогда как прежде природный цвет неба в хорошую погоду был светло-зеленый. Шимшик, у которого дело никогда не стало за причину, объяснил нам эту перемену тем, что, кроме плотной каменной массы ядра, комета принесла с собою на землю свою атмосферу, составленную из паров и газов, большую частью чуждых нашему воздуху: в том числе, вероятно, был один газ особенного рода, одаренный кислым и палящим началом, и он-то произвел этот пожар в воздухе, который от смешения с ним пережегся, окис и даже преобразовал свою наружность. Шимшик, может стать-ся, рассуждал и правильно, хотя он много врал, бездельник!..

Как бы то ни было, мы скоро удостоверились, что наш прежний, сладкий, мягкий, благодетельный, целебный воздух уже не существует; что прилив новых летучих жидкостей совсем его испортил, превратив в состав безвкусный, вонючий, пьяный, едкий, разрушительный. И в этом убийственном воздухе назначено было отселе жить роду челове-

скому!.. Мы с трудом вдыхали его в наши груди и, вдохнув, с отвращением немедленно выдыхали вон. Мы чувствовали, как он жжет, грызет, съедает наши внутренности. В одни сутки все мы состарелись на двадцать лет. Женщины были в таком отчаянии, что рвали на себе волосы и хлипали без умолку. Мы с Шимшиком только вздохнули при мысли, что в этом воздухе жизнь человеческая должна значительно сократиться и что людям вперед не жить в нем по пяти сот и более лет.[11] Но эта мысль не долго могла огорчать нас: в два дня мы так привыкли к новому воздуху, что не примечали в нем разницы с прежним, а смерть уже стояла пред нами в новом и еще грознейшем виде.

В горах пронесся слух, что Внутреннее море (где ныне Киргизская и Монгольская степи)[12] выступило из своего ложа и переливается в другую землю; что оно уже наводнило все пространство между прежним своим берегом и нашими горами. Выходцы, занимавшие нижнюю полосу хребта, оставив свои поселения, двинулись толпами на наши, устроенные почти в половине его высоты внутри

самой цепи. Они принесли нам плачевное известие, что подошва его уже кругом обложена морем, вытолкнутой из пропастей своих насильственным качанием земного шара, и что мы совершенно отделены водою от всего света. Тревога, беспорядок, отчаяние сделались всеобщими: можно сказать, что с той минуты началась наша мучительная кончина. Мы расстались с надеждою.

Свирепый ветер с обильным дождем и вьюгою разметал по воздуху и пропастям непрочные наши приюты и нас самих. Десять дней сряду нельзя было ни уснуть покойно, ни развести огня, чтоб согреться и сжарить кусок мяса. Все это время держались мы обеими руками за деревья, за кусты и скалы и нередко вместе с деревьями, кустами и скалами были опрокидываемы в бездны. Между тем вода не переставала подниматься, волны вторгались с шумом во все углубления и ущелья, и мы взбирались на крутые стены хребта всякий день выше и выше. Верхи утесов, уступы и площадки гор были завалены народом, сбившимся в плотные кучи, подобно роям пчел, висящим кистями на древесных ветвях.

Все связи родства, дружбы, любви, знакомства были забыты: чтоб проложить себе путь или очистить уголок места, те, которые находились в середине толпы, без разбора сталкивали в пропасти стоявших по краям утесов. Оружие сверкало в руках у каждого, и сопротивление слабейшего немедленно омывалось его кровию. До тех пор мы питались мясом спасенных нами животных, особенно лошадиным, верблюжьим и лофиодонтовым; но теперь и этого у нас не стало. Ежели кто-нибудь случайно сохранил малейший запас живности, другие, напав на него шайкою, похищали у несчастного последний кусок, нередко вместе с жизнью, и потом резались между собою за исторгнутую из чужих уст пищу. Разбои, убийства, насилия, мщение ежедневно целыми тысячами уменьшали количество горного народонаселения, еще не истребленного много ядом повальных болезней и неистовством стихий. Казалось, будто люди поклялись искоренить свой род собственными своими руками, предоставив всеобщей гибели природы только труд стереть с планеты следы их злобы.

Наконец, начали мы пожирать друг друга...

.....[13]

Личные мои похождения не много отличались от общего рода жизни выходцев в те дни остервенения и горя. Спасаясь с одной горы на другую, я потерял своего мамонта и разлучился с прежними товарищами. С тех пор блуждал я по разным толпам, к которым судьба меня присоединяла. Мы жили, как звери, вместе терзая зубами общий кусок добычи и без предварительного знакомства считая короткими знакомцами всех, принадлежащих нашему стаду, а не принадлежащих к нему — врагами, которых следовало кусать, душить и обращать себе на пищу. Но в одном из тех стад случилось со мною странное происшествие, которое дало моему быту несколько различное направление. У меня увидели десятков прекрасных, разноцветных голышей, заброшенных в наши горы каменным дождем кометы и скоро вошедших у нас в большую цену; и как я не хотел добровольно поделиться ими, то мои злосчастные ближние, удрученные несчастьем, страхом и голодом, тре-

пещущие перед лицом неизбежного рока, чуть не разорвали меня по кускам за эти милые, блестящие игрушки. Я бросил им голыши и ушел от них подальше.

Скитаясь по горам, я искал случая не приметно втереться в какую-нибудь толпу. На уступе одной горы видна была горстка народа. Она находилась в странном замешательстве, и я поспешил пристать к ней, не обратив на себя внимания. Причиной ее тревоги было неожиданное нападение огромного тигра, который из среды ее похитил одного человека. Подобные приключения случались с нами поминутно. Львы, тигры, гиены, мегалосауры и другие колоссальные звери, вытесненные из лесов и пещер водою, поднимались на горы вместе с нами: с некоторого времени они производили в наших остатках неслыханные опустошения и уже не довольствовались нашими трупами, но искали живых людей и теплой крови. Пользуясь волнением внезапно напуганных умов, я проникнул внутрь толпы, где несколько человек, стоявших полукружием, с любопытством поглядывало на землю. На земле не было, однако, ни-

чего особенного: женщина лежала в обмороке; подле женщины в обмороке стоял на коленях мужчина, который нежно держал ее в своих объятиях и освежал лицо ее водою. Я подошел поближе и, сложив руки назад, стал зевать на них наряду с прочими.

Как?.. возможно ли?.. Да, это она!..

— Саяна!.. Саяна!.. жена моя!!.. — заревел я в исступлении среди изумленных незнакомцев и, подобно голодному тигру, прыгнул издали на занимательную чету с обнаженным кинжалом в руке. Схватив за волосы нежного обнимателя, я отвалил голову его назад и вонзил в горло убийственное железо по самую рукоятку. Кровь брызнула из него ключом на коварную. Из свидетелей никто не сказал ни слова. Я, не дожидаясь объяснений, поднял Саяну на руки и помчался с нею по скату горы.

Я не сомневался, что умерщвленный мною мужчина был ее обольститель. Впоследствии оказалось противное. Настоящий друг Саяны был за несколько минут до моего прибытия похищен огромным тигром, а тот, кого принес я в жертву моей мести, не имел прежде

никаких с нею сношений и только из учтивости к женщинам старался восстановить в ней чувство. Итак, я убил его понапрасну?.. Очень сожалею!.. Не обнимай чужой жены, если ты ей не любовник!

Я продолжал нести Саяну. Она раскрыла глаза, вздохнула с тяжелым стоном и опять их сомкнула, не узнав во мне законного своего обладателя. Спустя некоторое время она произнесла томным голосом чье-то незнакомое мне имя. В ответ на незнакомое имя я хотел было бросить ее в наполненную водою пропасть, по краю которой пробирался. Я уже хотел бросить, бросить со всей силы, с тяжестью вечного проклятия на шее — и вместо того сильно прижал ее к своему сердцу... Мне суждено быть несчастным!.. Я опять был влюблен и... опять ревнив!

Таща на плечах по острым, почти непроходимым скалам бремя своих обманутых надежд, своей страсти и своей обиды, я изнемогал, обливался кровавым потом, напрягал последние силы. Я спешил за гору, надеясь там найти уединенное место; но у самого поворота увидел всю площадку утеса, образовавшего

бок горы, покрытую бурным собранием народа. Зрелище ужасное!.. Утес почти параллельно висел над ущелием, уже потопленным водою, и опасно потрясался от всякого удара волн, разражавшихся об его основание: на утесе люди в оглушительном шуме дрались, резались и терзали друг друга — за что ж? — за горстку уже бесполезной для них персти! Комета, при своем разрушении, навалила на это место слой желтого блестящего песка, о котором упомянул я выше, неизвестного на земле до ее падения; и эти безумцы, воспылав жадностью к дорогому дару, принесенному им из других миров, может быть, на погибель всему роду человеческому, кинулись на него толпами, стали копать в нем, как дети в гряде или как гиены в людских могилах, исторгали его один у другого, орошали своею кровию, скользили в крови, падали на землю и, привставая, израненные и полураздавленные, еще с восторгом приподнимали вверх пригоршни замешанного их кровию металлического песка, которые удалось им захватить под ногами у других искателей. И я, уходя от людей, нечаянно очутился среди такого разъ-

яренного алчностью и разбоем сборища!.. Я не знал, куда деваться. Опасаясь быть убитым как посягатель на сокровища, ниспосланные им судьбою, и не видя возможности иначе пробраться через площадку на ту сторону утеса, я стал карабкаться на гору повыше площадки, с кладом своим на руках; но едва пробежал шагов двести, как вдруг зыблющийся утес с людьми и с желтым блестящим песком обрушился в ущелие. Распрыснувшиеся с шумом пучины окропили меня и всю гору пеною. Камни, покрывающие горную стену, одним разом осунулись под моими стопами; я уронил Саяну из рук и полетел вниз, катясь по жестким обломкам гранита. Испуг и боль отняли у меня чувства.....

.....

Когда пришел я в себя, голова моя, вся заплесканная кровию, лежала на коленях у доброй моей Саяны. Она не оставила меня в опасности. Увидев, что, прокатясь значительное пространство, я уперся в низкую скалу на самом краю вновь образовавшегося провала, она благородно пожертвовала своим страхом для моего спасения, спустилась ко мне по кру-

тому, оборванному скату, оттащила меня от пропасти и положила в удобнейшем месте. Я не помнил ни что со мною сделалось, ни где я нахожусь. Долго не смел я раскрыть глаз по причине жестокой боли от ушибов по всем членам; но мне грезилось, будто ощущаю на челе легкий, приятный щекот робких поцелуев. Вместе с дневным светом увидел я подле себя — внизу — неизмеримую бездну с гремящими волнами, по которым носилось множество человеческих трупов, — вверху, над моим лицом, — милое лицо Саяны. Я взглянул на него без любви, с простым, холодным чувством признательности, и в то самое время две крупные слезы, капнувшие с ресниц преступницы, закипели на моих щеках. В жгучем их прикосновении я узнал огонь раскаяния, который плавит сердца и очищает их от обиды. Все было забыто: я опять любил в ней свою любовницу, невесту, жену... Но как она переменялась! Как состарелась в этом новом воздухе! Тому три недели она сияла всеми прелестями юности, красы, невинности, а теперь казалась она почти старушкою. Но нужды нет! она все еще нравилась мне чрезвы-

чайно.

Как скоро усмирилась первая боль и я мог приподняться, мы опять стали карабкаться на гору и, пособляя друг другу, достигли до одного возвышенного уступа, где решились провести ночь. Усталость и открытый в сердцах наших остаток прежнего счастья ниспослали нам крепительный сон, который застиг и оставил нас в объятиях друг у друга на жесткой каменной почве. На следующее утро я совершенно был уверен в добродетели Саяны, в чистоте ее намерений и даже в том, что в течение целых трех недель нашей разлуки она никого в свете, кроме меня, не любила. Я никак не думал, чтобы подобная уверенность могла когда-нибудь забраться в мое сердце!! Однако ж это случилось: с влюбленными мужьями, особенно во время великих переворотов в природе, иногда случаются совсем невероятные вещи.

Но пора было подумать о нашем положении. Мы были довольны нашими чувствами, но голодны желудком и лишены всякого сообщения с людьми. Ночью вода поднялась так высоко, что цепь Сасахаарских гор

была, наконец, вполне расторгнута: все огромное их здание потонуло в горных пучинах; по хребтам средних высот уже свободно катились волны, и только вершины высших гор еще не были поглощены странствующим в чужие земли океаном: они, посреди его, образовали множество утесистых островов, представлявших вид обширного архипелага или вид кладбища скончавшихся государств прежнего мира. Всякая вершина сделалась особою странною, и судьба, играющая нами, ведшая нас по взволнованной земле чрез отравленный воздух, чрез огонь, прямо в воду, как бы в насмешку над нашим политическим тщеславием, вздумала еще согнанные в кучу остатки нашего племени разделить на несколько десятков независимых народов, дав каждому из них в наймы на короткие сроки по куску гранита для устройства мгновенных отечеств. Мы удобно могли видеть все, что происходило на ближайших вершинах, в новых обществах, созданных этою жестокою игрою: мы видели людей слабых и людей дерзких; людей, искусно ползущих вверх на четвереньках, и людей прямых, неловких,

стремглав катящихся в бездны; людей, трудящихся вотще, людей, беззаботно пользующихся чужим трудом, людей гордых, людей злых, людей несчастных и людей, истребляющих других людей. Мы видели все это собственными глазами; и как теперь людей не стало, то можем засвидетельствовать, что они были людьми до последней минуты своего существования.

Гора, на которой находился я с Саяною, была высочайшая и самая неприступная во всем Сасахаарском хребте. Кроме птиц и нескольких заблудившихся животных, только мы вдвоем, и то случайно, остались ее жителями, когда она превратилась в остров. Одиночество не столько было нам страшно, сколько беспокоивал нас совершенный недостаток пищи. Первые мучения голода утолили мы листьями мелкого кустарника, росшего в одной трещине, и опять были довольны собою, довольны друг другом — даже почти довольны нашею судьбою. Надежда последними своими лучами еще раз озарила наши сердца. В дарованном нам темном и пустынном уголку жизни мы с радостью увидели светлую части-

цу будущности, рдеющую бледным огнем древесной гнили, и при этом обманчивом свете пытались еще чертить обширные планы счастья — одного предоставленного нам счастья — умереть вместе!

Объев все листья найденного нами кустарника, мы отправились искать приюта в новом нашем отечестве и не замедлили познакомиться, по-видимому, с единственной нашей соотечественницею — гиеною. Дело само по себе было ясно: или она нас, или мы ее должны были пожрать непременно. Мой кинжал решил неравную борьбу в нашу пользу: я погрузил его в разинутую пасть гиены, когда она бросилась мне на грудь, и хищный зверь сделался нашею добычею. С каким удовольствием после кустарных листьев ели мы вязкое и вонючее его мясо! Мы кормились им восемь дней и находили, что с любовью в сердце сладка и сырая гиенина.

Отыскав почти у самой вершины горы большую удобную пещеру, ту самую, на стенах которой черчу теперь эти иероглифы, мы избрали ее нашим жилищем. Дожди с сильным ново-южным ветром продолжались без

умолку, и вода все еще поднималась, всякий день поглощая по нескольку горных вершин, так, что на шестое утро из всего архипелага оставалось не более пяти островов, значительно уменьшенных в своем объеме. На седьмой день ветер переменился и подул с нового севера, прежнего запада нашего. Спустя несколько часов все море покрылось бесчисленным множеством волнуемых на поверхности воды странного вида предметов: темных, продолговатых, круглых, походивших издали на короткие бревна черного дерева. Любопытство заставило нас выйти из пещеры, чтоб приглядеться к этой плавающей туче. К крайнему изумлению, в этих бревнах узнали мы нашу блистательную армию, ходившую войною на негров, и черную нагую рать нашего врага, обе заодно поднятые на волны, вероятно, во время сражения. Море выбросило на наш берег несколько длинных пик, бывших в употреблении у негров (Новой Земли). Я взял одну из них и притащил к себе прекрасный плоский ящик, плававший возле самой горы. Разломав его о скалу, мы нашли в нем только высокопарное слово, сочиненное

накануне битвы для воспламенения храбрости воинов. Мы выбросили высокопарное слово в море. Между тем ветер подул с другой стороны, и обе армии, переменяв черту движения, понеслись на восток.

Наконец, последний остров потонул в море, и мы догрызали последнюю кость гиены. Одна лишь нами обитаемая вершина еще торчала из вздутых пучин. Итак, мы вдвоем остались последними жителями стран, завоеванных океаном у человека!.. Но берег моря уже был в пятидесяти сажнях от нашей пещеры, и мы хладнокровно рассчитывали, сколько часов еще остается нам, законным наследникам прав нашего рода, господствовать над мятежной природою. Признаюсь.....

СТЕНА IV

1

По правую сторону входа

.....

...потоп наскучил мне ужасно. Сидя голодные в пещере, от нечего делать мы начали ссориться. Я доказывал Саяне, что она меня не любит и никогда не любила; она упрекала меня в ревности, недоверчивости, грубости и

многих других уголовных в супружестве преступлениях. Я молил Солнце и Луну, чтоб это скорей чем-нибудь да кончилось.

.....

...увидели мы заглядывающую в отверстие пещеры длинную безобразную змеиную голову, вертящуюся на весьма высокой и прямой, как пень, шее. Она держала в пасти человеческий труп и с любопытством смотрела на нас большими, в пядень, глазами, в которых сверкал страшный зеленый огонь. Мы вдруг перестали ссориться. Саяна спряталась в угол; я вскочил на ноги, схватил пику и приготовился к защите. Но голова скрылась за камнями, накопленными у входа в пещеру. Мы ободрились, подошли к отверстию и с ужасом открыли пробирающегося к нам огромного плезиосаура, длиною, по крайней мере, шагов в тридцать, на четырех чрезвычайно высоких ногах, с коротким, но толстым хвостом и двумя большими кожаными крыльями, стоящими в виде двух трехугольных парусов на покрытой плотною чешуею спине. Грозное чудовище, без сомнения, выгнанное водой из своего жилища, находившегося где-нибудь на

той же горе, уронив труп из пасти, карабкалось по шатким камням с очевидным намерением завладеть нашим убежищем и нас самих принести в жертву своей лютости. Я почувствовал невозможность сопротивляться ему оружием; но тяжелые неповоротливые его движения по съезженной набросанными скалами и почти отвесной поверхности внушили мне другое средство к отпору. При помощи Саяны я обрушил на него большой камень, лежавший весьма непрочно на пороге пещеры. Столкнутая с места глыба увлекла за собою множество других камней под ноги плезиосауру, и опрокинутый ими дракон скатился вместе с ними в море.

Мы нежно поцеловались с Саяною, поздравляя друг друга с избавлением от такой опасности, и снова были хорошими приятелями; мы даже произнесли торжественный обет никогда более не ссориться.

Освободясь от незваного гостя, мы подошли к трупу, который он у нас оставил в память своего посещения. Представьте себе наше изумление: мы узнали в этом трупе почтеннейшего Шимшика! Он, видно, погиб

очень недавно, ибо тело его было еще совершенно свежо. Сказав несколько сострадательных слов об его кончине, мы решились — голод рвал наши внутренности — мы решились его съесть. Я взял астронома за ногу и втащил его в пещеру.

Этот человек нарочно был создан для моего несчастья!.. Едва приступил я к осмотру худой его туши, чтоб избрать часть, годную на пищу, как вдруг мы вспомнили о приключении под кроватью, где он, наблюдая затмение, расстроил первые порывы нашего счастья, — и опять рассорились. Саяна воспользовалась этим предлогом, чтоб поразить меня упреками. Ей нужен был только предлог, ибо она уже скучала со мною. Одиночество всегда было для нее убийственно, и потоп казался бы ей очень-очень милым, очень веселым, если б могла она утонуть в хорошем обществе, в блистательном кругу угодников ее пола, которые вежливо подали б ей руку в желтой перчатке, чтоб ловче соскочить в бездну. Я проникал насквозь ее мысли и желания и насадил ей кучу жестких истин, от которых она упала в обморок. Какой характер!.. Мучить

меня капризами даже во время потопа!.. Как будто не довольно перенес я от предпотопных капризов! А всему причиною этот проклятый Шимшик, который и по смерти не дает мне покоя!.. С досады, с гнева, бешенства, отчаяния я схватил крошечного астронома за ноги и швырнул им в море. Пропади ты, несчастный педант!.. Лучше умереть с голоду, чем портить себе желудок худою школярщиною, просякляю^{16} чернильными спорами.

Я пытался, однако ж, доставить моей подруге облегчение, но она отринула все мои услуги. Пришед в себя, она плакала и не говорила со мною. Я поклялся вперед не мешать ее горести. Мы поворотились друг к другу спиною и так провели двое суток. Приятный образ провождения времени в виду довершающегося потопа!.. Между тем голод повергал меня в исступление: я кусал самого себя.

— Саяна!.. — вскричал я, срываясь с камня, на котором сидел, погруженный в печальной думе. — Саяна!.. посмотри! вода уже потопила вход в пещеру.

Она оборотилась к отверстию и смотрела бесчувственными, окаменелыми глазами.

— Видишь ли эту воду, Саяна?.. — примолвил я, протягивая к ней руку, — то наш гроб!..

Она все еще смотрела страшно, неподвижно, молча и как будто ничего не видя.

— Ты не отвечаешь, Саяна?..

Она закричала сумасшедшим голосом, бросилась в мои объятия и сильно, сильно прижала меня к своей груди. Это судорожное пожатие продолжалось несколько минут и ослабело одним разом. Голова ее упала навзничь на мою руку; я с умилением погрузил взор свой в ее глаза и долго не сводил его с них. Я видел внутри ее томные движения некогда пылкой страсти самолюбия; видел сквозь сухое стекло глаз несчастной, как в душе ее, подобно волшебным теням на полотне, проходили туманные образы всех по порядку прежних ее обожателей. Вдруг мне показалось, будто в том числе промелькнул и мой образ. Слезы прыснули у меня дождем: несколько из них упало на ее уста, и она с жадностью проглотила их, чтоб утолить свой голод. Бедная Саяна!.. Я спаял мои уста с ее устами искренним, сердечным поцелуем и несколько времени оставался без памяти в этом положении.

нии. Когда я их отторгнул, она была уже холодна, как мрамор... Она уже не существовала!

Я рыдал целый день над ее трупом. Несчастливая Саяна!.. Кто препятствовал тебе умереть счастливою на лоне истинной любви?.. Ты не знала этой нежной, роскошной страсти!.. Нет, ты ее не знала и родилась женщиною только из тщеславия!..

Я, однако ж, и тогда еще обожал ее, как в то время, когда произносили мы первую клятву любить друг друга до гробовой доски. Я осыпал тело ее страстными поцелуями... Вдруг почувствовал я в себе жгучий припадок голода и в остервенении запустил алчные зубы в белое, мягкое тело, которое осыпал поцелуями. Но я опомнился и с ужасом отскочил к стене.

2

По левую сторону входа

Вода остановилась на одной точке и выше не поднимается. Я съел кокетку!.....

.....

15 числа шестой луны. Вода значительно упала. Несколько горных вершин опять по-

явилось из моря в виде островков.....

.....

19 числа. Море при ново-северном ветре
вчера покрылось частыми льдинами.....

.....

26 числа. Сегодня окончил я вырезывать
кинжал на стенах этой пещеры историю мо-
их походов.

28 числа. Кругом образуются ледяные го-
ры...

.....

30 числа. Стужа усиливается...

.....

Посткрипт. Я мерзну, умира...»

Этими словами прекращается длинная
иероглифическая надпись знаменитой пеще-
ры, именуемой Писанной Комнатой, и мы
тем кончили наш перевод. Мы трудились над
ним шесть дней с утра до вечера, израсходи-
вали пуд свечей и две дести⁽¹⁷⁾ бумаги, выку-
рили и вынюхали пропасть табаку, измучи-
лись, устали, чуть не захворали; но, наконец,
кончили. Я соскочил с лесов, доктор встал из-
за столика, и мы сошлись на середине пещеры.

Он держал в руках два окаменелые человеческие ребра и звонил в них в знак радости, говоря:

— Знаете ли, барон, что мы совершили великий, удивительный подвиг? Мы теперь бессмертны и можем умереть хоть сегодня. Вот и кости предпотопной четы... Эта кость жена: в том нет ни малейшего сомнения. Посмотрите, как она звонка, когда ударишь в нее мужниною костью!..

Почтенный Шпурцманн был в беспредельном восхищении от костей, от пещеры, от надписи и ее перевода. Я одушевлялся тем же чувством, соображая вообще необыкновенную важность открытий, которые судьба позволила нам сделать в самой отдаленной и весьма редко приступной стране Севера, но не совсем был доволен слогом перевода. Я намекнул о необходимости исправить его общими силами в Якутске по правилам риторики профессора Толмачева⁽¹⁸⁾ и подсыпать в него несколько пудов предпотопных метостойменней *сей* и *оний*, без которых у нас нет ни счастья, ни крючка, ни изящной прозы.

— Сохрани бог! — воскликнул доктор, — не

надобно переменять ни одной буквы. Это слог настоящий иероглифический, подлинно египетский.

— По крайней мере, позвольте прибавить десяток ископаемых окаменелых прилагательных: *вышеупомянутый*, *реченный* и так далее: они удивительно облагораживают рассказ и делают его достойным уст думного дьяка.

Шпурцманн и на то не согласился.

Я принужден был дать ему слово, что без его ведома не коснусь пером ни одной строки этого перевода.

— Но что вы думаете о самом содержании надписи? — спросил я.

— Я думаю, — отвечал он важно, — что оно драгоценно для наук и для всего просвещенного света. Оно объясняет и доказывает множество любопытных и поныне не решенных вопросов. Во-первых, имеете вы в нем верное, ясное, подлинное, доселе единственное наставление о том, что происходит в потоп, как должно производить его и чего избегать в подобном случае. Теперь мы с вами знаем, что нет ничего опаснее...

— Как жениться перед самым потопом! — подхватил я.

— Нет! — сказал доктор, — как быть влюбленным в предпотопную или ископаемую жену, uxor fossilis, seu antediluviana. Это удивительный род женщин!.. Какие неслыханные кокетки!.. Признаюсь вам, что по возвращении в Германию я имел намерение жениться на одной молодой, прекрасной девице, которую давно люблю; но теперь — сохрани господи! — и думать о том не стану.

— Чего же вы боитесь? — возразил я. — Нынешние жены совсем непохожи на предпотопных.

— Как, чего я боюсь?.... — вскричал он. — А если, женившись, я буду влюблен в свою жену, и вдруг комета упадет на землю, и произойдет потоп?.. Ведь тогда моя жена, как бы она добродетельна ни была, по необходимости сделается предпотопною?

— Правда! — сказал я, улыбаясь. — Моя проницательность не простиралась так далеко, и я вовсе не предусматривал подобного случая.

— А, любезный барон!.. — примолвил мой

товарищ, — ученый человек, то есть ученый муж, должен все предусматривать и всего бояться. Зная зоологию и сравнительную анатомию, я в полной мере постигаю несчастное положение сочинителя этой надписи. Известно, что до Потопа все, что существовало на свете, было вдвое, втрое, вдесятеро огромнее нынешнего; на земле водились животные, именно мегатерионы, которых одно ребро было толще и длиннее мачты, что на нашем судне. Возьмите же мегатерионово ребро за основание и представьте себе все прочее в природе по этой пропорции: тогда увидите, какие страшные, колоссальные, исполинские должны были быть предпотопные капризы и предпотопные неверности и... и... и все предпотопное. Но возвратимся к надписи. Во-вторых, эта надпись подтверждает вполне и самым, блистательным образом все ныне принятые теории о великих переворотах земного шара. В-третьих, она ясно доказывает, что египетская образованность есть самая древнейшая в мире и некогда распространялась по всей почти земле, в особенности же процветала в Сибири; что многие науки, как-то:

астрономия, химия, физика и так далее, — уже тогда, то есть до потопа, находились в здешних странах в степени совершенства; что предпотопные или ископаемые люди были очень умны и учены, но большие плуты и прочая, и прочая. Все это удивительно как объясняется содержанием этой надписи. Но я не утаю от вас, барон, одного сомнения, которое...

— Какого сомнения? — спросил я с беспокойством, полагая, что он сомневается в основательности моих иероглифических познаний.

— Того, что это не есть описание всеобщего потопа.

— О! в этом я совершенно согласен с вами.

— Это, по моему мнению, только история одного из частных потопов, которых, как известно, было несколько в разных частях света.

— И я так думаю.

— Словом, это история сибирского домашнего потопа.

— И я так думаю.

— За всем тем, это необыкновенная исто-

рия!

— И я так думаю.

Мы приказали промышленникам тотчас убирать лес и кости и готовиться к немедленному отплытию в море, ибо у нас все уже было объяснено, решено и кончено.

Чтоб не оставить Медвежьего острова без приятного в будущем времени воспоминания, я велел еще принести в пещеру две последние бутылки шампанского, купленного мною в Якутске, и мы распили их вдвоем в Писанной Комнате.

Первый тост был единогласно условлен нами в честь ученых путешествий, которым род человеческий обязан столь многими полезными открытиями. Затем пошли другие.

— Теперь выпьем за здоровье ученой, доброй и трудолюбивой Германии, — сказал я моему товарищу, наливая вторую рюмку.

— Ну, а теперь за здоровье великой, могущественной, гостеприимной России, — сказал мне вежливый товарищ, опять прибегая к бутылке.

— Да здравствуют потопы! — воскликнул я.

— Да здравствуют иероглифы! — воскликнул доктор.

— Да процветают сравнительная анатомия и все умные теории! — вскричал я.

— Да процветают все ученые исследователи, Медвежий остров и белые медведи! — вскричал доктор.

— Многая лета мегалосаурам, мегалоникам, мегалотеринам, всем мегало-скотам и мегало-животным!.. — возопил я при осьмой рюмке.

— Всем рыжим мамонтам, мастодонтам, переводчикам и египтологам многая лета!.. — возопил полупьяный натуралист при девятой.

— Виват Шабахубосаар!!! — заревели мы оба вместе.

— Виват прекрасная Саяна!!!

— Ура предпотопные кокетки!!!!

— Ура Шимшик!.. Ископаемый философии доктор ура!.. ура!!!!

Мы поставили порожние бутылки и рюмки посреди пещеры и отправились на берег. Я сполз с горы кое-как без чужой помощи; Шпурцманна промышленники принесли

вместе с шестами. Ученое путешествие совершилось по всем правилам.

Мы горели нетерпением как можно скорее прибыть в Европу с нашею надписью, чтоб наслаждаться изумлением ученого света и читать выпренные похвалы во всех журналах; но, по несчастью, сильный противный ветер препятствовал выйти из бухты, и мы пробыли в ней еще трое суток, скучая смертельно без дела и без шампанского. На четвертое утро увидели мы судно, плывущее к нам по направлению от Малого острова.

— Не Иван ли Антонович это? — воскликнули мы в один голос. — Уж, наверное, он! Какой он любезный!

— Вот было бы приятно повидаться с ним в этом месте, на поприще наших бессмертных открытий, не правда ли, доктор?

— Jawohl![14] мы могли бы сообщить ему много полезных для него сведений.

Около полудня судно вошло в бухту. В самом деле это был он — Иван Антонович Страбинских с своею пробирною иглою. Как хозяева острова в отсутствие белых медведей, мы встретили его завтраком на берегу. Выпив две

предварительных рюмки водки и закусив хлебом, обмакнутым в самом источнике соли — солонке, он спросил нас, довольны ли мы нашей экспедициею на Медвежий остров?

— О! как нельзя более! — воскликнул мой товарищ Шпурцманн. — Мы собрали обильную жатву самых новых и важных для наук фактов. А вы, Иван Антонович, что хорошего сделали в устье Лены?

— Я исполнил мое поручение, — отвечал он скромно, — и надеюсь, что мое благосклонное начальство уважит мои труды. Я обозрел почти всю страну и нашел следы золотого песку.

— Я знал еще до прибытия вашего сюда, что вы нашли там золотоносный песок, — сказал доктор с торжественною улыбкой.

— Как же вы могли знать это? — спросил Иван Антонович.

— Уж это мне известно! — примолвил доктор. — Поищите-ка хорошенько, и вы найдете там еще алмазы, яхонты, изумруды и многие другие диковинки. Я не только знаю, что там есть эти камни и золотой песок, но даже могу

сказать вам с достоверностью, кто их положил туда и в котором году.

— Ради бога, скажите мне это! — вскричал Иван Антонович с крайним любопытством. — Я сию минуту пошлю рапорт о том по команде.

— Извольте! Их навалила туда комета при своем обрушении, — важно объявил мой приятель.

— Комета-с?.. — возразил изумленный обербергпробирмейстер 7-го класса. — Какая комета?

— Да, да! комета! — подтвердил он, — комета, упавшая на землю с своим ядром и атмосферой в 11 879 году, в 17-й день пятой луны, в пятом часу пополудни.

— В 879 году, изволите вы говорить?.. — примолвил чиновник, выпучив огромные глаза. — Какой это эры; сиречь, по какому летоисчислению?

— Это было еще до потопа, — сказал равнодушно доктор, — эры барабинской.

— Эры барабинской! — повторил Иван Антонович в совершенном смятении от такого града ученых фактов. — Да!.. знаю!.. Это у нас,

в Сибири, называется Барабинскою степью.

Мы захохотали. Торжествующий немецкий Gelehrter, сжался над невежеством почтенного сибиряка, объяснил ему с благоклонною учтивостью, что нынешняя Барабинская степь, в которой живут буряты и тунгузы, есть, по всей вероятности, только остаток славной, богатой, просвещенной предтопной империи, называвшейся Барабиею, где люди ездили на мамонтах и мастодонтах, кушали котлеты из аноплотерионов, сосиски из антракотерионов, жаркое из лофиодонтов с солеными бананами вместо огурцов и жили по пяти сот лет и более. Иван Антонович не мог отвечать на то ни слова и выпил еще раз водки.

— Знаете ли, любезный Иван Антонович, — присовокупил Шпурцманн, лукаво поглядывая на меня, — что некогда в Якутской области по всем канцеляриям писали египетскими иероглифами так же ловко и бойко, как теперь гражданскою грамотою? Вы ничего о том не слышали?..

— Не случилось! — сказал чиновник.

— А мы нашли египетские иероглифы да-

же на острове, — продолжал он. — Все стены Писанной Комнаты покрыты ими сверху до низу. Вы не верите?..

— Верю.

— Не угодно ли вам пойти с нами в пещеру полюбоваться на наши прекрасные открытия?

— С удовольствием.

— Вы верно никогда не видали египетских иероглифов!..

— Как-то не приводилось их видеть.

— Ну как теперь придется, и вы удостоверитесь собственными глазами в их существовании в северных странах Сибири.

Мы встали и начали собираться в поход.

— Иван Антонович! — воскликнули мы еще, оба в одно слово, подтрунивая над его недоверчивостью, — не забудьте, ради бога, вашего оселка и пробирной иглы!..

— Они у меня всегда с собою, в кармане, — промолвил он спокойно. Мы пошли.

Прибыв в пещеру, мы вдвоем остановились на середине ее и пустили его одного осматривать стены. Он обошел всю комнату, придвинул нос к каждой стене, привздернул

голову вверх и обозрел со вниманием свод и опять принялся за стены. Мы читали в его лице изумление, соединенное с какою-то минералогической радостью, и толкали друг друга, с коварным удовольствием наслаждаясь его впечатлениями. Он поправил свет в фонаре и еще раз обошел кругом комнаты. Мы все молчали.

— Да!.. Это очень любопытно!.. — воскликнул, наконец, почтенный обербергпробирмейстер, колупая пальцем в стене. — Но где же иероглифы?..

— Как, где иероглифы?.. — возразили мы с доктором, — неужели вы их не видите!.. Вот они!.. вот!.. и вот!.. Все стены исчерчены ими.

— Будто это иероглифы?.. — сказал протяжным голосом удивленный Иван Антонович. — Это кристаллизация сталагмита, называемого у нас, по минералогии, «глифическим» или «живописным».

— Что?.. как?.. сталагмита?.. — вскричали мы с жаром, — это невозможно!..

— Могу вас уверить, — примолвил он хладнокровно, — что это сталагмит и сталагмит очень редкий. Он находится только в странах,

приближенных к полюсу и первоначально был открыт в одной пещере на острове Гренландии. Потом нашли его в пещерах Калифорнии. Действием сильного холода, обыкновенно сопровождающего его кристаллизацию, он рисуется по стенам пещер разными странными узорами, являющими подобие крестов, треугольников, полукружий, шаров, линий, звезд, зигзагов и других фантастических фигур, в числе которых, при небольшом пособии воображения, можно даже отличить довольно естественные представления многих предметов домашней утвари, цветов, растений, птиц и животных. В этом состоянии, по словам Гайленда,^{19} он действительно напоминает собою египетские иероглифы, и потому именно получил от минералогов прозвание «глифического» или «живописного». В Гренландии долго почитали его за рунические надписи, а в Калифорнии туземцы и теперь уверены, что в узорах этого минерала заключаются таинственные заветы их богов. Гилль, путешествовавший в Северной Америке, срисовал целую стену одной пещеры, покрытой узорчатою кристаллизациею сталаг-

мита, чтоб дать читателям понятие об этой удивительной игре природы. Я покажу вам его сочинение, и вы сами убедитесь, что это не что иное, как сталагмит, особенный род капельника, замеченного путешественниками в известной пещере острова Пароса и в египетских гротах Самун. Кристаллизация полярных снегов, оставляет еще удивительнейшее явление в рассуждении разнообразности фигур и непостижимого искусства их рисунка...

Мы были разражены в прах этим нечаянным извержением каменной учености горного чиновника. Мой приятель Шпурцманн слушал его в настоящем остолбенении; и когда Иван Антонович кончил свою жестокую диссертацию, он только произнес длинное в поларшина: Ja!!! И стал насвистывать мою любимую арию:

Чем тебя я огорчила?..^{20}

Обербергпробирмейстер 7-го класса немедленно вынул из кармана свои инструменты и начал ломать наши иероглифы, говоря, что ему очень приятно найти здесь этот негод-

ный, изменнический, бессовестный минерал, ибо у нас в России, даже в Петербурге, доселе не было никаких образцов сталагмита живописного, за присылку которых он несомненно получит по команде лестную благодарность. Во время этой работы мы с доктором философии Шпурцманном, оба разочарованные очень неприятным образом, стояли в двух противоположных концах пещеры и страшно смотрели в глаза друг другу, не смея взаимно сближаться, чтобы в первом порыве гнева, негодования, досады, по неосторожности, не проглотить один другого.

— Барон?.. — сказал он.

— Что такое?.. — сказал я.

— Как же вы переводили эти иероглифы?

— Я переводил их по Шампольону: всякой иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, или буква и фигура, или ни фигура, ни буква, а простое украшение почерка. Ежели смысл не выходит по буквам, то...

— И слушать не хочу такой теории чтения!.. — воскликнул натуралист. — Это насмешка над здравым смыслом. Вы меня обманули!

— Милостивый государь! не говорите мне этого! Напротив, вы меня обманули. Кто из нас первый сказал, что это иероглифы?.. Кто состряпал теорию для объяснения того, каким образом египетские иероглифы зашли на Медвежий остров?.. По милости вашей, я даром просидел шесть дней на лесах, потерял время и труд, перевел с таким тщанием то, что не стоило даже внимания...

— Я сказал, что это иероглифы, потому, что вы вскружили мне голову своим Шампольоном, — возразил доктор.

— А я увидел в них полную историю потопа, потому что вы вскружили мне голову своими теориями о великих переворотах земного шара, — возразил я.

— Но желал бы я знать, — примолвил он, — каким образом вывели вы смысл, переводя простую игру природы!

На что естественным образом отвечал я доктору:

— Не моя же вина, ежели природа играет так, что из ее глупых шуток выходит, по грамматике Шампольона, очень порядочный смысл!

— Так и быть! — воскликнул доктор. — Но я скажу вам откровенно, что когда вы диктовали мне свой перевод, я не верил вам ни одного слова. Я тотчас заметил, что в вашей сказке кроется пропасть невероятностей, несообразностей...

— Однако ж вы восхищались ими, пока они подтверждали вашу теорию, — подхватил я.

— Я?.. — вскричал доктор. — Отнюдь нет!

— А кто прибавил к тексту моего перевода разные пояснения и выноски?.. — спросил я гневно. — Вы, милостивый государь мой, даже хотели предложить гофрата Шимшика в ископаемые члены Геттингенского университета.

— Барон! Не угодно ли табачку!

— Я табаку не нюхаю.

— По крайней мере, отдайте мне ваш перевод: он писан весь моею рукою.

— Не отдам. Я его напечатаю, и с вашими примечаниями.

— Фу, барон!.. — сказал Шпурцманн с неподражаемою важностью, — подобного рода шутки не водятся между такими известными

ми, как мы, учеными.

На другой день мы оставили Медвежий остров и возвратились в устье Лены, а оттуда в Якутск. Плавание наше было самое несчастливое: мы претерпели сильную бурю и все время бились с льдинами, покрывавшими море и Лену. Я отморозил себе нос.

Отделавшись от Шпурцманна, я поклялся не предпринимать более ученых путешествий.

[1833]



СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГОРУ ЭТНУ

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был испанский король Барон Брамбеус...

«История о храбром рыцаре Францыле Венецияне и о прекрасной его супруге королеве Ренцывене»

С тех пор, как прибыл в Италию, я не видал ничего несноснее!.. Но полно рассуждать об антиквариях.

Итак, я приехал в Катану:⁽²¹⁾ то было в половине мая (1829). Я был очень рассеян и сам не знал наверное, зачем туда приехал. Надобно было справиться с моим дневником. Хорошо, что я исправно вел свои дневные записки: не то, в таком вихре приятных ощущений, забудешь о лучших своих намерениях. Я стал рассматривать записки моего путешествия по Италии.

«Венеция!.. Милан!..»

Это я знаю: Австрия в итальянском перево-



де.

«Парма. Я приехал сюда 15 октября и в тот же вечер влюбился в дочь моего трактирщика. Она прелестна, ловка, умна, чувствитель-

на, добродетельнейшая из трактирщиц, и проч., и проч...»

Это старые дела. Я тогда ехал прямо из Якутска и еще не знал женского сердца. Посмотрим, что далее.

«Флоренция. Я обозрел все церкви и гульбища. Какое множество прекрасных женщин! Какие глаза!.. Я влюблен в половину города...»

Нет, и это слишком старо. Вот нечто новое.

«19 декабря. Я начинаю короче узнавать Италию. Я получил записку на розовой бумаге от моей прелестной Болоньезки: путешествие мое становится весьма занимательным...»

«20 декабря. Я счастлив!.. и проч.»

«21 декабря. Я ранен кинжалом в бок, и проч...»

«26 декабря. Я видел папу, и проч...»

«1 января. Я смеялся, как потомки Брута и Катона^{22} надували нашего графа *** ова поддельными антиками, и проч...»

«25 февраля. Я обожаю бесподобную синьору Челлини, и проч...»

«25 февраля. Я сам купил чудесную голову Нерона, и проч...»

«2 марта. Я женился, в двух станциях от Неаполя, на божественной синьоре Патапуччи...»

Черт побери!.. Русские всегда женятся, не доехав до последней станции. Как же это случилось, — спросил я самого себя, — что я забыл о своей женитьбе?.. Оно, однако ж, должно быть так, что я женился: я вел свои путевые записки с чрезвычайною аккуратностью!.. Только синьора Патапуччи названа здесь божественною?.. Это никак описка. Или она в то время казалась мне такою?.. В южных климатах глаза так часто бывают подвержены оптическим обманам!.. Ну, теперь знаю, зачем я приехал в Катану. Мне было очень жарко в Неаполе и в моем супружестве: я задыхался от зноя и от домашнего счастья и желал прохладиться на Этне. В южной Италии нет другого прохладного места, кроме этой огнедышащей горы: спросите у кого вам угодно!

Я немедленно вспомнил об всех моих действиях и планах. Моя жена, синьора баронесса Брамбеус, осталась в Мессине, где род жизни и общество весьма ей понравились, а я

продолжал путешествие в окрестностях горы Этны. На пути я встретил такое множество нежных, очаровательных, огненных глаз, что растерял свои мысли и забыл даже о жене и об Этне. По-настоящему, не следовало бы позволять огненным глазам жить подле дороги, по которой проезжают женатые люди. Это большое злоупотребление, и беспорядок этого рода особенно примечателен в Сицилии. У нас он не существует.



Я не принуждал моей баронессы сопут-

ствовать мне на Этну: гора такая высокая!.. а она такая упрямая!.. и такая ревнивая!.. Как я уже приобрел некоторую опытность, то вижу, что кто хочет путешествовать с пользою для своего ума и сердца, тот не должен ни связываться с немецкими учеными, ни брать с собою жену. Для ума я странствовал со Шпурцманном по Сибири, среди великолепнейшей в свете природы и достопримечательнейших костей в природе, и мы только наделали глупостей. Я был с женою в Неаполе, где столько находится предметов для всякого рода сердечных упражнений, и она, в бешенстве, дважды уколола меня булавкою до крови за то, что я восхищался прекрасным. То ли дело блуждать одному по роскошной Сицилии, у подошвы страшного волкана, среди живописных видов и смазливых сицильянок!.. Я здесь не открываю мамонтовых клыков, ни мегатерионовых челюстей в четырнадцать аршин длиною, не наблюдаю верхом на хромой лошади любопытных нравов бурят и тунгузов; но зато еду в коляске по лаве, мчусь по плодородной почве, переложенной изящными скелетами прекраснейших женщин в мире, и об-

мениваюсь улыбками с розовыми ротиками, сладко скалящими жемчужные зубки, стоя на холодном прахе своих, некогда столь же пламенных и столь же розовых, прабабушек. Какой неисчерпаемый предмет размышлений!.. Вот где можно образовать свое сердце и потом возвратить его жене доведенным до совершенства.



И как теперь никто мне не мешает, никто не сбивает меня с толку теориями великих переворотов земного шара и не колет в бок булавкою за приветствия пригожим его обитательницам, то я опишу вам огнедышащую гору Этну, на которую восходил с одним шве-

дом; но опишу с условием, что вы прочитаете меня до конца, хотя бы вам было и очень скучно, что будете крепко держать книгу, чтоб не проглотить ее, зевая, что будете спать и читать, храпеть и читать со вниманием. Это необходимо для успехов нашей словесности и для поощрения хороших писателей.

Я повстречался с моим северным приятелем, шведом, в Катане. Граф Б***, финляндский уроженец, был знаком мне еще по Петербургу, где, помнится, однажды обыграл я его в карты. Одним словом, мы были с ним старые, испытанные друзья. Он ехал на Этну, чтоб немножко разогреть свое воображение; я — чтоб прохладить мое сердце: мы очевидно стремились к одной и той же цели и потому условились отправиться туда вместе. Граф путешествовал с какою-то премиленькою синьорою, которая не знала другого языка, кроме итальянского, и которую, однако ж, называл он своею сестрою. Это могло быть правда: финны обыкновенно бывают в близком родстве с итальянцами.

Мы наняли лошаков и 20 мая пустились в путь по дороге в Николози. Этна уподобляется

колоссальному шатру, раскинутому на всей почти поверхности острова, и окончивается высоким конусом, из которого восстают два острые рога, образующие две его вершины. Меж этими рогами лежит пасть волкана, круглый глубокий бассейн, похожий на огромную яму, на дне которой находятся жерла, испускающие вечный дым и пламя. К несчастью, во время нашего посещения все жерла оставались в бездействии, и жители Катаны уже несколько недель сряду не примечали ни малейшего следа дыму, что у них почитается признаком скорого и сильного извержения. Мы очень сожалели, что не увидим, каким образом дым струится внутри пасти.

Этна, как известно, принадлежит к числу высочайших гор в Европе, имея прямой высоты над поверхностью моря около трех верст или 1500 сажен. Она разделяется на четыре полосы: плодородную, лесистую, бесплодную и огненную, или конус, составленный из пепла и скорий.^{23} Но и это все известно. Плодородная почва, на которой рождаются апельсины, лимоны, виноград, винные ягоды и пламен-

ные сердца, начинается в Катане: мы проехали ее в три часа, и около полудня прибыли в грязный, но живописный городок Николози, лежавший уже на ее рубеже.

Мой товарищ сделал в плодородной полосе пропасть любопытных наблюдений; я не заметил в ней ничего особенного, кроме прелестной ножки у нашей сопутницы. Ножка поистине была достойна примечания.

В Николози мы взяли в проводники известного Антонио, одного из опытейших путешественников на Этну. Граф Б***, запасшийся в Катане рекомендательным письмом к дону Джемелларо, немедленно отправился к знаменитому натуралисту. Он всячески хотел утащить меня с собою, но я произнес клятву в Якутске никогда более не иметь дела с натуралистами и предпочел остаться в трактире с мнимою его сестрицею. Тогда как он рассуждал о жерле Этны с итальянским любителем природы, мы с синьорою рассуждали о женском сердце. Разговор коснулся различных родов любви, употребительных в сем свете: я заметил, что она обладает обширными познаниями!

Не многого мне стоило искусно осведомиться обо всем, касающемся до моей ученой и прекрасной собеседницы. Она была родом генуэзка, даже очень хорошей фамилии, и оставила мужа, чтоб иметь удовольствие путешествовать с моим белокурым приятелем. Итак, финны, — подумал я себе, — уже принимают сентиментальные путешествия на огнедышащие горы!.. Постой же, любезный! Финляндия навсегда соединена с Россией тесными, неразрывными узами: все наши дела и чувства должны быть общи. Сердце, покоренное чухонским оружием, в известной части принадлежит и мне, как единственному представителю России на плодородной полосе волкана.

— Граф уверяет меня, — сказала Джюльетта, улыбаясь, — что Финляндия по своей красоте может быть названа второю Италиею!..

— Без сомнения! — воскликнул я серьезно. — Это настоящая ледовитая Италия. Там даже есть своя Этна, гораздо величественнее здешней, с огромным жерлом в виде кренделя, которое вместо огня и дыму извергает вечный столб снега.

Синьора ужаснулась.

— Но вы, по крайней мере, согласитесь, — примолвила она, — что шведский язык очень мил и приятен для слуха?..

— И вы, сударыня, верите, — отвечал я с жаром, — что на свете есть шведский язык?.. Шведы чрезвычайно самолюбивы, боятся, чтобы в Европе не называли их чухонцами, и всеми мерами стараются дать уразуметь другим народам, будто они совсем другого происхождения и даже имеют особый язык. Но я, долго живя в Петербурге, убедился, что так называемый шведский язык есть только мистификация. В присутствии иностранца шведы нарочно произносят нараспев разные произвольные звуки, сопровождая их жестами, чтоб заставить его подумать, что они разговаривают между собою на своем отечественном языке, и признать, что их язык очень сладок и благозвучен; но, полепетав таким образом несколько времени, они принуждены удалиться от вас к окошку и там объяснить почухонски, что такое хотели сказать друг другу.

Синьора Джульетта вскричала, что она

никогда не думала, чтобы шведы были такие обманщики, и что после этого итальянки не должны верить им ни в одном слове. Я подтвердил справедливость ее заключения, наблюдая с удовольствием, как белокурый образ моего приятеля теснился в ее сердце, чтоб очистить уголок места для дорогого гостя. Мы долго смеялись и шутили. В заключение она объявила мне с улыбкою, что по соображении всех обстоятельств Финляндия — край скучный и несносный, и что в России должно быть гораздо теплее и веселее.

Граф Б*** возвратился. Синьора надулась.

Все путешествия на Этну, ученые и сентиментальные, совершаются ночью. Итак, мы оставили Николози по закате солнца, взяв с собою десять пар новых башмаков и тридцать бутылок старого вина. Проехав небольшое пространство, заросшее кактусом и можжевельником, мы вступили в лес, состоящий из дубов, платанов и каштановых деревьев непомерной высоты и толщины. Многие из них, без сомнения, современны рождению самой Этны. Почва, на которой они гордо прозябают, презирая бушующие над ними огнен-

ные бури, прорыта глубокими и опасными оврагами по всем направлениям; слетевшие сверху потоки пламенеющей лавы вылили на ней в разные веки из расплавленного камня множество странных черных, искривленных, уродливых скал и утесов или внезапно застыли сами среди сожженных и опрокинутых деревьев, удержав навсегда вид грозных, неподвижных волн. Луна, неразлучный карманный фонарь всех странников, издающих в свет описание путешествия своего на Этну, освещала бледным погребальным блеском эту таинственную картину вечной жизни и вечного разрушения, и мы, дремля на мулах, томно пробирающихся по краям пропастей, не раз со страхом считали себя окруженными толпою лютых чудовищ, готовых пожрать нас с бутылками и башмаками на половине пути до конуса. Синьора Джульетта на всяком шагу примечала где-нибудь в лесу то черта, то дракона и, пронзительно вскрикивая от испуга, прислонялась к моему плечу — что весьма не нравилось общему нашему приятелю, шведу, который, как лютеранин, не верил ни в драконов, ни в чертей, ни в постоянство

женского сердца.

В одиннадцать часов ночи достигли мы первого роздыха у так называемой Козьей пещеры, Grotta di capri. Сошед с мулов, мы уселись рядком на разостланных плащах под сению величественного платана; но как скоро развели огонь в пещере, граф Б ***, который уже дрожал от холода, тотчас проник в низкое ее отверстие, приглашая Джюльетту и меня последовать его примеру. Нам очень хорошо было под деревом. Я сказал, что с некоторого времени терпеть не могу пещер и прошу его наперед осмотреть все стены и удостовериться, нет ли там иероглифов или сталагмитов, которых боюсь пуще смерти. Не понимая моей ненависти к священным письменам Египта, швед острился над моими причудами и звал к себе Джюльетту; но милая генуэзка отвечала ему с простодушием, способным обмануть всю Швецию и Норвегию, что она тоже страх боится иероглифов, которые, как слышно, водятся во множестве по здешним пещерам и укушение которых бывает весьма опасно. Я захохотал, — эти итальянки такие невежды!.. они знают одну только науку, лю-

бовь; а мой товарищ сморщил чело, как поток охолодевшей лавы, и начал шевелиться в пещере. Он, по-видимому, нашел эту отговорку весьма подозрительною, ибо немедленно вылез из пещеры и сел между мною и Джульеттою, чтобы своим ледовитым присутствием разграничить симпатическое наше отвращение к иероглифам. Я слышал, как Джульетта горестно вздохнула по ту сторону финляндских снегов, и в ответ перекинул ей через шляпу нашего угрюмого соседа свой скомканный шариком вздох.

Мы недолго пробыли в этом месте. Поднимаясь выше и выше по крутой тропинке, мы скоро ощутили пронзительный холод бесплодной полосы волкана и не раз принуждены были прибегать к защите бутылки. Граф Б*** погонял пинками лошака Джульетты, чтоб заставить его следовать непосредственно за Антонию, а меня старался задом своего мула отбросить в тыл избранной им оборонительной позиции у хвоста скотины своей подруги; но упрямые животные беспрестанно ломали его стратегическую линию, и не знаю, каким образом мой мул поминутно обтирал-

ся о мула нашей спутницы. Это весьма затрудняло поход. Швед бесился, Джюльетта смеялась, я сваливал всю вину на глупость итальянских скотов, а наш путеводитель Антонио усердно увещевал нас держаться одного и того же порядка шествия, если не желаем где-нибудь очутиться в пропасти.

В два часа пополудни, утомленные и проникнутые холодом, остановились мы в известном английском домике, Casa Inglese, где поужинали и несколько уснули. Выступив на заре в дальнейший путь, после небольшого, но затруднительного переезда по краю страшного оврага, заваленного застылыми волнами лавы, мы благополучно достигли до конуса. Тут мы оставили лошаков, надели сицилийские шляпы с широкими полями, запаслись живностью и, взяв длинные шести в руки, начали карабкаться по крутой покато-сти, покрытой толстым слоем пепла. Это была самая опасная и самая занимательная часть нашей прогулки. Страх овладел нами. Пепел беспрестанно осыпался под нашими ногами, увлекая с собою раздавленные скории, которые с грохотом катились в бездны. По причи-

не крайней редкости воздуха дыхание в груди происходило с чувствительною болью, кровь волновалась, сердце билось сильно, как в горячке. Граф Б*** почувствовал тошноту и должен был прибегнуть к пособию Антонио, который повел его под руку, тогда как впереди синьора Джюльетта, подобие легкой газели, храбро взбиралась одна на конус, и я, следуя за нею, вежливо поддерживал рукою тонкие ее ножки, которые скользили по рыхлой золе и, при всяком вступлении, обнаруживали круглые, изящные, пленительные икры. Мой приятель, несмотря на тошноту и кружение головы, весьма проворно ронял конец своего шеста прямо на мою руку, всякий раз, как я подставлял ее под ножки Джюльетте, и, вероятно, читал по-шведски молитву, чтоб она у меня отсохла. Но мы смело поднимались вверх, а он принужден был остановиться, чтоб перевести дух и собраться с силами.

Наконец, ловкая итальянка и я за нею вскочили на узкий рубеж пропасти. В Николози уверяли нас, что в этом месте почва конуса так жарка, что в четверть часа обувь стораёт совершенно; но, прибыв к жерлам, кото-

рые уже с лишком полтора месяца оставались в бездействии, мы нашли ее почти холодной и стояли на ней без всякого неудобства. Желая в полной мере насладиться плодом нашего терпения и отваги, мы приостановили все порывы восторга и ужаса, пока наш приятель до нас доползет, чтобы общими силами произнести восклицание, достойное нас и открывшегося перед нами зрелища. Между тем сильный порыв ветра чуть не сдул нас с зыбкого кряжа. Джюльетта ухватилась за меня обеими руками; я одною рукою обнял ее талию, а другою оперся на шест, глубоко завязший в пепле, и в этом романическом положении ожидали мы нашествия шведа, который был еще в тридцати шагах от нас. Но он тащился медленно, и Антонио кричал нам издали, чтоб мы не стояли на ветре, который может унести нас в жерло. Мы уселись.

Прежде всего, мы посмотрели друг другу в глаза — я нашел этот вид очаровательным, и синьора Джюльетта была очень довольна моим мнением, — потом мы оглянулись кругом себя и остолбенели. Под нашими ногами, с од-

ной стороны, лежало мрачное преддверие ада, черное, страшное, бездонное, в которое малейшая неосторожность могла ниспровергнуть нас безвозвратно; с другой, в неизмеримой глубине расстилалась земля с городами, селениями, горами, островами и огромным морем, облитая розовым светом возникающего из хрустальных вод солнца. Здесь нет ничего земного! Джульетта заметила со вздохом, что мы уже сидим на небе, а не на земле, и что наша планета так точно должна быть видна из высокой обители блаженных. Я согласился с ее замечанием, но советовал еще немножко погодить с восхищением, чтобы всем троим вместе произвести один сильный, громовый залп высокопарных возгласов, который бы впоследствии времени изумил, потряс, разбил в пух наших читателей и дал им понятие о том, что такое значит побывать на Этне. Между тем я просил синьору Джульетту позволить переменить ей башмаки, изорванные ходьбою по едкой золе конуса. Граф Б*** уже был довольно близко и отдыхал в пяти или шести шагах от кряжа пасти. Она сделала несколько положенных на подобный

случай церемоний; потом, вынув пару новых башмаков из мешочка, отдала в мое распоряжение обувь и кончик своей ножки. Я требовал гораздо обширнейшего поля для моих действий. Наступили жаркие переговоры. Всякий дюйм прекрасной стопы был защищаем ею весьма искусно и оспариваем мною со всею силою будуарного красноречия, перед которым робкий рубчик гроденаплевой^[24] юбки отступал назад более и более, пока с общего согласия не определили мы нейтральной линии в половине высоты ножки. Наш приятель сердито бормотал какие-то протяжные слова по-шведски. Джюльетта вдруг расхохоталась при мысли, что он опять морочит ее шведским языком, тогда как теперь она знает с достоверностью, что это только комедия, сочиненная народною слабостью шведов, и я, снимая старую обувь, пустился хохотать заодно с нею. От вымышления Этны никогда двое сумасшедших не представляли на краю ужасной ее пасти такой веселой и забавной сцены.

Мы подлинно были в небе. Я держал на ладони нежную стопу обворожительной итальянки и, разглаживая пестрый шелковый

чулок, собирався надеть ей первый башмак, как кто-то бессовестно толкнул меня сзади, и я поехал на куче пепла внутрь бассейна, с дамским башмаком в руке.

Джюльетта вскрикнула: «Ах!!!»

Швед произнес нараспев: «Из-ви-ни-те, любез-ный ба-рон!..»

Но это нисколько не удержало меня. Я катился лавиной по крутой стене роковой пропасти с сугробом пеплу и металлических накипей, хватаясь за скории, которые раздроблялись в горсти, и за торчащие глыбы серы, которые мгновенно обрывались. Наконец, уперся я грудью об одну неровность. Антонио, граф Б*** и Джюльетта были в отчаянии. Я слышал их крик, но уже не разбирал слов, ибо, нечаянно заглянув через неровность, увидел подле себя грозное жерло, дышущее на меня смрадною адскою тьмою. Объятый ужасом, я не смел более оглядываться кругом себя и лежал в оцепенении.

Скоро усиленный крик моих спутников исторг меня из этого опасного состояния. Я приподнял голову и увидел, что они бросают мне веревку. По несчастию, конец ее упал в

нескольких аршинах над моею головою. Скрепясь духом, я тронулся с места и осторожно пополз вверх, погружая руки в золу по локоть, чтоб найти более опоры. Наконец, достиг я до веревки, которую мог уже достать рукою; но, хватая конец ее, я приподнялся; вся тяжесть тела, сосредоточенная прежде в груди, пролилась в ноги, худо укрепленные на шаткой поверхности; напертая ими зола вдруг осыпалась подо мною, и я опять полетел вниз. В этот раз не спасла меня и неровность, у которой я остановился было незадолго пред тем. Я обрушил, увлек ее с собою, и с облаком поднятой моим падением пепельной пыли, провалился в жерло. Прощай, земля!.. прощай, солнце!.. Вот что значит пускаться со шведами в сентиментальное путешествие на Этну.

Невозможно определить, как долго летел я в бездонном горле волкана: без чувств, без мысли, без памяти я мчался вниз, подобно камню, с быстротою, увеличивающеюся в содержании квадратных чисел расстояния, как то всякому должно быть известно. Вдруг я очнулся каким-то образом. Чувствуя, что мое те-

ло находится в странном, непонятном для меня положении, я стал рассуждать о том, что такое теперь делаю. Ощупью и соображением разных обстоятельств я скоро приобрел достоверность, что уже не лечу, а вишу горизонтально: полы моего сюртука задели за острый рог скалы, торчащей из стен жерла, и удержали дальнейшее мое падение. Судите ж сами о чувствах, растерзавших мою душу в ту минуту!.. Я заплакал. «Итак, мне суждено было висеть горизонтально!.. — подумал я, схватясь с отчаянием за волосы. — Я должен медленно душиться в этом жарком, мрачном, пресыщенном серою воздухе; задохнуться, прокоптиться в дымной трубе Этны, как окорок, высушиться, как треска, и при первом извержении быть сожженным и выдутым сквозь пасть вулкана на землю, как табачная зола из выкуренной трубки сквозь длинный турецкий чубук!.. И всем этим обязан я старому, испытанному другу! Эти шведы ревнивее самих турок!..»

При воспоминании о шведах негодование вспыхнуло в моей груди так сильно, что, как я полагаю, столб его брызнул с треском и мол-

ниями гнева выше самого жерла Этны, и мои спутники, оставшиеся на ее вершине, без сомнения, бегом ушли с конуса, побоявшись взрыва лавы и землетрясения. Я всплеснул руками и закричал горизонтально: «Ах, если б я скорее был выброшен отсюда, и мои кости посыпались градом на голову этому беловолосому обольстителю итальянок!.. Ах, если б каким-то чудом мог я еще возвратиться живым на землю!.. Ей-ей, прямо с Этны я помчался бы на перекладных в Финляндию, разорил бы всю Мурманскую землю, переломал бы все крендели, произвел бы ужасное опустошение, утопив всех шведов в одном стакане воды, всех молодых шведок пригнал бы полоном в Петербург быть у меня ключницами и кухарками!.. Я возобновил бы там великие времена Новгородской республики...»

Едва произнес я три первые слога последнего слова, мечась в исступлении, как вдруг оборвался и опять полетел в бездну. Подземный воздух, потрясенный моим криком, ревел оглушительным эхом, которое, катясь в пустоте пещерных недр горы, подобно длинному грому, ломало хрупкие пристройки из

перегорелой серы и среди грохота разрушения различными тонами повторяло последнюю мою фразу. В продолжение бесконечного моего падения ближайшие пещеры степенного итальянского вулкана с негодованием изрыгали на меня брошенные в них моим отчаянием легкомысленные звуки: «Республи!.. Респу!.. Республи!..» — и хриплые их отголоски, переливаясь в другие подземелья, распространяли тревогу по всему подземному зданию. Казалось, могучая Этна затрепетала гневом, услышав одно лишь начало этого неблагоприятного слова; и полагая, что в нее как раз провалился беспокойный карбонари, который внутри ее хочет заводить республики, ниспровергать вековые законы извержений, ограничивать бюджетом отпуск лавы и производить землетрясения по большинству закрытых баллов, решила немедленно проглотить мятежника, сварить его в огненном своем желудке и выбросить горлом на землю. «Неужто кто-нибудь, — подумал я в испуге, — не расслышав моего монолога, сделал на меня ложный донос могучей Этне!..» Я ожидал для себя этой участи, однако мои опасения не

сбылись. Я опять уцепился платьем за скалу. Повисев на ней несколько секунд, я упал задом на теплую золу, лежавшую тут же под нею.

Судьба, неожиданно ниспослав мне столь безвредное падение, не хотела довершить своего благодеяния и не дала даже опомниться. В то же мгновение я начал скользить с кучей золы по какой-то крутой покатости. Никакое усилие не могло остановить этого движения, которое, напротив, ускорялось по мере пройденного пути. Наконец, я помчался так быстро, что у меня занялось дыхание и голова начала кружиться. Можно полагать, что таким образом я проехал десять или двадцать верст по тесному косвенному подземелью, свод которого часто обтирался о мою голову и засыпал мне глаза пылью присохшей серной пены, превращавшейся в порошок от малейшего прикосновения. По сторонам во многих местах тлел огонь, освещая бледным блеском огромные пещеры или выгоревшие в земле пустоты, которыми путь мой был окружен отовсюду. Внутренность Этны уподобляется лесам, воздвигнутым под куполом большого

храма: она состоит из толстых кривых столбов и поперечных перегородок, образующих между ними уродливые аркады, своды, навесы и бесчисленные ярусы пещер, расположенных неправильно, набросанных одни на другие в адском беспорядке. Это кузница и плавильня вулкана. В этих исполинских очагах вырабатывается лава, когда внутренние терзания планеты намечут в них горы минеральной массы с серою и горючими газами через боковые проводы, нисходящие внутрь земли, подобно корням дерева, по всем направлениям и до неизмеримой глубины. Крутая покатость, по которой я спускался, по-видимому, принадлежала к числу этих боковых проводов.

Продолжая поездку мою задом в недрах огненной горы, я нашел довольно времени для размышления о своей плачевной судьбе. «Неужели я так жестоко наказан за неверность жене?..» — спрашивал я самого себя — и моя совесть отвечала, что этого быть не может, ибо, во-первых, ни в каком Собрании Законов нет такого указа, чтобы неверных мужей бросать в Этну, а во-вторых, намерения

мои были чисты, добродетельны: я хотел только покорить сердце этой гемуэзки и потом повергнуть его к стопам моей супруги в знак преданности и уважения. Что же тут предосудительного?.. Все мое несчастье, что на свете есть ревнивые шведы, которые путешествуют с чужими женами!.. Ах, если б, по крайней мере, синьора Джюльетта провалилась в жерло вместе со мною?.. Как бы мы здесь весело ехали с нею по этой теплой золе.

Этот бесконечный спуск вдруг пресекся, и я, с кучею пепла, свалился в глубокую яму, дно которой в то же время раздробилось под мною с треском, разославшим страшные отголоски по смежным пещерам. Я упал в другую яму, гораздо глубже первой, где уже совершенно лишился чувств. В этом полумертвом состоянии я, вероятно, пробил собою своды и многих других выдолбленных подземными пожарами пустот, которые большею частью разделены между собою тонкими перегородками из хрупкого, пережженного в уголь минерала; но уже не помню, что со мною делалось далее. В уме моем сохранилось одно только неясное, лихорадочное воспоминание,

что после жестоких потрясений тела многократными падениями повергся я в летаргический сон, в котором, как теперь соображаю, пробыл очень долго.

Проснувшись, я ощущал мучительную тошноту. Голова трескалась от боли. Я ни о чем не думал. Мне только грезилось, как в горячем, удушливом сне, что я нахожусь где-то в земле. По временам мне приходило на мысль, что, вероятно, я умер и лежу в могиле. В самом деле, я лежал в какой-то узкой яме, как в мешке, и не мог даже повернуться. Хотя уже я не думал о жизни, но в таком неудобном положении не согласился бы ночевать и в могиле. После многих усилий успел я встать на ноги и прислонился к стене ямы. Воздух здесь казался сырым, и простое прикосновение удостиловерило меня, что земля состоит из крупного песку. Тогда только я вспомнил, что прежде валялся в золе и дышал жарким воздухом. Вдруг навернулась мне на ум Этна; но я не мог отдать себе отчета, в каком соотношении была она с настоящим местом моего пребывания, и скорее стал думать о том, что мне хочется есть. В этом не

сомневался я нимало. Невольное влечение, которым мудрая природа одарила наши руки лезть во всех затруднительных случаях в свои, а иногда и в чужие карманы, довело меня до неожиданного открытия: я нашел у себя пару жареных цыплят и большой кусок па-лермского сыру. Не входя в разбирательства, откуда они происходят, я немедленно истребил голодными зубами половину своего запаса. Мне стало немножко легче.

По мере того, как желудок наполнялся пищею, мысли толпами стекались в мою голову. Мало-помалу я сообразил умом, огрызая вторую ножку цыпленка, что это быть не может, чтоб я был похоронен в этой яме законным образом, на точном основании правил врачебной управы. Я не помню, чтобы наперед высосали из меня половину крови пиявками и начинили меня зельями и порошками; около меня нет ни гроба, ни досок, а в моих карманах водятся сыр и жаркое. Яма, по-видимому, далеко простирается вверх надо мною. Чтоб узнать местоположение, я решился вылезти из нее и стал подниматься вверх, упираясь в стены спиною и коленами.

Я уже вскарабкался было довольно высоко, когда в одном месте песчаная стена подалась назад от сильного давления спины. Я уперся покрепче. Стена внезапно выломалась большим куском, и я, перекувыркнувшись вверх ногами в пробитом отверстии, упал всем телом в какое-то пустое пространство, смежное с ямой. Песок засыпал меня почти всего с головою. Я ушиб ногу, однако ж бодро вылез из песку, с твердым намерением тогда лишь предаться в руки неумолимому року, когда съем второго цыпленка и последнюю крошку сыру. Я распростер обе руки: место казалось довольно обширным. Я прошелся несколько раз взад и вперед. — Слава богу!.. вот моя могила: по крайней мере, здесь просторно гнить по смерти. — Я пустился расхаживать по новому моему жилищу, ощупывая руками его пределы. В одном углу мне показалось, как будто наступил я на доски. Не веря своим подошвам, я попробовал рукою. — В самом деле, это доски!.. Они шатки, слабо приколочены; за ними, без сомнения, есть пустое место. — Я сел подле досок для удобнейшего размышления о том, что делать и где могу находиться.

Теперь я совершенно убедился, что разгуливаю где-нибудь внутри кладбища. — Итак, я забрался в сырое царство покойников!.. Это уж наверное гроб!.. Туда нечего и пытаться: я забьюсь еще глубже в землю. Ежели здесь близко есть живые люди, то они должны быть над моею головою, а не под моими ногами...

Тогда как таким образом рассуждал я с самим собою, звуки глухой отдаленной музыки приятно потрясли мой слух. Я затрепетал от радости, хотя не мог постигнуть, что это значит. — Где же наконец нахожусь я?.. — По зрелом соображении я принужден был заключить, что если я не покойник, то уж по крайней мере сумасшедший или заколдованный. Однако ж музыка не утихала, и чем более я прислушивался, тем яснее убеждался, что она происходит из-за досок. — Так и быть! надо их выломать. — Я вскочил на ноги, стал на одну доску, начал прыгать на ней изо всей силы. Она упала, сопровождая свое движение звонким шумом, похожим на стук падающих и ломающихся бутылок. — О, в этом кладбище мертвецы живут славно!.. — подумал я се-

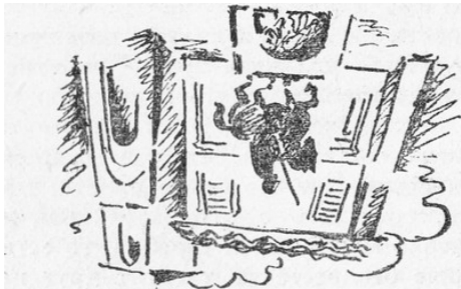
бе: — у них есть музыка и бутылки. — С отвалением первой доски звук инструментов слышался еще вразумительнее. Я стал на другую доску и чуть подавил ее ногами, как она тоже обрушилась с треском, и я стремглав полетел в новое подземелье, где, падая опять на какую-то дощатую настилку, вышиб часть ее грудью и неожиданно очутился по ту сторону преграды в ярко освещенной атмосфере. Но в то же мгновение свет исчез пред моими глазами, над головою раздался пронзительный крик как бы испуганной женщины, и мое лицо, грудь и плечи были накрепко приколочены к той же настилке навалившеюся на меня тяжестью странного рода — широкою, мягкой, теплою — которая зажала мне рот и пресекла дыхание. Кто-то, казалось, сидит на моем лице, и еще кто-то...

Но для ясности рассказа я должен несколько опередить события. Чтоб получить точное понятие о моем приключении, надобно прибегнуть к пособию «Умозрительной физики» г. академика В***^{25} и постигнуть, каким образом и из чего составила земля в то время, когда ее не было на свете. Вот, извольте ви-

деть: магнетизм положительный, сочетаясь с отрицательным, произвел золото, или начало мужское, и серебро, то есть начало женское, которые беспрестанно тяготят друг на друга; а как благородные металлы представляют свет в тяжести, как субъект в объекте, и суть равны воде, изъявляющей субъективную тяжесть в объективном недоумении, и как, с другой стороны, магнетизм образует тяжесть в свете как беспредельное идеальное в ограниченном реальном, коих обратный способ явления совершает электризм, то от соединения всех этих предметов в субъективном беспорядке произошли когезивная линия и хаос [15] *и вот почему наша земля в середине пуста!*.. Это чрезвычайно ясно. Из этого следует, что так называемый земной шар есть настоящий пузырь, составленный из плотной скорлупы, которая имеет не более десяти или пятнадцати верст толщины, и внутри надутый ветром, то есть попросту воздухом. Внутренняя поверхность этой скорлупы совершенно похожа на внешнюю — зелена, усеяна горами, лесами и озерами, имеет свои моря и реки и населена людьми, животными, птица-

ми, червями и устрицами, точно так же, как у нас, на лицевой стороне шара. Влезьте в земной шар — влезть и вылезти можете вы очень легко посредством умозрения — и взгляните на внутреннюю поверхность его корки; потом высуньте голову из планеты и посмотрите на внешнюю поверхность, и вы не заметите никакой разницы между ними: подумаете, что первая есть только оттиск второй. И в самом деле, это род оттиска: предметы все те же, и здесь, и там, но расположение их обратно. Здесь, сверху, на земле, видите вы города, памятники, кабаки — там, снизу, под землю, — кабаки, памятники, города; здесь люди живут, движутся, суетятся, врут, женятся, скучают, читают и спят — там они спят, читают, скучают, женятся, движутся, врут и живут. Оно все то же. Одно только разительное, существенное различие, что тамошние люди, в отношении к нам ходят головою вниз, как у нас мухи по потолку, и что их дома построены фундаментом вверх, вот именно так:

Словом, это тот же свет, только вверх ногами; или свет дном-к-свету; или, сказать яснее,



наш свет наизнанку; или, еще яснее — пре-
странное дело!!. Уж вразумительнее этого
растолковать я не в состоянии.

Довольно, что я, давно вам известный ба-
рон Брамбеус, столкнутый ревнивым шведом
в жерло Этны, обрываясь со скалы на скалу,
скользя задом по охладевшим огнепроводам,
разными излучистыми путями из пещеры в
пещеру, из одной ямы в другую, проникнул
сквозь всю скорлупу земного шара и упал в
погреб того света, находившийся под домом
загородной дачи, а в погребу моим падением
выломал квадрат паркета, служившего потол-
ком ему и полом зале. Дача принадлежала од-
ной значительной саном и дородной телом
даме, весившей шесть пуд и пятнадцать фун-

тов; коротко сказать, одной барыне ногами-верх, подземной губернаторше. Она тогда, с помещиками своей области, танцевала кадрили на погребении мужа; и так случилось, что в то самое время, как в честь покойнику делала она высокие антр-ша, я нечаянно высунулся сквозь паркет из погреба в залу. Все это весьма понятно тем, которые учились «Умозрительной физике».

Но я затолковался о теории внутреннего устройства земли и совершенно забыл о моем положении. Вспомните только, что толстая хозяйка давно уже сидит на мне; что я ничего этого не знаю и что рот у меня зажат мягкой, теплою и широкою тяжестью. Она кричала: «Ай!.. Ах!.. Ай, ай!.. вор!.. изменник!.. разночинец!..» — Я хотел отвечать: «Извините, сударыня: вы меня обижаете!..» — Но мой голос вспыхивал и гаснул в груди без звука, как порох на загвозженном запале. Я задыхался и гневно шевелил головою; но чем более делал движения, тем сильнее она жала меня коленами, душила и кричала. Мне было хуже, чем в пасти волкана. С отчаяния я укусил мягкую тяжесть, наполнявшую мой рот непроница-

емым для воздуха и голоса веществом. Моя неумолимая притеснительница завизжала: «Ах!.. Змей!.. кусается!..» — и, вскочив на ноги, упала в стоявшие поблизости кресла.

Я освободился; но с устранением тяжести, которою доселе был прикован к полу опрокинутого дном вверх света, мое тело, привыкшее тяготить к центру земли, вдруг отторгнулось от паркета, и я полетел на потолок залы, о который чуть не раздробился в мелкие куски. По счастью, я не пробил его собою. Опомившись от испуга, я оборотился лицом к зале и сел на потолке. Все расхаживавшее по полу собрание, приведенное в ужас моим появлением и еще более моею наружностью, в которой сквозь сажу, золу, песок и отрепья изорванного, перегорелого платья едва можно было различить след человеческой твари, попряталось под стулья, столы и диваны или ушло в другие комнаты, крича: «Черт! черт!..» — Я с своей стороны кричал им: «Не черт, а барон Брамбеус, надворный советник!.. Не бойтесь: я служу по особенным поручениям по управлению лошадьми, подвизаюсь для улучшения их породы!» — Но в заме-

шательстве, остолбенении, шуме никто меня не услышал. Впрочем, страх и изумление были обоюдны: я столько же был поражен видом людей, бегающих, как ящерицы, по поверхности, которая по мне занимала место потолка, сколько они были встревожены присутствием живого существа, сидящего на их потолку и, по их понятиям, головою вниз.

Скоро, однако ж, жестокое их недоумение уступило место любопытству. Многие начали высовывать головы и привздергивать их к потолку, чтоб приглядеться ко мне получше. Моя неподвижность внушила им довольно смелости вступить в разговоры и мало-помалу оставить свои убежища. Те, которые боялись чертей только наполовину, единственно из уважения к их хвосту и рогам, собрались на середине залы, прямо подо мною, и принялись излагать разные на мой счет теории. Мнения были различны; никто не мог неоспоримо доказать, что я такое. Наконец, прения сделались очень жаркими, и толпа нечаянно распрыснулась по углам залы и по смежным комнатам. Я только сидел и удивлялся. Но вдруг все они снова сбежались на

середину залы, вооруженные бильiardными киями, щипцами, кочережками от каминов и тростями, и все поочередно начали дотрагиваться, пырять, дразнить и рвать меня с разных сторон, чтоб дознаться, из чего я создан. Я сердито заметался на потолке. Они испугались и опять рассеялись. Через несколько минут привели они из отдаленной комнаты подземного философа ногами-верх, в большом напудренном парике, в желтых штанах, в длинном коричневом фраке с пол-аршинными манжетами и в серых полосатых чулках с тем, чтобы он определил им меня и подвел под правила ученой классификации. Философ стал на стул, взял щипцы у одного из гостей, пощупал меня ими в разных местах тела и сказал: «Что ж тут мудреного узнать?.. Это человек седьмого класса!.. Да!.. человек, дворянин и даже чиновник; но, видно, не учился физике, не знает законов тяготения, и вместо того, чтоб стремиться своею тяжестью к внешней поверхности земного шара, как мы, он тяготит к его центру. Это ложная система. Вероятно, он воспитан в превратных правилах, заражающих теперь многие университе-

ТЫ».

Это объяснение успокоило взволнованные умы собрания, но чрезвычайно изумило меня. Каким образом, не входя со мною в объяснения и только пощупав меня угольными щипцами, угадал он мигом, что я 7-го класса?.. Это удивительно!.. Но я начинаю постигать существо света ногами-верх. Потому-то и здешние философы умные люди.

Философ ногами-верх советовал хозяйке не прерывать для меня такого важного обряда, каков поминание только что преданного земле незабвенного ее супруга, и продолжать танцы. Наскучив сидением, я, между тем, встал и начал ходить по потолку. Это возбудило общий хохот. Мужчины и дамы не могли налюбоваться на мои движения. Многие, обращаясь ко мне, убедительно просили соскочить к ним на пол, перекувырнуться на ноги и протанцовать с ними хоть один галлопад в честь достойному, несравненному — вечная ему память! — правителю их губернии, которого они так любили, что век не перестанут по нем плясать. Учтиво благодаря их за приглашение, я извинялся тем, что не

умею ходить по их полу и боюсь свернуть себе шею. «Однако ж я готов разделять с вами жестокую печаль, угнетающую ваши сердца, хотя в тех странах, где я родился, она изъясняется несколько иначе, — присовокупил я. — Охотно потанцую с вами по почтенном хозяине этого дома; но прошу, позвольте мне остаться на потолке. Я буду танцевать здесь, а вы танцуйте на вашем полу».

Сказав это, я попросил одного франта вывороченного ногами вверх света одолжить меня парюю белых перчаток, и он уступил мне свои, не обидев меня никакою глупостью. Право, странный свет!.. Вооружась ими, я протянул над своею головою руку к хозяйке, приглашая ее по старому знакомству на кадрили со мною. Она с жирною улыбкою взаимно выпрямила толстую свою руку над великолепным чепчиком, похожим на розовый куст в полном цвете. Высота комнаты именно позволяла нам достать друг друга кончиками пальцев, так что, соединив наши руки, на первую фигуру кадрили составили мы с нею перпендикулярную линию от потолка к полу. Музыка загремела, и мы весело пустились

плясать: я по потолку, а она по полу, образуя вместе прелестные фигуры, которые удалось нам исполнить легче, нежели как мы полагали. Я никогда не танцевал так славно. Губернаторша прыгала с необыкновенным усердием, так что я сам был тронут ее любовью к покойному мужу. Все были в восхищении.

По окончании кадрили гости просили философа дном-к-свету объясниться со мною ученым порядком обо всех касающихся до меня обстоятельствах, быв уверены, что я человек сверхъестественный, когда не только хожу, но и так ловко танцую по потолку. Философ, торжественно выступив на середину залы, отвалил голову за спину и уже собирался предложить мне вопрос, как многие ему заметили, что это положение слишком неудобно для философских рассуждений и что гораздо было бы сходнее, если б он сел на печке и оттуда разговаривал со мною. Это мнение единогласно было одобрено всеми. Несколько молодых людей схватили философа на руки и пособили ему взлезть на высокую печь. Я уселся против него на потолке; наши головы в обратном направлении принадлежащих им

носов были уставлены таким образом, что я мог положить мои уста в его уши и он сделать то же со мною, и мы начали разговор.

— Я с большим удовольствием смотрел, как вы танцевали по потолку, — сказал философ. — Вы танцуете прекрасно; но я вижу, что вы придерживаетесь в танцах системы тех философов, которые утверждают, что в природе нет ни верху, ни низу.

— Милостивый государь, — отвечал я ему, — мы у себя в наших странах всегда танцуем по Кеплеру и Ньютону,^[26] строго придерживаясь законов тяготения и становясь в позицию ногами к центру земли.

— Вы очень хорошо делаете, что строго придерживаетесь законов тяготения, предписанных вам вашими мудрецами, — примолвил философ, — от этого зависит весь порядок мира. Но вы бы чрезвычайно нас одолжили, особенно почтенную хозяйку дома, которая питает истинное к вам уважение, если б для нашего удовольствия благосклонно согласились сделать маленькое отступление от этих законов и потяготеть немножко, вместо потолка, на наш пол, чтоб протанцевать коти-

льон,^{27} стоя головою к центру земли. Мы надеемся...

— Вы требуете от меня невозможного, — возразил я. — Законы тяготения вещь священная; никто не в силах сопротивляться их действию, и я никогда не соглашусь...

— Сделайте одолжение!.. Дамы вас просят!..

— Помилуйте, господин философ! Как же вы хотите, чтоб я не соблюдал даже законов тяготения, которые соблюдают и камни, которые всякий честный и беспристрастный человек должен соблюдать под опасением сломать себе шею?..

— Дамы вас просят!..

— Ах, боже мой, господин философ! Подумайте только: вечные законы тяготения!..

— Они со временем могут перемениться: выйдет новое толкование и...

— Но у меня, в моей земле, есть книга, в которой они напечатаны!

— Нужды нет!..

— Нет!.. этого я не знаю; и в наших странах это вовсе не в употреблении.

— Так что ж?.. Вы решительно не благово-

лите потяготеть в нашу пользу?

— Милостивый государь, вы хотите довести меня до лихоимства в деле с могущественною природою. Попрать законы тяготения!.. Образумьтесь!

— Безделица!.. Такие ли законы иногда попираются для котильона!.. Для друзей, в угождение хорошеньким дамам, из уважения к почтенным лицам на свете все можно сделать...

— И вы требуете, чтоб я не исполнял таких непреложных законов?

— Вы исполните их при другом случае, когда никто просить вас о том не станет.

— Но теперь это останется на моей совести...

— Отнюдь нет! Ваша совесть должна быть спокойна, потому что вы и теперь будете исполнять ваши законы.

— Как? — воскликнул я. — Нарушая законы, я буду исполнять их?

— Конечно! — воскликнул философ. — Самое то обстоятельство, что закон нарушен, ясно доказывает, что он приводится в исполнение, что он еще действует и имеется в виду.

— Разве оно так у вас!

— Да! мы иначе не умеем исполнять законов.

— А у нас так это напротив. С позволения вашего, мы совсем иначе умеем исполнять законы и действуем по точному смыслу правил, не только тяготения, но и притягания.

— Вы очень упрямы! — сказал философ. — Вы, однако ж, видите, что мы тяготим совсем в другую сторону и живем прекрасно?.. Я уверен, что со временем и вы будете тяготеть по-нашему и что за всем тем ваши законы останутся в книге совершенно целы и ненарушены. Позвольте спросить вас, каким путем приехали вы в знаменитый погреб покойного нашего губернатора?

— Я приехал, к вашим услугам, через огнедышащую гору Этну, — отвечал я.

— А!.. через Этну!.. — воскликнул он, — это обыкновенный тракт. Следственно, вы пожаловали к нам с наружной поверхности земного шара. Не были ли вы там знакомы с Пифагором или с Эмпедоклом?^{28}

— С Пифагором или с Эмпедоклом... — повторил я с некоторым удивлением. — Ведь

они жили в глубокой древности?

— Правда, что они жили давно, — сказал философ, — но они тоже провалились в Этноу...

— И тоже упали в погреб этого дома? — прервал я.

— Нет; они, как древние философы, упали в наши древние классические погреба, где хранилось классическое вино, вкус и букет которого, ныне потерянные, составляют у нас предмет ученых споров, — отвечал он.

— Так ваши ученые занимаются подобными пустяками?.. определением вкуса и букета древнего вина? — присовокупил я.

— А ваши ученые?.. — возразил он. — Они, верно, посвящают свой ум чему-нибудь противоположному вину.

— О, совсем противоположному!.. — воскликнул я. — Они ссорятся за кувшины и горшки, в которых вино стояло у древних.

— Это так и должно быть! — сказал философ. — Пифагор и Эмпедокл в сочинениях своих, которые у нас оставили, уверяют, что действия вашего света с действиями нашего составляют совершенную противоположность.

Наш ученый свет и ваш глядят головами в две различные стороны и, вместе взятые, образовали б род бубнового валета. Что у вас думают о земле?

— Что она в середине плотна, — отвечал я. — Это общее мнение наших ученых.

— А мы думаем, напротив, что она пуста, — примолвил он, — и вы видите, что мы думаем основательно; что с ваших ученых понастоящему следовало бы снять все чины и взыскать все жалованье, которое получали они напрасно за свои мнения и системы об устройстве земли. Вы, однако ж, предполагаете, что земля вечно течет в пространстве, совершая свой путь вокруг солнца: как же могла б она нестись в пространстве, если б не была пуста в середине и не уподоблялась воздушному шару?.. Мы также имели ошибочное об ней понятие и полагали, напротив, что она простирается вне до бесконечности; но от Пифагора и Эмпедокла узнали о существовании лицевой стороны ее и о том, что там есть люди. Эти два педанта долго жили у нас, сочинили много книг и у нас же скончались. Эмпедокл, впрочем, был умный малый и доброго ха-

рактера: он скоро выучился ходить по-нашему и забыл свои обратные обо всем понятия. Но с Пифагором мы никак не сладили: он жил и умер на потолку и на потолку хотел быть похоронен. Ваш Пифагор, право, был немножко сумасшедший: он изобрел для вас таблицу умножения и спорил с нами до слез, что дважды два — четыре.

— Вам это кажется странным? — вскричал я, выпучив изумленные глаза на философа.

— Конечно! — примолвил он хладнокровно, — у нас принято и доказано, что дважды четыре — два.

— Полноте! — сказал я. — Вы уж слишком далеко простираете систему противоположности. И по этой арифметике ведете вы ваши счеты?

— Без сомнения! — отвечал он, — И уверяю вас, что итоги выходят очень верны. Не думайте, чтоб я шутил: ведь у нас есть контроли, которые поверяют наши счеты с большим вниманием и находят их исправными.

— Ну, а наши контроли, на лицевой поверхности земли, — воскликнул я, — за подобные счеты весь ваш свет ногами-вверх отдали

б под суд.

— Потому что они следуют ложной арифметике Пифагора! — подхватил философ с значительною улыбкою. — Но позвольте вам заметить: вы упомянули о суде — следственно, у вас боятся суда?

— Очень!

— Какая противоположность! — вскричал философ. — А у нас просят под суд.

— Скажите же мне, — спросил я, — что у вас делают, когда хотят наказать провинившихся в неправильных поступках? у нас, на земле, заключают их в тюрьмы на долгое время.

— А у нас, под землей, в наказание медленно их оправдывают.

— Какая противоположность! — вскричал я. — Нет, у нас на земле гораздо лучше. Там дела решаются по законам.

— Вы шутите?..

— Уверяю вас честью.

— Какая противоположность! — вскричал философ. — А у нас законы решаются на то или на другое, смотря по делам. Кто же у вас занимается этою частию?

— Как, кто?.. Я не понимаю вашего вопроса.

— То есть кто произносит приговоры? У нас это предоставлено секретарям и женщинам.

— Какая противоположность! — вскричал я. — В наших странах это возложено на умных и непоколебимых судей. Поэтому ваши женщины вмешиваются не в свои дела?

— А ваши?

— О, наши женщины думают только о своих мужьях, детях, хозяйстве, о чтении, о забавах и своих лентах, которые доставляют им мужья.

— Ах, какая ужасная противоположность! — вскричал философ. — А у нас женщины думают только о своих любовниках и хлопчут о лентах для своих мужей.

— Кстати о чтении: есть ли у вас хорошие книги?

— Нет. Но у нас есть великие писатели.

— Так по крайней мере у вас есть словесность?

— Напротив, у нас есть только книжная торговля.

— Итак, у вас решительно все наизнанку против нашего! — воскликнул я. — Я никогда не привыкну к этому порядку вещей!

— Вам так кажется сначала! — примолвил философ, улыбаясь.

Мы замолкли. У меня голова уже кружилась от противоположностей. «Странный свет! — подумал я. — Но они ходят ногами вверх; так у них все должно быть навыворот!..» Чтоб переменить предмет разговора, я сказал философу:

— Объясните мне одно обстоятельство, которое только теперь приходит мне в голову. Мы с вами рассуждаем довольно долго. Я говорю по-русски, а вы каким-то другим наречием. Как же это случилось, что мы понимаем друг друга? Сколько помню, я никогда не учился подземному диалекту. Как называется ваш язык?..

— Наш язык?.. — спросил изумленный философ. — Мы говорим здесь по-немецки. Разве вы не заметили этого?

— По-немецки!!! — воскликнул я с удивлением — и стал разбирать в уме некоторые произнесенные им слова. В самом деле, это

немецкий язык, только навыворот!.. Вот почему здесь я так хорошо его понимаю, тогда как на земле почти не мог различить от чухонского! Итак, немецкий язык, которым германцы говорят на лицевой стороне земного шара, потому только неудобопонятен, что они говорят им лицевою стороною; а выверни его наизнанку, то есть послушай его наоборот, он выходит тот же русский язык, ясный, приятный, сочный, только без грамматики, потому что он уже процежен сквозь немецкие зубы, в которых вязнут все наши окончания, так, что они принуждены добывать их оттуда зубочисткою. Странно, что я прежде об этом не догадался!..

Это открытие крайне меня обрадовало; стоит только провалиться в Этну, чтоб понимать язык Канта, Фихте, Шеллинга,^{29} даже никогда ему не учившись! Я сблизился с философом, просил его быть моим приятелем, наставником, путеводителем в стране, столь для меня чуждой и загадочной, в которой, по видимому, суждено мне навсегда остаться, и начал было длинный комплимент насчет его ума, познаний, опытности, седин, как вдруг

он схватил меня за воротник и начал колотить кулаком по шее. Сначала я только изумлялся, не постигая, чем бы его обидел; но при втором, при третьем ударе мне стало досадно. Видя, что философ дерет меня не в шутку, я осердился и толкнул его в бок. В ответ он отпустил мне два жестоких толчка и продолжал потчевать меня кулаками. Я кинул изумление в сторону, взял вывороточного немца за горло и принялся валять его по-русски.

Мы дрались с настоящею яростию. Сражение двух противоположных светов на печке подстрекнуло любопытство собрания; танцы прекратились на полу и многие голоса вскричали:

— Посмотрите, посмотрите, как они подружились!

— Ах, как они обожают друг друга!

— Иные после десяти лет испытанной дружбы не дерутся так чистосердечно! Он должен быть создан для нежности.

— Но и наш философ влюблен в него без памяти!.. — присовокупили другие.

В пылу сражения я не понял их восклицаний, которые довольно походили на насмеш-

ки. Забыв о системе противоположностей, я наделял философа полновесными ударами, на которые он, с своей стороны, возражал весьма жарко. Он запустил свою руку в мои волосы; я, сорвав с него парик, схватил его за нос, и мы сцепились, как бешеные пантеры. Наконец, философ застонал в моих когтях и свалился с печи. По несчастию, своим падением он увлек меня с потолка; и, не будь система противоположностей, которая в этот раз весьма кстати подоспела нам на помощь, мы, наверное, убились бы оба вместе. Но я, как известно, тяготил к центру земли, а мой противник естественною своею тяжестью направлялся к внешней ее поверхности. Как мы оба весили одинаково, по 5 пуд и 6 1/2 фунтов, то действием двух обратных притягательных сил завязли в них в половине высоты заль, подобно железному гробу далай-ламы, удерживаемому на воздухе двумя магнитами, — ежели это правда? — и никак не могли перетянуть друг друга.

Мы повисли в воздухе, в равном расстоянии от потолка и от пола, визжа, вертясь, оплетая друг друга руками, толкая коленами

и тормоза изо всей силы. Гости кричали мне, что уже довольно, что их философ совершенно уверен в моих к нему чувствах уважения и приверженности. Они хотели разнять нас, стараясь поймать того и другого за ноги; но мы так шибко размахивали ими в воздухе, что никто не мог приступиться. Вдруг я почувствовал, что кто-то схватил меня за левую ногу обеими руками и сильно тащит к полу. Я перестал бить философа, у которого почти уже не оставалось души в теле, и двое молодых людей ловко вывернули его из моих объятий. Влекомый в одну сторону чуждою рукою и, с противной, удерживаемый старою привычкою тяготения внутрь земного шара, я спускался к полу по лучу центропритягательной силы, как по гилям, с приметным и от самого меня не зависящим сопротивлением. Наконец, тот, кто тащил меня за ноги, притянув их плотно к паркету, сказал мне:

— Ну, теперь укрепитесь хорошенько подошвами и ступайте по полу. Смело!.. Не бойтесь!..

— Хорошо, попробую!.. — сказал я. — Пустите же мои ноги.

Он пустил, и я, скрепясь сердцем, пошел, — раз, два! — Право, можно ходить и по этой методе! — Раз, два, три! — можно и танцевать! — Раз, два! — раз, два!.. Все присутствующие закричали навыворот: «Браво! браво!» — и я уже расхаживал навыворот по их зале, как на своей родимой мызе. Так это только предрассудок, что надо непременно ходить так, как велят ум и природа!.. Можно жить славно и ногами вверх: стоит только решиться!

Но лишь только оборотился я вверх ногами, в голове моей все понятия, сведения и мысли начали тоже кувыркаться одни за другими и принимать одинаковое с телом направление. Старые, забытые, гнилые понятия, оставшиеся еще от учебных книг и лежавшие кучею без употребления, зашевелились вместе с прочими и наполнили жилище умственных сил густою, горькою пылью, которая заструилась сквозь глаза, ноздри и уши в виде серого, грязного табачного дыма германской учености и произвела в горле удушливый кашель. Никогда еще в человеческом уме не происходило такой суматохи. В мозгу сдела-

лось так темно, как в диссертации о разумной душе, и я уже полагал, что в моей голове или преподается умозрительная философия, или наборщики затеяли «достославную революцию», которая будет продолжаться три дня. Я был в каком-то опьянении. Но когда этот переворот кончился, когда все мои понятия построились рядом вверх ногами, я, быв прежде бестолковым человеком, вдруг почувствовал себя чрезвычайно умным — да так умным, что если б в ту минуту находился я на лицевой стороне земли, как раз был бы единоголосно избран в оппозиционные члены французской палаты депутатов! Вот что значит вывернуть самый простой, обыкновенный ум наизнанку!.. И опять открытие! Какой, однако ж, у нас на земле народ недогадливый! Нередко с таким трудом ищем мы у себя умных людей, чтоб поручать им места или дела, а о том и не думаем, что ум есть только противоположность глупости, и довольно первого попавшегося дурака оборотить вверх дном, так выйдет умный человек, хоть куда. Да здравствует подземная система!

Но полно учить людей уму: обратимся к

моим приключениям. Как скоро начал я ходить навыворот, по местному обычаю, не отличаясь от других, мужчины мигом смекнули, что я должен быть смышленный малый и далеко пойду вперед; но женщины очень сожалели, что я сделался похожим на их мужей, и сказали, что прежде я был гораздо милее и занимательнее. Сыновья хозяйки повели меня в свои комнаты. Я выбрился, вымылся, переделся в их платье, и мы опять пришли в залу. Подземельцы, окружив меня, с любопытством стали расспрашивать о том, что происходит на той стороне земной скорлупы и что на ней делал я сам. Все мои ответы возбуждали в них неизъяснимое удивление: противоположность нашего быта и наших понятий казалась им почти несбыточной. Дамы в особенности не хотели верить, чтобы наши женщины серьезно делали обет в верности своим мужьям: они как раз провозгласили бы меня обманщиком, если б философ не спас моей чести, сказав им, что Пифагор и Эмпедокл тоже свидетельствуют о том в своих сочинениях и что это весьма правдоподобно, ибо там все наперекор здеш-

нему.

— В таком случае, — воскликнули подземельные дамы, — женщины внешней стороны шара должны быть ужасные плутовки!..

Философ примолвил, что, по некоторым спискам Пифагоровых сочинений, если только они не искажены злоумышленными переписчиками, оно почти так и выходит. Я хотел сказать с жаром: «Неправда!» — и невольно сказал вверх ногами: «Да!»

Я покраснел от стыда. Тьфу! Какое странное действие обратных сил опрокинутой головою вниз природы!.. Язык даже ворочается вспять: и еще у женатого человека!..

Хозяйка и ее подружки усердно поздравляли меня с тем, что я съехал с такого вероломного света, утверждая, что с ними буду я в совершенной безопасности от измены, ибо они не станут обнадёживать меня никакими обетами. Ежели здешний порядок вещей сначала покажется мне немножко чудным, то, по их словам, это невыгодное впечатление я должен приписать единственно тому, что их мир стоит дном-к-свету откровенно, без ширм для прикрытия положения и без официальных

газет для показывания противного, ибо у них нет лицемерства, — то есть, оно бывает и у них, но так же редко, как и у нас на земле чистосердечие, и потому считается почти добродетелью. Как я уже не вправе питать надежды на возвращение в подсолнечные края, то подземные дамы советовали мне не делать церемоний, поселиться у них ногами вверх, избрать себе жену наыворот, устроить свое хозяйство вверх дном, прижить детей опрокидью и быть счастливым, как только возможно быть им в ту сторону, против шерсти. Я обещал дамам последовать их совету. Подземные мужчины заманивали меня в службу. Я обещал мужчинам усердно служить наизнанку их отечеству. Подземный философ твердил, что я буду совершенно доволен их светом и даже любим его жителями, если только захочу исполнять в точности наставления Пифагора и Эмпедокла, которые говорят, что нет ничего легче, как приноровиться к здешним обычаям: надо только стараться во всяком случае поступать точь-в-точь противоположно тому, как поступают по ту сторону земной корки. Я обещал философу дер-

жаться обеими руками за Пифагора и Эмпедокла.

Посреди этого разговора хозяйка и гости вдруг вспомнили о добродетелях покойного губернатора, выскочили из кресел и пустились вальсировать отчаянно. Я, философ и несколько подземельцев остались в углу залы. Мы продолжали начатые рассуждения. Против меня стоял один человек среднего роста, плотный телом, но тонкий умом, нежный, сладкий, приветливый, с потупленным взором, с лицом, вымазанным улыбкою, с плоским, лоснящимся челом, наклоненным к полу точно так, как наклоняются вешаемые на стене против света старые картины, чтоб скрыть их пятна и недостатки, пролив обманчивый свет только на ту часть живописи, которую хозяин желает сделать приметною. Изпод век, опущенных искусно, подобно шторам в гостиной пожилой кокетки, блестящий его взор падал на паркет косвенными лучами, которые, отражаясь от гладкой поверхности, впивались в вас снизу, пронзали вас насквозь от желудка к плечам, жгли в коленях, под локтями и в подбородок, ползали по спи-

не и щупали повсюду: в голове, в сердце и по карманам. Мне казалось, что я посажен на кол. Если б это было у нас, на земле, я сказал бы, что он какой-нибудь обращенный из грешников святоша; но как мы встретились с ним под землею, где все противоположно с нашим, то я мигом угадал, что он должен быть доносчик. Я узнаю приятеля, хоть бы он сто раз обернулся вверх ногами: я столько видел их в Италии!.. По гордости, придавленной острым подбородком и беспрестанно вылезавшей из-за галстука, по беспокойству всего тела, по судорожному сведению жилок в лицевых ямочках, по короблению сухой кожи на дрожащих пальцах, не мог я не различить в этом подземельце шпиона высшего разряда, лазутчика-аматера, незваного и вездесущего гостя, существо, пожираемое честолюбием, жаждущее значения и, подобно кошке, бросающееся с распростертыми когтями во все углы, где только зашевелится тень средства к выигрышу и, за неимением других доблестей, готовое выслуживаться покровителям — чем бог помиловал! клеветою и подлостью. Он всячески пытался завлечь меня в разговор о

политике и религии наружной поверхности земного шара, чтоб разведать мой образ мыслей, подкапывался под мои чувства, карабкался ногами и руками на мои мнения, рылся, как крот, в моей совести — и ничего не узнал. Я удачно отразил шутками все его приступы. Видя мое невежество в делах этого рода или невозможность заставить меня проболтаться при свидетелях, он взял меня за руку, отвел к окну и сказал вполголоса с неподражаемым добродушием, что он совершенно согласен с моими мнениями и считает себе за честь быть одинаковых со мною правил.

Я улыбнулся.

— Я терпеть не могу политики, — присовокупил он еще умильнее. — Даже не знаю, что делается у нас, под землею. Мне какая до этого нужда!.. Я люблю свое спокойствие и нищю почестей. Хотя, сказать по совести, у нас все делается наыворот: не правда ли?.. И я сообщу вам за тайну, что мы не довольны нашим положением: мы начинаем постигать, что скучно сидеть взаперти внутри земного шара, что здесь очень душно и неловко — не правда ли?.. Мы тоже хотели бы на солнце, не

правда ли?.. Признайтесь мне, с какою целью прибыли вы сюда?.. Быть не может, чтобы вы провалились к нам без намерения, не правда ли?.. Как вы полагаете: что, если б здесь, внутри земли, вспыхнула между нами ужасная буря, но такая, чтобы земной шар лопнул и развалился на две половины, как пустой арбуз?.. Я думаю, что это было бы очень полезно для здешнего края, не правда ли?.. Мы, по крайней мере, погрелись бы на солнце, увидели бы небо и нахватали бы с него для себя звезд, которые у нас доселе очень редки. Если вы прибыли к нам, чтоб руководствовать нас в этом перевороте, то сообщите мне ваш план: я готов вам содействовать от всей души. Но — ссс! — молчите и не вверяйте ваших тайн никому другому, кроме меня. Здесь — знаете! — опасно; доносчиков тьма, и каждый из этих господ, которых вы видите, в состоянии изменить вам. Со мною другое дело. Я человек просвещенный и люблю звезды; мне можете вы верить, как самому себе. Я полюбил вас с первого взгляда и хочу быть вам полезным. Надеюсь, любезный друг, что вы в полной мере оцените мою к вам преданность: не правда

ли?

Я был изумлен странным его предложением расколоть земной шар, но растроган его добродушною заботливостью о моей безопасности. Уставив на меня свои тонкие, острые, сверкающие взоры, он говорил с такою пленительною искренностью, с таким теплым чувством приверженности, что очаровал меня, как гремучий змей пораженную его взглядом птичку; и я стоял перед ним в глубоком недоумении, беззащитно дожидаясь, пока он меня поглотит. Я уже совсем не думал об его низком ремесле: он произнес последние слова с таким удивительным, честным изливанием сердца, что я не знал, как возблагодарить его за дружбу. Первый случай представился мне к обнаружению моего знания правил общежития, и я стал в тупик!..

К счастью, я как-то вспомнил о Пифагоре и Эмпедокле и, в смятении, нерешимости, не долго думая, треснул его по щеке изо всей силы. Мой сердечный друг трижды обернулся на пяте передо мною.

Я полагал, что он будет весьма доволен моей учтивостью; но, к большому моему удивле-

нию, он надулся, отошел от меня к своим землякам и громко сказал в их кругу, что я грубиян, не умею почитать людей достойных и честных. Я смекнул, что сделал глупость. Философ и множество гостей прибежали ко мне в отчаянии, спрашивая, чем я его обидел, и давая мне уразуметь, что он человек гордый и опасный и поступать с ним надо чрезвычайно вежливо. Я рассказал им весь случай.

— Ведь я говорил вам в точности держаться наставлений Пифагора и Эмпедокла! — воскликнул философ с нетерпением. — Они положительно советуют прибывающим сюда с лица земли, которые желали бы приобрести любовь здешних жителей, делать все в противоположность правилам тамошнего общежития, и говорят: «Чем противоположнее поступите, тем будет учтивее и лучше». Этот господин, сказали вы нам...

— Утверждал, что вы доносчики, — прервал я. — Он предостерегал меня насчет вас, уверял в своей честности, просил сообщить мои тайны ему лишь одному и клялся в своей ко мне преданности и дружбе.

— Как же в подобном случае поступают у

вас с таким человеком?

— О, по нашим обычаям, — воскликнул я, — по нашим утонченным обычаям следовало бы чувствительно пожать у него руку с приятною улыбкою и поцеловать его в лицо.

— А вы?..

— А я дал ему оплеуху, по Эмпедоклу.

— Правда, что это довольно противоположно! — сказал философ. — Вы уже начинаете прекрасно понимать здешний порядок вещей и скоро перещеголяете нас самих. Но вы не прогневайтесь, когда я сделаю вам одно замечание: всякий свет, в отношении к нравам и учтивости, имеет свои тонкости, которые иностранцам бывает весьма трудно перенять с первого разу. Пощечина, вместо поцелуя в щеку, как ни противоположна последнему, все еще она как-то слишком слабо, слишком холодно выражает признательность за такую важную услугу, какую хотел он оказать вам, ибо есть средство быть гораздо учтивее, делая еще противоположнее, а Эмпедокл говорит: «Чем противоположнее, тем лучше». Если б вместо удара в лицо вы...

— Пойдите!.. — вскричал я, останавливая

речь философа, — теперь я чувствую свою ошибку. В самом деле, можно было поступить еще противоположнее. Я исправлю ее немедленно...

С этими словами прыгнул я в другой конец залы, где мой приятель занят был жарким разговором с несколькими помещиками. Я обошел его потихоньку и хлопнул коленом в зад так удачно, что он чуть не исчертил всего паркета концом своего носа. Он обернулся и, увидев меня, промолвил с сладкою, как мед, улыбкою:

— А!.. я всегда был уверен, что вы человек благовоспитанный и знаете, что кому следует воздать.

Я поклонился и перешел с торжественным видом к моим собеседникам. Они вскричали: «Прекрасно!»

— Прекрасно! — вскричал философ, — только держитесь в точности Эмпедокла.

С тех пор я пошел жить ногами-вверх, как следует. Общество, в которое попался я из погребя, было приятно, но мысль о будущем уже начинала мучить мое воображение. Я удалился в угол и стал думать нижеследующим об-

разом: — Они, кажется, добрые люди, хотя имеют дурную привычку ходить вверх ногами. Но — почему знать! — быть может, оттого они и добрые люди, что они люди вверх-ногами?.. За всем тем, я для них чужое лицо: у меня здесь нет ни тетушки, ни собственности, ни наследства в виду. Если б, по крайней мере, были у меня деньги!.. Нельзя ли обыграть их в карты, по-нашему, по-петер...

.....

Но я вижу, что уже вам наскучил. Скажите правду: мои путешествия кажутся вам слишком длинными?.. Если так, я сейчас кончу, изломаю мое перо, не произнесу более ни слова. Ступайте в книжную лавку и купите себе другую книгу, которая, без всякого сомнения, скажет вам что-нибудь умнее моего. Перестаю в половине рассказа. Перестаю тем более, что у меня есть хороший приятель из книгопродавцев, которого я очень люблю и уважаю, который лучше меня знает, как должно сочинять книги, и который, пришед ко мне сию минуту, спросил о числе написанных листов и поморщился на бесконечность

моего рассказа. О, он отменно понимает книжное дело!.. Его ничем нельзя сбить с толку. Возьмите его, как он есть теперь — он книгопродавец; оберните его вверх ногами — он опять книгопродавец. Он был бы в состоянии вести книжную торговлю даже внутри земного шара, там, где нет словесности. Он понимает сердце покупателей, сердце благосклонной публики, как свою приходо-расходную книгу, и говорит, что за десять рублей надо вам дать не длинное сочинение, но длинное оглавление. Как я завидую философскому его положению в этом непонятном свете!.. Он знает объем голов сочинителей и читателей, как собственного своего кармана! Он говорит: такая-то авторская слава стоит 258 рублей и 79 копеек с печатного листа; можно даже дать за нее 259 рублей, но более ни копейки. Потом, обращаясь к вам, к благосклонной публике, он опять исчисляет количество вашей любви к изящному на рубли и копейки, вашего терпения на строки; он ведет счета вашему просвещению по двойной бухгалтерии: берет ваш ум и заглавный лист книги и примеряет их один другому, как два башмака; кладет на

весы; с одной стороны — ваш вкус, с другой — красную бумажку и несколько статей в стихах и прозе и смотрит: вкус своею тяжестью перевесил деньги и изящное! — он подбавляет к последнему еще три тетрадки, — мало! — еще две, — мало! — еще одну статейку, — и этого мало! Надо подкинуть длинное оглавление и красную оберточку — вот теперь довольно! Он рад, и вы будете рады. Тогда он смело записывает ваше восхищение в долговой приход и спокойно ожидает срока платежа. Он слишком умен и добросовестен, мой почтенный приятель, чтоб я не послушался его совета: он боится, что мое длинное сочинение, с ничтожным в три строки оглавлением, не перетянет вашего вкуса. Так и быть: я замолчу. В другой раз я опишу вам мои похождения под землю: они очень любопытны!.. Я много испытал вверх ногами и видел много вещей в том же роде.

Во-первых, я путешествовал вверх ногами по разным подземным государствам: все они стоят опрокидью, хотя в различных положениях, и рассуждают навыворот о своем благоденствии. Я прочитал их политическую эконо-

номию и советовал им стоять, как они поставлены, трудиться и не рассуждать. Профессоры политических наук хотели за этот совет побить меня камнем.

Во-вторых, несмотря на гонение со стороны мечтателей, я жил там очень весело. Порядочному человеку денег там иметь не нужно: все забирается в долг, и заимодавцы отдаются под суд, если потребуют уплаты. За обиду, нанесенную должнику домогательством платежа, сажают кредитора на высокую башню и велят ему трубить всю жизнь в банкротский устав. Это делается в противоположность тому, как у нас, на земле, неисправного должника запирают в тюрьму, в подземелья, не позволяют ему пикнуть ни слова и тем понуждают к уплате долгов без всякой отговорки.

Потом случился у меня процесс с одним подземельцем. Мы пошли на суд бить челом вверх-ногами. Секретари головою-вниз и женщины ногами-вверх разобрали нашу жалобу и обещали нам обоим выигрыш. Судьи обернули наше дело вверх дном, рассмотрели его наизнанку, подвели законы наыворот и решили против шерсти. Мы проиграли оба. Я

спросил у судей: «Что ж это такое?» Они отвечали: «Это правосудие». Я сказал: «Разве в обратном смысле того, что у нас, на земле, называется правосудием?..» Они сказали: «Да!»

Потом я наблюдал их государственное управление. У них есть две законодательные палаты, которые распоряжаются всем. Одна из них составлена из старых баб, а другая из молодых кокеток: обе занимаются сплетнями и ссорятся между собою и у себя за любовников. Молодые кокетки определяют количество сумм на ежегодные расходы их любовникам и себе на балы и подарки; старые бабы тихомолком подписывают это распределение издержек, а мужья тех и других обязаны вносить деньги беспрекословно. Местные философы вверх-ногами говорят, что это самый дешевый образ управления.

У нас, на земле, повсюду положено правилом определять к местам только умных и способных людей. У них, под землею, существует совсем противный закон, и кажется, был бы для людей гораздо легче к исполнению. Но люди и тут сделали крючок: я часто был свидетелем ужасного ропота в публике по слу-

чаю этого закона. Все кричали: «Беспорядок! Злоупотребление! Законы не исполняются!..» — «Как так?» — спрашивал я. Мне отвечали: «Вот определили к должности умного человека!.. Теперь все пропало! Он испортит заведенный у нас порядок, по которому очень удобно жилось вверх ногами». Мой приятель философ, пожимая плечами, говаривал мне в подобных случаях печальным голосом: «Что ж делать, любезный друг! Человечество, видно, так уж создано, что, как ни обороти его, все-таки законы не будут исполняться в точности».

Надобно знать, что дураки считаются там умнее умных людей. Там все навыворот!

Однако ж я должен отдать справедливость опрокинутому вверх дном свету, что там совсем нет взяток — и по весьма странной причине: потому, что взяток нет и у нас, на лицевой стороне земли! А поелику у нас нет взяток, следовательно — того, что не существует, никак нельзя оборотить на другую сторону. Я не знал, что взятки суть только поэтическая выдумка сатирических писателей. Начитавшись их сочинений, я хотел завести взятки

внутри земного шара и убеждал подземельцев в возможности брать их в потребном случае. Они смеялись надо мною. Я приводил им сочинения знаменитого певца взяточников Ф. В. Булгарина,^{30} которые знаю наизусть от доски до доски. Они сказали, что это клевета; что этого быть не может, потому что если б судьи наружной поверхности земли брали взятки от сторон, то судьи внутренней ее поверхности должныствовали б давать взятки сторонам из своего кармана, — что противно человеческой природе!.. Я принужден был согласиться, что ни взяток, ни взяточников нет в созданном мире.

Каким образом освещается свет вверх-ногами, есть ли внутри земного шара свое домашнее солнышко или нет, — того не могу сказать. Во все время моего там пребывания была дурная погода.

Однажды шел я спокойно, головою вниз, по тротуару, сложив назад руки, как вдруг несколько человек вверх-ногами схватили их у меня без всякого предварения и взяли меня задом в рекруты. Мне дали ружье, пороху и пуль и повели меня вместе с прочими за гра-

ницу. Я спросил у одного из моих товарищей:

— Мы идем на войну, что ли?

— Нет, — отвечал он, — мы идем стрелять по нашим приятелям.

— Как же это называется, что мы будем делать с ними? — воскликнул я с удивлением.

Он сказал: «Нон-интервенция».

Я сказал: «А!»

Нон-интервенция?.. Это, без сомнения, немецкое вывороченное слово, — подумал я себе, — и если б отогнуть его назад, то, может быть, выйдет по-нашему — «комедия». У меня тогда не было с собою карандаша, и я не мог разобрать это слово по буквам. Если у вас есть карандаш, то потрудитесь сделать это сами: мне теперь недосуг. Мы пришли к одной большой крепости, начали стрелять, драться, убивать, гибнуть — и овладели ею. Я готов был присягнуть, что мы ведем кровопролитную войну. Но по взятии крепости наши противники подошли к нам, пожали у нас руки и сказали, что после этого они совершенно убеждены в нашей благонамеренности и дружбе. Тогда только я увидел, что мы вели кровопролитный мир. Одним словом, свет

вверх-ногами во всем противоположен нашему свету вверх-головой.

Наконец, я женился под землю. Как это случилось, я, право, не знаю: помню только, что подземные бабы сплетничали долго, долго, очень долго, так, что поднялась ужасная туча сплетней, и когда она разразилась, я неожиданно очутился женатым человеком. Мы с женою ссорились с утра до вечера: все завидовали нашему супружескому счастью. По системе противоположностей я должен был делать капризы, а жена была обязана управлять мною. Она скоро сошла с ума от забот управления и была избрана в члены законодательной палаты. Я опять остался холостым, и так провел остаток своей жизни вверх-ногами. Вот и конец моим сказаниям! Теперь извольте купить себе другую книгу: желаю вам много наслаждаться.

Постойте! Я забыл о самом любопытном приключении моего сентиментального путешествия на Этну. Я расскажу вам его в двух словах.

После двухгодичного пребывания вверх

ногами внутри нашей планеты, проведенного в непрерывном странствовании из одной земли в другую, однажды утром пришло мне в голову съездить в гости к первой моей подземной знакомке, губернаторше, через погреб которой прибыл я на тот свет, и вместе повидаться с моим приятелем-философом, которому желал сообщить разные мои замечания. Я сел в повозку и поехал. На третий или на четвертый день пути погода сделалась ненастной, и вдруг поднялся такой сильный ветер, что у меня сорвало шляпу. Я приказал почтальону остановиться, вылез из повозки и побежал ловить шляпу. Едва сделал я несколько шагов, как мои колени зашатались под мною, и я упал на землю. Я встал и опять пустился бежать, и опять упал. Тогда я только заметил, что земля трясется под моими ногами: сидя в повозке, я не мог этого видеть, потому что тамошние почтовые тележки построены навыворот, с передними колесами гораздо выше задних, и совершенно так же тряски, как землетрясение. Когда я повалился в третий раз, вдруг сделался сильный подземный удар, который толкнул меня в бок так

жестоко, что я, лежа на земле, прыгнул вверх всем телом, как живая рыба на суше, и упал на другой бок в нескольких шагах от того места. Лошади, испугавшись удара, понеслись по полю во всю прыть. Я остался без шляпы и без повозки.

Приподнявшись с большим трудом, я дополз до плоского, широкого камня, лежавшего подле дороги, и сел на нем. Повозка с лошадьми закатилась за гору и исчезла из виду. За неимением другого занятия, я разинул рот и смотрел, как вихрь, сорвавший мою шляпу с земли, кружил ее в воздухе винтовым движением. Неумолимая судьба, которая поставляла себе в удовольствие притеснять меня при всяком случае, не дозволила мне даже спокойно забавляться невинным зрелищем, представляемым собственно моею шляпою. Почва одним разом треснула под моим камнем, и я в одно мгновение провалился вместе с ним в пропасть, которая в ту же минуту сомкнулась надо мною. Песок засыпал мне глаза.

Я сидел на камне, но чувствовал себя придавленным со всех сторон. Землетрясение

продолжалось: я невольно шевелился и подскакивал в могиле. Казалось, будто кто-то, схватив меня за плеча, трясет изо всей силы. Всякую минуту душа едва не выскакивала из тела вон. Я крепко держался за камень.

Но мы с ним не долго оставались на месте. Нас начало ворочать, ломать, метать, перекидывать на большие расстояния в рыхлой внутренности земли, размешанной колебанием, подобно тесту. Скоро были мы брошены в какую-то узкую пустоту, где ветер дул с ужасным воем, тогда как подземные громы страшно катились со всех сторон, подо мною, надо мною, спереди и позади меня. Те, которые во время сильных лихорадочных припадков планеты стоят на ее поверхности, не имеют еще никакого понятия о том, что происходит в ее растерзанном теле. Кто хочет узнать или описывать землетрясение, должен непременно зарыться в недрах земли и потрястись несколько часов вместе с нею.

Как скоро камень, и я на камне, всунулись в узкую пустоту, которую заткнул он собою, как пробкою, я стал дышать свободнее. Я ничему не удивлялся и ни об чем не думал, по-

тому что думы и удивления гнезятся только в дремучем, сухом мозгу раздражателей Вальтера Скотта, а не у человека, которым закупорено горло подземного паропровода. Быть может, следовало бы мне тогда вспомнить, что я погиб безвозвратно; но я и о том не вспомнил, а сидел бесчувственно на камне, поджав ноги и руки, как медный индийский брама на яшмовом пьедестале. Спустя несколько времени в отдаленной глубине подо мною слышался ужасный гром, который быстро взлетал ко мне и кончился сильным снизу ударом в камень, поддерживающий меня в гортани отвесно восходящего подземелья. В то же мгновение камень стал подниматься вверх с чрезвычайною силою и не прежде остановился, как забившись в другую, косвенную пустоту и тем открыв свободный путь подземным парам, которые пролетели мимо меня с страшным ревом, рассыпая громовый грохот по боковым подземельям.

Хотя новая пустота, в которую был я заброшен, казалась обширнее первой и камень лежал на твердом слое минеральной массы, образующей род площадки, но я не осмелился

слезть с него, решаешь разделять его участь. Здесь начал я, однако ж, соображать понемножку свое положение, и едва успел составить себе первое понятие: что я жив, — как опять все мои мысли погасли от внезапного испуга. В известной глубине и прямо подо мною раздался ужасный выстрел, взрыв с треском, сильнее залпа из нескольких сот пушек. Я упал на камень. Менее чем в пять секунд весь слой минерала, с камнем и со мною, был вытолкнут вверх на неизмеримое расстояние, подобно бомбе из ствола мортиры.

Не знаю, каким чудом удержался я на камне — без сомнения, потому, что некуда было свалиться — но то верно, что я не расстался с ним и в эту беспримерную минуту моего существования и лежал на нем брюхом, судорожно уцепясь руками за его края. Как мое лицо было обращено вниз, то я заметил, что мы с ним вылетели из вершины какой-то круглой, уединенной горы, что мы от нее удаляемся и парим вверх по воздуху с невероятною быстротою. Оцепенение уничтожило во мне чувство опасности: я не понимал, что со

мною делается, и смотрел на все равнодушно, как холодное зеркало. Туча черной, пыльной материи вырвалась вместе с нами из того же отверстия. Вслед за нею вспыхнуло желтое, горячее облако серного дыму и через секунду вылетел стрелою огромный, великолепный столб красно-желтого огня.

Мы — я составлял нераздельную часть камня — мы все еще неслись вверх, но уже в косвенном направлении к горе.

Я случайно повернул голову в сторону, и дивное, вовсе неожиданное зрелище представилось моим взорам. На тускло-желтом небе висел большой, красный круг, без лучей и блеска, напоминающий луну или солнце, о существовании которых давно уже я и не думал. В другой стороне, на отдаленном небосклоне рисовалась высокая гора с двурогою вершиною. Прямо подо мною видны были город, селения и море. Голова кружилась; но нельзя было не подумать, что это местоположение несколько мне знакомо. Если б я не помнил, что нахожусь внутри земли и еду в гости к губернаторше, которая поймала меня промеж своего антр-ша, и к философу, с кото-

рым подрались мы на печке, я бы сказал, что вижу перед собою Неаполь и Сицилию. Вот было бы странно, если б я, провалившись сквозь землю в Этну, нечаянно был выброшен назад сквозь Везувий?.. Но это уж слишком невероятно!.. Пустое! я этому не верю! Это все свет вверх-ногами...

Я продолжал парить на камне. Он уже был далеко от горячей костром горы, из которой выстрелило нами землетрясение, и описывал по воздуху огромную параболу. Пока он стремился наклонно к небу, я удерживался на нем без труда; но скоро движение его начало изменяться, и я впервые почувствовал опасность. Лишь только принял он решительное направление к земле, и я бегло заметил, что мы уже минуем берег и летим прямо в море, мой спаситель с исполинскою силою вырвался из моих объятий. Мы были расторгнуты и полетели по воздуху уже отдельно друг от друга. Он, как тяжелее меня, по всеобщей физике, понесся быстрее и дальше бухнул в море. Я должен был следовать за ним издали и продолжал падение, кувыркаясь в воздухе, подобно лоскутку бумаги, и описывая голо-

вою бесконечную винтовую линию. Города, рощи, селения, озера, холмы, зажженные вулканы и рдеющие пожарным заревом моря ворочались вместе со мною: я видел их пляшущими на небе, в воздухе и на земле. Странная эта игра света была последнею потехою, дарованною его лучами моим вскруженным взорам, которые горькая морская вода скоро долженствовала потушить навсегда. В моем уме оставались только два понятия — смерть и море, которые тоже вертелись коловратом в мозгу, образуя в нем яркое, радужное, искристое колесо, согнутое как бы из широкой огненной ленты. Однако ж, приближаясь к земле, я успел завидеть, что падаю на сушу, почти на самое взморье, по которому пролегалка каменная дорога, вымощенная черною плитою. Но что пользы!.. Я тут расплюснусь, как куриное яйцо: уж лучше было нырнуть в воду!.. При виде мостовой в нескольких только от меня саженьях со страху жизнь мгновенно испарилась из меня сквозь все поры моего тела, подобно воде, брызнутой на раскаленный камень; но в ту самую минуту, как, перекувыркнувшись в последний раз, валился я уже

на землю, что-то нечаянно подсунулось под меня, и я упал в него задом, как в короб.

Это была коляска, мчавшаяся во весь опор. В ней сидели две особы, дама и мужчина. Я упал прямо на мужчину, которого вдруг раздавил своею тяжестью, и сам остался невредимым. Это часто случается в больших падениях.

Все это совершилось так мгновенно, что ни я не успел сообразить, что убил проезжего, ни он догадаться, что размозжен слетевшим с неба человеческим задом. Только, в минуту происшествия, мне показалось, как будто кто-то гневно проворчал подо мною: «Год-дем...» [16] Дама кричала. «Ах!.. Ах!!..» — Лошади неслись еще быстрее. Кучер отчаянно ревел: «Прррррррр!..» — Я, сидя на высокой, мягкой куче, должен был ухватиться за край экипажа, чтоб не вывалиться из него на землю. Не прежде как пронесшись полверсты разгадал я свое положение: узнал, что еду в коляске, на почтовых, увидел под собою две толстые мужские ноги и вспомнил о произнесенном подо мною великобританском восклицании. «Странное дело! — подумал я в изумлении, —

неужто я безвинно раздавил благородного лорда?..» — Я хотел объясниться с дамою, но она кричала во все горло и отворачивалась от меня, как от черта. Я хотел усесться удобнее, но толстые ноги почивавшего подо мною путешественника мешали мне избрать приличное положение. Видя, что меня предоставляют самому себе и что при первом ударе колес о камень могу быть выронен на мостовую, я воспылал нетерпением: приподнялся, опираясь левою рукою о заднюю стенку, засунул правую руку под себя, вытащил за воротник своего усопшего предшественника, жирного, короткого, боченковатого, выкинул его из коляски и сам занял его место.

Лошади мчались стрелою, кучер бранил их по-итальянски, я сидел и удивлялся. Многие обстоятельства внушали мне мысль, что я где-то в Италии, но мне все еще не хотелось верить своим впечатлениям. Я был уверен, что нахожусь внутри земного шара и еду вверх ногами. Слова, которые я слышал, легко могли быть татарские или калмыцкие, но, быв произносимы навыворот, казаться мне итальянскими.

Наконец кучер удержал лошадей, и дама перестала кричать, дрожа только от сильного испуга. Я подождал еще несколько минут, пока она совершенно успокоится, и тогда, желая вступить в разговор с нею на правилах подземной учтивости, ущипнул ее, по Эмпедоклу, за ляжку.

— Милостивый государь! — вскричала она по-итальянски — а может статья, и по-татарски! — отодвигаясь от меня подальше, — вы уж слишком много позволяете себе в чужой коляске.

Я смутился и не знал, что отвечать. Сущяя беда с этими дамами дном-к-свету!.. Никак не угадаешь, что может им понравиться. Я так вежливо к ней адресуюсь, а она сердится, как змея!..

Я, однако ж, заметил, что после этого вступления к знакомству моя спутница, закрытая белою кисейною вуалью, тайно бросает на меня взгляды и, видя, что я не похож на черта, хотя замаран сажею, начинает поправлять свое платье. Эти вывороченные дамы в одно мгновение ока из страшного гнева переходят в самое благосклонное расположение

сердца!.. Врожденные ее полу любезность и желание нравиться даже черту, а за его отсутствием и трубочисту — меня легко можно было принять за последнего — преодолели в ней все прочие чувства. Она уже не отворачивалась. Я счел это время удобным, чтоб ей отрекомендоваться.

— Я желал, сударыня, — сказал я робко и умильно, — я желал извиниться перед вами, что имел несчастье раздавить в этой коляске... этого... этого... этого англичанина.

— Нужды нет! — отвечала она равнодушно, но без сердца, легонько кланяясь мне бочком. — Прошу не беспокоиться!

— Может статься, моим падением я помял почтенного вашего супруга?..

— Все равно!.. Оно почти не стоит того, чтоб говорить!

— Я не знаю, как оправдать мою неловкость...

— Ах, прошу, не женируйтесь^{31} из-за такой безделицы!

Разговор пресекся. Ее ответы удостоуверили меня, что я в самом деле нахожусь в таком свете, где все идет вверх ногами, и только на-

прасно ласкал себя мыслию, будто я выброшен отсюда на лицевую сторону земного шара. «Какая противоположность в понятиях! — подумал я. — Так ли жена или любовница у нас, на нашей блаженной подсолнечной поверхности, отвечала бы после истолчения ее друга чужим задом, изверженным огнедышущей горою!..»

Мне непременно хотелось сблизиться с моею спутницею. Чтоб пленить ее на первом шагу своей любезностью, по Эмпедоклу, следовало начать ссориться с нею; но я не мог придумать никакого повода к ссоре. Я увидел, что она вертится, хочет о чем-то спросить и не знает, с чего начать: она очевидно терзалась любопытством узнать, каким случаем попался я к ней в коляску и откуда. «Вот хороший повод к ссоре! — подумал я. — Моя наружность не противна ее взорам: я мигом понаправлюсь и ее уму». — Итак, я надулся и сказал твердым голосом:

— Сударыня, я не скажу вам, ни каким чудом упал я в вашу коляску, ни кем заронен сюда, ни почему так страшно замаран!

— Ах, сделайте одолжение, скажите!.. —

воскликнула она, быстро поворачиваясь ко мне. — У меня ум из головы вон. Я не постигаю, что такое это значит...

— Не скажу!.. Ей-ей, не скажу!..

— Сделайте мне это удовольствие.

— Хоть бы вы меня убили, не скажу!

— Но когда я прошу вас так усиленно?..

— Все равно, сударыня! Скорее умру на месте, чем соглашусь удовлетворить ваше любопытство.

— Заклинаю вас, не мучьте меня! Я умру, если не узнаю этой тайны.

— Умирайте; не скажу — хотя это очень, очень любопытно!

— Ах, какие вы жестокие!.. Итак, я отношусь с просьбою не к вам, но к вежливости благородно воспитанного мужчины. Надеюсь, что после этого воззвания вы не откажете даме в ее... — сказала она приятным голосом, который внезапно пресекла, чтобы, как будто ненарочно, откинуть вуаль, чтоб обнаружить моим взорам свежее, молодое, небесное лицо, озаренное лучами пламенной души и блистательною игрою радужной улыбки, сияющее ими подобно хрустальной люстре с ярким ог-

ненным венцом, из которого сыплются крупные капли света на прозрачные цепи и сквозь их алмазную сетку освещают веселье любви и счастья. Я потерял ум и глаза и в расстройстве, недоумении, в одно и то же время, произнес два совсем различные восклицания — одно мысленно, раздавшееся в целом пространстве моей души: «Ах, какая красавица!.. Такой прелестной женщины не видал я никогда в жизни!..», — другое словесно, которое ударило в тимпан ее беленького, прозрачного уха и потрясло ее как бы электрической искрой: «Мое почтение, синьора баронесса Брамбеус!..»

— Вы меня знаете? — спросила изумленная дама, услышав свое имя.

— Как не знать! — воскликнул я. — Я, кажется, имел счастье быть коротко знакомым с вами.

— Ваше лицо мне не чуждо, — сказала она с беспокойством и с некоторым напряжением любезности, — но я никак не вспомню, где мы виделись с вами. В путешествиях столько иногда приходится завести коротких знакомств, что потом...

— Да я синьор барон Брамбеус! — вскричал я, прерывая вежливое оправдание. — Я все тот же Брамбеус, к вашим услугам! Как же вы меня не узнали?..

Дама мигом закинула вуаль на лицо и оборотилась ко мне спиною.

Я замолчал, и она не сказала ни слова. Мы проехали тихомолком целую милю. Я не слишком был доволен сделанным мне приемом и наравне с моею спутницею поражен странностью нашей встречи. Наконец, я припомнил, что надобно, однако ж, иногда говорить с женою, сидя в одной с нею коляске, и сказал:

— Не пугайтесь меня, сударыня: ведь я ваш супруг!

— Я думала, что вы черт! — отвечала она, не переменяя положения. — Вы такой замаранный!..

— Потому, что прибыл сюда прямо из пасти волкана, — возразил я. — Скажите мне, где мы? Как называются эта огнедышущая гора, этот город?.. Куда мы едем!

— Вот прекрасно!.. — воскликнула она, — вы уже не знаете, где находитесь!.. Слава богу,

это Италия! Вот Везувий, а там далее Неаполь. Я еду в Рим.

— Надеюсь, что вы позволите мне сопутствовать вам туда? — спросил я.

— Как вам угодно! — сказала она холодно, но я видел, проникал ее досаду. Я помешал ей своим неожиданным появлением, втерся к ней в коляску без надлежащего предварения — она не могла быть мне за то благодарною. Она с беспокойством искала в своем уме средства к обращению всей вины на одного меня и как скоро нашла его, тотчас ударила на меня всеми силами своего красноречия.

— Вы, сударь, бросили меня в Сицилии без всякого повода! Вы уехали бог знает куда! Вы обо мне забыли и даже не написали ко мне ни одного разу... Это ужасно!

— Вы легко извините меня, — возразил я, — когда узнаете о моих несчастиях. Я упал в Этну; провалился сквозь землю, на тот свет, где люди ходят головою вниз и все дела текут вверх ногами; считал себя погибшим и никогда не увидел бы ни солнца, ни вас, если б ветер не сорвал с меня шляпы. Благодаря этому случаю, я был пожран землею и теперь слу-

чайно выброшен назад сквозь жерло Везувия. Я не виноват, что из того света нет письменной почты в Мессину.

Моя жена расхохоталась. Она подняла вуаль и быстро повернулась ко мне, как на винте.

— Вы шутите надо мною?.. — воскликнула она.

— Право, не шучу!

— Так вы помешанный!.. Вы помешанный, любезный барон!.. Вы решительно помешанный!..

Она начала плакать, плакала сердечно и говорила, рыдая:

— Вот как эти изменники поступают с бедными беззащитными женщинами!.. Он оставляет чувствительную, нежную, обожающую его супругу, гоняется повсюду за миленькими глазками, которые свели его с ума, и, повстречавшись с женою, отделяется бессмыслицами; а я, несчастная, я два года и семь месяцев утопаю в слезах, не сплю, не ем, не вижу дневного света!.. (хлип, хлип, хлип, хлип!)... выжидаю его днем и ночью!.. (хлип, хлип, хлип!)... молюсь об его обращении на путь

добродетели!.. (хлип, хлип!)...

Я не выдержал и сам расхлипался по ее примеру. У меня — знаете! — сердце русское, дворянское, мягкое, как кисель. Я нежно обнял мою баронессу рукою, стал называть ее своею бедною доброю, верною Ренцывеною, Ренцывенушкою, Рынею, душою, душенькою, кошечкой, голубушкою... Мы были очень нежны и растроганы. Вдруг пришло мне в голову одно обстоятельство. Я спросил:

— Кстати, мой друг бесценный, что делал здесь этот англичанин?

— Какой англичанин?

— Тот англичанин, лорд, которого место занял я подле тебя?

— О каком говоришь ты лорде?

— Ну, о том, которого раздавил я в этой коляске... которого душа, выжатая мною из жиру, провизжала подо мною: *Год-дем!*.. Словом, тот, который ехал с тобою из Неаполя в Рим?

— Нет, мой друг, — возразила она спокойно, сострадательным голосом, — ты уж точно сумасшедший!.. Какие грезятся тебе англичане?.. Здесь никого не было! Я ехала одна.

— Помилуй, душенька?.. Когда я сам, соб-

ственной рукою, выкинул его из коляски?..

— Тебе так показалось, мой друг!

— Ах, боже мой, душенька!.. Я так уверен в том, что раздавил его и потом выкинул из-под себя вон за неудобством ехать почтою на лорде, как в собственном своем баронстве, как в существовании двух рыб, трех стрел, одного медведя и пары оленьих рогов в моем гербе...

— Поверь мне, любезный друг, что это тебе привиделось. Ты упал свысока, а тем, которые летают по воздуху, всегда видятся небывалые вещи.

Этим она меня образумила. Почему знать? — может статься тем, которые из жерла огнедышащих гор падают нечаянно в коляски или в комнаты к своим женам, всегда так кажется, будто они раздавили при них чужого человека. На свете есть столько дивных оптических обманов, что те, которые хотят смотреть на вещи настоящим образом, никогда не должны бы употреблять к тому глаз. Если в пустынях Аравии раскаленный солнцем воздух в состоянии представлять взорам обманчивые картины городов, роц, замков,

озер, верблюдов и других скотов, то что мудреного итальянским парам вылить из тумана подобие толстого и короткого лорда? Надо много путешествовать, чтоб выучиться великому искусству — не удивляться ничему на свете и ничего не считать невозможным. Я согласился с баронессою, что это был оптический обман, что, вероятно, своим падением раздавил я английскую дорожную подушку, надутую воздухом, которая пискнула под мною, а я, действием волканизма на мои глаза, уши и воображение, принял ее за англичанина и писк ее за английскую брань. Моя жена быстро примолвила, что в самом деле, точно такая подушка пропала у нее из коляски: вероятно, я ее выкинул!..

Итак, это дело было очищено. Мы поехали в Рим. Я не упоминал более об англичанине, и моя жена была чрезвычайно любезна со мною. Но я также не рассказывал ей ничего и о вывороченном свете, чтобы она не имела причины называть меня сумасшедшим. В Риме мы прожили...

Однако ж, господа, воля ваша! Вы, может статься, будете из учтивости защищать мне-

ние баронессы, а мне все-таки кажется — я и сегодня готов побожиться перед вами, что я действительно раздавил англичанина. Я так убежден в этом, это понятие так крепко впи-лось в мою голову, что лишь только присяду, мне так и слышится — вот хоть и нынче, куря сигарку и пиша эти строки! — что кто-то сердито ворчит подо мною: *Год-дем!*..

Мы прожили в Риме несколько недель, и очень весело. Красота моей жены приводила в восторг оба мира, светский и духовный. Мы получали всякой день кучу красивых визитных билетов. Если б захотел, я мог бы через жену получить столько же индульгенций. Я заметил, что она уже не ревновала ко мне.

Однажды после завтрака сказал я жене:

— Любезная Ренцывенушка! хочешь ли прогуляться со мною?

— Куда?.. по церквам?

— Нет! Вот здесь, по потолку.

Она выпучила на меня свои большие, пылкие, прекрасные глаза, Я уверял ее, что нет ничего приятнее ходьбы вверх ногами. Она смеялась и называла меня шутком, угорелым, безумным. Чтоб убедить ее в истине моих

слов, я поставил на столе столик, на столике стул, на стуле ящик; взобрался на эту пирамиду, оперся руками на ящике, лягнул задом вверх и, благополучно достав потолка ногами, пошел разгуливать по нем, как муха, головою вниз. Моя жена сперва кричала, что я упаду, сверну себе шею, раздроблюсь в куски; но, видя твердую мою походку, принуждена была признаться, что это очень забавно, очень весело, и начала хохотать от всего сердца. Я просил ее воспользоваться моим примером и погулять со мною вверх ногами. Она отказалась. Я стал просить ее еще убедительнее, доказывать, что в делах этого рода нужна только решимость; увещевал, заклинал, молил. Моя жена рассердилась, побранила меня очень резко и сказала, что она не хочет, не будет и не будет ходить по-моему, что я хожу, как дурак, как сорванец, и что она ходит, как все ходят.

Будьте же сами моим судьей и скажите: кто из нас виноват? Вы согласитесь, что ежели моя жена ходит так, как все ходят, то единственно по духу противоречия!..

Мы поссорились с нею ужасно «на сем ос-

новании».

Это, однако ж, нисколько не помешало моим удовольствиям. Всякий день после завтрака я хаживал гулять полчаса по потолку, для здоровья. Моя жена уходила в это время с своими знакомцами прогуливаться по церквам, как делают все порядочные люди в Риме. Я не препятствовал ей в этом развлечении, потому что это также род гулянья вверх ногами.

В одно утро, когда важно расхаживал я по потолку, сложив назад руки, толпа сбиров⁽³²⁾ невзначай вторгнулась в мою квартиру. Они поймали меня за голову, стащили на пол, бросили в закрытую повозку и отвезли в какое-то подземелье. Меня душили в нем с лишком три недели. Некто патер Оливиери, толстый и угрюмый монах, допрашивал меня неоднократно; но я никак не мог добиться, в чем состоит дело.

Однажды случайно растолковался я с тюремщиком, приносившим мне скудную пищу, и тот объяснил мне всю тайну. Я был заключен в темницах di Santo Uffizio, тайной инквизиции, по обвинении женою в чернокнижии и преступных связях с дьяволом,

нечистой силою которого мог я держаться на потолке ногами и ходить по нем головою вниз. Болтливый тюремщик рассказал мне, что я уже признан колдуном по суду и, вероятно, скоро буду казнен. Я желал узнать род моей казни, и он отвечал, что по закону за чернокнижие я должен быть сожжен публично; но как этот род наказания обесславлен криком нечестивых философов, то я без сомнения буду колесован или удавлен в темнице, без огласки, на небольшой, но весьма уютной машине, которую, по своей вежливости, обещал он показать мне завтра. Я затрепетал. Присмотрев мое волнение, тюремщик хотел меня несколько ободрить и сказал, чтоб я преждевременно не беспокоился насчет рода казни: он почти может ручаться головою, что терзать меня не станут, а затиснут мне горло на этой уютной машинке, потому что, как он слышал, неаполитанская миссия, почитая меня волканическим произведением, извергнутым пастью Везувия, доказывает, что я составляю неотъемлемую собственность Королевства обеих Сицилий, и требует выдачи в целости моей кожи, чтобы набить ее соломою

и поставить в Везувианском музее.

Прекрасное утешение!..

Как скоро ушел тюремщик, я облился слезами и плакал всю ночь, горько сожалея о том, что напрасно пошел ловить шляпу и оставил свет вверх-ногами. Здесь я сидел в тюрьме у суеверных инквизиторов, которые собирались жарить меня на огне за колдовство, а там, вследствие системы противоположности, без сомнения, сам я, по Эмпедоклу, жарил бы их палками за невежество. На другой день мелькнула в моей голове светлая мысль: нельзя ли как-нибудь ускользнуть отсюда внутрь земли, туда, где откровенно ходят вверх ногами и делают все наыворот без всякого лицемерства?.. Право, там гораздо лучше!.. Это намерение пролило в мое сердце некоторую отраду.

С нетерпением ожидал я ночи, чтоб начать свой дерзкий опыт прорыться сквозь скорлупу шара планеты и уйти от инквизиции под землю. Но к вечеру вошло в мою темницу какое-то таинственное лицо, которое, усевшись против меня, начало речь увещанием, чтоб я отрекся от сношений с нечистою силою, а

окончило объявлением, что я могу еще быть спасен, ежели формальным документом откажусь вместе и от моей баронессы. Я охотно подписал бумагу. Спустя несколько дней я был выпущен из подземелья. При выходе моем из тюрьмы вручили мне разводную с женою и взяли с меня подписку, что я немедленно оставлю Италию, на пути нигде не буду гулять по потолкам и не ближе начну ходить вверх ногами, как приехав во Францию.

1833



БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ



В недрах земного шара есть огромная зала, вимеющая, кажется, 99 верст вышины: в «Отечественных записках» сказано, будто она вышиною в 999 верст; но «Отечественным запискам» ни в чем — даже в рассуждении ада — верить невозможно.^{33}

В этой зале стоит великолепный престол повелителя подземного царства, построенный из человеческих остовов и украшенный вместо бронзы сухими летучими мышами. Это должно быть очень красиво. На нем садится Сатана, когда дает аудиенцию своим посланникам, возвращающимся из поднебесных стран, или когда принимает поздравления чертей и знаменитейших проклятых, которыми зала при таких торжественных случаях бывает наполнена до самого потолка.

Если вам когда-либо случалось читать мудрые сочинения патера Бузенбаума,^{34} иезуитского богослова и философа, то вы знаете — да как этого не знать? — что черти днем почивают, встают же около заката солнца, когда в Риме отпоят вечерню. В то же самое время просыпается и Сатана. Проснувшись, он надевает на себя халат из толстой конвертной бу-

маги, расписанный в виде пылающего пламени, который получил он в подарок из гардероба испанской инквизиции: в этих халатах у нас, на земле, люди сожигали людей. Засим выходит он в залу, где уже его ожидает многочисленное собрание доверенных чертей, подземных вельмож, адских льстецов, адских придворных и адских наушников: тут вы найдете пропасть еретиков, заслуженных грешников и прославленных извергов вместе с теми, которые их прославляли в предисловиях и посвящениях — словом, все знаменитости ада.

Заскрипела чугунная дверь спальни царя тьмы; Сатана вошел в залу и сел на своем престоле. Все присутствующие ударили челом и громко закричали: *виват!* — но голоса их никто б из вас не услышал, потому что они тени, и крик их только тень крика. Чтобы услышать звуки этого рода, надо быть чертом или доносчиком.

Лукулл,^{35} скончавшийся от обжорства, исправляет при дворе его должность обергофмейстерскую:^{36} он заведует кухнею, заказывает обед и сам подает завтрак. Как скоро

утих этот неудобослышимый шум торжественного приветствия, Лукулл выступил вперед, держа в руках колоссальный поднос, на котором удобно можно было бы выстроить кабак с библиотекою для чтения: на нем стояли два большие портерные котла,^{37} один с кофеем, а другой со сливками; римская слезная урна, служащая вместо чашки; египетская гранитная гробница, обращенная в ящик для сахара, и старая сороковая бочка, наполненная сухарями и бисквитами для завтрака грозному обладателю ада.

Сатана вынул из гробницы огромную глыбу квасцов — ибо он никакого сахара, даже и свекловичного, даже и постного, терпеть не может — и положил ее в урну; налил из одного котла чистого смоленского дегтю, употребляемого им вместо кофейного отвара, из другого подбавил купоросного масла, заменяющего в аду сливки, и черную исполинскую лапу свою погрузил в бочку, чтобы достать пару сухарей.

Но в аду и сухари не похожи на наши: у нас они печеные, а там — печатные. Попивая свой адский кофе, царь чертей, преутончен-



ный гастроном, страстно любил пожирать наши несчастные книги, в стихах и прозе, толстые и тонкие различного формата произведения наших земных словесностей; томы логик, психологии и энциклопедий; собрания разысканий, коими ничего не отыскано; историй, в коих ничего не сказано; риторик, которые ничему не выучили, и рассуждений, которые ничего не доказали, особенно всякие большие поэмы, описательные, повествовательные, нравоучительные, философские,

эпические, дидактические, классические, романтические, прозаические и проч., и проч. С некоторого времени, однако ж, он заметил, что этот род пирожного обременял его желудок, и потому приказал подавать к завтраку только новые повести исторические, писанные по последней моде; новые мелодрамы; новые трагедии в шести, семи и девяти картинах; новые романы в стихах и романы в роде Вальтера Скотта; новые стихотворные размышления, сказки, мессенияны и баллады, — как несравненно легче первых, обильно переложенные белыми страницами, набранные очень редко, растворенные точками и вишнетками и почти столь же безвредные для желудка и головы, как и обыкновенная белая бумага. Сухари эти прописал ему придворный его лейб-медик, известный доктор медицины и хирургии, Иппократ,^{38} убивший на земле своими рецептами 120 000 человек и за то возведенный людьми в сан отцов врачебной науки — впрочем, умный проклятый, который доказывает, что в нынешнем веке мятежей и трюфлей весьма полезно иметь несколько свободный желудок.



Сатана вынул из бочки четыре небольшие тома, красиво переплетенные и казавшиеся очень вкусными, обмакнул их в своем кофе, положил в рот, раскусил пополам, пожевал и — вдруг сморщился ужасно.

— Где черт фон Аусгабе? — вскричал он с сердитым видом.

Мгновенно выскочил из толпы дух огромного роста, плотный, жирный, румяный, в старой трехугольной шляпе, и ударил челом повелителю. Это был его библиотекарь, бесчрезвычайно ученый, прежде бывший немецкий *Gelehrter*, который знал наизусть полные заглавия всех сочинений, мог выска-

зять наперечет все издания, помнил, сколько в какой книге страниц, и презирал то, что на страницах, как пустую словесность — исключая опечатки, кои почитал он, одни лишь из всех произведений ума человеческого, достойными особенного внимания.

— Негодяй! Какие прислал ты мне сухари? — сказал гневный Сатана. — Они черствы, как дрова.

— Ваша мрачность! — отвечал испуганный бес. — Других не мог достать. Правда, что сочинения несколько старые, но зато какие издания! — самые новые: только что из печати.

— Сколько раз говорил я тебе, что не люблю вещей разогретых?.. Притом же я приказал подавать себе только легкое и приятное, а ты подсунул мне что-то такое жесткое, сухое, безвкусное...

— Мрачнейший повелитель! Смею уверить вас, что это лучшие творения нашего времени.

— Это лучшие творения нашего времени?.. Так ваше время ужасно глупо!

— Не моя вина, ваша мрачность: я библио-

текарь, глупостей не произвожу, а только привожу их в порядок и систематически рас- полагаю. Вы изволите говорить, что сухари не довольно легки — легче этих и желать невозможно: в целой этой бочке, в которой найдете вы всю прошлогоднюю словесность, нет ни одной твердой мысли. Если же они не так све- жи, то виноват ваш пьяный Харон,^{39} который не далее вчерашнего дня сорок корзин произ- ведений последних четырех месяцев во вре- мя перевозки уронил в Лету...

Между тем как библиотекарь всячески оправдывался, Сатана из любопытства отки- нул обертку оставшегося у него в руках куска книги и увидел следующий остаток заглавия: «..... ец... оман..... торич..... сочин... н..... 830».

{40}

— Что это такое? — сказал он, пяля на него грозные глаза. — Это даже не разогретое?.. Э?.. Смотри: 1830 года?..

— Видно, оно не стоило того, чтобы разо- греть, — примолвил толстый бес с глупою улыбкой.

— Да это с маком! — воскликнул Сатана, рассмотрев внимательнее тот же кусок кни-

ги.

— Ваша мрачность! Скорее уснете после такого завтрака, — отвечал бес, опять улыбаясь.

— Ты меня обманываешь, да ты же еще и смеешься!.. — заревел Сатана в адском гневе. — Поди ко мне ближе.

Толстый бес подошел к нему со страхом. Сатана поймал его за ухо, поднял на воздух как перышко, положил в лежащий подле него шестиаршинный фолиант сочинений Аристотеля на греческом языке, доставшийся ему в наследство из библиотеки покойного Плутона, затворил книгу и сам на ней уселся. Под тяжестью гигантских членов подземного властелина несчастный смотритель ада книгохранилища в одно мгновение сплюснулся между жесткими страницами классической прозы наподобие сухого листа мяты. Сатана определил ему в наказание служить закладкою для этой книги в продолжение 1111 лет: Сатана надеется в это время добиться смысла в сочинениях Аристотеля, которые читает он почти непрерывно. Пустое!..

— Приищи мне из проклятых на место это-

го педанта кого-либо поумнее, — сказал он, обращаясь к верховному визирю и любимцу своему, Вельзевулу.^{41} — Я намерен сделать, со временем, моим книгохранителем того великого библиотекаря и профессора, который недавно произвел на севере такую ужасную суматоху. Когда он к нам пожалует, ты немедленно введи его в должность: только не забудь приковать его крепкою цепью к полу библиотеки, не то он готов и у меня, в аду, выкинуть революцию и учредить конституционные бюджеты.

— Слушаю! — отвечал визирь, кланяясь в пояс и с благоговением целуя конец хвоста Сатаны.

Царь чертей стал копаться в бочке, ища лучших сухарей. Он взял «Гернани», «Исповедь», «Петра Выжигина», «Рославлева», «Шемякин суд»^{42} и кучу других отличных сочинений; сложил их ровно, помочил в урне, вбил себе в рот, проглотил и запил дегтем. И надобно знать, что как скоро Сатана съест какую-нибудь книгу, слава ее на земле вдруг исчезает, и люди забывают об ее существовании. Вот почему столько плодов авторского

гения, сначала приобретших громкую известность, впоследствии внезапно попадают в совершенное забвение: Сатана выкушал их с своим кофе!.. О том нет ни слова ни в одной истории словесности, однако ж это вещь официальная.

Повелитель ада съел таким образом в один завтрак словесность нашу за целый год: у него тогда был чертовский аппетит. Кушая свой кофе, он бросал беспокойный взор на залу и присутствующих. Что-то такое беспокоило его зрение: он чувствовал в глазах неприятную резь. Вдруг, посмотрев вверх, он увидел в потолке расщелину, чрез которую пробивались последние лучи заходящего на земле солнца. Он тотчас угадал причину боли глаз своих и вскричал:

— Где архитектор?.. Где архитектор?.. Позовите ко мне этого вора.

Длинный, бледный, сухощавый проклятый пробился сквозь толпу и предстал пред его нечистою силой. Он назывался Дон Диего да-Буфало. При жизни своей строил он соборную церковь в Саламанке, из которой украл ровно три стены, уверив казенную юнту,^[43] имев-

шую надзор над этою постройкою, что заготовленный кирпич растаял от непрерывных дождей и испарился от солнца. За сей славный зодческий подвиг он был назначен, по смерти, придворным архитектором Сатаны. В аду места даются только истинно достойным.

— Мошенник! — воскликнул Сатана гневно (он всегда так восклицает, рассуждая с своими чиновниками). — Всякий день подаешь мне длинные счета издержкам, будто употребленным на починку моих чертогов, а между тем куда ни взгляну — повсюду пропасть дыр и расщелин?..

— Старые здания, ваша мрачность! — отвечал проклятый, кланяясь и бесстыдно улыбаясь. — Старые здания... ежедневно более и более приходят в ветхость. Эта расщелина произошла от последнего землетрясения. Я уже несколько раз имел честь представлять вашей нечистой силе, чтоб было позволено мне сломать весь этот ад и выстроить вам новый, в нынешнем вкусе.

— Не хочу!.. — закричал Сатана. — Не хочу!.. Ты имеешь в предмете обокрасть меня при этом случае, потом выстроить себе где-

нибудь адишко из моего материала, под именем твоей племянницы, и жить маленьким сатанюю. Не хочу!.. По-моему, этот ад еще весьма хорош: очень жарок и темен, как нельзя лучше. Сделай мне только план и смету для починки потолка.

— План и смета уже сделаны. Вот они. Извольте видеть: надобно будет поставить две тысячи колонн в готическом вкусе: теперь готические колонны в большой моде; сделать греческий фронтон в виде трехугольной шляпы: без этого нельзя же!.. переменить архитектуру;^{44} большую дверь заделать в этой стене, а пробить другую в противоположной; переложить пол; стены украсить кариатидами; сломать старый дворец для открытия проспекта со стороны тартара; построить два новые флигеля и лопнувшее в потолке место замазать алебастром — тогда солнце отнюдь не будет беспокоить вашей мрачности.

— Как?.. Что?.. — воскликнул Сатана в изумлении. — Все эти постройки и перестройки по поводу одной дыры?

— Да, ваша мрачность! Точно, по поводу одной дыры. Архитектура предписывает нам,

заделывая одну дыру, немедленно пробивать другую для симметрии...

— Послушай, плут!. Перестань обманывать меня! Ведь я тебе не член испанской Строительной юнты.

Проклятый поклонился в землю, плутовски улыбаясь.

— Велю замять тебя с глиною и переделать на кирпич для починки печей в геенне...

Он опять улыбнулся и поклонился.

— Да и любопытно мне знать, сколько все это стоило б по твоим предположениям?

— Безделицу, ваша мрачность. При должной бережливости, производя эти починки хозяйственным образом, с соблюдением казенного интереса, они обойдутся в 9987408558777900009675999 червонцев, 99 штиверов и 49 1/2 пенса. Дешевле никто вам не починит этого потолка.

Сатана сморщился, призадумался, почесал голову и сказал:

— Нет денег!.. Теперь время трудное, холерное...

Он протянул руку к бочке: все посмотрели на него с любопытством. Он вытащил из нее

две толстые книги: *Умозрительную физику В**** и *Курс умозрительной философии Шеллинга*; раскрыл их, рассмотрел, опять закрыл и вдруг швырнул ими в лоб архитектору, сказав:

— На!.. Возьми эти две книги и закрой ими расщелину в потолке: чрез эти умозрения никакой свет не пробьется.

Метко брошенные книги пролетели сквозь пустую голову тени бывшего архитектора точно так же, как пролетает полный курс университетского учения сквозь порожние головы иных баричей, не оставив после себя ни малейшего следа — и упали позади на пол. Архитектор улыбнулся, поклонился, поднял глубокоумдые сочинения и пошел заклеивать ими потолок.

Немецкий студент, приговоренный в Майнце к аду за участие в Союзе добродетели, шепнул ***ову, известному любителю Канта, Окена, Шеллинга, магнетизма и пеннику:^{45}

— Этот скряга, Сатана, точно так судит о философии и умозрительности, как ***ой о древней российской истории.^{46}

— Неудивительно!.. — отвечал ***ов с пре-

зрением. — Он враг всякому движению умственному...

— Что?.. — вскричал сердито Сатана, который везде имеет своих лазутчиков и все слышит и видит. — Что такое вы сказали?.. Еще смеете рассуждать!.. Подите ко мне, шуты! Научу я вас делать свои замечания в моем аду!

Черти, смотрящие за порядком в зале, привели к нему дерзких питомцев любомудрия. Сатана схватил одного из них за волосы, поднял на воздух, подул ему в нос и сказал:

— Поди, шалун, в геенну — чихать два раза всякую секунду в продолжение 3333 лет, а ты, отчаянный философ, — промолвил он, обращаясь к ***ову, — сиди подле него и приговаривай: «Желаю вам здравствовать!» Подите прочь, дураки!

Засим обратился он к визирю своему, Вельзевулу, и спросил о дневной очереди. Визирь отвечал, что в тот вечер должны были докладывать ему обер-председатель мятежей и революций, первый лорд-дьявол журналистики, великий черт словесности и главноуправляющий супружескими делами.

Предстал черт старый, гадкий, оборванный, изувеченный, грязный, отвратительный, со всклокоченными волосами, с одним выдолбленным глазом, с одним сломанным рогом, с когтями, как у гиены, с зубами без губ, как у трупа, и с большим пластырем, прилепленным сзади, пониже хвоста. Под мышкою торчала у него кипа бумаг, обрызганных грязью и кровью; на голове — старая кучерская лакированная шляпа, трехцветная кокарда; за поясом — кинжал и пара пистолетов; в руках — дубина и ржавое ружье без замка. Карманы его набиты были камнями из мостовой и кусками бутылочного стекла.

Всяк, и тот даже, кто не бывал в Париже, легко угадал бы по его наружности, что это должен быть злой дух мятежей, бунтов, переворотов... Он назывался Астарот.

Он предстал, поклонился и перекувырнулся раза три на воздухе, в знак глубочайшего почтения.

— Ну что?.. — спросил царь чертей. — Что нового у тебя слышно?

— Ревность к престолу вашей мрачности, всегда руководившая слабыми усилиями мо-

ими, и должная заботливость о пользах введенной мне части...

— Стой! — воскликнул Сатана. — Я знаю наизусть это предисловие: все доклады, в которых ни о чем не говорится, начинаются с ревности к моему престолу. Говори мне коротко и ясно: сколько у тебя новых мятежей в работе?

— Нет ни одного порядочного, ваша мрачность, кроме бунта паши египетского против турецкого султана. Но об нем не стоит и докладывать, потому что дело между басурманами.

— А зачем нет ни одного? — спросил грозно Сатана. — Не далее как в прошлом году восемь или девять мятежей было начатых в одно и то же время. Что ты с ними сделал?

— Кончились, ваша мрачность.

— По твоей глупости, недеятельности, лени; по твоему нерадению...

— Отнюдь не потому, мрачнейший Сатана. Вашей нечистой силе известно, с каким усердием действовал я всегда на пользу ада, как неутомимо ссорил людей между собою: доказательством тому — сломанный рог и поте-

рянный глаз, который имею честь представить...

— Об этом глазе толкуешь ты мне 800 лет кряду: я читал, помнится, в сочинениях белландистов,^{47} что его вышиб тебе башмаком известный Петр Пустынник^{48} во время первого крестового похода, а рог ты сломал еще в начале XVII века, когда, подружившись с иезуитами, затеял на севере глупую шутку прикинуться несколько раз кряду Димитрием^{49} ...

— Конечно, мрачнейший Сатана, что эти раны немножко стары; но, подвизаясь непрерывно за вашу славу, теперь вновь я опасно ранен, именно: в стычке, последовавшей близ Кракова,^{50} когда с остатками одной *досто-славной* революции принужден был уходить бегом на австрийскую границу. Если, ваша мрачность, не верите, то, с вашего позволения, извольте посмотреть сами...

И, обратясь спиною к Сатане, он поднял рукою вверх свой хвост и показал пластырь, прилепленный у него сзади. Сатана и все адское собрание расхохоталось как сумасшедшие.

— Ха, ха, ха, ха!.. Бедный мой обер-председатель мятежей!.. — воскликнул повелитель ада в веселом расположении духа. — Кто же тебя уязвил так бесчеловечно?

— Донской казак, ваша мрачность, своим длинным копьём. Это было очень забавно, хотя кончилось неприятно. Я порасскажу вам все, как что было, и в нескольких словах дам полный отчет в последних революциях. Во-первых, вашей мрачности известно, что года два тому назад я произвел прекрасную суматоху в Париже.⁽⁵¹⁾ Люди дрались и резались дня три кряду, как тигры, как разъяренные испанские быки: кровь лилась, дома горели, улицы наполнялись трупами, и никто не знал, о чем идет дело...

— Ах, славно!.. Вот славно!.. Вот прекрасно!.. — воскликнул Сатана, потирая руки от радости. — Что же далее?

— На четвертый день я примирил их на том условии, что царь будет у них государем, а народ царем...

— Как?.. Как?..

— На том условии, ваша мрачность, что царь будет государем, а народ царем.

— Что это за чепуха?.. Я такого условия не понимаю.

— И я тоже. И никто его не понимает. Однако люди приняли его с восхищением.

— Но в нем нет ни капли смысла.

— Поэтому-то оно и замысловато.

— Быть не может!

— Клянусь проклятейшим хвостом вашей мрачности.

— Что ж из этого выйдет?

— Вышла прекрасная штука. Этою сделкой я так запутал дураков-людей, что они теперь ходят как опьяневшие, как шальные...

— Но мне какая от того польза? Лучше бы ты оставил их драться долее.

— Напротив того, польза очевидна. Подравшись, они перестали бы драться, между тем как на основании этой сделки они будут ссориться ежедневно, будут непрестанно убивать, душить, расстреливать и истреблять друг друга, доколе царь и народ не сделаются полным царем и государем. Ваша мрачность будете от сего получать ежегодно верного дохода по крайней мере 40 000 погибших душ.

— Bene![17] — воскликнул Сатана и от удо-

вольствия нюхнул в один раз три четверти и два четверика^{52} железных опилок вместо табу. — Что же далее?

— Далее, ваша мрачность, есть в одном месте, на земле, некоторый безыменный народ, живущий при большом болоте, который с другим, весьма известным народом, живущим в болоте, составляет одно целое. Не знаю, слышали ль вы когда-нибудь про этот народ или нет?

— Право, не помню. А чем он занимается, этот безыменный народ?

— Прежде он крал книги у других народов и перепечатывал их у себя; также делал превосходные кружева и блонды^{53} и был нам, чертям, весьма полезен, ибо за его кружева и блонды множество прекрасных женщин предавались в наши руки. Теперь он ничего не делает; разорился, обеднел, и не впрок ни попу, ни черту — только мелет вздор и сочиняет газеты, которых никто не хочет читать.

— Нет, никогда не слышал я о таком народе!.. — примолвил Сатана и... чих!.. громко чихнул на весь ад. Все проклятые тихо закричали: «Ура!!!», а в брюссельских газетах на

другой день было напечатано, что голландцы ночью подъехали под Брюссель и выстрелили из двухсот пушек.

— Этот приболотный народ, — продолжал черт мятежей, — жил некоторое время довольно дружно с упомянутым народом болотным; но я рассорил их между собою и из приболотного народа сделал особое приболотное царство, в котором тоже положил правилом, чтобы известно было, кто царь, а кто государь. Вследствие сего, ваша мрачность, можете надеяться получить оттуда еще 10 000 погибших годового дохода.

— Gut,[18] — сказал Сатана. — Что ж далее?

— Потом я пошевелил еще один народ, живший благополучно на сыпучих песках по обеим сторонам одной большой северной реки. Вот уж был истинно забавный случай! Никогда еще не удавалось мне так славно надуть людей, как в этом деле: да, правду сказать, никогда и не попадался мне народ такой легковёрный. Я так искусно настроил их, столь вскружил им голову, запутал все понятия, что они дрались как сумасшедшие в течение нескольких месяцев, гибли, погибли и

теперь еще не могут дать себе отчета, за что дрались и чего хотели. При сей okazji я имел счастье доставить вам с лишком 100 000 самых отчаянных проклятых.

— *Барзо добже!*[19] — примолвил Сатана, который собаку съел на всех языках. — Что же далее?

— После этих трех достославных революций я удалился в Париж, главную мою квартиру, и от скуки написал ученое рассуждение *О верховной власти сапожников, поденщиков, наборщиков, извозчиков, нищих, бродяг и проч.*, которое желаю иметь честь посвятить вашей мрачности.

— Посвяти его своему приятелю, человеку обоих светов, — возразил Сатана с суровым лицом. — Мне не нужно твоего сочинения; желаю знать, чем кончилась та революция, которую затеял ты где-то на песках, над рекою, на севере.

— Ничем, ваша мрачность. Она кончилась тем, что нас разбили и разогнали и что, в замешательстве, брадатый казак, который во все не знает толку в достославных революциях, кольнул меня жестоко а posteriori,[20] как

вы сами лично изволили свидетельствовать.

— Что же далее?

— Далее ничего, мрачнейший Сатана. Теперь я увечный, инвалид, и пришел проситься у вашей нечистой силы в отпуск за границу на шесть месяцев, к теплым водам, для излечения раны...

— Отпуска не получишь, — вскричал страшный повелитель чертей, — во-первых, ты недостойн, а во-вторых, ты мне нужен: дела дипломатические, говорят, все еще запутаны. Но возвратимся к твоей части. Ты рассказал мне только о трех революциях: куда же девались остальные? Ты еще недавно хвастал, будто в одной Германии завел их пять или шесть.

— Не удались, ваша мрачность.

— Как не удались?

— Что же мне делать с немцами, когда их расшевелить невозможно!.. Извольте видеть: вот и теперь есть у меня с собою несколько десятков немецких возбудительных прокламаций, речей, произнесенных в Гамбахе,^[54] и полных экземпляров газеты «Die deutsche Tribune».[21] Я раскидываю их по всей Герма-

нии, но немцы читают их с таким же отчаянным хладнокровием, с каким пьют они пиво со льдом и танцуют вальс под музыку: «Mein lieber Augustchen».[22] Несколько сумасшедших студентов и докторов прав без пропитания кричат, проповедуют, мечутся, но это не производит никакого действия в народе. Мне уже эти немцы надоели: уверяю вашу мрачность, что из них никогда ничего не выйдет. Даже и проклятые из них ненадежны: они холодны до такой степени, что вам всеми огнями ада и разогреть их не удастся, не то чтоб сжарить как следует.

— Что же ты сделал в Италии?

— Ничего не сделал.

— Как ничего!.. когда я приказал всего более действовать в Италии и даже обещал щепотку табаку, если успеешь перевернуть вверх ногами Папские владения.

— Вы приказали, и я действовал. Но итальянцы — настоящие бабы. В начале сего года учредил я между ними прекрасный заговор: они поклялись, что отвагою и мятежническими доблестями превзойдут древних римлян, и я имел причину ожидать полного успеха,

как вдруг, ночью, ваша мрачность изволили слишком громко... с позволения сказать... кашлянуть, что ли? так, что земля маленько потряслась над вашей спальнею. Мои герои, испугавшись землетрясения, побежали к своим капуцинам и высказали им на исповеди весь наш заговор — и все были посажены в тюрьму. Я сам находился в ужасной опасности и едва успел спасти жизнь: какой-то капуцин гнался за мною,^[55] с кропилом в руке, через всю Болонью. К Риму подходить я не смею: вам известно, что еще в V веке заключен с нами договор, подлинная грамота коего, писанная на бычачьей шкуре, хранится поныне в Ватиканской библиотеке между тайными рукописями — этим договором черти обязались не приближаться к стенам Рима на десять миль кругом...

— У тебя на все своя отговорка, — возразил недовольный Сатана, — по твоей лености выходит, что в нынешнее время одни лишь черти будут свято соблюдать договоры. Ну, что в Англии?

— Покамест ничего, но будет, будет!.. Теперь прошел билль о реформе,^[56] и я вам обе-

цаю, что лет чрез несколько подниму вам в том краю чудесную бурю. Только потерпите немножко!..

— Итак, теперь решительно нет у тебя ни одной революции?

— Решительно ни одной, ваша мрачность! Кроме нескольких текущих мятежей и бунтов по уездам в конституционных государствах, где это в порядке вещей и необходимо для удостоверения людей, что они действительно пользуются свободою, то есть что они беспрепятственно могут разбивать друг другу головы во всякое время года.

— Однако, любезный Астарот, я уверен, что ежели ты захочешь, то все можешь сделать, — присовокупил царь чертей. — Постарайся, голубчик! Пошевелись, похлопочи...

— Стараюсь, бегаю, хлопочу, ваша мрачность! Но трудно: времена переменялись.

— Отчего же так переменялись?

— Оттого что люди не слишком стали мне верить.

— Люди не стали тебе верить? — воскликнул изумленный Сатана. — Как же это случилось?

— Я слишком долго обманывал их обещаниями блистательной будущности, богатства, благоденствия, свободы, тишины и порядка, а из моих революций, конституций, камер и бюджетов вышли только гонения, тюрьмы, нищета и разрушение. Теперь их не так легко надуешь: они сделались, чрезвычайно умны.

— Молчи, дурак! — заревел Сатана страшным голосом. — Как ты смеешь лгать предо мною так бессовестно? Будто я не знаю, что люди никогда не будут умны?

— Однако уверяю вашу мрачность...

— Молчи!

Черт мятежей по врожденной наглости хотел еще отвечать Сатане, как тот в ужасном гневе соскочил с своего сидалища и бросился к нему с пылающим взором, с разинутую пастью, с распростертыми когтями, как будто готовясь растерзать его.

Астарот бежать — Сатана за ним!..

Проклятые со страха стали прятаться в дырках и расщелинах, влезать на карнизы, искать убежища на потолке. Суматоха была ужасная, как во французской камере депутатов при совещаниях о водворении внутренне-

го порядка или о всеобщем мире.

Сатана гонялся за Астаротом по всей зале, но обер-председатель революций, истинно с чертовскою ловкостью, всегда успевал ускользнуть у него почти из рук. Это продолжалось несколько минут, в течение коих они пробежали друг за другом 2000 верст в разных направлениях. Наконец повелитель ада поймал коварного министра своего за хвост...

Поймав и держа за конец хвоста, он поднял его на воздух и сказал с адскою насмешкой:

— А!.. Ты толкуешь мне об уме людей!.. Поймай же, негодяй!.. Смотри, чтобы немедленно произвел мне где-нибудь между ними революцию под каким бы то ни было предлогом: иначе, я тебя!.. quos ego!.. [23] как говорит Вергилий⁽⁵⁷⁾...

И, в пылу классической угрозы, повертев им несколько раз над головою, он бросил его вверх со всего размаху.

Бедный черт мятежей, пробив собою свод ада, вылетел в надземный воздух и несколько часов кряду летел в нем, как бомба, брошенная из большой Перкинсовой мортиры. Аст-

рономы направили в него свои телескопы и, заметив у него хвост, приняли его за комету: они тотчас исчислили, во сколько времени совершит она путь свой около солнца, и для успокоения умов слабых и суеверных издали ученое рассуждение, говоря: «Не бойтесь! Это не черт, а комета». Г. Е.^{***} напечатал в «Северной пчеле», что хотя это, может статься, и не комета, а черт, но он не упадет на землю: напротив того, он сделается луною, как то уже предсказано им назад тому лет двадцать. — Теперь, после изобретения Фраунгоферова телескопа,^{58} и летучая мышь не укроется в воздухе от астрономов: они всех их произведут в небесные светила.

Между тем черт мятежей летел, летел, летел и упал на землю, с треском и шумом, — в самом центре Парижа. Но черти — как кошки: падения им не вредны. Астарот мигом приподнялся, оправился и немедленно стал кричать во все горло: «Долой министров! — Долой короля! — Да здравствует свобода! — Виват Республика! — Виват Лафайет!^{59} — Ура Наполеон II!» — стал бросать в окна камнями и бутылками, коими были наполнены его

карманы, стал бить фонари и стрелять из пистолетов, — и в одно мгновение вспыхнул ужасный бунт в Париже.

Сатана, выбросив Астарота на землю, важно возвратился к своему престолу, воссел, выпыхался, понюхал опилок и сказал:

— Видишь, какой бездельник!.. Чтоб ничего не делать, он вздумал воспевать передо мною похвалы уму человеческому!.. Покорно прошу сказать, когда этот прославленный ум был сильнее нашего искушения?.. Люди всегда будут люди. Ох, эти любезные, дорогие люди!.. Они на то лишь и годятся, что ко мне в проклятые... Кто теперь следует к докладу?

Представьте себе чертенка — ведь вы чертей видали? — представьте себе чертенка ростом с обыкновенного губернского секретаря, 2 аршина и 1/2 вершка, с петушиным носом, с собачьим челом, с торчащими ушами, с рогами, с когтями и с длинным хвостом; одетого — как всегда одеваются черти! — одетого по-немецки, в чулках, сшитых из старых газет, в штанах из старых газет, в длинном фраке из старых газет, с высоким, аршин в де-

вять, остроконечным колпаком на голове, склеенным из журнальных корректур в виде огромного шпица, на верхушке коего стоит бумажный флюгерок, вертящийся на деревянном прутике и показывающий, откуда дует ветер, — и вы будете иметь понятие о забавном лице и форменном наряде пресловутого Бубантуса, первого лорда-дьявола журналистики в службе его мрачности.

Бубантус — большой любимец повелителя ада: он исправляет при нем двойную должность — придворного клеветника и издателя ежедневной газеты, выходящей однажды в несколько месяцев под заглавием: «Лгун из лгунов». В аду это официальная газета: в ней, для удовлетворения любопытству царя тьмы, помещаются одни только известия неосновательные, ибо основательные он находит слишком глупыми и недостойными его внимания. И дельно!..

С совиным пером за ухом, с черным портфелем под мышкою, весь запачканный желчью и чернилами, подошел он к седалищу сурового обладателя подземного царства и остановился: остановился, поклонился, сделал пи-

руэт на одной ноге и опять поклонился и сказал:

— Имею честь рекомендоваться!..

Сатана примолвил:

— Любезный Бубантушка, начинай скорее свой доклад: только говори коротко и умно, потому что я сердит и скучаю...

И он зевнул ужасно, раскрыв рот шире жерла горы Везувия: дым и пламя за клубились из его горла.

— Мой доклад сочинен на бумаге, — отвечал нечистый дух журналистики. — Как вашей мрачности угодно его слушать: романтически или классически?.. то есть, снизу вверх или сверху вниз?

— Слушаю снизу вверх, — сказал Сатана. — Я люблю романтизм: там все темно и страшно, и всякое третье слово бывает непременно *мрак* или *мрачный* — это по моей части.

Бубантус начал приготовляться к чтению. Сатана присовокупил:

— Садись, мой дорогой Бубантус, чтоб тебе было удобнее читать.

Бубантус оборотился к нему задом и поклонился в пояс: под землю это принятый и са-

мый вежливый образ изъявления благодарности за приглашение садиться. Он окинул взором залу и, нигде не видя стула, снял с головы свой бумажный, шпигеобразный колпак, поставил его на пол, присел, сжался, прыгнул на десять аршин вверх, вскочил и сел на самом флюгерке его; сел удивительно ловко — ибо вдруг попал он своим rectum[24] на конец прутика и воткнулся на него ровно, крепко и удобно, — принял важный вид, вынул из портфеля бумагу, обернул ее вверх ногами, чихнул, свистнул и приступил к чтению с конца, на романтический манер:

«и проч., и проч., слугою покорнейшим вашим пребыть честь Имею, невозможно людьми управлять иначе...»

— И проч., и проч.!.. — воскликнул Сатана, прерывая чтение. — Визирь, слышал ли ты это начало? И проч., и проч.!.. Наш Бубантус, право, мастер сочинить. Доселе статьи романтические обыкновенно начинались с *И*, с *Ибо* с *Однако ж*, но никто еще не начал так смело, как он, с *и проч.* Романтизм — славное изобретение!

— Удивительное, ваша мрачность, — отвечал визирь, кланяясь.

— На будущее время я не иначе буду говорить с тобою о делах, как романтически, то есть наоборот.

— Слушаю, ваша мрачность! — примолвил визирь, — это будет гораздо вразумительнее. В самом деле, истинно адские понятия никаким другим слогом не могут быть выражены так сильно и удобно, как романтическим.

— Как мы прежде того не догадались! — сказал царь чертей. — Я, вероятно, всегда любил романтизм?..

— Ваша мрачность всегда имели вкус тонкий и чертовский.

— Читай, — сказал Сатана, обращаясь к злому духу журналистики, — но повтори и то, что прочитал: мне твой слог очень нравится.

Бубантус повторил:

«и проч., и проч., слугою покорнейшим вашим пребыть честь Имею...»

— Как?.. только *слугою*? — прервал опять Сатана. — Ты в тот раз читал умнее.

— Только *слугою*, ваша мрачность, — воз-

разил черт журналов, — я и прежде читал *слугою* и теперь так читаю. Я не могу более подписываться: *вашим верноподданным*.

— Почему?

— Потому что мы, в Париже, торжественно протестовали против этого слова почти во всех журналах: оно слишком классическое, мифологическое, греческое, феодальное...

— Полно, так ли, братец?

— Точно так, ваша мрачность! Со времени учреждения в Западной Европе самодержавия черного народа все люди — цари: так говорит г. Моген. Я даже намерен заставить предложить в следующее собрание французских Палат, чтобы вперед все частные лица подписывались: *Имею честь быть вашим милостивым государем*, а один только король писался бы *покорнейшим слугою*.

— Странно!.. — воскликнул Сатана с весьма недовольным видом. — Неужели все это романтизм?

— Самый чистый романтизм, ваша мрачность. В романтизме главное правило, чтобы все было странно и наоборот.

— Продолжай!

Бубантус продолжал:

«невозможно людьми управлять иначе: в искушение вводить и обещаниями лживыми увлекать, дерзостью изумлять, искусно их надувать уметь надобно, извольте сие знать, мрачность ваша, как в дураках остались совершенно они, чтоб, стараясь, ибо...»

— Стой! — закричал Сатана, и глаза у него засверкали, как молнии. — Стой!.. Полно! Ты сам останешься у меня в дураках. Как ты смеешь говорить, что моя мрачность?.. Не хочу я более твоего романтизма. Читай мне классически, сверху вниз.

— Но здесь дело идет не о вашей мрачности, а о людях, — возразил испуганный чертенок. — Слог романтический имеет то свойство, что над всяким периодом надобно крепко призадуматься, пока постигнешь смысл иного, буде таковой на лицо в оном имеется.

— А я думать не хочу! — сказал грозный обладатель ада. — На что мне эта беда?.. Я вашего романтизма не понимаю. Это сущий вздор: не правда ли, мой верховный визирь?

— Совершенная правда! — отвечал Вельзе-

вул, кланяясь. — Слыханное ли дело, читая думать?..

— Сверх того, — присовокупил царь чертей, — я примечаю в этом слоге выражения чрезвычайно дерзкие, неучтивые, которых никогда не встречал я в прежней классической прозе, гладкой, тихой, покорной, низкопоклонной...

— Без сомнения! — подтвердил визирь. — Романтизм есть слог мотов, буянов, мятежников, лунатиков, и для таких больших вельмож, как вы, слог классический гораздо удобнее и приличнее: по крайней мере он не утруждает головы и не пугает воображения.

— Мой верховный визирь рассуждает очень здраво, — сказал Сатана с важностью, — я большой вельможа. Читай мне классически, не утруждая моей головы и не пугая моего воображения.

Бубантус, обернув бумагу назад, стал читать сначала:

«ДОКЛАД

Мрачнейший Сатана!

Имею честь донести вашей нечистой силе, что, стараясь распространять

более и более владычество ваше между родом человеческим, для удобнейшего запутания означенного рода в наши тенеты, подводомых мне журналистов разделил я на всей земле на классы и виды и каждому из них предписал особенное направление. В одной Франции учредил я четыре класса журналистов, не считая пятого. Первый класс назван мною журналистами движения, второй — журналистами сопротивления, третий — журналистами уклонения, четвертый — журналистами возвращения. Пятый именуется среднею серединою. Одни из них тащат умы вперед, другие тащат их назад; те тащат направо, те налево, тогда как последователи средней середины увертываются между ними, как бесхвостая лиса, — и все кричат, и все шумят, все вопиют, ругают, страшат, бесятся, грозят, льстят, клеветуют, обещают; все предвещают и проповедают бунты, мятежи, бедствия, кровь, пожар, слезы, разорение: только слушай да любуйся! Читатели в ужасе, не знают что думать, не знают чему верить и за что приняться: они

ежечасно ожидают гибельных происшествий, бегают, суеются, укладывают вещи, прячут пожитки, заряжают ружья, хотят уйти и хотят защищаться и не разберут, кто враг, кто приятель, на кого нападать и кого покровительствовать; днем они не докушивают обеда, ввечеру боятся искать развлечений, ночью внезапно вскакивают с постели: одним словом, беспорядок, суматоха, буря умов, волнение надежд и желаний, вьюга страстей, грозная, неслыханная ужасная — и все это по милости газет и журналов, мною созданных и руководимых!

Не хвастая, ваша мрачность, я один более проложил людям путей к пагубе, чем все прочие мои товарищи. Я удвоил общую массу греха. Прежде люди грешили только по старинному, краткому списку грехов; теперь они грешат еще по журналам и газетам: по ним лгут, крадут, убивают, плутуют, святотатствуют; по ним живут и гибнут в бесчестии. Мои большие печатные листы беспрерывно колют их в бок, жгут в самое сердце, рвут тела их клещами страстей, тормозят

умы их обещаниями блеска и славы, как собаки кусок старой подошвы; подстрекают их против всех и всего, прельщают и, среди прельщения, забрызгивают им глаза грязью; возбуждают в них деятельность и, возбудив, не дают им ни есть, ни спать, ни работать, ни заниматься выгодными предприятиями. Сим-то образом, создав, посредством моих листов, особую стихию политического мечтательства — стихию горькую, язвительную, палящую, наводящую опьянение и бешенство, — я отторгнул миллионы людей от мирных и полезных занятий и бросил их в пучины сей стихии: они в ней погибнут, но они уже увлекли с собою в пропасть целые поколения и еще увлекут многие.

Коротко сказать, при помощи сих ничтожных листов я содержу все в полном смятении, заказываю мятежи на известные дни и часы, ниспровергаю власти, переделываю законы по своему вкусу и самодержавно управляю огромным участком земного шара: Франциею, Англиею, частью Германии, Ост-Индиею, Островами и целою Аме-

рикою. Если ваша мрачность желаете видеть на опыте, до какой степени совершенства довел я на земле адское могущество журналистики, да позволено мне будет выписать из Франции, Англии и Баварии пятерых журналистов и учредить здесь, под землю, пять политических газет: ручаюсь моим хвостом, что чрез три месяца такую произведу вам суматоху между проклятыми, что вы будете принуждены объявить весь ад состоящим в осадном положении; вашей же мрачности велю сыграть такую пронзительную серенаду на кастрюлях, котлах, блюдах, волынках и самоварах, — где вам угодно, хоть и под вашу кроватью, — какой ни один член средней середины...»

— Ах ты, негодяй!.. — закричал Сатана громовым голосом и — хлоп! — отвесил ему жестокий щелчок по носу — щелчок, от которого красноречивый Бубантус, сидящий на колпаке, на конце прутика, поддерживающего флюгер, вдруг стал вертеться на нем с такою быстротою, что подобно приведенной в движение шпуре он образовал собою только вид

жужжащего, дрожащего, полупрозрачного шара. И он вертелся таким образом целую неделю, делая на своем полюсе по 666 поворотов и минуту, — ибо сила щелчка Сатаны в сравнении с нашими паровыми машинами равна силе 1738 лошадей и одного жеребенка.

— Странное дело, — сказал Сатана визирю своему Вельзевулу, — как они теперь пишут!.. Читай как угодно, сверху вниз или снизу вверх, классически или романтически: все выйдет та же глупость или дерзость!.. Впрочем, Бубантус добрый злой дух: он служит мне усердно и хорошо искушает; но, живя в обществе журналистов, он сделался немножко либералом, наглым и забывает должное ко мне благоговение. В наказание пусть его помелет задом... Позови черта словесности к докладу.

Визирь кивнул рогом, и великий черт словесности явился.

Он не похож на других чертей, он черт хорошо воспитанный, хорошего тона; высокий, тонкий, сухощавый, черный — очень черный — и очень бледный: страждет модною

болезнию, гастритом, и лицо имеет, оправленное в круглую рамку из густых бакенбард. Он носит желтые перчатки, на шее у него белый атласный галстух. Не взирая на присутствие Сатаны, он беззаботно напевал себе сквозь зубы арию из «Фрейшюца»^{60} и хвостом выколачивал такт по полу. Он имел вид франта, и еще ученого франта. С первого взгляда узнали б вы в нем романтика. Но он романтик не журнальный, не такой, как Бубантус, а романтик высшего разряда, в четырех томах, с английскою виньеткою.

— Здоров ли ты, черт Точкостав? — сказал ему Сатана.

— !..!!... Слуга покорнейший....!!!!?..!!!! в вашей адской мрачности!!!!!!..!

— Давно мы с тобой не видались.

— Увы!..!!!...??..?!..!!!!!!..! я страдал...!!!.. я жестоко страдал!!!!..!..!..!..? Мрачная влажность проникла в стены души моей; гробовая сырость ее вторгнулась, как измена, в мозг, и мое воображение, вися неподвижно в сем тяжелом, мокром, холодном тумане болезненности, мерцало только светом слабым, бледным, дрожащим, неровно мелькающим, похо-

жим на ужасную улыбку рока, поразившего острою свою добычу, — оно мерцало светом лампы, внесенной рукою гонимого в убийственный воздух ужаса и смрада, заваленный гниющими трупами и хохочущими остовами...

— Что это значит? — воскликнул изумленный Сатана.

— Это значит??...!!!...?..!!!!!!...! это значит, что у меня был насморк, — отвечал Точкостав.

— Ах ты, сумасброд! — вскричал царь чертей с нетерпением. — Перестанешь ли ты когда-нибудь, или нет, морочить меня своим отратительным пустословием и говорить со мною точками да этими кучами знаком вопросительных и восклицательных?.. Я уже несколько раз сказывал тебе, что терпеть их не могу; но теперь для вящей безопасности от скуки и рвоты решаюсь принять в отношении к вам общую, великую, государственную меру...

— Что такое?.. — спросил встревоженный черт.

— Я отменяю, — продолжал Сатана, — уничтожаю формально и навсегда в моих владе-

ниях весь романтизм и весь классицизм, потому что как тот, так и другой — сущая бессмыслица.

— Как же теперь будет?.. — спросил нечистый дух словесности. — Каким слогом будем мы разговаривать с вашею мрачностью?.. Мы умеем только говорить классически или романтически.

— А я не хочу знать ни того, ни другого! — примолвил Сатана с суровым видом. — Оба эти рода смешны, ни с чем несообразны, безвкусны, уродливы, ложны — ложны, как сам черт! Понимаешь ли?.. И ежели в том дело, то я сам, моею властью, предпишу вам новый род и новую школу словесности: вперед имейте вы говорить и писать не классически, не романтически, а шарбалаамбарабурически.

— Шарбалаамбарабурически?.. — сказал черт.

— Да, шарбалаамбарабурически, — присовокупил Сатана, — то есть писать дельно.

— Писать дельно?.. — воскликнул великий черт словесности в совершенном остолебении. — Писать дельно!.. Но мы, ваша мрачность, умеем только писать классически или

романтически.

— Писать дельно, говорят тебе! — повторил Сатана с гневом. — Дельно, то есть здраво, просто, естественно, сильно без натяжек, ново без трупов, палачей и шарлатанства, приятно без причесанных a la Titus⁽⁶¹⁾ периодов и одетых в риторический парик оборотов, разнообразно без греческой мифологии и без Шекспирова чернокнижия, умно без старинных антитез и без нынешнего шутовства в словах и мыслях. Понимаешь ли?.. Я так приказываю: это моя выдумка.

— Писать здраво, просто, умно, разнообразно!.. — повторил с своей стороны нечистый дух словесности в жестоком смятении. — У вашей мрачности всегда бывают какие-то чертовские выдумки. Мы умеем только писать классически или ром...

— Слышал ли ты мою волю или нет?

— Слышал, ваша мрачность, но она неудобноисполнима.

— Почему?..

— Потому что я и подведомые мне словесники умеем излагать наши мысли только классически или романтически, то есть по од-

ному из двух готовых образцов, по одной из двух давно известных, определенных систем: писать же так, чтоб это не было ни сглупа, по-афински, ни сдурна, по-староанглийски, — того на земле никто исполнить не в состоянии. Ваша нечистая сила полагаете, что у людей такое же адское соображение, как у вас: они — клянусь грехом! — умеют только скверно подражать, обезьянничать... Прежде они подражали старине греческой, которую утрировали, коверкали бесчеловечно: теперь она им надоела, и я подсунул им другую пошлую старину, именно великобританскую, на которую они бросились, как бешеные, и которую опять стали утрировать и коверкать. Они сами видят, что прежде были очень смешны: но того не чувствуют, что они и теперь очень смешны, только другим образом, и радуются, как будто нашли тайну быть совершенно новыми. Притом, что пользы для вашей мрачности, когда люди станут писать умно и дельно?

— Как что пользы?.. Я, по крайней мере, не умру от скуки, слушая подобные глупости.

— Но владычество ваше на земле исчезнет.

— Отчего же так?

— Оттого что когда они начнут сочинять дельно, о чертях и помину не будет. Ведь мы притча!..

— Ты думаешь?..

— Без сомнения!.. Теперь вы самодержавно господствуете над всею земною словесностью, вы царствуете во всех изящных произведениях ума человеческого... Все его творения дышат нечистою силой, все бредят дьяволом. Греческий Олимп разрушен до основания: Юпитер пал, и на его престоле теперь сидите вы, мрачайший Сатана. Я все так устроил, что смертные писатели воспевают только ад, грех, порок и преступление...

— Неужели?.. — воскликнул царь тьмы с удовольствием.

— Ей-ей, ваша мрачность. Главные пружины нынешней поэзии суть: вместо Венеры — ведьма, вместо Аполлона — страшный, засаленный, вонючий шаман, вместо нимф — вампиры: она завалена трупами, черепами, скелетами, из каждой ее строки каплет гнойная материя. Проза сделалась настоящею попойною ямой: она толкует только о крови, грязи, разбоях, палачах, муках, изувечениях,

чахотках, уродах; она представляет нищету со всею ее отвратительностью, разврат со всею его прелестью, преступление со всею его мерзостью, со всею наготою, соблазн и ужас со всеми подробностями. Она с удовольствием разрывает могилы, как алчная гиена, и забавляется, швыряя в проходящих вырытыми костями; она ведет бедного читателя в мрачные гробницы и, шутя, запирает его в гроб вместе с червивым трупом: ведет в смрадные тюрьмы и, так же шутя, сажает его на грязной соломе, подле извергов, разбойников и зажигателей, с коими поет она неистовые песни, ведет в дома распутства и бесчестия и, для потехи, бросает ему в лицо все откопанные там нечистоты: ведет на лобные места, подставляет под эшафоты и в шутку обливает его кровью обезглавленных преступников. Она придумывает для него новые страдания, хохочет над его страданиями. Она мучит его всем, чем только мучить возможно — предметом, тоном повествования, слогом — этим-то слогом моего изобретения, свирепым, ядовитым, изломанным в зигзаг, набитым шипами, удушливым, утомительным до крайности...

— Все это очень хорошо и похвально, — прервал Сатана, — но непрочно. Я знаю, что твой слог имеет все эти достоинства, но думаешь ли ты, что читатели долго дозволят вам мучить их таким несносным образом? Ведь это хуже, чем у меня в аду!

— Конечно, недолго, — отвечал черт Точкостав, — но между тем какое удовольствие, какая отрада мучить людей порядком и еще под видом собственного их наслаждения!..

— И то дело! — сказал Сатана. — Мучь же крепко, любезный Точкостав, своею романтической прозою и поэзию!

— Рад стараться, ваша мрачность.

— Если у вас, на земле, неостанет чернил на точки и знаки восклицательные, то обратись ко мне. Мы можем уделить вам полтора или два миллиона бочек нашего адского перегорелого дегтю.

— Не премину воспользоваться вашим великолепным предложением.

— Что это у тебя в руке?

— Новый роман для вашей нечистой силы и вчерашние парижские афишки.

— Ну, что вчера представляли на театрах в

Париже?

— Все романтические пьесы, ваша мрачность. На одном театре представляли чертей поющих, на другом чертей пляшущих, на третьем чертей сражающихся, на четвертом виселицу, на пятом гильотину, на шестом мятеж, на седьмом Антони⁽⁶²⁾ или прелюбодеяние...

— Неужели?.. — воскликнул Сатана. — Ну что, как, хорошо ли представляли прелюбодеяние?

— Очень хорошо, ваша мрачность: очень натурально.

— И это ты выучил их всему этому?

— Я, ваша мрачность.

— Хват, мой Точкостав!.. Вот тебе за то фальшивый грош на водку. Какой это роман?

— Роман Жюль Жанена⁽⁶³⁾ под заглавием *Барнав*, произведение самое адское...

— Поди поставь его в моей избранной библиотеке. Сегодня я его прочитаю, а завтра съем, и будет ему конец.

— Подайте мне трубку, — сказал Сатана.

Султан Магомет II,⁽⁶⁴⁾ покоритель Констан-

тинополя, исправляет при дворе его нечистой силы знаменитую должность *чубукчи-паши*: он чистит и набивает огромную медную его трубку, сделанную из отбитой головы баснословного родосского колосса. В эту трубку, обыкновенно, кладется целый воз гнилого подрядного сена: это любимый табак Сатаны — он даже другого не употребляет.

Черти, зная вкус своего повелителя, по ночам крадут для него этот табак из разных провиантских магазинов. От этого именно иногда происходит у людей недочет в казенном сене.

Магомет II церемониально поднес набитую трубку. Сатана принял ее одною рукой, а другую внезапно простер в сторону и схватил ею за голову одного из близстоящих проклятых, прежде бывшего издателя чужих сочинений с вариантами и своими замечаниями, высохшего, как лист бумаги, над сравнением текстов и помешавшегося на вопросительном знаке, поставленном в одной рукописи по ошибке, вместо точки с запятою. Он смял его в горсти, придвинул к своему носу и чихнул; искры обильно посыпались из ноздрей его.

Сухой толкователь чужих мыслей мгновенно от них загорелся. Сатана зажег им трубку: остальную же часть его он бросил на пол и задушил ногою. Недогоревший кусок ученого словочета представляет собою вид — (;) точки с запятою!..

Все проклятые были опечалены горестною его судьбою и поражены жестоким своеправием их обладателя. Но Сатана спокойно курил свое сено.

— Не угодно ли вам выслушать еще доклад главноуправляющего супружескими делами? — сказал адский верховный визирь.

— С удовольствием! — отвечал Сатана. — Я люблю соблазнительные летописи.

И черт супружеских дел явился.

Я не стану описывать его наружности, потому что три четверти женатых читателей моих лично с ним знакомы; я скажу только, что черт Фифи-Коко есть злой дух презлой, прековарный, но вместе с тем очень любезный — смиренный, покорный, услужливый, как иной столоначальник перед своею директоршею, и хитрый, как преступная жена, и плут

хуже всякого подъячего, и проворный искуситель, и в большом уважении у Сатаны. Он-то привел во искушение первую нашу прародительницу, сообщив ей великую тайну всего доброго и всего злого: в то время это была великая тайна, но в наш просвещенный век даже все горничные знают ее наизусть и без его содействия.

Но гораздо важнее то, что он знает тайны всех замужних красавиц, и самой даже Сатанши. Сатана имеет крепкое на него подозрение, но... но не говорит ни слова: Сатана знает приличия.

— Что нового? — спросил черный повелитель. — Как идут дела по твоей части?

— Отменно хорошо, ваша мрачность. Часть моя никогда еще не бывала в столь цветущем состоянии, как теперь. В супружествах господствует необыкновенная скука; мужья и жены большею частью ссорятся дважды и трижды в день; требования утешений непрестанны. У меня подлинно голова кружится от множества дел.

— Я знаю твою деятельность и ревность, — примолвил Сатана важно. — Покажи мне

свою табель.

Фифи-Коко подал ему на длинном листе бумаги табель супружеских происшествий за последний месяц на всей поверхности земного шара. Сатана, держа трубку в зубах, начал рассматривать ее с большим вниманием и, при всякой статье, то восклицал от удовольствия, то от радости выпускал огромные клубы табачного дыма ртом, носом и ушами.

— Сколько измен!.. Сколько ссор!.. Какая пропасть драк! — приговаривал он, читая табель. — Да какое множество любовных писем в течение одного месяца!.. Скажи, пожалуйста, неужели столько расстроил ты супружеств в столь короткое время?.. 777 777? Это ужас!..

— Именно столько, ваша мрачность, — отвечал черт.

— Славно! Славно!.. — воскликнул Сатана, продолжая смотреть в бумагу. — Я должен сказать откровенно, что изо всех отраслей моего правления твой департамент отличается наилучшим порядком.

— Ваша мрачность слишком ко мне милостивы...

— Дела текут у тебя чрезвычайно скоро.

— Женщины, ваша нечистая сила, не любят, чтобы они долго оставались на справке.

— И после масленицы у тебя нерешенных дел почти не остается.

— Это самое удобное время к очистке сего рода.

— Притом же твоя часть чрезвычайно обширна и едва ли не самая важная: она приносит мне наиболее пользы.

Фифи-Коко поклонился.

— Ни один из моих верных служителей не доставляет мне такого числа проклятых, как ты. Сколько у нас в аду великих мужей, глубокомудрых философов, мудрецов, святошей, фанатиков, которых никто из моих чертей не мог соблазнить; а ты принялся за дело, женил их и — глядь — через несколько времени привел их ко мне — и не одних... мужа и жену вместе.

— Когда их, ваша милость, так легко поймать на приманку сладкого греха! — примолвил черт, скромно потупив глаза.

— Как бы то ни было, но я умею ценить твои дарования и поставляю себе в обязанность наградить тебя блистательным и при-

личным образом, — сказал Сатана с торжественным видом. — Вельзевул! В воздаяние знаменитых подвигов и беспримерной деятельности моего главнокомандующего на земле супружескими делами вели вызолотить ему рога.

Черти, содержащие стражу, схватили Фи-фи-Коко, отнесли его в геенну, всунули головою в печь и, раскалив ему рога до надлежащей степени, вызолотили их прочно и богато; потом пустили его в свет посеять дальнейшие раздоры между двумя полами рода человеческого.

Сатана отдал трубку, встал с престола, зевнул, потянулся и сказал:

— Уф!.. Как я устал!.. Как скучно управлять с благоразумием людскими глупостями!.. Теперь пойду гулять между огней в геенне, чтобы подышать свежим воздухом и полюбоваться приятным зрелищем, как жарятся люди.

И он ушел.

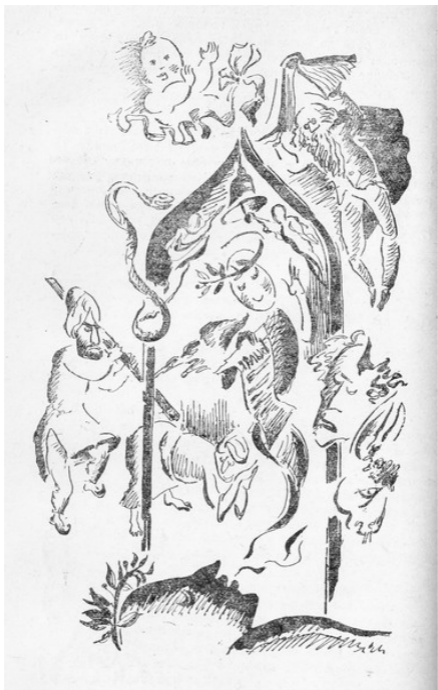
17 июня 1832



ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОЙ РЕВИЖСКОЙ ДУШИ

Калмыки, как то всем, а может статься, и не всем известно, говорят по-монгольски и исповедуют веру Будды, или Шеккямуни,⁽⁶⁵⁾ которой начальник, далай-лама, пребывает в Лхасе, столице Тибета, и живет там в великолепном двадцатидвухэтажном дворце. Поклонники Шеккямуни веруют в переселение душ, в которое веровали и Пифагор, и многие умные люди.

Главная, господствующая мысль далай-ламской веры состоит в том, что человек



должен всеми средствами и мерами «искоренять грех» из вселенной: когда весь грех будет «искоренен», тогда созданный мир достигнет своего совершенства, земля, небо, люди и

боги сольются в одну массу, она иссякнет во «всесовершеннейшем», то есть Шеккямуни, и настанет блаженное царство духа. Священные книги буддистов суть *Ганджур* и *Шастры*. Первые заключают в себе учение Будды и догматы веры. Шастрами называются легенды или сказания о деяниях святых мужей и знаменитых хутухт и лам, отличившихся своими подвигами на поприще «искоренения греха»; повести об их чудесах, видениях и приключениях; толкования священных текстов, поучительные слова, исследования разных богословских тонкостей и т. п.

Из огромного числа сочинений этого рода избрал я одну шастру, которая показалась мне занимательнее прочих. Сообщая ее читателям, спешу в то же время изъявить признательность мою знаменитому и скромному монголологу Я. И. Ш<мидту>,^{66} который своим ко мне благорасположением утвердил меня в намерении перевести ее и с особенною вежливостью во многих случаях руководствовал слабые мои познания в монгольском языке.

В переводе этой любопытной шастры ста-

рался я сохранить всю простоту слога и понятий степного ее сочинителя, не дозволяя себе никаких перемен не только в ее содержании, но и в наружном виде. Читатели, без сомнения, будут благодарны издателю за доставление им случая познакомиться с калмыцкою словесностью, которая тоже имеет свои прелести. Монгольский романтизм теперь в большой моде в Париже.

ШАСТРА О ДУШЕ ЛАМЫ МЕГЕДЕ- ТАЙ-КОРЧИН-УГЕЛЮКЧИ *(Перевод с монгольского)*

Начинается сказание о великой тайне. Блаженная Маньджушри,⁽⁶⁷⁾ покровительница грамоты, дай моим читателям столько ума, чтоб они постигли смысл этого сказания!

В оное время из времен я, грешный Мерген-Саин, слышал так:

В лето женское свиньи и огня, в обезьяний месяц, прибыл в здешние приволжские улусы муж святой и удивительный, по имени лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, прозванный во всех степях «Буквою мудрости». Он пришел к нам от пределов благословенного Тибета и высокой горы Эльбурдж, на которой обитают

тридцать три великие божества, тегри.^{68}

В нашей орде никогда еще не видывали такого святого мужа. Он ревностно занимался великим делом искоренения греха и всю жизнь проводил в глубоких умозрениях, нередко по несколько дней сряду не принимая никакой пищи. Когда в этом положении душа его возносилась до созерцания лица самого великого Шеккямуни, из его пупа и носа истекали лучи яркого света, который освещал всю Саратовскую степь.



Никто лучше его не постигал великой тайны орчилян и хубильган, или учения о переселении душ ив одних тел в другие. Он знал наизусть все сто восемь томов «Ганджура»; четки его состояли из ста восьми шариков, и он сто восемь раз пропускал их всякий день сквозь пальцы, произнося при всяком шарике по сту восьми раз священные слова «Ом-ма-ни-бад-ме-хум!» с особенною и непостижимою набожностью. Никогда уста его не осквернялись животною пищею, никогда его рука не лишала жизни ни малейшего одушевленного существа. Когда однажды по неосторожности придавил он комара на своем носу, то немедленно пошел в лес, скинул с себя платье и девять дней пробыл там совершенно нагой, позволяя всем комарам питаться его кровию. Такого святого давно уже у нас не бывало!

Великий Шеккямуни в воздаяние за его добродетели одарил его способностью ездить верхом на радуге и сидеть высоко на воздухе с поджатыми под себя ногами. Всякая его молитва была услышана в небе. Он по своему усмотрению производил дожди и засухи. И



святость его была так велика, что он даже мог без трепета смотреть в лицо всякому земскому исправнику; и когда, бывало, сидел он в юрте, погруженный в умозрительные созерцания, а из Саратова ехал степью пристав или заседатель, ему довольно было махнуть рукою, чтобы зловещие их колокольчики мигом умолкли и сами они проехали мимо, не заглянув в наши улусы. Если б он еще несколько лет пожил между нами, он, наверное, искоренил бы грех!

Затем я, Мерген-Саин, слышал так: вышел лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи из улуса, в котором питался он подаяниями благовер-

ных, и сел уединенно в степи, с лицом, обращенным к югу. И просидел он там семь дней и семь ночей, не трогаясь с места и непрерывно созерцая умом. После долгого размышления о великой тайне *орчилян* и *хубильган*, обняв мыслию все пространство бурного моря случаев, волнующих души в их переселениях и в перерождении одних существ в другие, он проник духом до небесной обители божества и сотворил такую молитву: «*Ом-ма-ни-бад-ме-хум!* Могущественнейший из могучих, верх святости, всесовершеннейший, зачисленный, великий Будда, великий Бурхан, ^{69} великий Шеккямуни[25] — Ты правитель настоящего периода вселенной, ты один — источник ума и разума. Далай-ламы и хутухты суть лишь истечения твои, тебе одному мы покоряемся. По неисчерпаемой благодати твоей ты дозволил мне постигнуть сокровенную цель и порядок перерождения всего движущегося и смертного. Озари еще ум раба твоего, ламы Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, последним светом и дай ему узнать то, чего никто не знал на свете. Открой мне, великий Бурхан, деяния собственной души моей со

времени ее сотворения; все, что она делала, и как из одного тела переходила в другое, и какие одушевляла твари до вступления в меня, глупейшую из твоих тварей. Ты источник ума и разума. Тебе одному мы покоряемся, гнушаюсь всеми прочими учениями. *Ом-ма-ни-бад-ме-хум!*»

Моление это было услышано в небе. И сотворив его, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи пал навзничь и уснул крепким сном. А во сне явился ему великий Шеккямуни в виде молодого всадника в желтом халате и лисьей шапке, съехавшего с неба по широкому лучу света на прекрасном зеленом верблюде. И сказал всадник ламе:

— Лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, ты сотворил молитву, которую я услышал; но просьба твоя безрассудна. Зачем желаешь ты знать деяния своей души?

И сказал лама всаднику:

— Могущественнейший из могучих, верх святости, всесовершеннейший, зачисленный, великий Шеккямуни! я желаю знать деяния своей души для того, чтоб искоренить грех.

А он ему на то:

— Лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, ты будешь раскаиваться в своем любопытстве. Я устроил мир так, чтобы люди знали только ту долю несчастья, которая нераздельна с настоящим их существованием, и не хотел умножать их горя знанием того, что всякий из них претерпел до своего рождения и сколько должен он еще вынести до будущего соединения со мною.

А лама ему в ответ:

— Могущественнейший из могучих! Я готов подвергнуться всем мукам и страданиям, чтоб только узнать эту тайну.

На что примолвил всадник:

— Лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, я не хочу делать тебя несчастным по твоей недуманной просьбе. Вы теперь находите утешение в вашем горе, прельщаясь мыслями о небесном блаженстве, о совершенстве всего того, что относится к быту богов, с которыми должны вы слиться духом после истребления греха. Но вы поверглись бы в беспредельное уныние, если б узнали, что грех и беспорядок водятся тоже и у нас, на небе.

На что возразил лама:

— Всесовершеннейший, зачисленный, великий Шеккямуни! я обдумал мою просьбу, и ничто в свете не приведет меня в уныние. Я хочу искоренить грех!..

Всадник призадумался, молчал долго и, наконец, воскликнул:

— Лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи! Прости меня о том трижды.

Лама трижды повторил свое моление, и всадник сказал ему:

— Итак, ты узнаешь похождения твоей души: Я позволю ей пересказать тебе все, что она делала со времени своего сотворения и как из одних тел переходила в другие, и какие одушевляла существа до вступления в тебя, глупейшую из моих тварей. Прощай!

Всадник в желтом халате и лисьей шапке ускакал на небо по лучу, который быстро свертывался в трубку вслед за удаляющимся верблюдом. А когда он ускакал, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, не просыпаясь, сел, вынул из-за пазухи лист бумаги, тушь и кисточку, развел чернила и стал писать. Он спал, а рука его писала. И писала не рука, а душа его писала его рукою. Это было великое

чудо!!.. И написала душа ламы Мегедетай-Корчин-Угелюкчи его рукою следующее, а я, Мерген-Саин, списал это от слова до слова для духовной пользы всех верующих. *Ом-ма-ни-бад-ме-хум!*

ЯРЛЫК ОПАСНОГО ЗНАНИЯ

Начинается сказание о похождениях моих, родной души твоей, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи.

Блаженная Маньджушри! дай ему столько ума и здравого смысла, чтоб он постиг тонкость этого сказания.

Мое слово есть следующее:

В недрах заоблачной горы Эльбурдж, на которой имеет свое пребывание великий бог Хормузда⁽⁷⁰⁾ с подвластными ему божествами, тегри, и откуда наблюдает он за порядком в природе и точным исполнением законов перерождения, есть огромная кладовая душ, запертая толстыми дверьми из слоновой кости и золотым замком. В этой кладовой лежала я со времени сотворения мира с лишком девяносто две тысячи лет. Я была забыта вместе с миллионами других запасных душ, хранящихся там без употребления, только на вся-

кий случай.

В оное время из времен существовал на земле сильный и богатый народ, называемый римлянами; теперь никто в Саратовской губернии не знает, куда он девался; но в старые годы он был на земле почти столь же знаменит, как ныне калмыки. В этом народе был вельможа, имевший неограниченное влияние на дела всего государства: он самовластно управлял половиною тогдашнего света и в знатности и могуществе не уступал, быть может, самому саратовскому исправнику. У вельможи кроме жены, по обыкновению всех знаменитых народов, была еще любовница. На земле повсюду господствовало спокойствие и уже давным-давно не происходило ничего особенного. Великий Хормузда, сидя на своем престоле, беззаботно читал «Книгу Судеб», в которой записаны день и час рождения и смерть всех одушевленных существ, от китайского богдыхана до последней букашки; он водил пальцем по их именам, отдавал приказания и был доволен, что все в мире исполнялось по предписанной форме. Вдруг послышалась у нас беготня на Эльбурдже. Великий

Хормузда закричал на всю гору:

— Эй!.. Кто там?.. В кладовую!.. бегите скорее!.. Взять одну новую душу и снести ее на землю. Теперь следует там родиться побочному сыну у римского вельможи... Скорее... важное, экстренное дело!

Да будет известно тебе, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, что для обыкновенных, законных рождений не отпускается роду человеческому новых душ из небесной кладовой: он должен изворачиваться старыми, поношенными душами, предоставленными вселенной для всегдашнего ее обихода и уже перешедшими через множество людей, скотов, гадов и насекомых. Но когда у природы случится побочный сынок, как он начинает с собою новую родословную, и законное число существ умножается через него одною лишнею, сверхштатною тварью, то по необходимости выдается на него новая душа, из числа хранимых в небесном амбаре на непредвидимые потребности. Таков предвечный порядок мира: благоговейте, калмыки и все народы, пред непостижимою мудростью великого Шекьямуни. *Ом-ма-ни-бад-ме-хум!*

В исполнение Хормуздова приказания один посыльный тегри прибежал в кладовую, погрузил руку в кучу душ, схватил одну из них на выдержку и, вскочив на радугу, поехал на землю. Эта душа была я. Он прибыл со мною к любовнице могущественного вельможи в самое время родов ее, вколотил меня сквозь ноздри в голову неправильному ребенку и ушел. Я в первый раз очутилась в человеке. Но я была совсем не по голове этому сынку, слишком велика и крепка для его мозга: это почти всегда случается с душами! Тегри, посылаемые Хормуздою для разноски нас по свету, исполняют свою должность весьма небрежно: они берут нас в кладовой без всякого разбора и, не примерив наперед к телу, которое должны мы оживлять, набивают нами людские головы как-нибудь, чтоб только очистить дело и скорее отрапортовать начальству, что тварь готова. От этого происходит такое множество дураков. Подлинно, жаль!.. Если б людей делали немножко иначе, несколько поосновательнее, не так поспешно и с должным вниманием, они были бы гораздо умнее. И великий Шеккямуни тщетно упо-

требляет все свои усилия, чтоб искоренить этот беспорядок: мочи нет с нашими тегри!..

Это несчастье случилось и со мною. Несмотря на то, что я была нова, блистательна, пылка, лучшей доброты, не затхлая и незалежавшаяся, — что также нередко бывает с душами, вновь выдаваемыми людям из кладовой, — несмотря даже на довольно правильное устройство органов противозаконного человечка, на хорошую и прочную отделку внутренней части его головы, мы с нею произвели беспримерного в свете дурака. Она вышла слишком для меня тесна!.. Как я была ей не в пору и распирала собою череп, то ребенок ощущал от меня нестерпимую боль в мозгу и кричал так пронзительно, что я уже хотела уйти из него сквозь уши. Этот крик был принят льстецами самовластного вельможи за предзнаменование великого ума его сына: папенька был в восторге и роздал пропасть милостей. Скоро все начали предсказывать, что из этого мальчишка будет славный малый... Вот как судят о вещах те, которые не имеют счастья быть калмыками и не понимают великой тайны *орчилан* и *хубильган*!

Задыхаясь в тесной голове, я принуждена была в разные времена ее возраста ворочаться с одного бока на другой, чтоб найти удобное для себя положение. Никак нельзя было прилично в ней расположиться!.. Наконец, я оборотилась спиной к ее лицу — иначе нельзя было сидеть в этой проклятой клетке! — и так просидела в дураке целых пятьдесят пять лет задом к его поступкам, чувствованиям и мыслям, в которых не принимала никакого участия. Никто, боюсь, не видал меня ни в его взорах, ни в чертах его лица; и не знаю, с чего взяли сочинители того времени, посвящавшие ему свои книги, что я прекрасна и благородна. Я не отпираюсь от этих качеств, но смею уверить, что они в своих предисловиях описывали меня наобум. Если эти господа когда-либо заглядывали ему в глаза с тем, чтоб присмотреться ко мне — чему я, впрочем, не верю, — то в глазах этого человека они могли увидеть только мой зад. Но льстецы не разбирают, а лобзают все, что им ни выставишь!..

Должно знать, что новые души всегда приносят счастье телу: оттого побочные дети ро-

да человеческого обыкновенно бывают очень счастливы. Голова, в которой была я заперта, лишенная моего содействия, совершенно ничего не делала: все называли ее неспособною, однако ж счастье постоянно нам благоприятствовало!.. Мы получили имение бог весть откуда, покровительство не знаю с какой стороны и почести неизвестно каким чудом. Доколе жил наш потаенный папенька, весь Рим кланялся нам с утра до вечера. Но это блаженство было не без неприятностей: старые, изношенные, полинявшие души терпеть не могут новых и даже стараются обнаруживать к ним презрение. Те самые, которые писали и читали нам похвалы, обернувшись в другую сторону, поносили нас весьма неблагопристойным словом и даже сочиняли жестокие эпиграммы на незаконных детей. Это чрезвычайно огорчало самолюбие моей головы, но оно скоро нашло средство примениться к обстоятельствам: оно пожирало громкие похвалы ушами и раздувалось от них, как пузырь, а тайные эпиграммы велело тихомолком глотать мне и опять было счастливо.[26]

Наскучив бездействием в этом человеке, в

котором не знала я никаких ощущений, который даже не думал дать мне какое-нибудь занятие, я воспользовалась первою его болезнию, чтоб ускользнуть из тела и предоставить дурака червям. Он скончался; я улетела на воздух и, увидев, что множество душ стремится отсюда к горе Эльбурдж, чтоб предстать пред суд Хормузды и получить от него новое назначение, поспешила присоединиться к их толпе. Мы полетели все вместе в желтое царство богов.

Первый вид грозного судилища всего смертного внушил мне не слишком выгодное понятие о нашем небесном правосудии. Тысячи душ окружали престол великого Хормузды; иные по целым столетиям дожидались решения своей участи. Он преспокойно рассуждал с другими богами о мифологических новостях, бранил духов, просивших его определить им какое-нибудь тело, произносил приговоры почти наудачу и нередко посылал в славных людей души, которым за их поведение на земле скорее следовало бы идти в медведей или обезьян. Многочисленные группы подсудимых, рассеянные по горе, были за-

няты сплетнями земной природы и спорами о разных богословских предметах буддаизма. Тут в первый раз увидела я знаменитую душу Пифагора, который еще до рождения Шеккямуни проповедовал учение о переселении душ; она незадолго до меня прибыла туда с земли, где, кажется, одушевляла kota. Дух Пифагоров, как теперь помню, жарко спорил с душою одного монгольского ламы, доказывая, что для человека самым вожделенным перерождением должно почитаться перевод души его в тело философа или в корову, тогда как душа ламы утверждала, что добродетельный человек не может желать себе ничего лучше перерождения в собаку. Душа ламы была совершенно права: положительный смысл многих текстов «Ганджура» не позволяет сомневаться в этой истине, и потому являющиеся в Хормуздов суд души употребляют все средства просьб, происков и покровительств, чтоб только быть определенными в собак. Весь свет хотел бы оборотиться щенком, вся природа желала быть моською: нельзя себе представить, в какой это моде в нашей мифологии!.. Все без памяти от собаки.

Душа ученого ламы была приговорена к переселению в свинью за какую-то ересь, которую взыскательный по этим делам Хормузда приметил в ее сочинениях. Напротив, дух великого Пифагора из кота поступил одним психологическим чином выше — в индейку. Когда пришла моя очередь, я поклонилась Хормузде, прося о назначении мне тоже жилища по моим заслугам. Он приказал погодить. Я ждала двадцать лет, всякий день напоминая страшному судье о своем деле и всегда получая тот же ответ: «Погоди!..» Однажды, как в суде было очень мало душ, он благоволил обратить на меня внимание.

— А ты чего хочешь? — спросил он меня.

— Великий Хормузда! — отвечала я покорно. — Реши мою судьбу. Вот уже почти четверть столетия, как скитаюсь без приюта.

— То-то и есть!.. — прервал он с досадою. — Вы все требуете решать ваши дела скорее, решать умно, а того не знаете, как трудно судить дураков. Вот, например, и ты, моя миленькая: как тут обсудить твое дело? Я уже давно об нем думаю и ничего не могу придумать. Ты жила пятьдесят пять лет в дураке,

ничем не занималась, не заслужила ни кары, ни награды: что ж мне с тобой делать?..

— Сделай милость, великий Хормузда!..

— Ну хорошо: я сделаю, но только, чтоб отделаться от дурака. Тегри, возьми ее, снеси на землю и всунь куда-нибудь.

Я вздохнула, услышав этот приговор. Скажи сам, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, законное ли это решение?.. В «Ганджуре» именно написано, что души дураков в наказание за свое бездействие или неспособность посылаются на работу и на обучение в головы трудолюбивых ученых, где они приковываются к куску темного старинного текста с обязанностью добиться в нем смысла и объяснить его надлежащим образом. Какой-то сонливый, неопрятный тегри с четырьмя длинными лицами и на одной ноге, очень похожий на ротозея, медленно подошел ко мне, загреб меня сухой своею горстью, положил в карман и удалился из судилища. Я думала, что он отправится со мною на землю. Не тут-то было! Он дотащился только до священного дуба *белгесугум*, растущего в половине высоты небесной горы, и лег под ним отдыхать. От

нечего делать стал он подбирать рассыпанные под деревом желуди и стрелять ими из всех четырех ртов на воздух. Эта забава утешала его чрезвычайно, и он просидел под дубом семьдесят семь лет, не трогаясь с места. Наконец, как-то вспомнил он обо мне, вынул меня из кармана и, отыскав на земле желудь, расколол его и положил меня в середину. Зажав опять желудь, он взял его в рот, надулся, толкнул языком и выстрелил им так же, как и прочими.

Я долго летела в воздухе, заключенная в дубовом плоде, и упала на землю в песок. Через несколько времени из этого плода вырос прекрасный дубок, и я, будучи принуждена одушевлять неподвижное дерево, увидела себя в дубовом лесу, происшедшем от желудей, набросанных моим ленивым тегри. То был первый дубовый лес на земле: он находился в Индии и существует по сию пору. Так судьба играет бедными душами!.. За то, что я безвинно просидела пятьдесят лет в дураке, пришлось быть поленом, может статься, тысячу лет и более!

Случай освободил меня от этого ужасного

и беспримерного наказания и исправил непростительное злоупотребление доверия со стороны тегри: без случаев не было бы порядка на свете. В Индии царствовал тогда сам великий бог той страны Брама,^{71} воплотившийся в человека под именем Мага-Раджи Нараянпалы, как то должно быть известно тебе из «Ганджура». Он приехал охотиться в нашем лесу и, отделясь от придворных, сел отдыхать в моей тени с знаменитым мудрецом и «святым мужем», риши^{72} Васиштою.

— Риши Васишта! — сказал ему Мага-Раджа, набивая себе рот листом бетелю. — Я хочу уйти в небо.

— Зачем?

— Не могу добиться толку с моими индийцами!.. Вот скоро уже сто двадцать лет, как царствую в Кенне, и еще не успел отучить их от греха. Ты мой риши, мой святой и мудрец: научи меня что делать; не то я скину с себя эту тяжелую и смердящую плоть и уйду в небо.

— Мага-Раджа! — примолвил святой муж. — Мудрецы древних времен говорят: неприлично уходить в небо перед праздни-

ком. После зимних праздников, если дела не поправятся, оставишь землю, когда тебе угодно. Покамест можно испытать с людьми еще одно средство, которое представляется моему уму. Посмотри, о Мага-Раджа, кругом себя: видишь ли эти молодые прекрасные деревья?.. Их прежде на земле не было. Вероятно, боги послали этот лес на землю для ее пользы и святости. Я сделаю тебе удивительную машину для искоренения греха...

— Хорошо! — воскликнул Мага-Раджа. — Сделай мне машину для искоренения греха; тогда я еще останусь на земле с вами. Мудрецы древних времен говорят, что машины всегда действуют ловчее и правильнее, чем люди.

Риши Васишта вынул из-за пояса свой длинный нож и срубил мое деревцо. Оборвав ветви, он привязал его к седлу и увез с собою в город. Как древесная плоть вянет нескоро, то я не могла тотчас из нее освободиться: я осталась в шесте, из которого потом уже никак нельзя было вырваться, ибо святой муж в тот же вечер сделал из него посох и приказал оковать его золотом с обоих концов. На дру-

гой день он поднес его Мага-Радже и сказал:

— Вот машина, которую выдумал я для искоренения греха!

Мага-Раджа, святости которого люди удивлялись по обеим сторонам Гангеса и, удивляясь, не переставали грешить и проказничать, по совету мудреца немедленно употребил эту машину к водворению честности, беспристрастия и правосудия в своих владениях. Я, по крайней мере, нашла занятие и принуждена была сознаться, что благомыслящей душе гораздо приятнее жить в полене, чем в дураке. Проживая в посохе, я внушала его плоти то самое благородное рвение ко всему благому и полезному, каким одушевлялся наш хозяин, и смело могу сказать, что никогда не было в Индии столько добродетелей и порядка, никогда благочестие, законы и мудрость не процветали там так успешно, как в то время, когда была я приставлена в палке к индийским делам. Тебе это покажется странным?.. Но поверь мне, любезный лама, что с вами, калмыка ми-людьми, ей-ей, нет другого средства!

Все удивлялись чудесным свойствам посо-

ха, и многие кенненские пандиды, или бого-
словы, были того мнения, что в него вопло-
тился сам великий Брама, нисшед в его обра-
зе на землю для наставления смертных в их
обязанностях и чтобы в этом уютном виде
вразумительнее действовать на умы и ловче
поддерживать человеческую слабость от па-
дения. Кенненские пандиды не знали, что в
посохе Мага-Раджи сидела душа!!. Их толки
распространились по обеим сторонам Гангеса
и подали повод к известному сказанию свя-
щенной книги браминов, «Веда», о чудесном
жезде Мага-Раджи Нараянпалы, подаренном
ему богами, при помощи которого узнавал он
в точности обо всем происходящем в его вла-
дениях.[27]

Но между тем дерево сохло, и его мочки
сжимали меня в недрах своих жесточайшим
образом. Я приходила в отчаяние, не зная ку-
да деваться, и надобен был другой случай,
чтоб спасти меня от подобной пытки. Этот
случай не замедлил представиться. Мага-Ра-
джа поймал визиря своего на грехе — когда
он прятал в карман огромную взятку! — и
срезал его по спине так крепко, что машина

для искоренения греха переломилась пополам. Пользуясь этим, я выскочила из дерева и явилась перед судом Хормузды. Святой мудрец сделал потом для Мага-Раджи другой посох, но тот уже не производил вожделенного действия: в нем не было души!..

Лишь только Хормузда увидел меня, он вскричал с веселым расположением духа:

— А!.. дубина!.. *менду-амор!* (добро пожаловать!) Ты славно действовала на земле! Могущественный из могучих, великий Шеккямуни, чудеса рассказывал мне о твоих подвигах: он говорит, что если б у него было вдруг десять таких душ, оправленных дубовым деревом, он мигом искоренил бы грех на земле. По несчастью, в «Книге Судеб» написано, что подобный твоему случай еще не скоро наступит!.. Я буду о тебе помнить.

Повергнутая проказами своенравного тегри в такое незавидное положение, каково было мое на земле, в простой деревянной палке, признаюсь, я никак не ожидала, чтобы вдруг нашлось за мною столько и таких великих заслуг в небе. Но вот что значит быть палкою при делах вселенной! Мудрость вели-

кого Шеккямуни неисповедима!.. Все находившиеся в судилище души были изумлены необыкновенною ко мне приветливостью сурового Хормузды: они уже смотрели на меня как на духа, который скоро может быть произведен в тегри и причислен к разряду божеств. Многие кланялись мне в пояс, льстили, превозносили прочность, основательность, высокую ударную силу, удивительное умение дубить кожи и другие добродетели дубового леса и старались заслужить мою благосклонность, чтобы по моей рекомендации, при моем великодушном покровительстве как-нибудь попасть в собак. Я сделалась важным лицом на Эльбурдже.

Как ни расположена я была к благодеяниям на пользу этих несчастных, но мне казалось, что прежде всего должна я подумать о себе, и при первом удобном случае представила Хормузде свое желание быть определенной в собаки. К крайнему огорчению, небесный Судья нашел меня слишком честолюбивою и высокомерною, присовокупив, что я еще недавно поступила в деятельные души вселенной, мало знаю психологическую

службу и не имею права вдруг требовать для себя такого высокого места. Однако ж он обещал, что со временем окажет мне эту милость, а между тем, как через несколько дней должен родиться на земле весьма значительный исторический человек, то за отличие пошлет меня жить в его теле.

Таким образом, из дубины перешла я в знаменитого человека. Голова его была устроена по старинному плану славных исторических голов: череп толстый, мозг мягкий, без всякой упругости, как будто нарочно сделанный для того, чтобы любимцы удобнее рисовали по нем пальцем свои понятия и виды; множество органов для производства шуму в свете и изумления в людях; никаких почти орудий для выделки собственных своих мыслей и сверх того пропасть пустого места на складку самолюбия и гордости. Поселясь в этой голове, я непременно желала действовать на славу, чтоб оправдать доверие Хормузды и заслужить дальнейшую его милость. По несчастию, я была ужасно упитана крепким сыромятным духом дерева, в котором жила прежде, и когда ввели меня в управле-

ние головою знаменитого человека, я вышла настоящая дубина!.. Я не умела и ступить; я чувствовала свою неповоротливость, леность, неловкость, тупость — а тут нужда велит непременно быть знаменитою!.. а тут надо изумлять свет своими подвигами, потому что в «Книге Судеб» написано, что мой человек должен называться на земле великим!.. Я металась, напрягала все силы, мучилась и ничего не могла произвести. Наконец, с отчаяния, не зная, что делать, я закрутила одним разом всеми органами исторической головы. Вдруг от общего движения мозговых колес произошел в ней страшный шум; он отразился грохотом по всем пустым головам, стоявшим к ней поближе; глупости и события градом посыпались из нее на общество; люди перепугались, остолбенели и выпучили на нас глаза, не понимая, что это значит и что о том думать. Я и сама перепугалась; но проныры, мигом сбежавшиеся отовсюду на ловлю поживы в поднятой мною суматохе, проворно подобрали все эти события и глупости и объявили людям, что это удивительные дела, беспримерные подвиги — и свет впопыхах признал

нас знаменитыми. Он, может быть, скоро опомнился бы и, заметив, что я крепко пахну дубиною, на другой день лишил бы нас прав этого лестного звания; но поэты и современные историки не дали ему времени оглянуться, ни перевести дыхания; засыпали ему глаза одами, забили рот биографиями, велели молчать и удивляться, а между тем поскорее записали нас в словарь великих людей, откуда бедный род человеческий теперь и зубами нас не выскоблит. Мы навсегда остались знаменитыми. «Книге Судеб» противиться невозможно!..

Достигнув знаменитости, я полагала, что все кончено и что мне остается только вкушать сладкие плоды славы: я крепко ошибалась в этом отношении. С того только времени и начались мои мучения: я должна была поддерживать свою знаменитость!.. Люди не верили ни уму, ни опытности, ни даже своим глазам и хотели, чтобы моя знаменитость вела их по излучистому пути жизни за руку, как слепого ребенка, чтоб я за них видела, думала, решала и действовала. Это уж слишком для исторической дубины!.. Но, с другой сто-

роны, это ее обязанность: так устроен мир, и великий Шеккямуни должен лучше знать, почему выдумал он исторических людей для рода человеческого. Я не имела покоя ни днем, ни ночью, быв принуждена беспрестанно излагать свои мнения, наделять всякого советами, принимать меры и торжественно судить о происходящем. Но все, что я ни говорила и ни делала, было нелепо. Люди сначала думали, что это знаменито, и благоговели пред моими нелепостями; но проныры, верные спутники и подпоры знаменитости, по которой ползают они, как черви по капусте, которую гложут и желали бы видеть всегда покрытою новыми листьями славы, чтоб опять глодать их, — мои проныры были дальновиднее меня. Они испугались, опасаясь скорого упадка моей знаменитости, и принялись всеми силами толковать мои нелепости в хорошую сторону, прилагать для них остроумные причины, истреблять подлинные об них свидетельства, выворачивать их наизнанку, перелагать на глубокомыслие и высшие взгляды, объяснять, коверкать, запутывать — и когда запутали все так, что и сам черт не от-

крыл бы следа первоначальных форм моих действий и изречений в этой каше лжи, обмана, частных самолюбий и народного тщеславия, я получила от них рапорт, что материалы для будущей моей истории уже готовы и что теперь можно смело бросить их в лицо отдаленному потомству с тем, чтобы оно списало их себе с исторической точностью, подвело годы и числа, расположило по порядку и, важно рассуждая об них как о несомненной истине, наслаждалось мыслию, что имеет точное понятие о прошедшем.

Обеспеченная происками чужой жадности и чужого честолюбия со стороны слабоумного, но хвастливого потомства — признаюсь тебе, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, что я не знаю большей дубины в свете, не могу представить себе ничего глупее, напыщеннее и невежественнее вашего беспристрастного потомства! — утомленная непрерывными усилиями всегда казаться людям великою, я убедилась, что моя голова не способна к предписанной роли, и, по примеру других исторических душ, взяла к себе в помощь две секретарские души. Они славно умели думать по

заданной теме, вырезывать из куска брошенной им несообразности замысловатые узоры и, что всего важнее, ловко скрывать от истории всю истину. Они приняли на свое попечение довести мою знаменитость до определенной меты и обещали исчезнуть сами во мраке ничтожества, чтоб не затмить моей славы. С тех пор я начала отдыхать в голове знаменитого человека и, вероятно, спала бы в ней спокойно и долго, если б он однажды, невзначай не лопнул от гордости или, как мои секретари уверили историю, от человеколюбия. Но он лопнул, и я преставилась.

Я прибыла на Эльбурдж надушенная самолюбием и воображала себе, что теперь уж непременно буду собакою. Я смотрела с презрением на все души и гордо сгоняла их с дороги, пробираясь к престолу Хормузды. Представь же себе, добрый лама, мое огорчение, когда грозный судья встретил меня этими словами: «Ну, голубушка!.. наделала же ты глупостей на земле! Как ты смела навалить на себя такую кучу греха?..» — Я побледнела. Длинный ряд преступлений, которые пустили мы в историю под именем достославных

подвигов, вдруг развернулся предо мною и ужаснул меня своим грязным, кровавым, отвратительным видом. Я ожидала для себя жесточайшего наказания, ссылки в какое-нибудь чудовище пред-адской пещеры, даже обращения в черта, и сочла себя чрезвычайно счастливою, когда из великого человека велели мне только переселиться в блоху. Я немедленно слетела на землю и влезла в это маленькое, веселое насекомое.

Будучи блохою, я обитала в постели одного китайского мандарина, женатого на молодой красавице и ревнивого, как верблюд. Кожа у мандаринши была прелестная, кровь сладкая, как мед. Я жила прекрасно. Величайшее мое удовольствие состояло в том, чтоб бесить красавицу: всякий вечер она принуждена была встать с постели, подойти к свече и ловить меня у себя под рубашкою. Я прыгала по ее гладким членам; она ловко стреляла в меня пальчиками; я еще ловче ускользала из-под пальчиков и щекотала ее под грудью и вдруг уходила на желудок и, в два прыжка очутясь по другую сторону тела, больно щипала ее сзади. Очень было весело!.. Однажды, гуляя по

белой, жирной ножке мандаринши, повстречалась я с другой блохою, молодою, прекрасною, очаровательною в полном смысле слова, и влюбилась в нее без памяти. Страсть моя тронула нежное ее сердце, и мы несколько дней утопали в небесном блаженстве на вышеупомянутой ножке. Но судьба недолго дозволила нам наслаждаться пламенною нашею любовью. Коварная мандаринша поймала мою маленькую любовницу на своем толстом колене и раздавила ее бесчеловечно. Жестокая!!. Я поклялась отмстить ей. Она всякую почти ночь тихонько вставала с постели и выходила в сад — я знаю зачем! — где нередко оставалась по два и по три часа. В первый раз, как после убийства моего бесценного друга ушла она туда по обыкновению, я укусила мужа ее так сильно, что он проснулся. Пробужденный мандарин, не находя жены в постели, встал, пошел в угол, взял свой казенный бамбук и опять лег на кровати. Когда мандаринша воротилась и осторожно подняла одеяло, чтоб занять прежнее свое место, разгневанный супруг схватил ее за руку и стал бить бамбуком изо всей силы, на что

имел он полное право по «уставу о десяти тысячах церемоний». Мандаринша кричала; просила его перестать, пощадить ее; клялась, что никогда более не сделает этого, что он уже искоренил весь грех, что она теперь будет любить его и будет ему верна, как в первую ночь по свадьбе. Мандарин не слушал и колотил ее бамбуком на законном основании. Я прыгала от радости по всей кровати.

Китайская красавица догадалась, что, верно, блохи разбудили ее мужа. По окончании расправы, нежно поцеловав мандарина, она предложила ему обыскать постель. Они засветили огонь и, по несчастью, поймали меня тотчас. Я погибла от руки человека, которому оказала такое благодеяние!.. Неблагодарный!.. без меня он никогда б не знал, что он был муж в оленьей шапке!

Пришед в судилище Хормузды, я уже не смела возвысить голоса, чтоб опять проситься в собаки, и с покорным видом ожидала изъявления его воли. Мне суждено было таскаться четыре столетия по телам разных животных за то, что я только сорок лет была знаменитым человеком. Расставшись с телом

блехи, я получила назначение в черепаху: она скоро попала в суп à la tortue.[28] Потом я жила в теленке, подававшем о себе самые блистательные надежды: его в цвете юности зарезали жестокосердые мясники. Потом сослали меня в осла, в котором вынесла я несметное число ударов дубиною. Кто знает, как долго влачила б я это бремя уничижения, если б однажды в небе не случилось происшествия, которого и сам Хормузда не мог предвидеть. Всесовершеннейший Шеккямуни для своей потехи приказал блаженной Маньджушри в одном, очень темном уголку земли вдруг разлить свет просвещения. Он хотел посмотреть, что люди будут делать, внезапно почувствовав себя просвещенными и образованными; как, протирая глаза, не привыкшие к свету, станут они важничать, дуться, нести вздор и удивляться своему уму. Великий Шеккямуни большой охотник посмеяться!

Богиня грамоты была в ужасных хлопотах: она принуждена была в одно и то же время и учить людей того уголка тибетской азбуке, и водворять у них науки, и заводить академии; делать из них чучелы великих писателей и

наперед уже сочинять для них «Историю словесности», которой еще не было. Прибежав на Эльбурдж, когда и я там находилась, она сказала второпях, что уже составила план славного сочинителя, такого именно, какой ей нужен; что даже есть на то у нее в виду один предприимчивый юноша, который уже родился и начнет писать книги, как скоро немножко поучится грамоте; что между тем она откроет подписку на его сочинения, но не знает, откуда взять для него подписчиков. В заключение она потребовала от Хормузды отпуска ей значительного количества душ на составление для него рати благосклонных читателей. Хормузда отвечал с досадою, что эти потехи всесовершеннейшего крайне расстроивают порядок, предписанный «Книгою Судеб», что у него нет других свободных душ, кроме тех, которые видит он в судилище: они вышли из разных тел, как двуногих, так и четвероногих, и даже безногих, и когда ей угодно, она может взять хоть всех их на потребность заготовления читателей для своего сочинителя; но если от этих чтений да просвещений произойдет неисправность в жи-

вотном царстве и нужное для порядка вселенной число скотов окажется неполным, то он наперед просит извинения в том у великого Шеккямуни. Маньджушри возразила, что это не ее дело; что ее обязанность — смотреть за процветанием грамоты и что если б она управляла великою тайною перерождения и переселения, то все эти души, которые Хормузда так щедро отпускает животным, перевела б в членов разных ученых сословий. Она поспешно собрала всех нас в мешок и отправилась на землю.

Проча нас в благосклонных читателей, блаженная Маньджушри наперед выварила нас в маковом молоке, чтоб сделать сонливыми; потом высушила на солнце, как лист бумаги, выгладила тяжелым утюгом эстетики, посыпала чувствительностью и восхищением и распределила по разным младенческим головам. Лет через двадцать выросла из нас страшная туча читателей. Мы читали все, что только попадалось нам в руки; читали, восхищались, плакали, зевали, дремали над книгою и, наконец, спали; потом просыпались и опять читали, и опять восхищались, и опять

зевали, и опять... спали, как сурки! Мы не удержали в голове ни одной строки того, что прочитали, но сделали пропасть литературных репутаций, провозгласили множество писак гениями и составили громкую славу словесности, которой все еще налицо не имелось. Мы глотали книги, как пилюли, насколько не заботясь об их достоинстве; с равным аппетитом истребляли все мысли и все бессмыслицы, набросанные на бумагу; пожирали печатный ум с истинною жадностью саранчи. В обществе появились жаркие споры об изящном, колкие критики, напыщенные похвалы, литературные сплетни и закулисные интриги: словом, все признаки суеющегося просвещения — но просвещение не делало ни малейшего шагу вперед, и всего едва три или четыре книги были достойны чтения. За всем тем мы беспрерывно читали, кричали, прославляли, как будто имея дело с первойшейю литературою в мире. Мы отлично исполнили обязанности и звания благосклонных читателей. Блаженная Маньджушри была весьма довольна нами. Она при помощи нашей сыграла такую забавную комедию про-

свещения для потехи великого Шеккямуни, что могущественнейший из могучих хохотал, как сумасшедший. Более всего насмешил его состряпанный ею славный сочинитель, для которого нарочно произведены мы были в читатели. Он был набитый невежда, но по ее приказанию писал обо всем с удивительною храбростью и самонадеянностью. Мы ничего не поняли в его сочинениях, которых и сам он не понимал, но уверили всех, что он знаменитый писатель, и те, которые его не читали, были от него в восторге.

Оставив тело читателя, я собиралась лететь на Эльбурдж, как вдруг была поймана блаженною Маньджушри, которая вбила меня в ученого. Никогда еще не проводила я времени так скучно, как в голове этого человека. Я здесь нашла даже менее для себя занятия, чем в дураке. Ученый муж никогда не вспомнил и не подумал обо мне. Он только набивал свою голову сведениями и свой желудок пищею; желудок не варил пищи, я не могла укушать вязких и безвкусных сведений. Не понимаю, на что и посылать нас в ученых!.. У них довольно было бы повесить на мозгу гири,

как в стенных часах, и он ходил бы прекрасно, наматывая на органы бесконечные сведения и качая память наподобие маятника. Один только раз во всю жизнь зашевелилась я в его голове. Несколько человек спорили о науках, и мой ученый стал жарко доказывать необыкновенную важность и пользу предмета, которым исключительно занимался. Накучив всегдашним молчанием, я вздумала вмешаться в разговор: схватила совесть моего ученого мужа и уже хотела вскричать: «Господа! не слушайте его, он врет!.. Вот собственная его совесть: спросите у нее. Она вам скажет, что и сам он не верит пользе предмета, в котором роется сорок лет!» — Но мой ученый остановил меня на первом слове. Он убедительно просил меня молчать, не делать глупостей, не компрометировать его и его науки и не обнаруживать этой великой тайны, по крайней мере, до тех пор, пока выслужит он себе полный пенсион: тогда позволит он мне высказать откровенно мое мнение о пользе его предмета и даже сослаться в том на его совесть. Я замолчала и легла спать на сведениях.

Спустя два года принесли ему какую-то старинную оборванную книгу, которая, к удивлению, не была ему известна. Он чуть не сошел с ума, достав ее в свои руки, бросился на нее с жадностью голодного обжоры и навалил из нее в свою голову такую кучу засаленных, затхлых сведений, что для меня не осталось ни уголка места. Я поневоле должна была выскочить на чистый воздух. Он умер в то же мгновение ока. Я уже не хотела более возвращаться в голову, стряхнула с себя горькую пыль учености, счистила плесень старых сведений, проветрилась и пустилась в путь на Эльбурдж.

Блаженная Маньджушри тотчас заметила, что я ускользнула из головы ученого ведомства. Она погналась за мною. Я бросилась бежать стремглав от ее когтей. Она употребила всю свою быстроту, настигла меня почти у самой горы, поймала горстью и опять потащила на землю. Я пищала в ее руке, просилась, заклинала ее отпустить меня в суд, говорила, что не хочу быть ученою, что надеюсь быть собакою, что это ужасно — лишать бедные души приобретенных ими заслуг. Мань-

Джушпри не обратила никакого внимания на мои жалобы и всунула меня в поэта. Для душ самое опасное дело попасться в ученый приход: это настоящий ад!..

Я была в отчаянии, когда увидела голову, в которой велели мне обитать. Все органы в расстройстве, мозг вверх дном, умственные способности перебиты, перемешаны, разбросаны. Как жить в такой голове!.. Но что всего более удивило меня во внутреннем ее устройстве, чего не видала я ни в каком другом мозгу, — это чудная оковка понятий: на кончике всякой мысли была насаженная острая чугунная стрелка форменного вида: по-монгольски эти стрелки называются «рифмами». Когда пришлось действовать, я не знала, на что решиться. Которым ни закручу органом, которую ни трону пружину, вдруг летят, прыскают, сыплются такие странные мысли, что — хоть уходи вон из головы!.. Мне стало страшно смотреть, когда этот человек начал еще списывать на бумагу всю эту чуху: я была уверена, что нас сошлют в дом сумасшедших. Списав, он еще разделил ее на коротенькие строчки, ко всякой строчке приплел по одно-

му понятию с форменною риторическою иконкой и пустил ее в свет в этом виде. Будет беда!.. — подумала я себе. Но вышло напротив: людям это очень понравилось. Они даже сказали, что весь этот вздор напорела я, что я отразилась в нем, как в зеркале, что, судя по этому вздору, я должна быть удивительна, пылка, сильна, прекрасна!.. Много чести! — я от ней отказываюсь. Эти суждения они по-татарски называли «критикою». Быть может, что это «критика»: я по-татарски не знаю. Знаю лишь то, что о подобных вещах, не понимая великой тайны перерождения, судить невозможно. Ах! если б те, которые пишут критики стихов, имели счастье быть хоть калмыками!..

Правда, этот человек мучил меня ужасно: дразнил меня, тормошил, рвал, выжимал из меня всю чувствительность, жарил меня на огне раздутых мехами страстей, потом купал в чернилах и все просил у меня новых мыслей. Иногда я кое-что ему и подшептывала, но он, распирая мои вдохновения на бумаге своими чугунными стрелками, перетькая их условными своими понятиями, подбавляя к

ним тьму пустых слов и рубя, кроша все это в метрическую крошку, совершенно уничтожал мое дело и заменял его своим искусством. А люди все говорили, что это бесподобно, что это наверное я диктую ему такие удивительные вещи! Толкуй же с ними!.. Клянусь честью, моего тут не было и на копейку.

Но видя, что люди такие неугомонные охотники до этой шинкованной чепухи, я перестала совеститься и принялась ворочать изо всей силы рукоятку испорченной умственной машины моего поэта. Ее колеса, жужжа, вертелись каждое в свою сторону, задевались, лопались, засыпали все здание черепа своими осколками. Я не обращала на это внимания. Они ломались, я ворочала; ворочала еще скорее и, наконец, совершенно расстроила его голову. Но зато в короткое время я намолочила несколько кулей презабавных мыслей — таких дивных, таких небывалых, острых, рогатых, уродливых, что если б великий Шеккямуни их увидел, он как раз подумал бы, что это опилки греха, и прогнал бы меня в ад. К счастью, он их не заметил, ибо люди мигом расхватили их с невероятною

жадностию, выучили наизусть, стали повторять на торжествах и пирах и не находили слов для выражения своего восторга. Я убедилась, что люди выше всего ценят такие игрушки, которые издают шумные звуки. Одна только вещь удивляла меня в этом случае: почему они, тешась, как мальчики, вырвавшиеся из юрты учителя, погремушками, которые этот человек для них делал, превознося его за то похвалами, называя гением, существом высшего разряда, почти равным великому Шеккямуни, жестокосердно отказывали ему в просьбе о куске хлеба и оставляли его в нищете?.. Но в то самое время, когда думала я о людях, нищете и погремушках, раздался подле меня страшный громовый треск, и голова, в которой преспокойно рассуждала я сама с собою, развалилась, как разраженный о камень арбуз. Я выскочила из нее в ужасном испуге и только тогда увидела, что мой поэт выстрелил себе в лоб из какой-то коротенькой свирели. Он упал на землю; я, покрытая славою, подобно светлому метеору, рисующему огненную черту по лазури полночного неба, взлетела за облака в венце ярких, нетленных лучей.

В этот раз я как-то избавилась преследования бессовестной блаженной Маньджушри и счастливо прибыла на Эльбурдж. Недалеко от Хормуздова судилища попалась мне навстречу одна знакомая душа, с которой некогда были мы большие приятельницы. Она завела разговор по-монгольски.

— *Менду амор!*

— *Менду амор!*

— Откуда ты, любезнейшая?

— Из поэта. А ты откуда?

— Вестимо, от Хормузды. Была в мудреце; хотела в собаку; взяли в депутаты. Меня — знаешь! — посылают в законодатели по выборам... Что это у тебя сияет так прекрасно?

— Ничего!.. Так!.. Слава.

— Ах, какая хорошенькая вещица!.. Откуда ты ее достала?

— Люди дали, вместо сострадания, которого требовал от них поэт — видно потому, что она дешевле и почти ничего им не стоит.

— Однако ж, хоть дешева, да очень мила!.. Какой блеск!.. Подари мне ее. Не то поменяйся со мною.

— Что же ты мне дашь?

— Дам тебе свой ум: видишь, какой славный, крепкий, прочный, основательный! Я — знаешь! — была в необыкновенном мудреце и ужасно много нажила себе у него ума, который называл он своим невестственным капиталом. А сколько промотали мы с ним этого капитала по предисловиям, по передним, по пустякам!.. Возьми, душенька, его: он некрасив, без блеска, но он тебе пригодится.

— Но он нужен будет тебе самой. Ведь ты идешь в законодатели по выборам?

— Говорят, вовсе не нужен: там думают наперекор друг другу и рассуждают шариками. Жребий решает, что умно и что глупо. Поменяйся, сестрица!

Я призадумалась. Мне жалко было отдать ей такую блистательную игрушку за какое-то тусклое, бесцветное, летучее вещество; но, рассудив, что блаженная Маньджушри легко узнает меня по блеску и готова опять запрягать в какую-нибудь тяжелую или расстроенную голову, а с умом, при случае, могу даже сказать не принадлежащую к ученому ведомству, я согласилась на предложение моей знакомки. Она взяла поэтическую славу и по-

шла сочинять для людей законы, а я, с умом под мышкой, предстала пред Хормузду.

Он тогда был занят головоломным делом: судил душу одной актрисы, необыкновенной красавицы и кокетки, и никак не мог добиться в ее жизни, где оканчивается комедия и где начинаются собственные ее действия. Душа утверждала, что ее тело всю жизнь играло только комедию, что она ни в чем не согрешила, потому что комедия не грех. Великий Хормузда хотел показать свой ум, разобрал ее поступки и стал в тупик: он сознался, что никогда еще такое многосложное дело не поступало в его разбирательство, и не зная, как решить, решил наугад — переселением души актрисиной в далай-ламу! Утомленный обсуживанием этого казуса, он бросил «Книгу Судеб» и прилег отдыхать на престоле. Тут он заметил меня.

— А, ты здесь?.. Блаженная Маньджушри наконец тебя отпустила?

— Да, великий Хормузда!

— Ну что, — сказал он, смеясь, — весело жить в ученых головах? Э?

Надобно знать, что великий Хормузда

большой враг просвещения и любит на досуге шутить над ученою частию. У него на этот счет есть своя поговорка, которую повторяет он при всяком случае: «Как хотите вы искоренить грех, когда на земле всякой час издается новая книга?»

— Ах, отец мой! — воскликнула я печальным голосом. — Не доведи, господи!.. Я желала бы никогда в них не возвращаться!

— Очень верю, — примолвил он. — Я тоже в подобные головы посылаю души только в наказание. Всесовершеннейший Шеккямуни покровительствует просвещению, утверждая, что грех есть только следствие глупости. В таком случае должно бы стараться об уменьшении количества глупости, разлитой в природе; но как хотите вы искоренить грех, когда на земле всякий час выходит новая книга?.. Сколько лет было суждено тебе обитать в животных?

— Четыреста, великий Хормузда.

— А ты сколько в них обитала?

— Только сто лет, не считая ученой части.

— А по ученой части сколько?

— Сто пятьдесят лет.

— Это считается вдвое, — сказал он. — Я приму тебе эти годы в зачет тех четырехсот. Итак, ты выжила в животных все определенное время.

— Выжила, великий Хормузда!

— Тем лучше. Я не пущу тебя более в исторические головы; ты большая проказница. Но в память того, что ты заслужила, будучи на земле дубиною, мы приищем для тебя хорошее место, такое, которое даю только тем, кому хочу оказать благодеяние. Веди себя честно и добропорядочно, не плутуй, не финти, не верти так крепко слабыми людскими мозгами, так со временем будешь у меня даже собакою.

Я поклонилась и с нетерпением ожидала следствия исполнения обета, сочиняя про себя самые блистательные догадки о том, какое это могло быть место, которым так дорожит великий Хормузда, что дает его только в виде особенной милости. Он скоро сдержал слово и определил меня — в несчастного! Я немножко удивилась выбору.

Взяв ум под мышку, я отправилась с печальным видом в несчастного. На пути я ста-

ралась рассеять себя мыслию, что хотя судьба готовит мне жестокие испытания, по крайней мере, в уме найду для себя товарища, забаву и утешение. Я вступила в младенца, который был записан в книге Хормузды под этим зловещим именем. В день своего рождения он уже был сирота. Его выбросили на улицу в ненастную и холодную погоду, и если б ему не было суждено быть несчастным, он бы вероятно тут же погиб от холода; но сострадание с нежными слезами на глазах поспешило прислонить его к теплой своей груди, чтоб сохранить бедняжку для дальнейших мучений. Юность его прошла в нищете и унижении. В детских летах он уже обнаруживал прекрасный нрав и отличные способности: все его хвалили, все предсказывали ему счастье, успехи, богатство, но никто не тронулся с места, чтоб помочь ему устроить себе приличное на земле существование. Он боролся с голодом, наготою и пламенной страстию просветить себя всем тем, что только люди знали в его время, — и должен был беспрестанно протягивать к ним руку, моля подаяния — то куска хлеба, то несколько све-

дений, которые бросали они ему с великодушным презрением и которые глотал он с горькими слезами. Едва достиг он совершенного возраста, как некоторые его сограждане, заметив в нем отличный ум, обогащенный истинною наукою, начали грабить тот и другую с хищностью настоящих еретиков, бусурман, киргизов и, разграбив, бесстыдно выдавать их за свои собственные, а его самого прятать за высоким валом своей гордости и своего невежества. Он чувствовал в себе присутствие драгоценного дара, принесенного мною с неба, и не мог долго стерпеть подобного угнетения: несмотря на свою скромность, движимый чувством своего достоинства и сильный чистотою своих намерений, хотел употребить свой ум от собственного своего имени и явно обратить его на пользу всего общества. Он выступил на поприще и стал действовать умом: тогда только узнала я в полной мере, как бессовестно обманула меня моя приятельница и какой опасный подарок дала я этому бедному, честному, добродетельному человеку!.. Невежество и порок испугались его появления и восстали против него с

несметною стаею предрассудков, лютых, алчных, отвратительных, получающих грубый свой корм с их руки и грязным языком своим лижущих развратную их руку. Зависть и пронырство по их приказанию мигом окинули его длинною своею сетью. Клевета, вечно сидящая на их плече подобно обученному соколу, при первом их мановении налетела на него с остервенением, впилась в него своими когтями и нечистым клювом стала терзать его сердце, выдергивать поодиночке его надежды, тормозить его совесть и рвать по кускам его мнения. Гонители тщательно подобрали эти куски и составили из них уродливое обвинение. Все его предначертания, усилия и действия были столкнуты с высоты, на которую возвел их его ум, были уронены и опрокинуты, и каждое из них упало прямо на его голову с огромною тяготительною силою несчастья. Тщетно благородные души старались защитить его невинность, восстановить цену его дарований, утешить его в печали: невежество и порок превратили честные их старания в новые для него несчастья. Вторично спущенная с их руки клевета бросилась на

него с удвоенною яростью, и он был объявлен опасным человеком. Смрадное подземелье осталось единственным местом, в котором люди дозволили ему обитать на земле. И когда высшая мудрость исторгла его оттуда, когда, убедясь в его благонамеренности, пожелаала отдать ему справедливость и заставить невежество и порок любить и почитать его, невежество и порок кинулись оба вместе целовать его от всего сердца, просить у него извинения, клясться в своей дружбе, обнимать с умилением и — удушили его в своих объятиях. То было одно счастье, которое испытал он на свете, и я давно желала ему кончины, чтоб прекратить и его, и мои мучения.

Я претерпела в нем неслыханное горе: благодаря клевете он был несчастен во всех обстоятельствах жизни — в своих предприятиях, чувствованиях, надеждах, в дружбе, любви, супружестве и даже в детях своих. Удушив его, невежество и порок пошли еще за его телом на кладбище, чтобы ядовитыми, купоросными своими слезами оросить, запятнать и пережечь чистую его память, чтоб поругаться адским своим состраданием над его бедною

могилою. Они имели дерзость сказать, стоя на его прахе: «Конечно! Он был человек добрый и честный, но его ум был дурак. Если б ум его был умен, то сидел бы смиренно, не вмешиваясь ни во что, не обнаруживая даже того, что он живет на свете, и отвечая на все: „Мое дело сторона!“»

Ах, негодяи!..

Я так была огорчена воспоминаниями об ужасных, непрерывных страданиях, которые безвинно навлекла на него своим подарком, что по его смерти тотчас сгребла в охладелой голове весь ум до последней крошки и унесла его с собою на Эльбурдж, решаясь отыскать мою коварную приятельницу и бросить ей его в лицо, с кучею самых сердитых монгольских ругательств. Хормузда принял меня очень ласково. Он расхвалил меня при всех за мое поведение, за мою терпеливость, скромность, преданность воле судьбы и множество других добродетелей и объявил, что теперь непременно определит меня в собаку, благороднейшее создание в мире после далай-ламы и трех великих хутухт, достойное по своим высоким качествам того уважения, кото-

рое оказывают ему все просвещенные кочующие народы. Я была в восхищении и с торжественною осанкою принимала поздравления подсудимых душ, которые, скрытно завидуя моему счастью, встречали меня приветливыми словами: «*Ом-ма-ни-бад-ме-хум!*» — и подносили таинственные лotosовые цветы или вино-ягодные листья. Для полного моего блаженства недоставало только, чтоб моя приятельница тоже явилась ко мне с поздравлением и чтобы я, принимая от нее лotosовый цветок, невзначай треснула ее полбу своим умом и сказала: «*Этси гени маха иде!*» — «Ешь тело твоего отца, плутовка!» Но я свела, что ее не было на Эльбурдже: законодатель по выборам, в тело которого она отправилась, умер скоропостижно, объевшись министерских трюфелей, и она была приговорена Хормуздою к переселению в ворону. Известно, что вороны живут вдесятеро долее против законодателей по выборам, лет по триста и по четыреста: итак, не было никакой надежды скоро увидеться с нею на Эльбурдже. Я вздохнула, подумав, что моя блистательная поэтическая слава сидит теперь где-

нибудь на мертвом осле и клюет обезглавленную женщину!..

Мне было обещано место в собаке; но я не обратила внимания на то, что Хормузда, пронося это благосклонное решение, прибавил к нему обыкновенную свою фразу; «буде не встретится никаких законных тому препятствий». С первого взгляда она кажется совершенно справедливою, но, в сущности, большая часть неисправностей, случающихся во вселенной, ей должна быть приписана. Спустя несколько недель я напомнила Хормузде об его обещании.

— Погоди, матушка!.. — отвечал он мне с нетерпением. — Есть законное препятствие. Теперь осень, а собаки щенятся только весною. Я не могу же нарушить коренного закона природы из уважения к твоим добродетелям!..

Нечего сказать: в этот раз препятствие было совершенно законное!.. Я решилась терпеливо ожидать весны. Я искала развлечения в прогулках по волшебным роцам Эльбурджа, вечно завешанного пышным покрывалом пахучих и неувядающих цветов, и дважды в ме-

сяц являлась в судилище Хормузды, чтоб напомнить ему о себе. Мне было тяжело таскать с собою повсюду свой ум: я хотела как-нибудь спустить его с рук, но никто не соглашался принять его от меня. В одну из моих прогулок подошла ко мне знакомая душа и стала прощаться со мною: ей велено было отправиться в слона.

— Прощай, родная! — сказала она грустно. — Теперь не скоро увидимся мы с тобою. Ах, какая скука!.. Эти слоны живут так долго, так долго!.. как богатые тетушки!..

— Но они весьма благородные животные, — примолвила я.

— Что пользы просидеть три столетия в благородном скоте! — возразила душа. — Между тем, нет никакой надежды на повышение...

— Но говорят, в слонах очень весело жить душам, — заметила я, — они чрезвычайно умны, основательны, степенны... Вот, знаешь ли что такое? — я тебе дам славную игрушку! Будешь, по крайней мере, иметь чем забавляться в течение этого времени. На! возьми это!..

— Что это такое?.. Ум! — вскричала она и

расхохоталась. — Ха, ха, ха, ха!.. Кто тебе дал его?

— Одна приятельница.

— Поддела же она тебя!.. Знаешь ли, что это такое? Это... да это самый опасный ум, какой только есть в обращении в одушевленной природе! Все души избегают его, как дьявола. Если которой из них случайно он достанется, она тотчас старается подсунуть его другой, особенно неопытной или вновь вынутой из амбара душе, чтоб только от него избавиться. Умов есть пропасть в обращении, но все они разведены чем-нибудь; а это ум чистый, без всякой примеси. Ты, верно, не знала, что чистый, прямой ум есть самый сильный яд в природе!

— Признаться по совести, не знала.

— То-то и есть! Ума никогда не должно употреблять иначе, как в микстуре. Надо развести его пополам или в третьей доле с глупостью или с лицемерством, или с пенником; но всего лучше с эгоизмом; или слегка разлить его подлостью, не то хоть растворить в шутовстве — тогда он весьма приятен, вкусен, мил и дорого ценится. Но ум чистый, на-

стоящий ум, без подливки, без соуса — упаси тебя всесовершеннейший от такого мухомора! Как раз отравишь им и себя, и того, в кого переселишься. Не дар, а несчастье!..

— Что же мне с ним делать? Бросить куда-нибудь в куст крапивы?.. Это строжайше запрещено. В собаку идти с ним невозможно: неравно она взбесится от такого крепкого ума... Возьми его, сестрица!

— Шутишь ты, что ли?

— Возьми, голубушка... Ты опытна, проучена, мастерица на всякие уловки...

— Да!.. Конечно! Я жила в сутягах и во взяточниках, и в лисицах, и в греках... Была даже в кухарках и сама ходила на рынок за провизией. После того была в осле, который потом сделался важным человеком...

— Вот видишь!.. Притом, ты теперь определяешься в слона. У слона голова, как рига: ты куда-нибудь запрячешь его в ней...

— Правда, что места в слоне довольно, — сказала моя знакомка, несколько призадумавшись, — но все-таки... Разве уж развести этот ум зоологию, чтоб его притупить и сделать безопасным?.. Ну, так и быть! Приятель-

нице отказать невозможно. Давай мне его!.. Может статься, я как-нибудь вплету его в хобот. Ежели мне удастся это сделать, мы с слонком пойдем в Европу представлять ученую скотину и приобретем в свете лестную знаменитость. Прощай, любезнейшая; не забывай обо мне. Я только для тебя это делаю, что беру такую напасть...

Отделавшись от ума, я так была обрадована, как будто возродилась на свете одним из тридцати трех великих тегри. Весело порхая и припрыгивая, вертясь в воздухе и кувыркаясь по цветам, я направилась к судилищу, где давно уже не бывала. В суде душ было очень немного; посыльные тегри играли под деревом в шахматы, оборотясь задом к собранию; Хормузда читал «Книгу Судеб», не говоря ни с кем ни слова. Я увидела несколько знакомых душ, которые, подобно мне, дожидались с своими заслугами, пока собаки начнут щениться. Они сидели на символическом фиговом дереве, растущем в виде зеркала перед престолом страшного судьи, и я присела рядком на веточке. Начался новый разговор. Я стала рассказывать им приключения мои с умом:

как мне его навязали и сколько потерпела я от него, и как одна плутовка, душа, взяла его от меня, чтоб показать с ним скотские штуки перед образованными людьми. Мои слушательницы помирали со смеху от этого рассказа, который нарочно старалась я прикрасить разными потешными околичностями, как вдруг Хормузда прокашлялся и сказал громким голосом:

— Теперь должен родиться на земле умный человек!

Не расслышав хорошенько, что такое он произнес, я оглянулась на него. Когда опять оборотилась я к своим собеседницам, их уже не было на дереве: они исчезли, как молния, и я заметила, что и прочие бывшие в суде души прячутся и уходят одна за другою. Я удивилась, не понимая, что это значит, и с любопытством вскочила на верхушку дерева, чтоб удобнее видеть происходящее. Хормузда приподнял голову, провел суровый взгляд по судилищу и грозно закричал играющим тегри:

— Что ж вы сидите, мифологические скоты?.. Вам говорят, что теперь очередь родиться на свет умному человеку!

Тегри сорвались с места. Они небрежно поглядели кругом себя, и один из них, подходя к престолу судьи, сказал:

— Великий Хормузда — да усилится порядок Вселенной от вашего благоразумия! — долгом считаем представить для пользы вашей службы, что для умного человека нет ни одной души в небе. Не прикажете ли доложить о том могущественнейшему из могучих и попросить об отсрочке появления умного человека в мире до удобнейшего случая?

— Ах вы, мерзавцы! — закричал он на весь Эльбурдж, — неужто не видите, что душ много, но что они уходят? Ловите их!..

Тегри бросились за бегущими. Они долго гонялись за душами по воздуху во всех направлениях и ни одной не захватили. Прежний оратор опять явился с докладом:

— Великий Хормузда! Смеем донести для пользы вашей службы, что никак нельзя их поймать. Они спасаются за синее, за горькое море, за мглы, за туманы, где никто их не отыщет. Вы напрасно объявили, кто такой должен родиться. Они смерть боятся быть посланными в умных людей и иметь дело с

умом человеческим.

— Не рассуждай, болван! — воскликнул Хормузда. — Сколько раз говорено тебе, что для порядка вселенной рассуждения строжайше запрещены в нашей мифологии. Ищите мне душ повсюду, не то я вас, байбаки!.. Вот одна!.. вот, вот на дереве!.. — быстро присовокупил он, прерывая свои угрозы и указывая на меня пальцем. — Берите ее!.. Берите!.. ловите!.. Уйдет!

При первом его слове я уже удрала с дерева, на котором считала себя в безопасности по глупому доверию к святости его обещания. Но тегри в то же время пустились на меня целой стаей, обложили меня со всех сторон, начали пугать руками и полами платья, ловить, гонять, преследовать. Я бросилась наудачу, ускоряя свой полет изо всей силы и ломая черту его, чтоб утомить их и сбить со следа запутанностью моих движений. По несчастью, так случилось, что тот самый неуклюжий тегри с четырьмя длинными бледными лицами о двух руках и одной ноге, который некогда запрятал меня в желудь и выстрелил им на землю, пошевелясь немножко по возду-

ху вместе с прочими, нашел эту охоту за душами слишком утомительною для своей лени и остановился отдыхать посреди поприща нашей борьбы. Наскучив глядеть на безуспешные поиски своих собратий, он стал зевать во все рты и раскрыл их широко на четыре ветра. Увертываясь между поимщиками, которые отовсюду протягивали ко мне тучу рук и пальцев, я все еще летала, но почти уже не видала света перед собою. Чтоб от них вывернуться, не было другого средства, как нечаянно кинуться в сторону низом и выскокить в чистое поле. Я кинулась вниз и попала прямо в один из ртов этого квадратного зеваки. Он вдруг стиснул зубы и, не говоря ни слова своим товарищам, не постигавшим, куда я пропала, пошел на одной ноге к Хормузде. Представ пред его лицо, он вынул меня из переднего рта сложенными в щепотку перстом и указательным пальцем, показал ему издали, как выдернутую из раковины устрицу, и примолвил противоположным ртом, — два остальные рта, левый и правый, были тогда набиты небесными орехами:

— Вот она!.. Никто не мог поймать ее — я

поймал. Ожидаю подарочка на райский ку-мыс за свое усердие...

— Ах ты, усердный шут!.. — вскричал Хормузда, смеясь над его забавною фигурою, тогда как я вертелась и пищала в его пальцах. — Неси же ее поскорее на землю!..

— Великий Хормузда! — кричала я, — не хочу в умного человека!.. Пощадите меня!.. Вы обещали переселить меня в собаку.

— Обещал, матушка! — возразил он спокойно. — Обещал, «буде не встретится никаких законных тому препятствий».

— Какое же это законное препятствие?.. — сказала я с плачем. — Помилуйте, великий Хормузда!.. За что вы меня так обижаете?.. Я не гожусь в умного человека!

— Как так? — спросил судья.

— Да так! — отвечала я ему. — Час тому, не более, что я даже свой ум уступила слону, не предвидя горькой своей участи.

— Нужды нет! — воскликнул он. — Ступай в умного человека!

— Что ж мне в нем делать без ума? — при-совокупила я. — Великий Хормузда!.. Ты, который управляешь великою тайною орчилан

и хубильган!..

— Молчать! — закричал он, — и делать то, что приказывают!.. Садись, любезнейший, поскорее на радугу и поезжай с этой плаксой на землю, где и поступи с нею на законном основании. Не забудь внушить ей, чтобы этот человек был непременно умен: не то она увидит!..

— Если б, по крайней мере, мой ум был со мною!.. — возразила я жалким голосом.

— Ступай... Можно быть умным и без ума! — примолвил он грозным тоном.

В ту минуту тегри положил меня в табакерку, спрятал ее у себя за пазухой и плотно затянул халат, чтоб я не вылезла: я не могла более сказать ни слова в свою защиту. Умный человек должен был, по книге Хормузды, родиться того же числа; мать его была вдова, и в тот день кончилось ровно семь месяцев от смерти ее супруга. Но мой увалень, тегри, останавливаясь по своему обыкновению у всякого дерева, чтоб рвать небесные орехи, и отдыхая на каждом облаке по нескольку недель, пробыл целых семнадцать месяцев в дороге и пришел со мною в дом вдовы ровно

через два года по смерти мужа. Тогда только разрешилась она от бремени умным человеком. Весь город выпялил глаза от изумления: люди заговорили о том как о необыкновенном происшествии, и многие стали кричать против соблазна, против порчи нравов. Что значит не понимать великой тайны *орчилан* и *хубильган*! Если б все люди были калмыками, они отнюдь не удивлялись бы этому и о всяком подобном случае с сокрушенным сердцем сказали бы только: «*Ом-ма-ни-бад-ме-хум!*» Более и сказать нечего.

Вот я опять в людской голове и опять в борьбе с человеческим мозгом и, сверх того, должна без ума изворачиваться так искусно, чтоб все сказали, что она умная голова. Задача была необыкновенно трудная: я решила ее очень счастливо. Как скоро мой человек достиг приличного возраста, общими силами начали мы с ним работать на ум. Я играла на его мозговых органах — он врал, льстил, ползал, подличал; я играла далее — он ползал, подличал, отпускал высокопарные фразы и закутывался в непроницаемую таинственность; я играла еще сильнее, еще громче он

закутывался в таинственность и называл всех дураками, и твердил с неподражаемой уверенностью, с глубоким торжественным убеждением, что у него ума пропасть, что он не знает, куда его девать, что он лопнет от ума, ежели не поделится им с другими. Я все еще играла; он все твердил то же, так что наконец все головы наполнились звуком нашего дуо, весь город зашумел музыкою нашей бесконечной песни. Я сделала ужасного шарлатана; люди сказали: «Ах, какой умный человек!»

Бедные люди отнюдь не догадывались, что не они это говорили, а только их головы, назвученные нашею песнею, независимо от их воли просто повторяли собственные наши слова, как пещеры повторяют эхо. Но как эти слова выходили из их уст, они принимали их за голос своего убеждения, и мы с человеком прослыли у них удивительными умницами.

Продолжая разыгрывать на ловкой клавиатуре моего мозга обыкновенные вариации той же темы, которые всякий день возбуждали в людях большее и большее от нас восхищение, я думала про себя о Хормузде и его

книге и говорила: «Из чего же он бьется?.. Да этаким образом все люди, записанные у него дураками, если захотят, завтра же будут умными, вопреки его судьбам!» — Но я еще не знала трудностей ремесла. Мы уверили Китай — то было в Китае, — что знаем все языки, которых никто не знает, понимаем все ремесла и искусства, съели собаку во всех науках и одни обладаем «великою тайною», как без денег сделать китайцев счастливыми. Впрочем, у нас все было тайною: тайн наделали мы у себя столько, сколько на свете считается языков, ремесел, искусств и наук, — и играли с людьми в тайны, и всегда людей обыгрывали. Люди непременно хотели добраться до кладовой наших необыкновенных познаний и даже несколько раз невзначай в нее вторгались, но мы всегда счастливо увертывались с пучком наших тайн, который называли умом: увернемся и еще вновь, ослепим им глаза, ловко ворочая пучок под самым их носом, в таком, однако ж, расстоянии от глаз и ото рта, чтоб они не могли ни запустить в него своих взоров, ни схватить его зубами. Это было очень забавно, но крайне утоми-

тельно: мы принуждены были окружить себя бесчисленными предосторожностями, сидеть на предосторожностях и спать на жестком тюфяке из предосторожностей. У нас заболели бока. Неприятное наше положение перешло даже в опасность, когда простерли мы шарлатанство до обещания нашим согражданам сделать их счастливыми без денег. Сограждане навалились на нас целым народом, со всею тяжестью людских мечтаний о счастье, со всею жадностью голи, облизывающей перед надеждою. Поневоле надобно было сдержать обещание. Мы торжественно приступили к делу, взяв наперед с них клятву, что они будут в точности исполнять наши наставления. Но как тут быть?.. Чтоб спасти свою славу, не было другого средства, как податься на уловки. Мы придумали бесподобную. Китайцы тогда носили широкие красные шаровары: мой человек преважно объявил им, что они несчастны единственно оттого, что у них шаровары красные. Они изумились; но, подумав немножко, воскликнули:

— Правда!.. Он прав!.. Мы искали счастья повсюду, во всех обстоятельствах и условиях

жизни, а о шароварах и не думали. Ведь мы обыскали все уголки нашего быта: так ли?.. Да! Ну, там счастья нет?.. Нет! Следственно, если оно есть на свете, то не инде, как в шароварах, там, где мы его не искали. Вот что значит ум!.. Виват, умный человек!.. Ура, умный человек!.. Десять тысяч лет умному человеку!!!

Первое действие комедии увенчалось полным успехом: мы торжествовали и между тем обдумывали план второго и третьего.

— Что же прикажешь делать? — закричали китайцы моему человеку. — Если мы несчастны оттого, что наши шаровары красны, мы перекрасим их в зеленые или синие и будем счастливы.

— Сохрани вас от этого дух великого Кундзы[29].⁽⁷³⁾ — сказал человек. — Вы не понимаете дела. Напротив, все человеческое счастье состоит в красной краске: на свете нет без нее счастья. Без красных шароваров вы не можете быть счастливыми; если же вы теперь несчастны, то потому, что у вас есть красные шаровары.

— Как же это? — спросили они. — Мы не

понимаем.

— А!.. в том-то и тайна! — воскликнул человек. — Но я вам ее растолкую. Слушайте со вниманием. Счастье состоит в красной краске. Но у вас нет своей краски этого цвета: вы получаете ее из Авы.^{74} Должно знать — то, что я теперь скажу, по сию пору также было тайной, которую один я постиг и один знаю — должно знать, что эта краска имеет то свойство, что когда перевезут ее в другую землю, она все счастье из этой земли перетягивает в Аву. Вот почему Ава так счастлива и почему вы страждете несчастием. Понимаете ли теперь?..

— Понимаем! — отвечали они. — Но, таким образом, мы всегда будем несчастны?

— Конечно! — отвечал он. — Вам суждено быть несчастными, и не будь у меня ума, вы вечно были бы такими. Но я нашел средство извлечь вас из этой пропасти. Вся тайна вашего благополучия заключается в том, чтоб найти красную краску у себя, дома, на своей земле, и не привозить ее из Авы. Тогда все ваше счастье, которое теперь переходит туда, осталось бы в пределах Китая, и вы были бы

счастливы, как некогда Кун-дзы, постигнув *тун*, или закон ума. Но вы никогда не найдете у себя этой краски, хотя давно ее знаете. Без меня вы ничего не сделаете, потому что не понимаете тайн ремесла. Вот она! Видите ли эти бурые зернышки?.. Это красная краска, природная китайская, отысканная мною с большим трудом и невероятным искусством на собственной вашей земле, в собственных ваших карманах. Когда в Поднебесном государстве все шаровары будут выкрашены этою краскою, тогда оно и вы с ним будете совершенно счастливы и поблагодарите меня за свое блаженство.

— Давай же нам эти зернышки! — вскричали китайцы в восторге. — Мы тотчас перекрасим ими все наши шаровары.

— Пойдите! — возразил мой человек. — Надо во всем поступать умно и рассудительно. Сделайте наперед опыт на нескольких шароварах — вот вам пять фунтов бурых зернышек! — и через два года придете сказать о последствиях. Увидите, что мигом почувствуете себя счастливыми.

Они с радостью приняли от него краску и

пошли мочить в ней свои шаровары. Мы отделались от их жадности к счастью и, пока вышел срок опыту, были предметом общего обожания несчастных. Но два года проходят скоро, и по истечении срока ожидали нас новые заботы. Благовременно готовясь к этому времени, мы исходатайствовали от палаты церемоний нужные нам повеления и смело явились с ними на поприще. Китайцы прибежали огромною толпою, крича в отчаянии, что краска никуда не годится, что они выкра-сили ею две тысячи шароваров, носили их целые два года и ничуть не стали счастливее; что они даже несчастнее прежнего, ибо цвет выходит тусклый, грязный, и китайки не хотят их любить их в этих гадких шароварах.

— Я наперед знал это, — спокойно отвечал им человек, — и скажу вам, отчего оно происходит. Если цвет выходит грязный, то причиною тому название этой краски. Вы именуете ее *чен-чен*, не правда ли?.. Это имя слишком бесцветно, некрасно, а вы должны знать, что на свете все зависит от названия. Та же самая краска будет гораздо лучше, светлее, ярче и составит полное ваше счастье, когда я иссле-

дую, откуда взялось нынешнее ее название, и придумаю для нее другое, приличнейшее. На то нужно мне три года времени. Пока я это сделаю — вот вам ярлык палаты церемоний! — все без изъятия в целом Поднебесном государстве должны вы без церемонии скинуть с себя опасное платье, которое пожирает ваше счастье, и ходить эти три года без шароваров.

Китайцы остолбенели и в остолбенении сняли шаровары, ударив трижды челом перед ярлыком. Весь Китай, уподобляясь несметному стаду обезьян, представлял самое уморительное зрелище, но мы даже не улыбнулись: мы постоянно сохраняли важный вид, писали длинные рассуждения о названии краски и доказывали числами, что этим путем китайцы неминуемо достигнут счастья. Наплутовав, надув, наклеветав, наделив многих простудю, разорив других и прибрав к себе все, что только оказалось удобоприбираемым, мы невзначай окончили земное наше поприще, а Китай все еще разгуливал без шароваров.

Мой человек был похоронен с большими почестями. В речах, произнесенных над гро-

бом, расхваливали его необыкновенный ум и высокие дарования; но никто не заплакал на погребении умного человека.

— Ну, напроказничала ты, голубушка! — вскричал Хормузда, увидев меня на Эльбурдже.

— Великий Хормузда! — сказала я с тем смелым и бесстыдным видом, с каким мой человек и я уверяли всех на земле в нашем уме, — великий Хормузда, я исполнила ваше поручение и поддержала вашу честь между людьми. Не дав мне ума, вы послали меня в человека, который по вашей книге долженствовал быть умным, и я сделала все, что могла, чтобы люди не сказали, что «Книга Судеб» великого Хормузды врет как календарь. Без ума нельзя лучше моего представлять умного человека. Надеюсь, что вы приличным образом наградите меня за мои подвиги.

— Да!.. Я награжу тебя приличным образом! Поди в змею! Слыханное ли дело, этих бедных китайцев, которым всесовершеннейший Шеккямуни особенно покровительствует, которых называет он своими баранами, заставить ходить три года без шароваров в

ожидании счастья!

— Великий Хормузда, вы обещались...

— В змею, плутовка!.. Убирайся поскорее отсюда! Снесите ее в змею, которая завтра поутру родится в большом болоте под № 178 779 998 519 766 321.

Все мои заслуги, все надежды пропали безвозвратно! Из умного человека без ума я перешла в змею и с досады жалила беспощадно тех, которым недавно льстила и которых обманывала. Я сделалась пугалищем всего болота: свиньи, коровы, люди не знали, куда деваться от опасной змеи, которая никому не прощала, которая для потехи метала смертью в прохожих и находила удовольствие приправлять их кровь ядом, чтоб придать более вкуса земному их существованию в болоте, в северной мгле и в глубоком снегу. Однажды свиньи того околотка ополчились на меня и хотели непременно поймать меня и съесть; но я проворно пробралась между их ног и переползла в другое болото, где тоже распространила ужас своим появлением.

Подле этого болота жил один смиренный муж, пред которым благоговели все жители

той страны. Он беспрестанно толковал им о превращениях Будды, о переселении душ, о созерцании, о добродетели, о презрении мирских благ. Несмотря на сильное желание укусь его, я была прельщена смиренной и благочестивою его наружностью так, что стала ползать в его дом, чтобы из темного уголка, заваленного сором, любоваться на его добродетели. Он отзывался о змеях весьма невыгодно и сравнивал с ними грех, золото, женщин и много других прегадких вещей. Я не только не гневалась на него за эти ругательства, но еще — до такой степени обворожил он меня своим взглядом! — но еще подтакивала ему своим шипением и кончила тем, что мне самой опротивело звание змеи. Смиранный муж часто говаривал своим слушателям, что некогда сам он был мерзким, ужасным, отвратительным грешником; но, узнав всю гнусность греха, всю суету мира, принес покаяние и обратился к небу. Воспламененная сладким его красноречием, я поклялась оставить веселое ремесло кусать людей жалом и пожелала сделаться, подобно ему, — обращенною змеею.

Змеи, как то известно тебе из Ганджура, одарены чудесным свойством проникать взором все предметы насквозь: потому-то они и считаются умнейшими тварями в природе, хотя ума в них, право, не более, чем в твоей голове, мудрый лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи! При помощи этого свойства я легко заметила, что когда смиренный муж с жаром толковал людям об их душе и высоких ее качествах, его душа, находя этот предмет для нее незанимательным, обыкновенно уходила из головы на прогулку и лазила по чужим карманам или забиралась на пестрые, прозрачные платочки его слушательниц, чтоб играть с их беленькою грудью и щекотать их под сердцем. Я решилась сыграть с ней штуку. Однажды, как он разгорячился, говоря о своем предмете и душа его неприметно ускользнула со двора, а моя змея широко разинула рот, чтоб не потерять ни слова из поучительной его беседы, я вдруг выскочила из змеи и с кучи сору перепрыгнула в его голову. Он, ничего этого не зная, продолжал увещевать грешных и предлагал обитаемую в нем душу за образец всего прекрасного, чистого.

Почтенный муж!.. Мне хотелось смеяться. Он не знал, что его душа в отлучке и что я здесь! Никогда еще змеиная душа не была отрекомендована людям так усердно и лестно.

Между тем воротилась и его собственная душа. Недостойная!.. Покинув такую святую плоть, она где-то таскалась по совестям слушателей и пришла назад, обремененная множеством соблазнительных тайн. Так-то люди часто не знают собственной своей души!.. Я не пустила превратной хозяйки в дом, оставленный ею без присмотра. Она хотела насильно пробраться в рот, в ноздри, через уши: я отовсюду преградила ей путь, шипя на нее сердито, и советовала ей «буде угодно» поселиться в змее, которую бросила я мертвою там, в уголку. Делать нечего! она пошла в змею, и с тех пор я более ее не видала.

Завладев телом святоши, я была чрезвычайно довольна своей судьбою или, лучше сказать, своей хитростью. Я не сомневалась, что посредством этого человека заслужу себе благосклонность неумолимого судьи и буду, наконец, собакою. Увы! жестоко ошиблась я в своих расчетах. То был ханжа!.. Пропади ты,

бездельник! Не только людей, ты обманул даже меня, змею, самое проникательное создание в мире! Прошу же теперь верить смиренной наружности!.. Я нашла в нем такую пропасть злых, беспокойных страстей, что не имела от них покоя ни днем, ни ночью. Я не могла поворотиться в голове, чтоб кругом не замараться сажею лицемерства, зависти, жадности, налипшею на ее черепе. Он употреблял меня на самые низкие поручения, заставлял ползать, подслушивать, обкрадывать чужие совести, соблазнять хорошенькие женские душеньки и губить доносами те души, которые не верили его святости. Уж лучше было бы остаться в змее!.. Моя предместница, которую осудила я так несправедливо, без сомнения, и рада была поменяться со мною местом: она отлучалась на прогулку по его приказанию!.. Одному лишь полезному выучилась я в этом человеке — представлять вид набожной смиренности и ловко рассуждать о добродетелях.

Целых пять лет терпела я это мучение, терзаемая алчными его страстями, которые следовало еще беспрестанно сторожить и пря-

тать от взоров людей. Я была не в силах выдержать долее, и когда однажды после хорошего обеда ханжа вздумал явиться своим обожателям крайне изнуренным постами, бледным, слабым, умирающим от умерщвления плоти, я воспользовалась случаем, порхнула на воздух и предоставила одному ему играть начатую комедию. Я, может быть, дурно сделала?.. Но, право, не было другого средства отучить его от несносной привычки притворяться умирающим в самую лучшую минуту пищеварения!

Ханжа сам еще не знал, наверное, жив ли он или покойник, как я уже была на Эльбурдже. Я предстала пред Хормуздой с видом глубокого уничижения, тощая, покорная, согбенная, стараясь в точности подражать всем уловкам покинутого мною лицемера. Судья долго смотрел на меня в недоумении, пока решился спросить, откуда я к нему пожаловала? Я отвечала тихим голосом, что пришла из благословенного праха мудрого и святого мужа, который, уповая на милосердие великого Хормузды, умер от беспримерных умерщвлений плоти, чтоб стяжать для меня, души сво-

ей, хубильганическую награду.

— Ведь я послал тебя в змею? — сказал изумленный моею набожностью Хормузда.

— Благоговей пред мудростью великого Хормузды, я не смею разбирать непостижимых судеб ваших и не знаю, куда вы меня послали, — примолвила я еще с большим смирением, — но я была в святом человеке, который наполнил вселенную славою своих добродетелей и неусыпно старался об искоренении греха. Он провел всю свою жизнь в молитве и умственных созерцаниях, избегая сует мира, и в минуту своей кончины молился о доставлении мне, недостойной рабыне всеопершеннейшего Шеккямуни и вашей, благобещанных добродетели и ревности к дай-ламской мифологии...

Я так искусно представила святую, что, наконец, Хормузда был растроган и прослезился от умиления. Он, однако ж, не доверял своим глазам и велел еще подать ревижскую сказку о всех душах вселенной. По ревизии я тоже была показана змеею. Надобно было употребить все уловки ханжества, чтоб убедить его, что это ошибка. Он признался сам, что ему

редко случалось видеть столько святости в душе, исходящей из тела светского человека; что я рассуждаю о духовных делах весьма тонко, не хуже всякого хутухты; что даже имею все признаки совершенного буддаического благочестия; но никак не мог вспомнить, когда определил он меня в святошу, в которого именно и за что. Облокотясь на «Книгу Судеб», он подпер лицо руками и погрузился в думу. Я читала в глазах его сомнение, соединенное с удовольствием, которое порождал в нем вид моей необыкновенной святости.

— Отчего ты так замарана, как будто сажею?

— Это людская клевета, великий Хормузда! — отвечала я, повергаясь пред его престолом с беспредельною покорностью.

— Люди всегда бывают несправедливы к верным поборникам нашей славы! — воскликнул он умильным голосом и опять задумался; потом спросил: — Какой награды желаешь себе, честная душа?

— Желала бы быть собакою, великий Хормузда, — отвечала я с благоговением.

— Тегри, сведи ее в собаку! — сказал он одному из своих посыльных духов. — Кстати, открывается вакантное место в одном щенке в степи, близ берегов Яика.

Я ударила челом. Тегри преважно взял и положил меня в свой колпак, который потом надел он на голову, и мы отправились на землю. Сидя в колпаке, я размышляла о добродушии наших мифологических богов, которых первый искусный ханжа так легко может надуть притворным благочестием, и с восторгом углублялась в свою блистательную будущность. «Теперь я буду собакою, — думала я про себя, — из собак прямое повышение в хутухты, а там далее, в тегри. Сперва, конечно, придется быть посыльным, как этот мешок, который так медленно тащит меня на землю; но я скоро отличусь проворством и поступлю в разряд высших божеств, и у меня будет свое капище и свои истуканы, и калмыки станут молиться мне, как молятся прочим кумирам. О, когда у меня будет капище, я постараюсь услышать молитвы всех тех, которые захотят ко мне адресоваться!.. Уж, верно, не стану даром съедать их жертвоприношений, подобно

нынешним нашим богам, и обманывать надежды бедных поклонников!.. Таким образом я скоро прославлюсь первым божеством в мифологии, и сам Хормузда еще простоит у меня в передней...»

Я построила бы в колпаке полную модель моего величия, если б тегри не снял его с головы в ту минуту. Посланец Хормузды торопливо вынул меня из-за подкладки и вколотил в какую-то голову, не дав даже мне времени опомниться, ни оглянуться. По внутреннему ее расположению я тотчас заметила, что это голова не собачья. «Что ж это такое? — подумала я. — Это, никак, людская голова?.. Точь-в-точь людской мозг! Ах он негодяй!.. Куда он меня забил?..» — Я хотела тотчас выскочить из нее, но усомнилась, потому что женщины с почтением называли его собакою. Приведенная в недоумение этим обстоятельством, я немножко задержалась в голове, а между тем тегри удалился. Я была в отчаянии. «Мои надежды! Мои истуканы! Мои величественные капища!.. Все исчезло в одно мгновение ока! Где я теперь?.. Что эти бабы врут? Какая это собака?.. Это человек! Я пропала! О, я несчаст-

ная!.. Меня опять сослали в людскую голову!..» — Однако женщины, а за ними и мужчины, как будто в насмешку над моею горестью, не переставали с глубочайшим благоговением величать меня собакою. Многие из них кричали во все горло: «Виват, собака! Ура, собака! Да здравствует наша собака!» — Моя горесть увеличилась еще изумлением и гневом, но загадка скоро объяснилась. Что же вышло? Бездельник-тегри, не расслышав приказания великого Хормузды или ленясь отыскать подлинную собаку, в которую собственно была я назначена, принес меня к берегам Яика и всунул в голову родившемуся в ту минуту Собаке-хану, повелителю Золотой Орды, известному в истории под двумя однозначными с названием этого животного именами, монгольским *Ногай-хана*⁽⁷⁵⁾ и татарским *Копек-хана*. И я, по странному стечению обстоятельств, попала не в ту тварь, и которую следовало, а в ее однофамильца. Вот так исполняются неисповедимые приговоры судеб!..

Так мне пришлось управлять людьми вместо того, чтоб спокойно лежать у ворот двора или бегать за стадом баранов на пастбище. Я

предвидела ожидающие меня заботы, я чувствовала свою неспособность и предавалась унынию. Но время исцеляет все скорби, прикладывая к ним спасительную мазь забвения. Пока Собака-хан, или, как тогда все его называли, Копек-хан начал внятно говорить по-татарски, я совершенно забыла о прошедшем и так проникнулась новым своим саном, как будто со времени выпуска моего из кладовой только и делала на свете, что жила в татарских султанах. В продолжение его юности я мечтала о порядке, благоустройстве, правосудии, даже об искоренении греха, но когда вступила в заведование ордою, визирские души постарались отвлечь мое внимание к предметам другого рода. Они всегда твердили мне о могуществе, говорили, что я должна только драться с людьми и думать о славе, и притесняли русских князей и татарских бекков, чтоб побудить их к мятежу и доставить мне постоянный случай отличиться победами. Сначала этот род жизни сильно прельщал самолюбие моего Копека. Он беспрестанно побеждал непокорных, а его визири беспрестанно воспевали его славу и грабили побеж-

даемых. Но мы скоро постигли хитрость, которой рано или поздно он и я сделались бы жертвами: я велела крепко отколотить визирские души палками по пятам, и неисчерпаемый источник геройской славы мигом иссяк для моего Копека. Тогда приступили мы с ним к великому делу управления родом человеческим. Нельзя описать, ни исчислить трудностей, с которыми принуждены мы были бороться, хлопот и огорчений, которые окружали нас на этом, усеянном пропастями и изменою поприще. Мы пытались управлять людьми по всем возможным методам, и никак не могли их удовлетворить. Мы управляли ими с кротостью — они предались бесчинству. Мы употребили с ними великодушие — они воздали нам неблагодарностью. Мы прибегнули к мудрости — они нас надули. Мы постановили законы — они разнесли их на крючках. Мы принялись за строгость — они начали роптать и грозить бунтом. «А бог же с ними, — сказала я Копеку, — не стоит того, чтоб терять напрасно время. С людьми мы никогда не добьемся толку. Лучше пойдем в гарем, к женщинам». — Мы пошли в гарем,

составленный нами из первых красавиц средних веков, и, лаская их нежные подбородки, вдруг выдумали копейки — копейки, то есть круглые, некогда серебряные плитки, годные ко всякому употреблению и нареченные нашим благородным именем, собственно не *копейки*, но *копеки*, что значит «собачки».^[76] Счастливая мысль зардела в нашем мозгу вслед за этим изобретением. Я сказала Копеку: «Попробуем с людьми еще одно, но уже последнее средство: нельзя ли управлять ими при помощи этих „собачек“?..»

Он сказал: *якши!* — тотчас велел наделать их несколько кулей, и мы опять взяли в руки бразды управления.

Как скоро люди увидели наши новые, светлые, прелестные копейки, они бросились на них с жадностью, походившею на бешенство; они ползали, плакали, приходили в исступление от любви и преданности, от усердия к нам и нашему престолу, чтоб только достать горсть наших «собачек»; они клялись служить нам верно, исполнять наши законы, избегать порока, говорить нам правду и даже веровать в великого Шеккямуни за столь-

ко-то копеек в месяц; некоторые предлагали нам своих жен и дочерей, свою честь и жизнь за две копейки одновременно. С тех пор стали мы царствовать в полном смысле слова, управлять людьми с невероятною легкостью и произвольно располагать их сердцами.

Нужна ли нам была добродетель? — за десять копеек приносили ее к нам столько, что мы не знали, куда девать ее.

Требовалась ли нам истина? — за двести копеек все говорили правду, а за двести других клялись, что вся эта истина — ложь.

— Господа! вот копейка!.. Нам понадобился ум. У кого есть ум? — и вся огромная держава Золотой Орды, от Иртыша до Волхова, прибегала к подножию нашего престола, чтоб продать свой ум гуртом за копейку.

За копейки мы имели повиновение; измену также имели мы за копейки. Мы сложили все продажные совести в один куль, из которого высыпали копейки на уплату на них их владельцам, и, дав людям два куля новых копеек задатку в счет снятого ими по торгам подряда на поставку потребного нам количества любви, порядка и послушания законам,

поехали охотиться за перепелами. Перепелов в том году было очень мало; мы стреляли ворон, коршунов, воробьев и векш, били баклуши и тешились, как русские девки в семик,⁽⁷⁷⁾ не думая более о людях и не опасаясь их страстей. Последние обыкновенно были заплачены нами в целом государстве на весь год вперед, под верный залог жадности и с вычетом пяти процентов в пользу обеднелых от честности лихоимцев.

Мы благополучно царствовали таким образом до самой глубокой старости. Люди прославляли нашу мудрость, щедроту и великодушие, порядок процветал повсюду, и мой хан Копек единогласно был провозглашен благодетелем рода человеческого. Тогда люди были еще дешевы и копейки серебряные. Теперь цены на людей и на их чувства чрезвычайно возвысились: это следствие порчи нравов, роскоши и необузданного мотовства чувствованиями, которые в наше время кладутся горстями даже в щи и в отношения. Теперь и копейки стали медные!.. Это признак быстрого склонения вселенной к упадку.

По кончине знаменитого, незабвенного

отца копейки — да озарится могила его неуга-
саемым светом! — я была очень хорошо при-
нята великим Хормуздою, который, зная уже
об употребленном мною подлоге после выхо-
да моего из тела ханжи, не только не наказал
меня за подобную дерзость, не только мило-
стиво простил в уважение высоких доброде-
телей покойного Собаки-хана, но и назначил
мне, для прожития, почетное место в приро-
де с обещанием подумать о дальнейшем мо-
ем повышении в следующем столетии.

Я была, за отличие, переселена в русского
мужика.

Мы жили в бедности, но без хлопот, без
страстей и всегда припеваючи. Никогда не
была я так весела и счастлива, как в этом здо-
ровом и трудолюбивом теле. Мы беззаботно
исчерпали с ним все сладости, все счастья
скромного его состояния — и сладость соби-
рать обильные жатвы с поля, возделанного
нашими руками, — и счастье купить себе но-
вый армяк за несколько копеек, которые це-
лых три года лежали зарыты в земле, и рос-
кошь просидеть иногда весь день в кабаке —
и блаженство париться в бане — и прият-

ность ходить в лес с девушками за грибами — и удовольствие побывать в далеком извозе.

Одно только счастье оставалось еще не испытанным нами — счастье быть в бегах, — и я пожелала вкусить его при первой удобности. Мы бежали...

Этим словом оканчивается «Ярлык опасного знания», и более нет ни слова. И все, что в нем содержится, списано мною с точностью, без перемены и прибавки, для пользы и наставления верующих. А почему он назван «Ярлыком опасного знания», о том я, грешный Мерген-Саин, слышал так:

Ехал заседатель степью, с колокольчиком и с переводчиком, и проезжал мимо ламы Мегедетай-Корчин-Угелюкчи — а святой лама, сидя один в степи, спал и писал. И писал не лама, а душа писала его рукою. Почему заседатель с колокольчиком и удивился этому чуду!

Затем я услышал такое слово:

Взял заседатель Ярлык из рук спящего ламы и дал переводчику, чтобы он объ-

яснил ему писание святого мужа. А переводчик прочитал писание и, не понимая высокого калмыцкого слога, сказал, якобы святой муж, лама Мегедетай-Корчин-Угелюкчи, по этому писанию, есть русский мужик в бегах, якобы делает он копейки в степи. И взяли святого мужа под стражу, и посадили в острог. И приехало в улус несколько сердитых русских мужей с колокольчиками производить по этому Ярлыку следствие об укрывательстве беглой ревижской души и отыскивать копейки, которые сделала она непозволительным образом, — и взяли под арест множество безвинных людей и множество баранов, и наделали много шума, и не нашли ничего, ибо ничего и не было, и выпустили безвинных людей, а баранов не выпустили. И потому названо это писание «Ярлыком опасного знания».

А в других шастрах повествуется о том иначе. Вот слова «Сказания о чудесной жизни ламы Мегедетай-Корчин-Угелюкчи», сочиненного пандидою Тегрин-Арсланом, который знал все, что есть и что было.

«Пандида Тегрин-Арслан — мое слово есть следующее: что касается до приезда в улус сердитых русских мужей с колокольчиками и до произведенного ими следствия, то это вздор, неправда, история, и ничего подобного не бывало. Это выдумка ламы Брамбеуса. А вот как было. Взяли ламу Мегедетай-Корчин-Угелюкчи за то, что он писал, храпя, и посадили в тюрьму. И отдан был переводчикам Ярлык, который написала душа его во сне, с тем, чтобы они его растолковали. А переводчики донесли, что они прочитали Ярлык и поняли содержание и что в нем заключается воззвание к калмыкам скрытно бежать в Китай. И велено было судить за то святого мужа, но он сотворил чудо и освободился от клеветы переводчиков: после первого дождя сел на радугу, вылетел из острога в присутствии всего Нижнего Земского суда и торжественно уехал в Тибет. А Нижний Земский суд, увидев это чудо, с трепетом принес покаяние за грехи и убедился в могуществе всесовершеннейшего великого Шеккямуни. Все было так, и более ничего не было. Оно и не могло быть иначе. Когда такое высокое писание попадет-

ся в руки переводчикам, едва знающим монгольскую грамоту, они неминуемо должны вывести из него небылицу. И вывели саратовские переводчики из Ярлыка о деяниях души святого мужа воззвание к побегу в Китай. А очутись он в руках коварных парижских переводчиков-ориенталистов, они готовы еще сказать, что это письмо от Чингис-хана к знаменитому царю Руаде-Франсу, и сочинить о том толстую книгу, по образцу той, какую недавно сочинили о другом подобном Ярлыке. В этом состоит великая опасность, и потому назван он „Ярлыком опасного знания“.

Ом-ма-ни-бад-ме-хум!»

1834



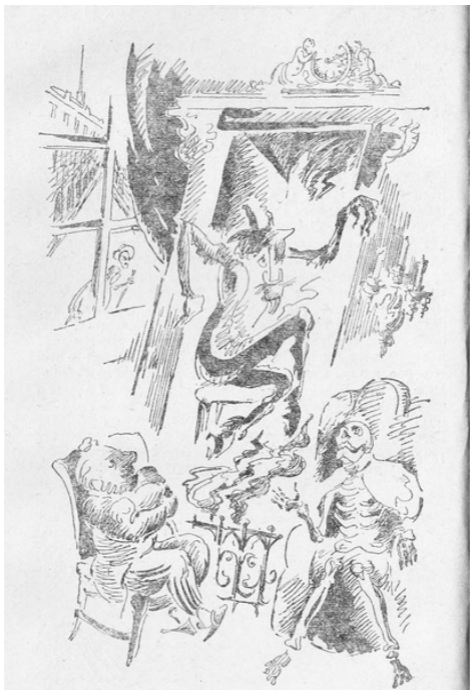
ЗАПИСКИ ДОМОВОГО

*Рукопись без начала и без конца,
найденная под голландскою печью
во время перестройки.*

.....

• • •

...гомеопатически. Они удалились оба в другую комнату. Моя жена и сестры пошли за ними; их прекрасные лица были подернуты тем туманным беспокойством, которое составляет из движущихся стихий любви, отчаяния и надежды и носится зловещим облаком над будущностью дорогих нашему сердцу, когда в ней скрывается опасность. Вскоре услышал я глухие вопли и вздохи, которые томно отражались в моей спальне, проникая с трудом сквозь сухие и беззвучные фибры досок затворенной двери. Следственно, нет надежды! Я должен умереть аллопатически и гомеопатически! Умереть по двум методам! вдвойне умереть!.. от бесконечно великих количеств лекарства и от бесконечно малых! Это ужасно! Я думаю, что с тех пор, как люди умирают от медицины, никто еще не испыты-



вал такой печальной участи. Уверенность в скором выздоровлении, которая в чахоточном усиливается обыкновенно по мере ослабления сил, поколебалась во мне в первый раз

с того времени, как лютая болезнь приковала меня к постели; но к собственному моему удивлению, страшная мысль о необходимости расстаться с жизнью в то самое мгновение, когда дни мои так весело озарились лучами восходящего счастья, не произвела большого потрясения: она ударилась в мои чувства так глухо, так невнятно, как ударяет молоточек клавиша в опущенную струну, которая только зажужжит с неприятным бряцанием, без звона и эха, и опять погрузится в немоту. Я слышал удаляющиеся шаги докторов, которых мое семейство провожало до лестницы, чтобы исторгнуть у них какое-нибудь признание, благоприятное для страдальца; но обе методы были непоколебимы и ушли, кланяясь очень учтиво, в отчаянии, что не могли более торговать моей жизнью; когда стук двери дал мне знать об их уходе, мне даже стало легче и веселее: мне показалось, что ею затворились все хлопоты жизни, что все уже кончено, что я уж не существую. Страх смерти обитает не в душе человека, но в его физической части; он действует только до тех пор, пока преобладают материальные

силы, подчиняя своим пользам духовное начало бытия; одно тело боится смерти, потому что смерть грозит ему разрушением, и как скоро болезнь и изнеможение отнимут у матери то страшное самовластие, которое люди называют голосом природы, и дух не встречает в нем более противоречия, разрушение тела делается для нас незначащим, посторонним предметом. Разобщенные колеса испорченной машины перестали издавать в моей груди тот ржавый болезненный скрип, которым выражается страдание больного; я впал в какую-то отрадную слабость, и сколько прежде страшился смерти и не мог подумать об ней без трепета, столько теперь стал к ней равнодушен. Эта внезапная перемена произошла не от ухода моих докторов, которых мудрости я никогда не верил: быстрый упадок сил, или, точнее, жара крови, один был причиною этой каменной беззаботности, и я могу сравнить тогдашнее мое ощущение с тем, какое испытывает человек, еще нежащийся в теплой ванне и думающий, что вода уже простывает, что уже пора выйти из нее на воздух и одеваться. Одиночество, в кото-

ром я был оставлен, одно было для меня несколько тягостно; я чувствовал как бы нужду в руке, которая бы помогла мне встать из охлаждающей купальни бытия и подала платье; я ждал, но уже без нетерпения возврата жены и сестер, чтоб проститься с ними, чтобы сказать, что я ухожу, что они не должны печалиться, что путь, который мне предстоит, несколько не опасен, что это только перемена квартиры...



Пульс уже не бился с некоторого времени:

кровь, еще теплая, уже не кружила, но стояла в жилах как розовый спирт в фаренгейтовых трубках,^{78} понижаясь отсюда к сердцу подобно термометру, вынесенному на прохладный воздух, и с последним, чуть-чуть приметным ударом сердца водворилось во всем теле удивительное спокойствие. То было восхитительное безветрие после долгой бури. Сердце, эти единственные часы человеческой жизни, остановилось, как задержанный маятник, и время вдруг перестало для меня измеряться; я жил уже за пределами времени и в первый раз ясно понял вечность, о которой люди, что бы они ни говорили, догадываются не умом, а только инстинктом. Вечность! это — простое отсутствие всякой меры. Состояние человека невыразимо с той минуты, как плоть отказывается от дальнейшей работы на его существо и предоставляет здание ведению неведомого начала, духа, или, как его зовут часто, разума. Разум светистой волною разливается тогда по всему телу и выходит из него во все поры в виде радужного, нематериального испарения; оно образует около него эфирное облако: тело как бы завешано в атмосфере

своего духа. Я тут впервые увидел мысль вне человека. Не глядя, видел я, как в зеркале, весь состав своего животного строения, весь этот удивительный механизм миллиона трубок, пружин, связей, рычагов и колес, таких тонких, так искусно сцепленных и на ту пору стоявших в бездействии; я мог бы в двух словах объяснить физиологам, которые, клянусь вам, не более вот этой печи смыслят про образ действия жизни, всю эту таинственную гидростатику многочисленных жидкостей, текучих и летучих, называемую «жизнью» и производящую различные отправления тела, от простого движения ног до трудов памяти и воображения. Никакая паровая мельница не может быть проще этого! И это в самом деле паровая мельница. Они узнают ее при смерти, а те дивные мгновения, которые называют они последними проблесками ума и которые суть только начало великопейнейшего из явлений в теле — отделения вещества от духа, материи от не-материи, того от не-того, да от нет, которых взаимное сочетание и вместе с тем противоположное стремление образует одно отдельное целое,

феномен лица и его жизни, отрывок сложной машины времени, состоящей из соединения всех отдельных жизней... Дверь тихонько отворилась, и я увидел через верх передка моей кровати белое чело жены, осененное черными ее волосами в печальном беспорядке, который придавал ему особенную прелесть. Я хотел позвать ее к себе, но голос не вышел из груди, и слова: «Друг мой» — вылетели из нее без звука, как бы произнесенные в совершенной пустоте; они потонули в воздухе у самых уст моих, даже не пошевелив его, не произведши в нем тех кругов, которые в таком множестве и так быстро выходят из каждого слова, упавшего на его поверхность, дрожат, расширяются, несутся вдаль и исписывают прозрачное пространство звучащими дугами. Это был уже образ того гробового беззвучия, которое начинается за пределами вещества. Я понял, что меня там ожидало... Тихими шагами, едва касаясь земли маленькой, дрожащей ножкою, подходила ко мне юная супруга. Ее бледное лицо, заплаканные глаза, руки, сложенные на груди, медленные движения и измятое платье сливались в стройную картину

столь глубокого несчастья, что гранит застоялся бы от подобного зрелища. Она села против меня на стуле, и ее руки, судорожно сплетенные пальцами, упали на колени, и ее глаза, иссушенные отчаянием, устремились на мое лицо с несказанным выражением любви и горести. Я видел в них прощание... Бедная женщина! ты должна страдать одна. О, зачем я не могу теперь разделить твоей печали, как прежде разделял твое невинное блаженство! Сердце это уже не движется! Эта кровь уже не волнуется!.. Твоя печаль только отражается на ее тиши, как траур туч на зеркальном лице спящего океана, не смущая оцепеневших пучин страсти. Эта кровь, заживавшаяся пламенем от одного твоего прикосновения — в горячие волны которой ты так часто выливали всю сладость твоего существа — которая неслась вся к сердцу, как скоро твой образ наполнял его счастьем, теперь, когда тебя раздирают пополам, когда живую зарывают в землю, эта кровь даже не шелохнется! Я делал страшные усилия, чтобы возбудить в себе печаль, и никак не мог добиться до этого чувства, которое было бы тогда для меня благоде-

анием. Страсти мои, казалось, сзерновались около сердца и покрыли его своими холодными кристаллами... Весь мой дух скопился около юной супруги; я окружил еще недавно обожаемую женщину своей душою, которая лелеяла ее в своих объятиях, проникала во все ее чистое и красивое тело и смешивалась внутри его с ее духом. Это не была любовь, потому что я уже не мог любить, но нечто торжественнее любви: милое женское существо, с поникнутою головкою и заломанными руками, сидело в облаке неземного света, который дивным образом усиливал ее прелести и придавал ей почти небесную красу. То было обоготворение любящей женщины. О, если бы грубые земные чувства дозволили ей видеть себя в эту минуту!.. Я собрал последние силы, чтобы высвободить руку из-под одеяла и протянуть к ней. С какою страстию схватила она своими мягкими и теплыми ладонями эту руку, желтую, сухую, оглоданную хищной болезнью и уже холодную! Никогда в безумном упоении сладострастного восторга не целовала она ее с такой жадностью и таким жаром. Она зарыдала. Слезы брызнули из ее глаз и

потопили руку, пригвозжденную поцелуями к ее устам. Чистее этого умовения, я думаю, нет в природе: оно сильно смыть даже кровь невинного с руки убийцы... Лицо ее окрасилось румянцем; не выпуская моей руки, она подняла на меня свои большие мокрые глаза и, казалось, умоляла ими, чтобы я остался с ней на земле; и я никогда, даже в день нашего брака, не видал ее прелестнейшею, чем в это мгновение. Две мои молоденькие сестры, вошед неприметно не знаю когда, стояли по другую сторону кровати и плакали: их лица, в которых огонь плача боролся с бледностью и усталостью от бессонных ночей, проведенных подле больного брата, были еще красивее обыкновенного. Заходящее солнце удивительным образом освещало их и всю комнату. Между тем тело мое быстро остывало по всем оконечностям; руки и ноги, совсем оледенелые, лежали подле меня как неподвижные глыбы, не принадлежащие к моему составу: там уже господствовала смерть; жизнь еще тлела в желудке, груди и голове, но и тут уже гробовой мороз, подвигаясь с низу и боков, пожирал одни части тела за другими. От-

деление духа от вещества происходило с большой силой и в отдаленнейших членах уже довершалось: там, где дух совсем оставил тленное здание, частицы тела, лишенные своей волшебной связи, тотчас начинали бродить, и наступало разложение. В сильном движении горести моя жена, падая на колени, дернула меня за руки, нехотя, но довольно крепко. Сердце мое закачалось — тихо, без биения, — и легкая теплота неожиданно согрела пустую грудь. Я воспользовался минутным возвратом жизни, чтобы сказать доброй подруге: «Прощай, мой друг!.. Я был счастлив, очень счастлив с тобою...» Я хотел еще возблагодарить сестер за нежную привязанность, но мои уста внезапно сомкнулись, и я никак не мог раздвинуть челюстей. Сердце опять остановилось. Одно только чувство, или что-то похожее на чувство, пробудилось во мне при этом потрясении: то было сожаление. Видя эту прелестную женщину, с которою я надеялся дожить на земле до старости — вы сами знаете, как хороша моя Лиза! — этих милых девиц, которые выросли и расцвели на моих руках, этот солнечный

свет, который лился из окна на стену розовыми и золотыми струями, мне стало жаль красоты и солнечного света. Расстаться с ними навсегда, никогда их не видеть, перейти в неизвестный мир, где они не нужны или, может статься, не существуют, — о, эта мысль способна отравить горечью всю сладость смертельного бесстрастия! Все остальное в мире, право, не стоит никакого сожаления и не возбуждает его в умирающем. Но этот чудесный солнечный свет!.. Но эта красота, чудеснее самого солнца и света!.. Их одних хотел бы я унести с собою в могилу. Я уверен, что солнечное сияние создано только для того, чтобы можно было видеть красоту... Однако ж это чувство, уже последнее, было непродолжительно: жизнь качающимися кругами, которые постепенно уменьшались, переносилась в голову; я начинал уже ощущать усыпление, которое исподволь охватывало всего меня. Охладелые части тела казались уже спящими; те, которые были еще теплы, повергались в сильную дремоту. Свет померкал в моих глазах: пленительное лицо жены сперва окружилось в них венцом призматич-

ческих цветов, потом стало редеть, рассеиваться, исчезало и, наконец, исчезло в темноте, прорезываемой волшебными огнями. Сетчатая ткань глаза вдруг окаменела, в ушах зазвенело, слух пресекся тоже. Я почувствовал род весьма приятного опьянения, и невыразимая сладость забвения скоро поглотила все мое существо. Запертая обмершими чувствами мысль стала выражать последние свои движения ясными сновидениями, которые были чрезвычайно разнообразны и игривы, как в начале обыкновенного сна. Остаток воли боролся еще некоторое время с этим непреодолимым позывом на сон, и в промежутки пробуждения я чувствовал, что круги сосредоточивающейся жизни, о которых говорил вам, избрав своим центром голову и суживаясь постепенно, сбегаются в мозгу, качаются уже около одной светлой точки, наконец, вошли все в эту точку; в ней заключилось и все мое самоощущение, которое поминутно утопало в превозмогающей дремоте. Мне снилось, будто моя жена — оно и в самом деле так было — бросилась на меня с рыданием и начала целовать мои ноги и колена. Мне

хотелось закричать ей: «Не там, друг мой!.. Там я уже не существую!.. Сюда! сюда! разбей мою голову и вдохни в себя эту последнюю искру жизни, которая еще сверкает в мозгу и скоро погаснет...» Но слова, произносимые в мысли, не находили для себя звуков, что нередко испытывается и во сне: все тело уже спало, то есть было мертво, и жила только одна голова, но и та жила полужизнию — дремотою. Сновидения, чрезвычайно странные и все более несвязные, текли с необыкновенною скоростью, и так как каждое из них, продолжаясь не более одного мгновения, кажется засыпающему действием, растянутым на большой промежуток времени, то я в эти пять минут, пока не уснул, прожил, по крайней мере, два или три месяца. Странный обман тела! Можно было бы написать целый том историй, собрав все чудные фантазии, которые наплодились в моей голове в короткое время этого засыпания. Наконец, сон преодолел меня — меня, то есть мой мозг, все, что еще от меня осталось в живых, — и я уснул самым крепким и роскошным сном, какого никогда еще не испытывал в жизни. Это была

смерть. Вот и вся история. Я умер, и меня похоронили; но должен признаться, что был набитый дурак при жизни, когда боялся того, что ничуть не страшнее обыкновенного сна и, может, еще слаще его; сон вечерний приятен только тем, что это отдых после трудов одного дня, а умирая, вы засыпаете от изнеможения тела в течение всего вашего земного существования, со всеми его изнурительными удовольствиями, страданиями и работами, и потому засыпаете еще лучше. Последние минуты этого оцепенения похожи на то, что ощущают турки, приняв гран^[79] опиума... Вы вздыхаете?



— Да! — сказал я моему гостю, мертвецу, — мы, домовые, и вообще все духи, по несчастью, бессмертны и никак не можем умереть.

— А вы бы хотели тоже быть подверженным смерти?

— Почему ж не хотеть? Одним лишним наслаждением в жизни более!

— Конечно, — сказал мертвец, — люди в этом отношении счастливее духов. Но вы, господа домовые, пользуетесь тоже одним бесценным преимуществом: вы можете пролезть во всякую замочную скважину и вытащить в нее все, что хотите, все, что вам нужно; вы пользуетесь без труда чужим добром, не ломая дверей и не портя замков, за что у людей строжайше наказывается. Что ни говорите, а это большое счастье! Нынче много говорят и пишут на земле о бесконечном совершенствовании человечества и предлагают различные способы коренного преобразования обществ, чтоб достигнуть этой высокой цели; но я думаю, что человек тогда только был бы существом истинно совершенным, если б соединить в нем удовольствие умереть со способностью вытаскивать незаметно в за-

мочные скважины все, что ему понравится — дюжину бутылок силери⁽⁸⁰⁾ — хорошенькую чужую жену — английскую лошадь...

В это мгновение послышался страшный шум на крышке. Я приостановил моего собеседника; но шум утих, и мы опять принялись за наш интересный разговор.

— Ваши взгляды на усовершенствование человечества, — сказал я, — очень светлы и основательны; способность эта была бы тем полезнее для человечества, что она не влечет за собою никаких общественных распрь, соблазнов, неудобств: за пропажу, когда двери и замки целы, поколотят только лакеев или дворецких — и все кончено: человечество цело и спокойно.

— Жаль только, что нельзя умереть дважды, — присовокупил он. — Это было бы еще совершеннее и приятнее...

Шум на крышке, который недавно встревожил меня, имел основание. Когда мой гость произносил эти слова, огромная черная головешка, упавшая, как потом оказалось, сквозь дымовую трубу, со стуком шлепнулась оземь между камином и его решеткою. Мы оба вско-

чили с дивана. Я подошел к камину, взял ее в руки и хотел положить в жаровник, потому что не люблю беспорядка и вовсе не одобряю тех домовых, которые ночью переставляют стулья и вытаскивают подушки из-под голов, как кто-то вдруг схватил меня за шею и стал душить, целуя изо всей силы. Я оборонялся от этой нечаянной нежности, не зная, кому за нее быть благодарным, отворачивал голову от непрошенных поцелуев и тут только увидел, что вместо головешки держу в руках две козлиные ноги, на которых держится чье-то туловище, так неожиданно взвалившееся мне на шею со всею тяжестью своей сердечной дружбы. Я пустил эти две ноги. Передо мной явился — кто бы вы думали? — старинный друг мой, черт Бубантес! Он хохотал, как сумасшедший, и, забавляясь моим изумлением, бросился еще раз целовать меня. Мы нежно обняли друг друга.

— Друг мой, Чурка! — кричал Бубантес, вне себя от радости, — здоров ли, весел ли ты? Давно мы с тобой не видались!

— Давненько! — сказал я. — Чай, будет с лишком двести лет.

— Около того... Я совсем потерял тебя из виду, — сказал Бубантес, — и не знал даже, где ты обретаешься. Я думал, что ты все еще в Стокгольме...

— Нет, друг мой, я здесь, — сказал я. — С постройки этого дома я поселился в нем, вот именно здесь, на печи... Да какими судьбами попал ты сюда?

— Это длинная история, — отвечал он. — Я расскажу ее потом... Я спасался из одного места и не знал, куда укрыться... Смотрю: труба; я в нее — и вот в твоих объятиях.

— Зачем же ты прикинулся головешкой... Фу, как ты меня напугал!

— Зачем головешкой? Да так! Я, вишь, хотел упасть сюда инкогнито... Дом мне незнакомый; я боялся найти здесь ханжей, от которых теперь очень опасно нашему брату, черту: грешат вместе с вами, а при первом удобном случае сами же на вас доносят... Знаешь ли, что их опять развелось много? Я не люблю ханжей: это грешники, которые хотят надуть черта. Гораздо лучше иметь дело с честными грешниками. Подумай, что они стали тискать на меня статьи в моих журналах!

— А ты все еще возишься с журналами? — спросил я.

— Да, дружище! — сказал он с глубоким вздохом. — Делать нечего. Сатана приказал!.. Вот уже четвертое столетие, как я правлю должность главного черта журналистики и довел этот грех до совершенства, а от его мрачности не получил ничего, кроме щелчков в нос, в награду. Ах, если б ты знал, что за поганое ремесло! с какими людьми приходится иметь дело! Вот и нынче провел весь вечер в одном газетном вертепе, где курили и клеветали хуже, чем в аду. Я завернул туда, чтоб помочь состряпать маленький журнальный грешок: в нашем городе есть одна упавшая репутация, которая издает новую книгу; решено было поднять ее и поставить на ноги. Собралось человек тридцать ее приятелей, все из литераторов. Когда я пришел туда, они миром подымали ее с земли, за уши, за руки, за ноги. Я присоединился к ним и взял ее за нос. Мы дружно напрягли все силы; пыхтели, охали, мучились и ничего не сделали. Мы подложили колья и кольями хотели поднять ее. Ни с места! Ну, любезнейший! ты не мо-

жешь себе представить, что значит упавшая литературная репутация. В целой вселенной нет ничего тяжелее. Мы ее бросили. Тогда я, для опыта, немножко пошевелил хвостом их злобу: тут как они стали царапать и рвать все репутации, стоячие и лежащие, как понесли свой грязный вздор, в котором, кроме желчи и невежества, не было ничего годного даже для ада, — да такой вздор, что уже мне, природному черту, стало страшно и мерзко слушать — так я не знал, куда деваться! Я побежал стремглав, поджавши хвост, заткнувши уши, зажмурив глаза; летел, летел, летел... и если б не эта труба... Я немножко ушиб себе бок... Да не в том дело: здоров ли ты, старый друг, Чурка? Как поживаешь... Кто этот длинный скелет? — спросил он, нагнувшись к моему уху.

— Это... покойный хозяин здешнего дома, — сказал я шепотом. — Он пришел ко мне в гости с кладбища.

— Каких он правил?

— Очень почтенный, честный грешник.

— Познакомь же меня с своим хозяином, мой Чурочка. Ты всегда отличался знанием

светских приличий в твоём запечье.

— С большим удовольствием, — сказал я и представил их друг другу. — Мой приятель Бубантес, главный черт журналистики! Иван Иванович, бывший читатель! Прошу быть знакомыми, полюбить друг друга и садиться.

Они поклонились и пожали себе руки.

— Вы давно изволили скончаться? — вежливо спросил Бубантес нового своего знакомого.

— Год и две недели, — сказал он.

— Как вы находите этот свет? — продолжал любезный черт.

Мой мертвец несколько смутился, не понимая вопроса.

— Когда я говорю «этот», — быстро подхватил Бубантес, — это значит «тот». Свет, который вы при жизни называли «тем светом», называется у нас «этим», и обратно. Вы еще не привыкли к нашей терминологии, но она очень ясна. Следственно, как вы находите этот свет, наш свет, свет духов...

— Очень приятным, — отвечал, наконец, покойный Иван Иванович.

— Я так и думал, — сказал черт с своей ко-

варной усмешкой. — Я говорю это не из патриотизма, но многие очень просвещенные путешественники с того света, то есть с людского света, находят, что здесь гораздо отраднее и веселее.

— И я того же мнения, — сказал мертвец. — Особенно мне нравится здесь это удивительное спокойствие и бесстрашие, которыми отличается жизнь мертвецов. Нельзя сказать, чтобы и жизнь того, человеческого света не имела своих прелестей... Есть кой-какие очень приятные грехи, для которых стоит потаскать тело на своих костях известное число годов, но самое важное неудобство той жизни — это теплая кровь, кровь, которая ворочается в вас мельницею, кружится настоящим омутом, разгорячает вас при каждом движении, при каждом обстоятельстве, порождая те вспышки внутреннего жара, которые называют там страстями; которая жжет вас, душит поминутно, содержит тело в непрерывном беспокойстве, разоряет его, начиняет болезнями... Это второй ад, быть может, еще хуже настоящего! Вообще там очень душно от теплой крови, и я ни за какое благо не

согласился б воротиться туда, разве когда-нибудь, совершенствуя человечество, выдумают холодные страсти. Здесь, по крайней мере, нет крови, и ничто вас не тревожит; вы всегда наслаждаетесь ровною и отрадною прохладою ума, совершенною сухостью чувства, восхитительным отсутствием страстей...

— Здесь бы и писать беспристрастные критики! — воскликнул Бубантес, весело повернувшись трижды на одной ножке журнальным франтом. — Мои молодцы завели в одном городе, недалеко отсюда, фабрику беспристрастия, да что-то нейдет! По сию пору мы выделяем только простую брань без ума, которая худо продается.

— Да что ж вы стоите? — сказал я моим гостям. — Присядьте, пожалуйста, у меня.

— Где ж у тебя сидеть? — сказал Бубантес, оглядываясь. — Тут нет ни одного гвоздя в стене! Если б были три гвоздика, мы уселись бы рядом.

Он прошелся по зале и, приблизившись к камину, увидел, что под черною корою перегоревшего угля мерцает еще огонь. Он разгреб верхние уголья и от нечего делать начал

поправлять жар, уравнивать лопаткой, раздувать.

— Не угодно ли тебе чего-нибудь у нас отведать? — спросил я его.

— С моим удовольствием, — сказал черт, занятый своей работой. — А что у тебя есть? Нет ли английской горчицы?

— Как не быть!

Я порхнул в буфет и вытащил сквозь ключевую скважину большую банку превосходной английской горчицы, желтой как золото и крепкой как огонь. Он взял банку в одну руку, другой поднял вверх полы своего немецкого кафтана и сел в камине на горящих углях.

— Вы позволите мне сидеть здесь, — сказал он, — это мое любимое место; а сами садитесь в кресла перед камином, и будем беседовать.

Мертвец погрузился в красные вольтеровские кресла, которые я ему придвинул, я взял стул, и мы составили тесный дружеский круг около камина, которого влияние на чистосердечие беседы и домашнее счастье известно отчасти и людям. Бубантес уверял меня одна-

жды, что об этом измарано у них столько бумаги, что он берется топить ею в течение целого месяца тридцать тысяч бань. Я люблю этого милого и умного черта, но по временам он лжет как александрийский грек!

— Об чем вы изволили рассуждать между собою до моего прихода? — сказал он, взяв из банки ложку горчицы. — Сделайте одолжение, не церемоньтесь со мной... Продолжайте ваш разговор...

— Мы говорили о людях, — сказал я. — Об чем же говорить более? Иван Иванович описывал мне те приятные ощущения, которые человек испытывает в минуту смерти...

— Твоя горчица чудо! — прервал меня Бубантес. — Я не имел чести быть на званом обеде, который Яков II,⁽⁸¹⁾ король английский, стряпал для черта и для которого он набрал три самые тонкие адские блюда — лимбургский сыр, жевательный табак и горчицу; но и у него не было ничего подобного. Вы говорили о смерти?

— Ты очень любезен, — сказал я, — горчица самая обыкновенная. Да: об удовольствиях смерти. И в то самое время, когда ты к нам

провалился, Иван Иванович делал весьма основательное замечание, что жизнь человека была бы вдвое приятнее, если б он мог умирать дважды.

— Умирать дважды? — сказал черт, набивая себе рот горчицею. — Если человек желает умереть дважды, пусть перед смертью он ляжет спать и умрет, уже проснувшись. Уснуть или умереть — это все равно.^{82} Шекспирово *perchance*[30] тут ничего не поможет. Между смертью и сном нет никакой разницы; разве та, что от смерти нельзя очнуться.

— Однако ж я читал на том свете, что когда тело погружается в сон и бездействие, тогда дух, свободный от его бремени, действует с особенною силою и светлостью...

Черт захохотал так крепко, что чуть не уронил банки и не разметал жару по всей зале.

— Ха, ха, ха! тело в бездействии, а дух в действии! Ха, ха, ха! Знаете ли, что такое вы читали? Извините, что я смеюсь! Ха, ха, ха, ха, ха! Мне нельзя не смеяться, потому что я знаю, откуда это вышло. Мой приятель черт Кода-Нера, большой шарлатан, выдумал эту

историю для магнетистов, и они вместе надули многих. Шутка была удачная, но удить ею можно только живые головы, а не мертвецов. С такой головой, как ваша, совершенно пустой, чистой, без этого мягкого, дрянного мозга, которым завалены черепы на том свете, невозможно поверить такой бессмыслице. Как вы хотите, чтобы в непогребенном человеке дух действовал отдельно от тела или тело отдельно от духа, когда тело органическое есть слияние в данную форму вещества с невеществом, материи с духом, и когда расторжение их самотеснейшей связи тотчас уничтожает тело? Вы намекаете на сны? Вы, может статься, хотите представить сновидения в доказательство отдельного действия духа в теле, оцепеневшем и неподвижном? Но сновидения, сударь мой, происходят только в полубдении, во время дремоты, а не совершенного сна, в минуты засыпания и пробуждения. Оттого вы их и помните! Но как скоро человек погружается в сон, полный и ровный, все умственные отправления прекращаются совершенно; дух его находится в настоящем оцепенении; он ничего не чувствует, не мыс-

лит и не помнит: он мертв кругом, умер, и живет только относительно к не утраченной еще возможности прийти опять в полную духовно-вещественную жизнь. Сладость, которую вы чувствуете, засыпая, есть именно следствие этого погружения духа в совершенное бездействие, в смерть. Мы, черти, знаем это лучше вас. Сколько раз человек засыпает, столько раз он действительно умирает на известное время. Вы можете мне поверить. Таким образом, земное его существование составлено, как вы изволите видеть, просто из беспрестанной перемешки периодической жизни и смерти. Иначе вы не объясните сна. И заметьте, милостивые государи, что этот периодический возврат жизни и смерти соответствует периодическому появлению и исчезновению солнца на горизонте и что мысль, разум, когда нет насилия природе, прекращается, как скоро оно заходит. Из этого вы можете выводить заключения, какие вам угодно, а я, между тем, буду есть горчицу.

— Самое простое заключение, — сказал мой мертвец, улыбаясь, [31] — есть то, что я, который в течение тридцати двух лет имел

каждый день удовольствие умирать и оживать, сам этого не примечая, был такой же дурак, как Мольеров дворянин из мещан,^{83} который не знал, что он весь век говорил прозою.

— Вы умный мертвец и делаете сравнения чрезвычайно удачные, — сказал коварно Бубантес, — но вы можете присовокупить, что когда, таким образом засыпая и просыпаясь, умирая и воскресая попеременно, вы, наконец, доспали до такого сна, во время которого потеряли всю теплоту и от которого не могли уже проснуться, тогда вы умерли окончательно, навсегда — обстоятельство, которому я обязан вашим приятным знакомством и честью беседовать с вами в этом месте у общего нашего приятеля, домового Чурки. Сон, сударь мой, есть смерть теплая, а смерть сон холодный. Все дело состоит в температуре. Замерзание здорового человека начинается сном. Это знают и черти, и люди. Но полно об этом. Часто ли вы бываете у нашего почтенного Чурки?

— О, нельзя сказать, чтобы часто! — воскликнул я.

— Сегодня в первый раз я решился оставить кладбище, — отвечал мертвец, — по одному неприятному случаю...

— По какому?

— У нас, изволите видеть, вышла ссора с соседкой. Меня похоронили подле какой-то сварливой бабы, старой и гадкой грешницы, скелета кривого, беззубого и самого безобразного, какой только вы можете себе представить. Пока мой гроб был цел, я не обращал на нее большого внимания, но на прошедшей неделе он развалился, и с тех пор житья мне от нее нет в земле. Эта проклятая баба — ее зовут Акулиной Викентьевной — толкает меня, бранит, щиплет, кусает и говорит, что я мешаю ей лежать спокойно, что я стеснил собою ее обиталище...

— Ну-с?

— Ну, словом, мочи нет с нею. Мы подрались. Я, кажется, вышиб ей два последние зуба, которые еще оставались в верхней челюсти.

— Ну, ну!

— Да, правда, вырвал еще нижнюю челюсть и кость правой ноги и бросил их ку-

да-то далеко в ров.

— Что ж она на это?

— Ничего. Она пошла по всем гробам отыскивать челюсть и ногу, всполошила всех покойников, перебралась со всеми остовами, которые, впрочем, давно терпеть ее не могут. Она никому не дает покоя сажень на сто вокруг.

— А вы что на это?

— А я между тем ушел и, гуляя, завернул сюда посмотреть, что делается в этом доме по моей смерти.

— Вы же говорили, что вам так нравится удивительное спокойствие нашего света? — сказал насмешливый черт.

— Конечно, говорил, — отвечал мертвец, — на каком же свете нет маленьких неприятностей? Впрочем, все суматохи происходят здесь так тихо, так хладнокровно, что их нельзя и называть суматохами. То ли дело на том свете! Там кровь пережгла б вам все жилы; там страсти задушили б вас на месте; там уже случился б с вами удар... Я решительно предпочитаю наш мертвый мир тому и могу сказать, что если б не случайное неудобство

быть иногда положенным в земле подле старой бабы, сверхъестественный свет был бы совершенство.

— Так вот какая история! — воскликнул черт. — А я, признаюсь откровенно, не имея чести вас знать, думал все это время, что вы приволакиваетесь в здешних странах за какой-нибудь красоткой того света. Вы меня извините, но это часто случается с вашей братьей. Я знавал многих мертвецов, которые просиживали по целым ночам в спальнях, подле прежних своих возлюбленных, и потихоньку прикладывали свои холодные поцелуи к их горячим спящим устам. О, между вами, господа скелеты, есть ужасные обольстители прекрасного пола!.. И тут нет ничего удивительного. Привычка большое дело! Это остается в костях.

Мертвец смутился. Он не знал, что отвечать черту, боясь, по-видимому, чтобы Бубантес не донес на него в ад. Я решил вывести его из затруднения.

— Что греха таить, Иван Иванович! — сказал я. — Мы можем говорить здесь откровенно. Мой старый друг Бубантес не такой черт,

как вы думаете. Он не в состоянии сделать подлости...

Мертвец ободрился.

— Признаться сказать, — продолжал я, — покойный Иван Иванович пришел, собственно, посмотреть на свою красивую супругу, которая спит вот через три комнаты отсюда. При жизни они обожали друг друга до беспамятства. Ему теперь некстати быть влюбленным, будучи без крови и тела, но его бедная жена по сию пору души в нем не чает. Как она плакала об нем! как рыдала! Как нежно призывала его по имени, засыпая прошедший вечер! Я один тому свидетель!.. Больно смотреть на ее мучения, на ее отчаяние, на ее безнадежную любовь.

Мертвец был растроган до глубины костей. Он сидел неподвижно, с поникнутой головой, сложив руки на груди.

— Когда покойный Иван Иванович пришел сюда, как бы исторгнутый из земли ее любящим, магнитным сердцем, как бы невольно привлеченный им сюда, мы пошли к ней в спальню и нашли ее в самом умильном положении. Она спала, обняв белыми и

полными руками подушку, смоченную потоком слез, на которой покоилась ее прелестная головка; обнаженные плечи и часть груди имели гладкость, блеск и молочную прозрачность алебаstra; пурпуровые губки были полураскрыты и обнаруживали два ряда прекрасных перловых зубов; в лилиях лица играл огонь розового цвета, удивительной чистоты и нежности; она была очаровательна, как дух высоких сфер, и, казалось, пламенно жала эту подушку к своей груди...

— Вдовьи нравы, — сказал злой Бубантес вполголоса, с хитрою усмешкой.

— Она, средь своей, как ты говоришь, теплой смерти, так страстно и так чисто любила мужа, похищенного у ней смертью холодной, что мне стало досадно быть только духом подле такого пленительного тела, а покойный Иван Иванович не выдержал и поцеловал ее в самый ротик — да так, что его мертвые зубы стукнули в ее зубки!..

Бубантес коварно мигнул покойнику.

— Э!.. каковы наши мертвецы! Что, если бы хорошенькие женщины знали, как вы, господа, лобызаете их по ночам?.. Ведь это ужас?

— Ах, почтеннейший, — воскликнул мертвец, — она такая добрая! такая прекрасная! Это самая удивительная женщина, какая только существует под солнцем! За один ее поцелуй можно отдать целое кладбище, а для того, чтобы поцеловать ее, стоит, даю вам слово, сделать путешествие в мир вещественный.

— И притом, такая добродетельная! — примолвил я. — Вот уж, любезный Бубантес, посмотрели б мы, как бы ее-то ввел ты во искушение!

— За себя я не отвечаю, — скромно сказал он, — я не ловок на эти дела и притом никогда не занимался женскою частью; но, уверяю тебя, у нас есть черти, которые соблазнят всякую женщину, хоть бы она вылита была вся из добродетели. Я видал удивительные примеры.

— Из добродетели, так! — возразил покойный муж, — но не из любви. Когда женщина вылита вся из чистой любви к одному мужчине, когда эта любовь сделалась ею жизнью, стихией, которою она дышит, второю душой ее, тут уж чертям нет поживы...

— Продолжайте, — сказал равнодушно Бубантес, становя банку с горчицей наземь.

Он снял с головы свой высокий остроко-
нечный колпак и начал готовить из него
род мешка.

— Любовь в женщине делает чудеса, —
продолжал мертвец. — Эта непонятная сила
превращает существо слабое в самое сильное
волею, в самое торжественное благородством
чувствований. Тогда предмет ее любви теряет
для нее свои земные формы, становится идеа-
лом, господствует над нею вблизи и издали;
пространства для нее исчезают; самое время
бессильно, и она живет в своем возлюблен-
ном, разделен ли он с нею расстоянием, жив
ли или зарыт в могиле...

— Ну, — сказал черт, занятый весь своим
мешком, который он комкал на коленях, не
глядя на нас.

— Я уверен, — сказал мертвец, — что эта
таинственная сила, которая так же крепко
связывает два существа между собою, как дух
связывает частицы материи в живом теле и
образует из них одно правильное целое, не
уничтожается смертью одного из двух су-

ществ; что она продолжает соединять тело одного с прахом другого даже сквозь пласт земли, который их разделяет, что она разрушается только при окончательном разрушении обоих тел, и тут еще она должна жить в душах их: улетев в дальние пространства, их души, без сомнения, отыскивают друг друга и сливаются там в одну душу той же любовью.

— Ах, какой же вы читатель! — закричал черт покойнику, смеясь от чистого сердца. — Вы настоящий читатель! Подите-ка сюда! Чурка, поди и ты сюда! Смотрите мне в горсть, когда ее раскрою.

Мы подошли к нему. Он погрузил руку в мешок, сделанный из колпака, собрал что-то внутри, вынул кулак и, раскрывая его, сказал:

— Смотрите!.. Вот любовь.

На черной его ладони взвилось пламя, чрезвычайно тонкое, прозрачное, летучее, удивительной красоты: в одно мгновение оно переменяло все цвета, не останавливаясь ни на одном, что придавало ему самый блистательный и нежный отлив, которого ни с чем сравнить невозможно.

— Как! это любовь? — вскричал изумлен-

ный мертвец, хватая своей костяной лапой это чудесное пламя, которое в тот же миг исчезло.

— Самая чистая любовь, — сказал черт, улыбаясь и посматривая ему в глазные впадины с любопытством. — Что, хороша штука?.. Мой колпак, сударь, лучшая химическая реторта в мире. Вы можете быть уверены, что это любовь: я выжал ее из воздуха и очистил от всех посторонних газов. Любовь, милостивые государи, разлита в воздухе.

Бубантес надел колпак на голову и встал с жаровника. Мы начали ходить по зале и рассуждать об этом пламени. Мертвецу никак не верилось, чтобы это была настоящая любовь, но черт говорил так убедительно, столько клялся своим хвостом, что, наконец, тот согласился с ним в возможности отделять это роскошное чувство от воздуха и продавать его в бутылках. Они рассчитали все прибыли от подобной фабрикации — покойный Иван Иванович был при жизни большой спекулянт — и находили одно только неудобство в этой новой отрасли народной промышленности, что многие станут подделывать изделие

и продавать ложную любовь в таких же бутылках, тем более что и теперь, без перегонки воздуха, поддельная любовь составляет весьма важную статью внутренней торговли, хотя и не показывается в статистических таблицах.

Бубантес был восхитителен во время этого рассуждения: он сыпал остротами, шутил, говорил так добродушно, что тот, кто бы его не знал, никогда б не предполагал в нем черта. Впрочем, надобно отдать справедливость чертям: между ними есть очень любезные малые. Иван Иванович весьма с ним подружился. Он стал расспрашивать его, каким образом действует это миленькое летучее пламя на людей, так что эти плуты обожают друг друга.

— Вы знаете, что такое «поляризация»? — сказал черт.

— Поляризация-с? — воскликнул покойник. — Да, знаю, поляризация. Я читал об ней. Но вы можете говорить так точно, как будто б я ничего не знал.

— Здешние мертвецы набитые невежды, — сказал мне на ухо Бубантес. — Вы знаете, — продолжал он громко, — что в природе

есть теплота, магнитность, свет, электричество, то есть вы знаете, что ничего этого нет в природе, а есть одно вещество, чрезвычайно тонкое, чрезвычайно летучее, которое разлито везде и проникает все тела, даже самые плотные; для которого алмаз и золото то же, что губка для воды и воздуха, и которого сам черт не разгадает, а домовый, мертвец и человек и подавно. Оно то производит ощущение тепла, и тогда человек называет его теплою; то вылетает из облака в виде громовой молнии или из натираемого стекла в виде серной искры, и тогда получает у людей имя электричества; то направляет один конец железной иглы к северу, а другой к югу, и тогда величают его магнитностью; то, наконец, поражает глаз своим блеском и называется светом. Оно темно и светисто, паляще и морозно, животворно и убийственно. Незримое, одаренное столь различными свойствами, это хамелеоническое вещество обнаруживается каждый раз в другом образе и поражает бедного человека столькими противоположными явлениями, что он, будучи не в силах связать их своей дрянной логикою, принужден

был разделить его на четыре разные вещества, которым присвоил четыре ряда примеченных им феноменов, более или менее сходных между собою, и придумал для каждого ряда особую теорию. Мой приятель, черт Кода-Нера, уже три столетия морочит ученых этим веществом, диктуя им самые странные теории для того, чтобы их мучить, бесить, ссорить между собою и доводить до того, чтобы они друг друга называли ослами. Это единственный доход Сатаны от ученых. С них нечего взять более. Я завел для них кой-какие журналы. Теперь он сыграл с ними новую штуку: когда они нагородили систем обо всем этом, написали тьму книг о магнитности и уверились, что она вещество совершенно особое и самостоятельное, он вдруг выкинул им магнитную искру, которая точь-в-точь искра электрическая. Они перессорились в моих журналах, но этот плут убедил их заключить перемирие на том условии, чтобы оба вещества, впредь до распоряжения, соединились в одно под сложным именем электромагнитности. Со временем он намерен подсунуть им другое, еще страннейшее название — све-

то-тепло-электро-магнитности, и все-таки они не будут знать, что это за вещество, и не поймут его руками; а я вам, друзья мои, показал его вот на этой ладони. Согласитесь, что оно прелестно, и поздравьте себя с тем, что вы не люди: по крайней мере, вы могли его видеть. Так как для него нет имени, то назовите его как угодно, хоть электромагнитностью. Для меня все равно. Но вот в чем еще дело: не подлежит сомнению, что у каждой палки есть два конца и что один из них противоположен другому, что один не то, что другой, хотя палка все одна и та же. Все, что ни существует в мире, составлено из таких же двух противоположностей: дню противоположна ночь, свету темнота, теплу холод, движению бездействие, бдению сон, жизни смерть, да — нет: я мог бы насчитать вам три тысячи триста девяносто девять таких противоположностей и довести, вас, наконец, до последней противоположности, выше которой уже ничего нет, — материи и духа. Как скоро есть материя, есть и дух: я думаю, что это ясно.

То самое противопоставление постоянного

«да» и «нет» обнаруживается и в умственном мире: вы имеете там надежду и отчаяние, жестокость и кротость, сострадание и презрение, смирение и гордость, вражду и дружбу, любовь и ненависть, и прочая, и прочая. Вы согласитесь, что хотя любовь и ненависть суть одно и то же чувство, хотя любовь составляет один конец страсти, а ненависть другой, действия и свойства их так противны, что их принимают обыкновенно за две различные вещи. Вещество, о котором я вам докладывал, это прекрасное, летучее и незримое пламя, эта электромагнитность имеет тоже свои две противоположности, свое «да» и свое «нет». Когда вы взволнуете его в стеклянном пруте посредством трения, оно тотчас разделяется на два противные свойства и в одном конце прута притягивает к нему разные легкие тела, в другом их отталкивает. Первое свойство, — извини, любезный Чурка, — шепнул мне Бубантес, — что я толкую вещи, давно тебе известные: этот мертвец ничего не понимает! — первое свойство черт Кода-Нера присоветовал ученым назвать электричеством положительным, а второе элек-

тричеством отрицательным и запутал их словами до того, что они верят в два электричества; но вы, как умный мертвец, вы видите, что это та же история тепла и холода, любви и ненависти. Такому разделению свойств дали имя поляризации электричества. Эти два противные свойства одного и того же вещества часто избирают своим обиталищем даже два отдельные тела: одно облако, например, электризуется положительно, а другое отрицательно. Когда опять взволнуете это вещество в полоске железа, натирая ее ключом от середины сперва к одному концу, а потом от середины же к другому, оно устремляет один конец полоски к северу, а другой к югу. Это магнитная стрелка. Северный конец ее зовут положительным, южный отрицательным, а самое явление поляризацией. Возьмите ж теперь две такие стрелки и сблизьте их между собою: конец положительный одной стрелки оттолкнет от себя положительный конец другой; две отрицательные стрелки тоже будут удаляться друг от друга; но стрелка положительная с концом отрицательным тотчас сцепятся и поцелуются. Вот любовь! Назовите те-

перь положительные концы мужскими, а отрицательные женскими, и все вам объяснится: полы одинаковые отталкиваются, полы различные стремятся друг к другу. Это — любовь в железе. Она проявляется таким же образом и в некоторых других металлах и камнях. Она существует и между двумя облаками, в которых скопились два противные свойства электричества, носящегося в воздухе. Она сгибает в лесу две финиковые пальмы, одну к другой, самца к самке, из которых первый всегда обнаруживает электромагнитность положительную, а вторая отрицательную. То же происходит и в животных, то же и в людях. Около эпохи совершеннолетия молодой человек и девица начинают вбирать в себя из воздуха летучее вещество и электризоваться, один положительно, а другая отрицательно, в южных странах сильнее, а в северных слабее, и даже в одном и том же месте более и менее, смотря по сложению тела, здоровью, степени восприимчивости, времени года и множеству других обстоятельств. Когда они достаточно наэлектризованы, поставьте их лицом одного к другому: пусть они взглянут

друг на друга; лишь только луч зрения приведет в сообщение их электричества, с той минуты они влюблены, они полетят друг к другу, как два облака, и будет гром, молния, удар и дождь. Тут и черта не надобно. Вот почему я никогда не любил этой части: она слишком механическая! Вы не влюблялись в малолетнюю девочку, потому что она еще недостаточно наэлектризована тем чудным веществом, которое я выжал для вас из воздуха в моем колпаке. Вы отвращались от бабы, потому что в эпохе старости человек разряжается и теряет почти всю свою электромагнитность. Месяц любви для всей природы тот самый, в который наиболее этого вещества в воздухе. Мой приятель Аддисон⁽⁸⁴⁾ сказывал мне, что очень милая и скромная леди признавалась ему, что она беретя быть равнодушною к своему мужу круглый год, кроме мая месяца, в котором она не отвечает...

Бубантес вдруг остановился. Мы проходили тогда мимо окон залы. Он подбежал к окну, как будто заметил на улице что-то необыкновенное, посмотрел и снова воротился к нам, заложив назад руки.

— Так-то, сударь мой! — сказал он. — Теперь вы будете в состоянии растолковать всему кладбищу, что такое любовь. Когда бы вы умели добывать это вещество из воздуха и знали еще способ хорошо соединять его с телом, вам самим, почтеннейший Иван Иванович, не трудно было бы... заставить Монблан... влюбиться до безумия в Этну...

Он бросился к другому окну, на которое его беспокойные глаза были уже устремлены при последних словах, и начал пристально всматриваться в улицу.

— Господа! — сказал он, отскочив от окна, — подождите меня здесь, я сейчас буду назад. Мне надобно сказать несколько слов одному человеку... Иван Иванович, не уходите. Не выпускай его, Чурка! — сказал он тихо, перегибаясь к моему уху, и исчез.

Внезапное его удаление немножко нас удивило, но мне было известно, что у него всегда пропасть дел, и я старался успокоить моего гостя уверением, что наш собеседник скоро к нам воротится. Я спрашивал моего собеседника, как он находит этого черта. Ответ не мог быть сомнителен. Иван Иванович был

от него в восхищении и признался, что он никогда не думал, чтобы черти были такие любезные в обществе; что на том свете есть много людей, которые не стоят его хвоста. Одно, что ему не слишком нравилось в Бубантесе, были длинные и острые когти: он полагал, что они не совсем безопасны для его приятелей и для книг, которые он читает, и должны мешать ему при сочинении статей; я объяснил, что он тогда надевает шелковые перчатки.

Но надобно сказать, что было причиною отлучки Бубантеса. Проходя с нами мимо окон, он взглянул мельком на улицу и увидел, что по тротуару, против нашего дома, какой-то мертвец идет с кладбища в город. Вид этого скелета поразил его своей необычностью: он путешествовал на одной ноге и в руке нес свою нижнюю челюсть. Черт мигом догадался, что это должна быть Акулина Викентьевна, соседка нашего покойника, которой он оторвал ногу и челюсть. Всегда готовый к проказам, Бубантес побежал к ней. Снимая свой колпак и кланяясь ей весьма учтиво, он остановил ее на тротуаре, отрекомендовался

и завел разговор, чтобы узнать, куда она идет. Акулина Викентьевна призналась ему, что она искала везде своего злодея, Ивана Ивановича, и что, не найдя его ни на кладбище, ни в окрестностях, отправилась со скуки в город с намерением ущипнуть бывшую свою горничную, которая спала в одном доме недалеко отсюда. Тонкому и вкрадчивому черту нетрудно было убедить ее отказаться от цели этой прогулки: он стал упрашивать ее, чтобы она завернула к нам, уверяя, что введет ее в очень приятное общество, и с адским искусством стараясь проведать ее покойные страсти, которые, несмотря на утверждения Ивана Ивановича, кажется, не совсем угасают вместе с жизнью в этих господах смертных. Мой приятель узнал, что его старуха при жизни страх любила бостон. Я думаю, что бостон тоже остается в костях! Он обещал ей составить партию и сдавать всегда десять в сюрсах: ^{85} старуха, которая сперва отговаривалась приличиями, была обезоружена и согласилась на его предложение.

Ничего этого не зная, мы спокойно расхаживали с Иваном Ивановичем по зале и гово-

рили о домашних делах — он расспрашивал меня о дневных занятиях своей молоденькой вдовы — я блестящими красками живописал ему ее добродетели, — как вдруг дверь отворяется настежь и являются Бубантес с своим изломанным женским скелетом, который начинает жеманно нам кланяться и приседает на одной ноге почти до самого пола. Иван Иванович тотчас узнал свою соседку и укрылся за дверью гостиной. Я, ничего не подозревая, старался принять ее как можно вежливее, но Бубантес подбежал ко мне и шепнул: «Чурка! зажигай свечи, лампы. Иллюминация! Бал!.. Мой друг, я даю у себя вечер. Подавай карты!.. Да проворнее же, любезнейший! Скоро станут звонить к заутрени». Я без памяти бросился исполнять его приказание, желая угодить старинному приятелю, хотя и не понимал его затеи и даже, собирая по ящичкам огарки, украденные лакеями у ключницы, немножко дивился этим преисподним манерам, которые позволили ему распоряжаться в чужом доме, как в своем собственном болоте. Но огарки были наклеплены по всем окнам и карнизам, лампы налиты водкою, за неотыс-

канием масла, ломберный столик поставлен, все изготовлено, зажжено и устроено в одно мгновение ока. Комната запылала великолепным освещением. Я намекнул Бубантесу, что мы встревожим всю улицу, кто-нибудь увидит свет, да и нас в покоех: ведь это выходит видение! «Ничего! — отвечал черт, — пусть их смотрят. Кто теперь верит в видения!»

Не знаю каким образом, но между тем как я занят был приготовлениями, Акулина Викентьевна увидела своего кладбищенского соседа за дверью. Я не берусь описывать шума, который раздался в зале вслед за открытием: это превосходит все риторики сего и того света.

— Ах ты разбойник! — закричала наша гостья, с яростью бросаясь на бедного покойника, — так ты здесь? Научу я тебя вежливости! Я тебе докажу, голубчик, как должно обращаться с дамами...

Мои читатели уже знают, что нижняя челюсть была у ней оторвана и что она носила ее в руке. Это, разумеется, поставляло ее в невозможность говорить. Чтобы произнести приветствие, которым она встретила Ивана

Ивановича, она принуждена была взять эту нижнюю челюсть за концы обеими руками, приставить ее к верхней и поддерживать у отверстий ушей. Когда она говорила или, точнее, редела, ее челюсти раздвигались так широко, как у крокодила, и смыкались так быстро, как ножницы в руке портного, производя при каждом слове страшное хлопанье костями и стук одних о другие, сухой, скрежетный, пронзительный. Прибавьте еще при всяком движении трескучий стук костей остальной части остова, дряхлого, разбитого, не связанного по суставам. Ужаснее и отвратительнее этого я ничего не запомню по нашему сверхъестественному миру.

— Ты мерзавец! ты мошенник, грубиян! — вопила она и вдруг, отняв от головы свою подвижную челюсть, замахнулась бить ею Ивана Ивановича.

Черт прыгнул с своего места и стал между ними. Удар разразился на рогах Бубантеса. Мой покойный гость был спасен. Надобно признаться, что эти черти — благовоспитаны как нельзя лучше! Я не хочу унижать моих соплеменников — но из наших домовых ни-

кто б не догадался этого сделать.

— Сударыня, — сказал он, сладко улыбаясь сердитой старухе, — не делайте шуму в этом доме. Здесь спят люди. Вы знаете приличия. Иван Иванович мой старинный приятель. Мы с ним были знакомы и дружны еще на том свете. Вы объяснитесь на кладбище. Вы меня чувствительно обяжете, если отложите свои неудовольствия до другого времени...

Говоря это, Бубантес нарочно поправлял рукою свой галстух, сделанный из какой-то старой газеты. Акулина Викентьевна заметила его когти и тотчас стала смирна, как кошка.

— Я только для вас это делаю, господин Бубантес, — сказала она, приставляя опять свою челюсть к голове, — что удерживаюсь от негодования на этого грубияна. Представьте, что он со мной сделал...

И она пустилась рассказывать все обстоятельства своей ссоры. Бубантес посадил их на диване, сам сел посередине, слушал с вежливым вниманием их взаимные огорчения и мирил их своими чертовскими шутками. Я между тем собирал в лакейской старые, засаленные

карты; трех тузов не отыскалось: да для мертвецов не нужно полной колоды! Когда воротился я в залу, на диване сидели только два скелета; черт стряпал в углу что-то в своем колпаке; мертвецы все еще ссорились; он переговаривался с ними по временам отрывистыми фразами и, казалось, был очень занят этой работой.

— Что это ты сочиняешь, Бубантес? — спросил я тихо.

— Ничего, — сказал он, продолжая свое дело, — курс любви теоретической и практической.

— Практической?

— Да!.. Или опытной. Это все равно. Я вам изложил прежде теорию любви, а вот теперь начинаются опыты.

Я подсмотрел, что он очищает от воздуха и набивает в свой колпак это красное, летучее пламя, которое, по его словам, можно называть электромагнитностью или как угодно. Любопытство мое возросло до высочайшей степени. Я спрашивал, что он намерен делать, но проказник не отвечал ни слова, надел осторожно колпак на голову и спросил,

где карты. Я отдал ему неполную колоду. Бубантес отбросил еще все трефы, избрал четыре карты и предложил их мертвецам и мне. Мы сели играть, но я заметил, что, усаживая кладбищных врагов по местам, он вертится около них, заводит с ними пустые разговоры, берет их за руки, шепчет им в уши и часто поправляет свой колпак. Знаете ли, что он делал? Он в это время, с удивительным проворством, напускал им в кости этого пламени из колпака! Наэлектризовав одного мертвеца положительно, а другого отрицательно, он мигнул мне коварно и сел сдавать карты. Акулина Викентьевна отняла челюсть, с помощью которой все это время перебаранивалась с моим покойным хозяином, и положила ее при себе на столике. Черт, по условию, подобрал ей огромную игру. Она развеселилась. Напрасно было бы означать в этих записках все движения непостоянного счастья в нашем незабвенном бостоне, тем более что я никогда не помню конченных игор: тут было нечто любопытнее карт. Акулина Викентьевна объявила восемь в сюрех; Иван Иванович, к крайнему ее изумлению, сказал: «Вист!» И

они посмотрели друг на друга: во впадинах их глаз блеснуло то самое прелестное пламя, которого Бубантес налил в их холодные кости. Черт улыбнулся.

Игра началась, но мы с чертом более заняты были наблюдением, чем картами. Мертвецы стали вздыхать. Акулина Викентьевна страстно посматривала на бывшего своего злодея, который в самом деле мог бы понравиться всякой покойнице: он был, что называется, прекрасный скелет — большой — кости толстые и белые, как снег — ни одного изломанного ребра — осанка благородная и приветливая. Но я, право, не понимал, что такое находит Иван Иванович в желтом, перегнившем, изувеченном, одноногом остове этой бабы: он совершенно забыл карты и глядел только на нее! Мы с Бубантесом беспрерывно должны были напоминать ему игру, а черт позволял себе даже отпускать колкие эпиграммы насчет его рассеянности, за которые он вовсе не сердился. Но такова, видно, сила этой волшебной электромагнитности!

Между тем как я сдавал карты, Иван Иванович, который давно не сводил глаз с челю-

сти своей противницы, решился завести с нею разговор.

— С позволения вашего, сударыня!

Она поклонилась.

Он взял со стола эту гадкую кость, эту челюсть, желтую, грязную и почти без зубов, и начал осматривать ее с любопытством, все более и более придвигая ее к глазам и к носу. Мы с Бубантесом увидели, что он неприметно поцеловал ее, и едва не расхохотались.

О электромагнитность!!. или как бишь называть ее.

Мертвец, чтоб скрыть этот проблеск могильной нежности, повернул челюсть еще раз за два или три, осмотрел со всех сторон и равнодушно положил на место. Мертвечиха приятно ему поклонилась.

Бостон продолжался. В половине одной игры Бубантес вдруг стал рассказывать анекдоты из соблазнительной летописи города, обращаясь преимущественно к Акулине Викентьевне. Я видел, что он старается завлечь ее в разговор и, если можно, подвинуть на какой-нибудь рассказ о прежних ее приятельницах и знакомых. Он действительно успел в

этом. Акулина Викентьевна положила карты, взяла свою челюсть и пустилась злословить, как живая. Иван Иванович весь превратился в слух. Черту только этого и хотелось: он сообразил, что пока она будет говорить, держа обеими руками необходимое орудие своего красноречия, ей нельзя будет взять карты со стола, ни думать об игре. Когда они совершенно занялись друг другом, он потихоньку встал, мигнул мне, чтобы я сделал то же, и мы отошли в сторону.

— Ну, брат, — сказал я ему, — ты большой искусник!

— Что прикажешь делать, почтеннейший! — отвечал он, притворяясь бедняком, — наше дело чертовское: не наплутуешь, так и жить не из чего. Начало не дурно. Но уж теперь надобно заварить кашу. По крайней мере, совесть будет чиста: я не даром был в этом доме. Скажи, пожалуйста, кто бывает у вдовы этого читателя?

— Никто. Она живет совершенно затворницей.

— Однако ж?

— Право, никто, кроме прежнего его друга,

Аграфова, который живет в этом же доме с другого подъезда.

— Хорошо.

Он расспросил меня подробно о расположении его квартиры и порхнул в камин, приказав мне сесть опять на место и поддерживать разговор мертвецов.

Я нашел своих гостей в той степени дружеского расположения, на которой начинаются уже сладкие речи и лесть. Акулина Викентьевна рассказывала, Иван Иванович часто прерывал ее комплиментами, которым она мертвецки улыбалась. Они очевидно любили друг друга, и я должен был играть при них печальную роль свидетеля чужих нежностей. Но это участь домовых! В свою жизнь я довольно нагляделся этого по ночам.

Через минуту Бубантес воротился, но уже не дымовую трубой, а в дверь, ведущую из гостиной в залу. Он подал мне знак, и мы удалились к камину.

— Друг мой, Чурочка, — сказал он с восторгом, — будет славная история! Я наэлектризовал Аграфова и твою вдову. Ты не сказал мне, что он женат! Я нашел его спящим подле по-

ченной своей супруги. Он и она разряжены были совершенно: в них не было ни одной искры этого летучего пламени; они, видно, давно уже не любят друг друга. Да это всегда так бывает между супругами! Я порядком надушил его электромагнитностью. Вашей вдове немного нужно было прибавить: она еще крепко была заряжена. Теперь, лишь только они повстречаются, огонь вспыхнет. Ты наблюдай за ходом этого дела.

— Вот этого-то я не люблю, что ты из пустяков разоряешь спокойствие этой бедной вдовы, которая хотела всегда остаться верною своему покойнику, — сказал я с досадою. — Эта женщина под моим покровительством. Я дал слово Ивану Ивановичу беречь ее добродетель.

— Чурка! Чурочка! — воскликнул черт, бросаясь мне на шею. — Не сердись, мой Чурка! Я тебя смерть люблю! Я задушю тебя на своем сердце. Так и быть, дело сделано. Увидишь, будем смеяться. Что тебе за надобность до этого мертвеца? Посмотри, он пришел сюда влюбленным в свою вдову, а уйдет без ума от этой старой кости. Таковы, мой друг, люди

при жизни и по смерти.

— В этом он не виноват. Ведь ты сам напроказничал?

— Что ж делать, мой любезный! Люди ничего не смыслят без черта. Мы им необходимее воздуха. Но пора отправить этих господ на кладбище. Неравно вдруг зазвонят в колокола, так мне придется просидеть весь день в этой трубе. А я сегодня должен непременно быть еще в Париже и в Лондоне: без меня там нет порядка...

Он потащил меня к столику и напомнил мертвецам, что скоро начнет светать. Они торопливо вскочили со стульев и простились с нами.

— Как же теперь быть? — сказала она ему, останавливаясь у дверей при выходе из залы. — Иван Иванович!.. ты, батюшка, меня обидел: оторвал у меня челюсть и ногу...

— Виноват! Простите великодушно!

— То-то и есть, отец мой. Челюсть-то я нашла в одной яме, а ноги нет как нет. Мне стыдно теперь явиться на кладбище без ноги. В полночь народу тьма высыпало из гробов прогуливаться по кладбищу, а я, по твоей ми-

лости, должна была прятаться: все смеялись надо мною! Куда ты девал мою ногу?

— Найдем, матушка Акулина Викентьевна, вашу прелестную ножку. Вы напрасно изволили погорячиться. Я знаю место, куда ее бросил.

Они ушли. Мы побежали к окну, чтобы еще раз взглянуть на них, и увидели, что наш мертвец услужливо подал руку своей мертвечихе и что они дружно поплелись восвояси по тротуару, прижимаясь один к другому. Мы расхохотались. Бубантес, с радости, перекувыркнулся три раза на полу.

Отошед шагов двести, они еще остановились для сообщения друг другу нежного поцелуя — потому что Акулина Викентьевна должна была при этой операции держать обеими руками нижнюю челюсть под верхней.

Мы стали хохотать пуще прежнего.

— Жаль, — сказал черт, — что ты не просил его навещать тебя почаще. Любопытно было бы знать ход этого кладбищенского романа.

— Что тут любопытного! — возразил я. — Лягут в могилу, да и будут целоваться.

— Нет, не говори этого! — сказал он. — Очень любопытно! Это летучее пламя одарено удивительными, очень разнообразными свойствами. Оно производит, между прочим, странный род опьянения. Стоит только соединить его с телом, тогда оно, само, без содействия черта, произведет в нем ряд глупостей и приключений, которых наперед и предвидеть невозможно. Знаешь ли, Чурка: сделай мне дружбу... я чрезвычайно занят!.. поди ты, так, дня через три, на кладбище да узнай, что там делается. Я бы тебя не беспокоил: о, я сам пошел бы!.. да, видишь, мне как-то неловко ходить туда. Поверь мне, друг мой, что я не люблю употреблять во зло время моих приятелей... право, я сам пошел бы; я пойду, если ты хочешь... Ты понимаешь, что это не по лести, не по чему-либо другому прочему...

— А потому, — подхватил я, смеясь его уверткам, — что там много крестов. Понимаю!

— Ну да! — сказал он, потупив взоры. — С тобой нечего секретничать. Ты все понимаешь.

Он бросился целовать меня.

— Прощай, мой Чурка! — сказал он. — Прощай, старый дружище! Я бегу в Париж и на днях буду опять к тебе. Ты мне все расскажешь о мертвецe и об его вдове. Прощай! прощай!..

И он исчез. Я принялся тушить свечи.

Скоро наступил день, люди — начали вставать. Несмотря на удовольствие, которое приносили мне воспоминания о ночи, проведенной так весело, как давно уже не проводил, я был беспокоен и почти печален. Проказы Бубантеса могли иметь неприятные последствия для молодой вдовы, которую я любил, как родную дочь. И, к несчастью, я не мог поспособить им!.. Мне хотелось, по крайней мере, облегчить сердце наблюдением любопытных действий электромагнитности, которою он зарядил мою хозяйку и нашего соседа Аграфова — Алексея Петровича. Я вошел в ее комнату. Она еще спала. Я отправился к Аграфову, который вставал рано.

Алексей Петрович был красен, глаза у него пылали, из зрачков били жгучие светистые лучи, которыми он так и пронзал свою супругу. Он ловил ее и, поймав, осыпал страстны-

ми поцелуями. Он клялся, что любит, обожает свою жену. Заряд уж, видно, был очень силен.

Жена, которая давно выстреляла свою любовь и в которую черт не подсыпал пороху, имела бледное лицо и глаза безжизненные. Прежде я знавал ее розовой и особенно удивлялся блеску ее глаз. Она зевала в объятиях Алексея Петровича, отворачивалась или равнодушно принимала его ласки.

Он бесился, называл ее холодной, утверждал, что она его не любит и никогда не любила.

Они побранились.

Проклятый Бубантес! он-то причиною этого недоразумения. Зачем было нарушать равновесие супружеских чувствований? Они так хорошо жили в холодном климате дружбы и взаимного уважения! Они и не думали о страсти! Упрек, которому Татьяна Лаврентьевна подверглась от внезапного взрыва нежности в Алексее Петровиче, был несправедлив и обиден. Она его любила, но любила только мысленно. Прежде любила она его всею душою и всем телом. Но когда тела утратили в туманной атмосфере супружества весь запас

того чудесного летучего вещества, которое заставляет даже два куска холодного железа привлекать друг друга и так сильно спланивать их между собою, тогда одно только воображение связывало супругов, и они принимали за любовь призрак любви, носившийся в их уме. Он имел все формы и весь цвет действительности. Эти призраки любви можно назвать супружескими сновидениями, и они обманчивы, как все сновидения. Весною, когда воздух палит тонким и жгучим началом любви, когда оно проникает всю природу, заставляя птичек петь оды, львов реветь в пустыне, почки дерев и растений радостно вскрывать свои сокровища призматических цветов и убирать ими свои стебли, — весною и Татьяна Лаврентьевна с Алексеем Петровичем бывали довольно хорошо наэлектризованы: и они поют, и они цветут, становятся розовы и красивы, привлекают и сердечно любят друг друга. Но теперь была осень — все отцвело, отпело, отревело, воздух потерял свою волшебную силу: с какой же стати Татьяне Лаврентьевне было пылать любовью! Привыкнув устремлять к мужу все свои мысли,

сосредоточивать в нем все свои надежды, она любила его умом — как любят в супружестве осенью и зимою. Алексей Петрович, которого черт накатило вдруг положительной любовью или электромагнитностью, не хотел понять этого, и у них вышла ужасная ссора, но я, по долгу домового, не смею пересказывать ее подробно.

Алексей Петрович был так сердит, что я удрал от них в спальню своей хозяйки.

Она одевалась перед зеркалом или, точнее, стояла в рубашке и любовалась своей красотой. Я никогда не видел ее столь прелестною. Цвет ее лица дышал необыкновенною свежестью; глаза мерцали, как бриллианты; она совершенно походила на молодую розу, которая раскрылась ночью и при первых лучах солнца лелеет на своих нежных листочках две крупные капли росы, в которых играет юный свет утра, упоенного девственным ее запахом. Мне казалось, что моя хозяйка тоже издавала весенний ароматический запах. Может статься, мне только так казалось. Но то верно, что она, легши вчера спать торжественно влюбленною в покойного мужа, вста-

ла сегодня полною других чувствований и об нем не думала. Люди смеются над вдовами, которые обнаруживают неутешную печаль по своим мужьях, обрекают себя на вечный плач на их гробницах и потом вдруг выходят замуж: я не понимаю, что в этом может быть смешного! Чем виноваты вдовы, когда любовь зависит от воздуха. У людей нет толку ни на копейку. Притом же в самую безутешную вдову черт может вдруг подлить ночью этой летучей жидкости, как в Лизавету Александровну! Вчера она даже не помнила о своей красоте; теперь, прямо с постели, невольно побежала к зеркалу. Теперь она была беспокойна и скучна. Легкие вздохи вырывались порою из ее прекрасной груди, которую она тщательно прикрывала рубашкою от любопытства собственных взоров. Прежде она этого не делала. Это пробуждение тревожной стыдливости должно быть также следствие свойств отрицательной электромагнитности. Я сам примечал, что женщины становятся стыдливее весною. Но возвращаясь к легким вздохам — они очевидно не относились к Ивану Ивановичу. Они ни к кому не относи-

лись. Скука и томное чувство одиночества, в котором она не признавалась даже перед собою, производили в ней это неопределенное волнение. Вскоре она занялась своим туалетом и нарядилась с необыкновенным вкусом — в первый раз со смерти мужа — в той мысли, что неравно кто заедет.

— Ах, как скучно! Если б кто-нибудь заехал ко мне сегодня!.. — сказала она про себя, когда я уходил к себе за печку.

— Лишь бы этот кто-нибудь не был наэлектризован положительно, — сказал я, тоже про себя. — Иначе ты пропала, бедняжка!..

Но несчастье этой доброй женщины было решено.

Алексей Петрович, поссорившись с супругою, скучал ужасно в своем кабинете и вспомнил, что в том же доме живет милая и прелестная женщина, жена покойного его друга. От тотчас оделся, причесался с большим тщанием, взял белые перчатки — чего никогда не делал поутру — и отправился к ней с визитом, надеясь рассеять свое супружеское горе в ее сообществе. Он забыл, что прежде находил мою хозяйку очень скучною за ее сентимен-

гальность к покойнику и называл «эфесскою матроною»: ^{86} летучий огонь подавлял в нем всякое рассуждение, он теперь помнил только о красивом личике Лизаветы Александровны.

Как скоро он вошел в залу, я затрепетал за печкой. Мне казалось, что вижу дракона, который приходит пожрать мою розовую вдову. Я проклял Бубантеса. Но этот плут давно уже не боится проклятий!

Любопытство заставило меня прокрасться в гостиную, чтоб быть свидетелем их встречи. Для большего удобства наблюдений я влез в печь и смотрел на них в полукружье, находящееся в заслонке.

Лизавета Александровна задрожала всем телом, услышав издали только голос мужчины. Но она скоро опомнилась, подавила свое волнение, вышла к гостю совершенно спокойно и приняла его с обыкновенною приветливостью. Они разговаривали несколько времени, не глядя в лицо друг другу. Но вскоре, по случаю приветствия, которое сделал Аграфов насчет ее наряда, взоры их встретились, и я видел, как тонкие светистые лучи того же

самого пламени, которое нам показывал Бубантес, перелетели из одних глаз в другие и слились. Несколько мгновений явственно видны были две огненные черты, протянутые между их противоположными зрачками. Они почувствовали род электрического удара, который обличился их смущением. Ни он, ни она не выдержали действия этих пронзительных лучей, потупили взоры и покраснели. С той минуты они как будто боялись друг друга, были весьма осторожны в речах, старались быть веселыми, болтать, шутить, но это им не удавалось. Они решились взглянуться еще раз и, к обоюдному удивлению, не почувствовали того потрясения, как прежде. Это их ободрило. Они начали болтать и смеяться. Я ушел. Нечего было смотреть более. Искры заброшены, и пожар в телах был неизбежен. Держись, брат ум!.. Или лучше спасайся заранее.

Они долго смеялись в гостиной, что весьма естественно. То самое тайное воздушное пламя, которое в образе молнии раздробляет дуб и превращает дома в пепел, которое в магните сцепляет два куска мертвого минерала, в живых существах связывает двое уст

краснокаленным поцелуем — то самое пламя делает человека остроумным в первые минуты любовного опьянения. Впрочем, кислотвор производит то же действие. Рецепт для остроумия: возьми большой стеклянный колокол, посади под него глупца и нагони в воздух, заключенный в колоколе, лишнюю порцию кислотвора — глупец станет отпустить удивительные остроты. Я сам видел этот опыт, когда жил в Стокгольме за печкой у одного химика, и с тех пор гнушаюсь всяким остроумием. Производство его ничуть не мудренее приготовления газового лимонада и искусственной зельтерской воды. Вот почему я ушел к себе за печку, как скоро Лизавета Александровна и Алексей Петрович начали остриться.

Со всем тем я не отвергаю, что весьма было бы полезно посадить под такой колокол иную литературу и целый город, в котором есть много типографий.

Они расстались восхищенные друг другом и обещав видеться чаще прежнего.

Лиза — так буду называть ее, потому что я очень любил мою бедную хозяйку — находи-

ла, вышивая вензель своего покойного мужа, что у Аграфова глаза прекрасные. Что касается до Аграфова, то он не скрывал от себя того факта, что моя хозяйка восхитительна с головы до ножки, и потому, возвратясь домой, наговорил своей жене тысячу милых приветствий.

Аграфов был недурен собою, но я никогда не одобрял его носа; хорошо воспитан и еще довольно молод. Он с успехом занимался искусствами, особенно живописью, и я помню, что у него был отличный погреб, из которого я вытаскал пропасть бутылок старого вина и ликеров — за что, разумеется, невинно страдали лакеи. Этот человек не верил в домовых! И я любил его за это, хотя ненавидел за все прочее — право, не знаю за что — так! — за то, что он мне не нравился. Но Лиза решительно стала находить его очень любезным. По временам она содрогалась при этой мысли, которую считала преступною: тогда поспешно брала она книгу и читала скоро, чтобы забыть его. Прочитав несколько страниц, несчастная Лиза была уверена, что она совершенно к нему равнодушна.

Я уже предвидел ужасную борьбу души с телом в этой добродетельной женщине. О, если б победа осталась на стороне духа!

Аграфов, день ото дня более влюбленный, окружал ее всеми прельщениями, и она беззаботно брела в них, не примечая пропасти. Маленькие услуги, тонкие доказательства уважения, помощь в делах — ничто не было забыто. Соседство скоро превратилось в дружбу. Аграфов убедил свою жену сблизиться с вдовою своего приятеля, и с некоторого времени они были неразлучны. Эта дружба опечалила меня всего более. Знаю я эти дружбы! Я сиживал в запечках всех веков и народов, от римлян до северных американцев, и везде видел одинаковые следствия дружбы женщин, которая заводилась по убеждению мужа одной из них. Таков закон природы.

Лиза прелестно наряжалась и часто впадала в глубокую задумчивость.

Я сидел ночью на своем любимом диване, погруженный в прискорбные размышления о перемене, которая в течение десяти или одиннадцати дней произошла в этом доме, как вдруг увидел перед собою Бубантеса. Он

стоял, подбоченясь, в двух шагах от меня и смеялся своим чертовским смехом.

— Что это, Чурка? — вскричал он. — Ты даже не видел, как я пришел сюда! Ты печален?

— Пропади ты, проказник! — сказал я. — Посмотри, что ты наделал! Ты испортил мою добрую хозяйку. Это проклятое пламя, которое ты прилил в нее, делает в ней ужасные опустошения.

— Да! — отвечал он, — кровь — удивительно горючее вещество.

Я побранил Бубантеса за его неуместные шутки, но он расцеловал меня, засыпал уверениями в своей дружбе, наговорил мне столько приятного и умного, что я не в силах был на него гневаться. Признаюсь, у меня есть слабость к этому черту!

Мы уселись рядком. Он стал описывать мне свои подвиги в Париже и Лондоне, все свои журнальные и газетные плутни, и если не лгал, позволительно было заключить из его успехов, что люди — большие ослы!

— Ну, расскажи мне теперь, — прибавил он, — что тут делается.

Я рассказал. Слушая меня, он прыгал от ра-

дости, потирал руки и приговаривал: «Хорошо! Очень хорошо! Славно, мой Чурило!» Но когда я окончил, он замолк, призадумался и принял такой печальный вид, что я, глядя на него, заплакал.

— Что с тобой, мой друг? — вскричал я, умильно взяв его за рога и целуя его в голову, которую орошал теплыми слезами. — Скажи, милый Бубашка, что с тобою? Ты несчастен?

— Да! — сказал он, но сказал таким жалким голосом, что у меня разорвалось сердце. — Подумай только сам: что ж из этого выйдет? Они любят друг друга, и все тут. Это может кончиться только самым пошлым образом — как в новом французском романе, — тем более что она вдова и свободна. Так что ж это за история? Неужли мы с тобою трудились для такого ничтожного результата?

— Чего ж ты от меня хочешь, мой друг? — спросил я. — Все для тебя сделаю! Только не печалься.

— Вот видишь, Чурка, — сказал он, — это дело нейдет назад. Тут нужно подбавить сильных ощущений, великих чувствований, больших несчастий: тогда только можно бу-

дет смеяться. Надобно, во-первых, чтобы какой-нибудь благородный юноша влюбился в твою вдову. Я об этом подумаю. Теперь я очень занят журналами. А между тем не худо было бы возбудить ревность в жене Аграфова. Это необходимо для занимательности. Скажи мне, что он делает? Не пишет ли стихов к твоей хозяйке? писем?

— Нет, — сказал я, — он тайно от нее и от жены пишет ее портрет в своем кабинете.

— Ах, вот это хорошо! — воскликнул Бубантес, вспрыгнув от восторга. — Ты знаешь, где он прячет свою работу?

— Знаю. В конторке, между бумагами.

— Пойдем к ним. Надобно перевести этот портрет в туалет жены.

— Да это не годится!.. Оно как-то будет неестественно.

— Предоставь мне. Я сделаю его естественным. Люди верят не таким небылицам. Пойдем, пойдем!

Проклятый Бубантес опять соблазнил меня!

Мы пошли на половину Аграфовых. Я повел Бубантеса в кабинет мужа, показал ему

конторку и по его приказанию вытащил ми-
ньятюру в замочную скважинку. Он положил
ее на ладонь и начал всматриваться.

— Похожа! — сказал он. — У него есть та-
лант. Я бы хотел, чтоб он когда-нибудь напи-
сал мой портрет.

Он взял меня об руку, и мы отправились из
кабинета в спальню. Мы остановились подле
кровати Аграфовых; черт, по своему обычаю,
принялся делать разные замечания о спящих
супругах; мы болтали и смеялись минут де-
сять; наконец, он вспомнил о деле и поворо-
тился к туалету. Он выдвинул один ящик,
только что хотел положить портрет на бума-
ги, и вдруг опрокинулся наземь, испустив
пронзительный стон. Я отскочил в испуге и
увидел, что подле нас стоит дюжий, пеня-
щийся от ярости черт с огромными золотыми
рогами. То был Фифи-коко, сам главноуправ-
ляющий супружескими делами! Он откуда-то
увидел Бубантеса в спальне Аграфовых, вле-
тел нечаянно и боднул его из всей силы в бок
рогами в то самое время, как мой приятель
протягивал руку к ящику.

— Ах ты, мерзавец! — закричал Фифи-коко

лежавшему на земле черту журналистики, — что ты тут делаешь? как ты смеешь распоряжаться по моему ведомству?

Бубантес схватился за бок и быстро вскочил на ноги, отступил к двери и остановился. Тут он заложил руки назад и, глядя на Фифи-коко с неподражаемым видом плутовства, равнодушия и невинности, возразил:

— Ты, любезный мой, бодаешься, как старый бык. Знаешь ли, что это признак очень дурного воспитания?

— Молчи, леший! — гневно сказал Фифи-коко. — Я хочу знать, кто тебе дал право искушать людей по моей части и зачем вмешался ты в дела этих почтенных супругов?

— Ну что ж такое? — отвечал Бубантес с презабавною беззаботливостью. — Велика беда! Я хотел сделать повесть для журнала. Не хочешь, как тебе угодно! Для меня все равно.

— Я сам поведу это дело, — сказал Фифи-коко.

— Изволь, изволь, почтеннейший! у меня есть свои занятия, важнее и полезнее этих мерзостей, — отвечал Бубантес и утащил меня из спальни.

— Экой мошенник! — вскричал Фифи-коко, подымая портрет Лизы с земли. — Чуть-чуть не поспорил супругов из-за безделицы!..

Бубантес воротился.

— Имея честь всегда обращаться с супругами, — сказал он ему, — ты, брат, выучился ругаться, как сапожник.

— Смотри ты своих журналистов, — отвечал ему Фифи-коко, — они ругаются хуже супругов.

— Пойдем, — сказал мне Бубантес. — С ним нечего толковать. Я бы его отделал по-своему, да он теперь в милости у Сатаны. Этот осел изгадил все дело. А жаль!

Мы вышли на крыльцо. Он простился со мною и полетел прямо во Францию.

.....

1835



ПРЕВРАЩЕНИЕ ГОЛОВ В КНИГИ И КНИГ В ГОЛОВЫ

*Пусть люди бы житъя друг другу не
давали:
Да уж и черти-то людей тревожить
стали!*^{87}
Хемницер

Теперь и я начинаю верить в ночные чудеса!

Ночь была самая бурная, самая осенняя. Страшный ветер с моря ревел по длинным улицам Петербурга и, казалось, хотел с кор-



нем вырвать Неву и разметать ее по воздуху. Облака быстро протекали перед бледною луной, которая, сквозь туманную их пелену, являла только вид светлого пятна без очерта-

ния. По временам крупные капли дождя с силою ударяли в стекла моих окон. Мы сидели вдвоем перед камином, один молодой поэт и я. Из уважения к хронологии, без которой нет истории, я должен прибавить, что это было вчера.

Поэт был уже великий, но еще безымянный. Он еще подписывался тремя звездочками, однако ж читатели при виде этих трех звездочек всякий раз приходили в невольный трепет: столько всегда под этою таинственной вывеской было тьмы, ада, ведьм, чертей, мертвецов, бурь, громов, отчаяния, проклятий и угроз человечеству, которое его не понимало! О, как красноречиво ругал он «общество»! Да как огненно описывал «деву»! Великий поэт! Он подавал о себе самые мрачные надежды. Мой собеседник долго не говорил ни слова, но я примечал, что при каждом сильном порыве ветра он приходил в беспокойство. Я приписывал это особенному нервному его расположению. Вдруг из крыши вырвало часть желоба, который с грохотом упал на мостовую перед самыми окнами. Поэт вскочил.

— Пойдем гулять! — вскричал он. — Пойдемте гулять на набережную!

— Гулять? — сказал я. — В бурю, в двенадцатом часу ночи?

— Что нужды? — возразил поэт. — Как можно сидеть дома в такую погоду!.. Разве вы не находите никакого удовольствия смотреть на эту великолепную борьбу стихий? Разве вам не веселее любоваться на волны разъяренной Невы, чем на эти пестрые толпы ничтожеств с расстроенными желудками, которые каждый день перед обедом разносят их церемониально по тротуару Невского проспекта и бессмысленно улыбаются одно другому? Пойдемте. Вы еще не знаете наслаждения гулять в бурю! Скоро полночь!.. Тем лучше! По крайней мере, мы не увидим людей.

— Вы решительно не любите людей? — спросил я, смеясь.

— Я их презираю! — отвечал поэт торжественным тоном. — Вид их для меня ужасен, — прибавил он, надевая палевые перчатки, — я их ненавижу да и не нахожу, чтобы вы с своей стороны имели много поводов обожать людей.

— Я всегда очень хорошо уживался с людьми, — возразил я хладнокровно.

— Да разве еще мало зла сделали вам люди?.. Или по крайней мере старались сделать?

— Люди? Не говорите этого, мой друг? Вы, верно, хотели сказать «литераторы» — а это большая разница!.. Я нахожу, что люди всегда были слишком, слишком благосклонны и добры ко мне.

— Ну так, по крайней мере, вы не встретите теперь литераторов. Пойдемте!

Не знаю, эта ли причина или другие, более красноречивые доводы поэта убедили меня согласиться на его странное предложение, но дело в том, что я, действительно, по его примеру, вооружился галошами, надел плащ, и мы вышли на Английскую набережную. Бесполезно было бы описывать все мучения подобной прогулки, во время которой одною рукою надобно было держать шляпу на голове, а другою беспрестанно закутываться в плащ, срываемый с плеч ветром. Сделав несколько шагов вдоль набережной, я остановился и решительно объявил поэту, что не пойду против ветра, что если ему угодно продолжать

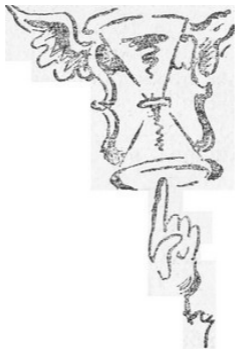
прогулку, то я предлагаю поворотить к бульварам Адмиралтейства и идти на Невский проспект, где по крайней мере строения заслонят нас несколько от бури. Кажется, что великолепная борьба стихий скоро надоела и самому поэту, потому что он без труда согласился с моим мнением, дав мне только заметить красоту огромных черных волн Невы, которые в это время были освещены луною, освободившеюся на мгновение от туч. Мы благополучно достигли бульвара. Поэт рассказал мне здесь много прекрасных вещей о луне, которых я для краткости не повторяю.

Мы скоро очутились на Невском проспекте. Во все время нашего странствования не встречали мы ни живой души. Улицы были совершенно пустые, окна домов совершенно темные. Дошедши до Большой Морской, я поворотил в эту улицу, чтобы под защитою ее домов пробраться до своей квартиры, когда мой товарищ был поражен необыкновенным освещением одного из домов Невского проспекта по ту сторону Полицейского моста. Он остановил меня. Действительно, дом был весь в огне. Сначала мне показалось, что этот яр-



кий свет разливался из окон Дворянского собрания, но поэт, который превосходно знал топографию Невского проспекта, скоро убедил меня, что освещенный дом должен лежать гораздо ближе. Все соображения местности приводили нас обоих к заключению, что это был тот самый дом, в котором находится магазин и библиотека Смирдина.^{88} Но что значит такое освещение после полуночи? Разные предположения, одно страннее другого, приходили нам в голову и, после тща-

го разбора, были поочередно отвергаемы как неправдоподобные. Я видел, что поэту страшно хотелось решить загадку личным удостоверением, и сам предложил ему перейти через Полицейский мост, чтобы посмотреть вблизи на предмет наших гипотез.



С мосту уже были мы в состоянии убедиться самым положительным образом, что освещение, которое нас так поражало, в самом деле происходило из магазина и библиотеки Смирдина. Но удивление наше возросло еще более, когда, пройдя несколько шагов, мы заметили первые кареты длинного ряда экипажей, уставленных в три линии вдоль

всего тротуара. Не оставалось более никакого сомнения, что в залах Александра Филипповича Смирдина происходит что-то необычайное — собрание, быть может, бал или по крайней мере свадьба. По мере того как мы продвигались вперед, форма экипажей и упряжи, наружность лошадей, кучеров, лакеев более приводили меня в недоумение: это были по большей части старинные рыдваны, кареты и линейки готического фасона с дивными украшениями, кони непомерной величины в сбруях прошедшего столетия, люди тощие, длинные, бледные, в допотопных лифтах и с ужасными усами. Я обратил внимание моего спутника на это странное обстоятельство: он посмотрел и вздрогнул, уста его дрожали.

— Чего вы перепугались? — спросил я.

— Ничего! — бодро отвечал поэт. — Ничего, так, — прибавил он, спустя несколько мгновений, но уже измененным голосом, и схватил меня под руку; я заметил, что он дрожит. — Рок! Рок!.. — продолжал он именно тем голосом, который в стихах своих называл «гробовым». — Пойдемте! Нечего делать...

Пойдемте, это собрание относится к одному из нас. Я и забыл, что обещал быть в нем сегодня!

И, говоря это, он сильно жал мою руку и увлекал меня ко входу в освещенный дом.

— Так что же оно значит? — спросил я, несколько встревоженный его отчаянным тоном.

— Увидите! Увидите! Это любопытно!.. Очень любопытно!.. Это поучительно!.. Вы узнаете много нового. Мне обещали открыть одну великую тайну...

— Кто обещал?

— Кто! — воскликнул он печально. — Кто!.. Тот, кому оно как нельзя лучше известно. Тот, кто... Не спрашивайте, ради бога! Вы его увидите сами.

— Да кто же эти люди? Откуда эти уродливые экипажи?

— Кто эти люди?.. Разумеется, петербургские жители. Мало ли в городе старинных экипажей?.. Вы видите, что между ними есть и новые кареты. Посмотрите, какая щегольская коляска! Эй, кучер!.. Чья коляска?

Кучер назвал одного из известнейших по-

этов наших.

— Видите ли?.. И он здесь! Пойдем скорее.

Ответ кучера несколько успокоил меня. Любопытство мое возбуждено было в высочайшей степени, тем более что я ничего не слышал о приготовлениях к этому празднику и что он был для меня совершенною нечаянностью. Правда, место, где он происходил, и имя, которое только я услышал, заставляли думать, что это должно быть литературное собрание, а в моей частной философии есть коренное правило: никогда не купаться в море между акулами и не бывать в подобных собраниях — два места, где, того и гляди, отхватят вам ногу острыми зубами или кусок доброго имени дружеским поцелуем; но на этот раз я готов был, впервые в жизни, нарушить мудрое правило, чтобы узнать причину столь многочисленного ночного конгресса. Мы вошли на подъезд, который был ярко освещен и покрыт теснившимся народом. В дверях стояли два человека: они, казалось, раздавали билеты входящим, и один из них громко повторял: «Пожалуйста, господа, пожалуйста скорее — представление начинается».

— Представление? — вскричал я. — Что это значит? Какое представление?

— Да, да! Представление! — отвечал поэт дрожащим голосом. — Я давно уже получил приглашение.

— Да кто же здесь дает представление после полуночи? — спросил я довольно громко.

Вопрос мой, видно, был услышан одним из раздававших билеты, потому что он оборотился ко мне и сказал с важностью:

— Синьор Маладетти Морто,^{89} первый волшебник и механик его величества короля кипрского и иерусалимского, будет иметь честь показывать различные превращения... Пожалуйте, господа! Пожалуйте скорее! Представление начинается!

Говоря это, он почти насильно сунул нам в руку два билета, и толпа, теснившаяся сзади, втолкнула нас в двери. Это имя, признаться, несколько злоеющее, страшное лицо и хриплый голос раздавателя билетов, странные фигуры, которые нас окружали в сенях и всходили с нами по лестнице, — все это способно было внушить некоторый страх и самому храброму. Я сообщил сомнения свои поэту и

не решался идти далее. Он засмеялся над моей трусостью, но каким-то глухим, отчаянным смехом, и опять потащил меня по лестнице. Не скрываюсь, что в это время любопытство мое совершенно пропало, и только ложный стыд заставил меня повиноваться моему спутнику. Мы достигли входа в книжный магазин. Здесь два другие человека переменили у нас билеты и просили идти далее. У дверей первой залы не было никого: мы вошли без всяких обрядов; никто не потребовал с нас платы за вход, и это меня удивило еще более. Зала была освещена множеством кенкетов,⁹⁰ уставлена во всю длину частыми рядами стульев, и по крайней мере три четверти их заняты были посетителями обоего пола. Книги с прилавков были убраны и все шкафы завешены красными занавесами. Огромный занавес такого же цвета закрывал всю глубину залы со стороны Конюшенной улицы. Перед ним находился длинный стол, на котором в разных местах стояли инструменты и ящики. За столом важно расхаживал человек в черном фраке и по временам отдавал приказания служителям. Изо всего можно было за-

ключить, что это сам синьор Маладетти Морто, первый волшебник и механик его величества короля кипрского и иерусалимского. Желая взглянуть ближе на него и на его зрителей, я подошел к первым рядам стульев. Лицо этого человека, кроме пронзительного взора и насмешливой улыбки, сросшейся с его тонкими губами, не представляло ничего примечательного. Перед ним на двух первых рядах стульев сидели в глубоком молчании Александр Филиппович Смирдин, очень бледный лицом, и почти все светила нашей поэзии и прозы — люди с гениями столь необъятными, что сознание ничтожества моего подле них оттолкнуло меня с силою электрического удара на противоположный конец залы, где я скрылся и пропал в толпе. Никогда еще не видел я такой массы ума и славы. Великолепное зрелище! В расстройстве от своего уничтожения я потерял из виду поэта и, смиренно заняв место в одном из последних рядов, с нетерпением ждал начала представления. Надобно заметить, что между гениями первых рядов я видел множество напудренных париков: при беглом взгляде, который успел я

бросить на них, находясь еще в главном конце залы, мне показалось, будто эти почтенные лица не совсем мне незнакомы и что я встречал их иногда в каких-то картинках, но краткость времени не позволяла мне собрать и привести в порядок своих воспоминаний; вокруг меня не было ни одного знакомого человека, у которого мог бы я расспросить, а между тем и представление уже начиналось. Раздался звон колокольчика. Все утихло. Человек в черном фраке, расхаживавший за столом, остановился и приветствовал собрание тремя поклонами.

— Милостивые государи и государыни! — сказал он. — Недавно приехав в эту великолепную столицу и не имея счастья быть вам известным, я должен прежде всего сказать несколько слов о себе. Видя меня в этом магазине, вы, может быть, полагаете, что я писатель. Нет, я давно отказался от притязаний на авторскую славу: я был автором, но теперь я волхв и колдун. Хотя природа и наделила меня всеми способностями для того, чтобы быть славным сочинителем повестей и былей, я, однако ж, предпочел этому званию другое, бо-

лее выгодное. Не спору, что иногда очень приятно шалить с веселою, беззаботною сатирой и смотреть на движения своих ближних в свете как на игру бесконечной комедии, нарочно для вас представляемой вашим родом, и самому смеяться, и рассказывать про свой смех тем, которые сидят подле вас, но пришли в этот огромный театр без очков. Но это ремесло имеет разные свои неудобства. Расскажите дело, как его видите, как оно было или как быть могло: один сердится на вас, зачем оно так было, другой — зачем оно так может быть; тот думает, что вы рассказываете лучше его, и бесится на вас за то, что рассказ ваш не совсем глуп; иной находит сочинение ваше глупым и бранит вас за то, что, как ему кажется, сам он написал бы его гораздо лучше. Путешествуя по разным странам мира, я решительно убедился, что для людей писать невозможно. И, видя перед собою такое блестящее собрание авторских гениев всех возможных разборов, я дерзаю даже удивляться, как вы, милостивые государи, решились на такое скучное, неприятное, бесполезное ремесло! Зачем вам быть писателями, когда вы

можете прослыть отличнейшими шарлатанами? Посмотрите на меня: я шарлатан!.. И чрезвычайно доволен моим званием. Прекрасное звание! Веселое звание! Благородное звание! Сделайтесь и вы, все до единого, шарлатанами: для вас это будет очень легко — вы уже сочинители; первый шаг сделан. Я говорю по опыту. Нарядитесь все фиглярами, паяцами, шутами: как вы тогда будете хорошо понимать друг друга! Как вам будет ловко жить с себе подобными! Как явно будете обманывать друг друга и всех на свете! Да как потом будете вы смеяться!.. Главная трудность жизни, поверьте, происходит единственно оттого, что люди одеваются не в свои платья. Если бы каждый из вас нарядился соответственно своим деяниям или писаниям... Вот, для представления вам образчика дела я тотчас переоденусь в шутовское платье, и вы меня мигом поймете. Как прикажете нарядиться? Гением?.. Философом?.. Глубокомысленным ученым?

Нет! Все эти костюмы слишком старые, слишком обыкновенные, изношенные и запачканные дураками...

Вот... на нынешний вечер... и только для вас... наряжусь я человеком, ко всему способным. Наряд, правда, уж слишком пестрый, немножко карикатурный, но он теперь в большой моде, и притом самый удобный для производства тех чудесных явлений, которые хочу иметь честь вам представить. Дайте мне только время принарядиться как следует: увидите, какие покажу я вам фокусы!.. О, вы любите фокусы! Вы сами делаете их превосходно; однако ж таких, как те, которые я вам сегодня представлю, надеюсь, вы еще не производили и не видали. Вы уже горите нетерпением? Из глаз ваших брызжет любопытство? Вы сомневаетесь в возможности превзойти вас на этом благородном поприще?.. Погодите. Сейчас, сейчас!.. Между тем, милостивые государи и государыни, извольте занимать места: представление будет разнообразно и великолепно.

Вот мой костюм. Делая все основательно, прежде всего — не при вас будь сказано — я надеваю панталоны... парадные, полосатые, разноцветные... сшитые, как изволите видеть, из исторических атласов и статистиче-

ских таблиц: теперь, если мне или вам понадобятся справки для глубокомысленных соображений, они все тут... Вот на этой ноге годы, месяцы и числа деяний народов... Вот здесь раскрашенные картины их исторической жизни... А там точное показание рогатого и безрогатого скота, состоящего сегодня налицо у вышеупомянутых народов. Одну ногу сую в сапог, выкроенный из романов, другую обувая в драматический котурн. Жилет у меня цвета германской философии с мелкими умозрительными пуговками. На шее повязываю себе большим бантом промышленность и торговлю. Кафтан надеваю антикварский. Волосы намазываю технологией и причесываю под изящные искусства...

Наряд, как изволите видеть, отменно идет мне к лицу... Но чтоб предстать перед вас полным, ко всему способным шутком, надеваю еще на голову, вместо колпака, химическую реторту и начинаю говорить с вами на двенадцати языках, которых ни я, ни вы не понимаем.

Теперь я готов к вашим услугам. Милостивые государи и государыни, пожалуйста сюда

скорее, торопитесь, не зевайте. Есть еще десяток билетов. Цена за вход весьма умеренная: с дам и мужчин не берем ни копейки, дети платят половину. Приходите! Право, не будете раскаиваться, что пожертвовали своим временем. Вы, может быть, спросите, как можем мы давать представления так дешево? Скажете, что мы должны быть в убытке? Конечно, с первого взгляда оно так бы казалось, но мы отыгрываемся на большом числе ротозеев, и хотя с них получается очень мало, ровно нуль, однако ж множество нулей с одним искусным шарлатаном впереди составляет огромную сумму. Этот расчет мы, шарлатаны, понимаем прекрасно.

Приходите же, пожалуйста: здесь показываются невиданные и неслыханные штуки, про которые не снилось ни Месмеру, ни Калиостро, ни даже знаменитому Пинетти,⁽⁹¹⁾ моему покойному дяде, шурину, брату, куму и наставнику. Эй, честные господа! Эй, почтенные, прекрасные госпожи! Живее, проворнее... Не скупитесь, берите остальные билеты: вы увидите здесь дивы дивные и чудеса сверхъестественные. Здесь показывают не

мосек, одетых историческими лицами, не обезьян, наряженных в бальное платье: представление наше нового и гораздо высшего рода, приспособленное к понятиям и потребностям людей, столь знаменитых и столь образованных, как мы, милостивые государи и государыни, приведенное в уровень с веком, подобранное к росту современных идей. Все новые изобретения и открытия прошедших, настоящих и будущих веков были призваны нами для сообщения ему занимательности и совершенства, достойных такого умного и глубокомысленного собрания... потому что я и мои собратия, шарлатаны всех родов и названий, обожаем всякие открытия, лишь бы эти открытия нас не закрывали.

Спешите, господа! Спешите! Представление начинается. Кому еще угодно к нам пожаловать?.. Есть еще два порожние места. Никого нет более?.. Раз, два, три! Поднимайте занавес.

И так как, милостивые государи и государыни, вы удостоили наше представление блистательного и многочисленного присутствия, то я сперва покажу вам мой кабинет замор-

ских редкостей. Если вам случилось прежде посещать эту залу, то вы помните, что все эти шкафы, которыми стены так плотно обставлены, всегда были открыты и наполнены книгами. В эту минуту они завешены и заключают в себе мой физиологический кабинет, составленный из редкостей, каких нет, не бывало и никогда не будет на свете... Что если я доложу вам, что теперь на этих полках вместо книг стоят головы, которые сочиняют книги? Вы уже удивляетесь, слыша, что мой кабинет, который тотчас откроется взорам вашим, состоит исключительно из человеческих голов всякого рода, разбора, калибра, весу, объема, вида и достоинства. Но вы удивитесь еще более, когда я почтеннейше доведу до вашего сведения, что их у меня двенадцать тысяч. Вы скажете: неправда! Быть не может! Вы подумаете, что я туманю, и спросите, откуда взял я столько голов! На все есть у меня ответ ясный и удовлетворительный. Прошу благосклонно выслушать.

Бессмертный мой дядя, шурин, брат, кум и наставник, Джироламо Франческо Джакомо Антонио Бонавентура Пинетти, о котором вы

сами иногда рассказываете такие чудеса, что не знаешь, в какую упрятать их голову, путешествуя по различным странам, землям и народам, однажды заехал нечаянно на самый край света. Он увидел себя в баснословном африканском государстве, называемом между нами, учеными Голкондою,⁽⁹²⁾ — где алмазы растут, точно как у нас огурцы, где за железный гвоздь дают топор чистого золота, где книги пишутся с одного конца, а понимаются с другого. Там царствовал тогда мудрый, знаменитый и могущественный султан Шагабагам-Балбалыкум, славившийся на целом Востоке своим правосудием. Однажды за столом он так взбесился на своего повара, который прислал ему пережаренную куропатку, что приказал обезглавить его, всю кухню, весь свой двор, все свое государство, которое, впрочем, было очень невелико. В восточных государствах эти вещи случаются почти ежедневно. В правосудном гневном своем мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум явился столь неумолимым, что когда, по обезглавлению всего государства, предстали перед ним с доношением два его палача, он приказал чтобы

и они срубили друг другу головы, что и было исполнено со всею надлежащею строгостью. Будучи на другой день без завтрака и без подданных — во всей Голконде оставались в живых только мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум и мой незабвенный учителье Джироламо Франческо Джакомо Антонио Бонавентура Пинетти — он наименовал последнего своим первым поваром, камердинером, евнухом, секретарем, казначеем, визирем, комендантом всех морских и сухопутных сил и единым другом, — и трое суток жили они очень весело. Султан царствовал в пустом государстве со славою, мой наставник управлял на славу пустым государством; оба они начинали уже прославляться в Африке, как однажды зашел у них любопытный разговор.

— Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум! — воскликнул Пинетти.

— Что, мой любезный Пинетти? — воскликнул султан.

— Вы вчера изволили лестно отозваться о моем управлении.

— Я очень доволен твоим усердием. Моя Голконда явно приходит в цветущее состоя-

ние. Но скажи мне, пожалуй, как ты это делаешь?

— Посредством политической экономии, мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум.

— Политической экономии? — повторил мудрый султан. — Что это за чертовщина?

— Это наука, нарочно выдуманная у нас, на Западе, для обогащения пустых государств посредством разных пустяков.

— Так у вас есть и такая наука? — вскричал изумленный султан. — Аллах велик, мой любезный Пинетти!

— Очень велик, — отвечал Пинетти. — При помощи этой удивительной науки три великие промышленности: сельское хозяйство, ремесленность и торговля, — оказывают невероятные успехи в торжественных речах и книгах, так что в три дня любой народ может сделаться необыкновенно богатым по теории, умирая с голоду в практике. Великие истины этой науки, которые быстро и успешно распространяю я в Голконде...

— Вот этим я не совсем доволен, мой любезный Пинетти. Я не люблю истин, и в особенности великих.

— Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум! Истины этой науки только баснословные истины; да притом так называемые великие истины вредны тогда только, когда они могут закрадываться в головы; а так как вы, благо-разумною и решительною мерой, изволили устранить навсегда это неудобство...

— И то правда! Ну, так очень рад, что великие истины политической экономии быстро и успешно распространяются вне голов. Однако ж скажи мне, кто собственно им верит у нас, если они так успешно и быстро распро-страняются?

— Никто, мудрый султан Шагабагам-Балба-лыкум.

— Жалую тебе за это почетную шубу! — вскричал султан в восхищении.

— Вообще все идет так прекрасно, — про-должал Пинетти, — что наша политическая система найдет себе подражателей на всем Востоке, и ваше имя, как первого ее изобрета-теля, будет вечно жить в потомстве. О, эта си-стема производит сильное, удивительное впечатление во всей Африке! Вы одним уда-ром опрокинули все прежние политические

теории и открыли новую, удивительно простую и ясную. Одного только недостает в этой чудесной системе: сегодня поутру я, как ваш верховный визирь, чтобы показать всю энергию моей администрации, признал необходимым, как у нас говорится, *frapper quelques grands coups d'état*, [32] то есть для примера отколотить кого-нибудь по пятам; и...

— Что ж? — вскричал султан.

— Некого колотить, — отвечал мой учитель, скромно потупив глаза.

— Досадно! — сказал мудрый султан. — За все твои необыкновенные подвиги я от души желал бы доставить тебе это истинное визирское удовольствие, тем более что и мера сама по себе спасительна: но как же быть теперь? Откуда взять для тебя пят *pour frapper de grands coups d'état*, [33] как у вас говорится? Не хочешь ли употребить на это твои собственные?.. Я сам готов взять палку и для примера отвалить тебя на славу.

— Я счел бы себя счастливейшим из людей... — отвечал мой наставник в некотором затруднении, — но... но боюсь...

— Чего боишься?

— Того, что эта мера может быть не понята, перетолкована неблагонамеренно... Скажут, что мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум собственноручно изволил наказывать своего визиря за разные несообразности, что дела у нас идут дурно, что политическая экономия никуда не годится...

— Правда, правда! — вскричал султан. — Ты прав, Пинетти! Ты удивительно мудрый и дальновидный человек! Сам Гарун-аль-Рашид не имел такого остроумного визиря. Но как же быть с пятами, которые, как я сам знаю, необходимо нужны тебе для успешного хода нашей восточной администрации? Было у меня несколько карманников, позоривших всю мою голкондскую литературу... Как жаль, что я велел их обезглавить вместе с прочими! Я бы теперь с удовольствием предоставил их тебе, чтобы ты порядком отколотил их по пятам, для примера всей африканской пустыни.

— Карманников?.. Это термин голкондский?

— Ну, да! Голкондский. Карманников, то есть изобретателей системы «битья по карманам»... людей, которые, алчным пером своим,

посылали на чужие карманы и производили настоящий грабеж. Да правду сказать, они не стоили и палки! Как быть, однако ж?

— Не прикажете ли оживить кого-нибудь из голкондцев? Я берусь, если вам угодно, известными мне средствами поставить на ноги всех обезглавленных.

— Я уже вчера думал об этом и был уверен, что ты в состоянии сделать это. Вы, западные, собаку съели на все науки. Сколько ты их знаешь?

— Сто восемьдесят.

— Я так и полагал. Сто восемьдесят наук! Знаешь ли, любезный Пинетти, что с этою пропастью наук можно было бы, мне кажется, поставить их на ноги без голов.

— И очень легко!

— Неужели?.. Но как же они будут жить без голов?

— Нынче у нас доказано, что голова совсем не нужна человеку и что он может все слышать, видеть и обонять посредством желудка, который даже в состоянии узнавать людей сквозь стены, читать письма, спрятанные в кармане, описывать события, происходя-

щие за тысячу миль, и с точностью предсказывать будущее, чего головам никогда не удалось сделать удовлетворительно, даже когда они пытались только предсказывать перемены погоды с помощью лучших барометров.

— Аллах! Аллах! — вскричал изумленный султан. — Вот уж этого никак я не думал, чтоб желудок был умнее головы! Аллах, аллах! Нет силы ни могущества кроме как у аллаха! И следственно, когда я в Голконде стану царствовать желудком, оно выйдет еще мудрее нынешнего царствования моею головою?

— Гораздо мудрее, если только это возможно. Ваше царствование будет тогда магнетическое, ясновидящее.

— Ясновидящее! Ах, как ты меня обрадовал! Знаешь ли, любезный Пинетти, я давно уже... с тех пор как в наших африканских песках распространились ваши западные умозрения и разные прочие вздоры... я давно желал иметь хорошенькое царство, составленное из людей, преобразованных по новому плану; из людей основательных и положительных, которые бы рассуждали и управлялись желудками. Я заметил, что у меня в

Голконде все глупости выходили из голов; да и на всем Востоке они происходят оттуда же... не знаю, как у вас на Западе?

— У нас, на Западе, глупости происходят из желудка.

— У нас, на Востоке, желудки, слава богу, отличны, но головы крепко порасстроены теориями.

— У нас, на Западе, головы, слава богу, отличны, но желудки все вообще ужасно расстроены и алчны и производят страшные потрясения, перевороты, революции...

— Если б я был султаном на Западе, я бы велел всем вам отсечь желудки.

— Вы так мудры, великий султан Шагабагам-Балбалыкум!..

— Так ты мне возвратишь их в целости, только без голов?

— Извольте.

— Я награжу тебя за то по-султански.

— Я уверен в вашей неисчерпаемой щедрости!

— Дарю тебе все головы моих голкондцев.

Пинетти в знак благодарности упал к ногам мудрого и великодушного султана Гол-

конды и с благоговением поцеловал его туфли.

Мой незабвенный наставник, конечно, ожидал гораздо значительнейшей милости за свою услугу, но что прикажете делать с таким своенравным африканским властителем! При помощи известных себе секретов статистики, истории, политической экономии, умозрительной физики и разных других несомненных наук, также при могущественном пособии животного магнетизма мой бессмертный учитель в одни сутки надушил все эти мертвые туловища летучими жидкостями и динамическими теориями, возбудил деятельность их желудочных нервных узлов, открыл в их подложечных областях чувства зрения, слуха, обоняния, память, предчувствие, воображение и прочая и прочая и, приведши тела в сообщение с небольшим Вольтовым столбом, поднял всех голкондцев на ноги. По данному знаку они встали и пошли кланяться, интриговать, решать дела, писать ученые книги, читать вздорные романы — как будто ни в чем не бывало! — не примечая даже, что ни у одного из них нет головы на

плечах. Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум помирал со смеху, смотря на свое магнетическое государство. С тех пор любимая его забава состояла в том, чтобы, лежа на софе и куря трубку, двух главных своих карманников сперва заставить дружески целоваться и взаимно превозносить себя похвалами, а потом, искусно поссорив их между собою, довести до драки в своем присутствии; и когда один из них, вздумав дать пощечину другому, замахнется для нанесения обидного удара и рука его, не встречая лица, опишет по пустому воздуху полукружие над шеей противника, тогда-то мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум хохочет, бывало, до слез и потешается над своим ясновидящим народом! Так как он теперь надеялся один с ним управиться, то мой незабвенный наставник, собрав все подаренные себе головы, счел приличным скорее унести оттуда свою собственную. Он нагрузил ими десять кораблей, но впоследствии оказалось, что девять десятых из них не стоили и гроша и он побросал их в море, оставив себе двенадцать тысяч голов, отличнейших в целом государстве, из которых и состоит вели-

колепный кабинет физиологических редкостей, находящихся ныне в моем владении.

Теперь, как вам уже известна история моего кабинета, как вы уже знаете, что это за головы, и не сомневайтесь в том, что это настоящие людские головы, не телячьи, не бараньи, не сахарные или капустные, то я скажу вам еще, милостивые государи и государыни, для личного вашего сведения и соображения, что они по сию пору совершенно как живые и, силою нашего искусства, сохранены в первобытном состоянии, без малейшей порчи, как будто сегодня были сорваны с плеч. Они разобраны по родам и видам, согласно своей прочности, логике и склонностям, и расположены систематически в этих закрытых шкафах, как банки в аптеке, с приличными надписями на ярлыках, приклеенных к их носам. Каждый шкаф содержит в себе отдельный класс голов и снабжен, как вы изволите видеть, особенною надписью на шести известных и шести неизвестных языках, изображающею общее наименование класса. Наконец, мой наставник и я, после долгих и томительных опытов с помощью бесчисленных наук и

преимущественных умозрений, имели счастье изобрести магнитный жезл чудесных свойств, которого прикосновение мигом заставляет эти головы говорить совершенно так как говорили они при жизни, когда ездили верхом на людях.

Смотрите же теперь, милостивые государи и государыни! Вот шкаф № 1. Я не из тех шарлатанов, которые начинают свои представления мелкими, обыкновенными фокусами, чтобы утомить внимание зрителей для удобнейшего расположения их к дальнейшим производствам. С первого слова я открываю шкаф № 1 и показываю все, что у меня есть лучшего и достойнейшего любопытства... Теперь вы убедились, что это в самом деле головы?.. Прошу взглянуть на них поближе: я не боюсь близкого осмотра; у меня нет обмана. Все головы — там, где прежде были книги! Если вы охотники до чтения, то можете вместо книг читать эти головы: они раскладываются и читаются подобно книгам, как вы в том скоро удостоверитесь сами. Но взгляните только на их мины: какая осанка! какая важность! сколько благородной гордости! Как они све-

жи, румяны, вымыты, завиты, причесаны, напудрены! Как настроены на глубокомысленную ноту, величавы, казисты! Да как хорошо пахнут!.. Славные головы! Редкие головы! Они высоко ценились в Голконде и употреблялись для суждения о всех других сортах голов. Таких голов не увидите вы никогда на свете! Это головы так называемые «пустые», как о том свидетельствует и надпись шкафа на двенадцати языках; а если угодно, можно справиться и с моим каталогом: я не люблю морочить. Но вот лучшее доказательство: беру с полки наудачу какую-нибудь из них, дую ей в ухо — пух! — ветер выходит в другое ухо. Теперь дую в ноздри — их! — ветер вылетает в оба уха. Следственно, совершенно пусты! Тут нет никакого подлога. Можно еще постучать в них пальцем: слышите? — звенят как стаканы. Совершенно пусты! Теперь беру мой волшебный жезл, и, как скоро проведу им по их устам, произнося известные халдейские слова, которым выучил меня незабвенный мой наставник, они тотчас станут рассуждать, как рассуждали на шее у голкондцев. Шамбара-мара-фарабамбаламбалыку! По-

чтенные головы № 1, рассуждайте!.. О, видите! Все вдруг разевают рты! Слушайте со вниманием.

Головы на полках: А! — Э? — Мм! — Э!

Вот все опять закрыли уста, ничего не сказавши! Жаль! Не приписывайте этого, однако ж, милостивые государи и государыни, недействительности моего магического жезла. Он тут нисколько не виноват, и я не стану вас обманывать. Хотя это очень дорогие головы, однако ж они столько умели сказать и при жизни. Оно, конечно, не много, но что прикажете делать!.. Поэтому они всегда подавали мнения свои письменно. Теперь прошу почтенное собрание подойти поближе к шкафу и читать ярлыки, прилепленные к носам: вы увидите, кому они принадлежали. Прошу, без церемонии!.. Пойдите: одна из них на верхней полке, хочет сказать что-то любопытного.

Одна из голов: А я согласна с мнением тех, которые сказали «Э!».

Видите ли, как славно рассуждает! Погодите: я сейчас сниму ее и скажу вам, чья она. Ах, какое несчастье!.. Ярлычок куда-то отвалился, и я теперь не припомню имени почтенно-

го мужа, на чьих плечах она процветала. Но знаю наверняка, что она украшала какого-то почтенного мужа: в этом шкафу все порядочные головы, все № 1, которые то и дело подавали мнения свои о других головах.

А между тем как эти господа изволят любоваться на сокровища моего первого шкафа, за который лет шесть тому назад давали мне два миллиона наличными в Бельгии — там тогда нужно было рассуждать о разных высоких предметах и был большой запрос на головы — между тем я покажу собранию шкаф № 2, с надписью «*головы-кукушки*», с умом, сзерновавшимся в одно неподвижное понятие. Вот они. Редкие головы! На вид они похожи на обыкновенные головы, но отличаются от всех прочих тем удивительным свойством, что всю жизнь кукуют одною какой-нибудь идеей, которая свила себе гнездо в их мозгу и, при всяком случае, высунув сквозь рот голову, поет всегдашнюю свою песенку. Я бы заставил их показать свое искусство, но это не очень любопытно: о чем бы вы ни рассуждали с ними или в их присутствии, одна из них регулярно, всякую четверть часа, пропоет

вам: ку-ку! мануфактура! — другая: ку-ку, аку-пунктура! — иная: ку-ку, Шеллинг! — эта: ку-ку, Бентам,^{93} ку-ку!.. Вы можете поверить мне на слово: тут нет обмана. Вся занимательность о том, что они здесь подобраны все одинакового свойства: в Голконде, где часы еще не были изобретены, их употребляли вместо стенных часов, и у мудрого султана Шагабагам-Балбалыкум в каждом углу бесчисленных его палат стоял один голкондец с такою головою; в Европе я продаю их довольно выгодно в разные комитеты и ученые общества.

Лучше перейдем к следующему шкафу. Шкаф № 3, «*голова всеобщие*», иначе называемые «*голова-мельницы*», с умом о двенадцати жерновах. Я в двух словах изображу вам их необыкновенное устройство, но наперед сниму с одной из них череп и попрошу вас взглянуть на их ум. Он состоит весь из зубчатых колес, поршней и вертящихся камней. Теперь он в бездействии и вы не видите в нем ни следа мысли; но заговорите только с этого рода головою: все идеи, какие в них ни бросите, хоть бы они были тверже алмаза, мигом будут раздавлены и смолоты. И чем более ста-

нете подсыпать понятий, своих или из какой-нибудь книги, тем быстрее вертятся в них жернова, производя страшный стук и шум мельницы в полном движении. Превратив все предметы, попавшиеся под их тяжелые камни, в крупу, в муку, которая кругом сыплется из них на пол, завалив вас ею с ног до головы, выбросив все из себя, они опять останавливаются: загляните в них в то время и вы опять не найдете ни одной щепотки мысли или материала к рассуждению. Ужасные головы! Они ничего не создают, ничего не в состоянии создать, но все портят, ломают, уничтожают. В Африке они вторглись в словесность под предлогом беспристрастных критик и переломали все идеи, все таланты, все вдохновения таланта, ничего благородного, ничего прекрасного не оставили они в своей отечественной литературе: все истерли, превратили в пыль; когда мой бессмертный учитель туда приехал, в книжных магазинах на полках стояли только мешочки отрубей, которые продавались вместо изящного. Ужасные головы!

Но вот отделение, достойное вашего вни-

мания: «*головы механические*», иначе «*головы-ящички*», с умом на пружине. Это головы знаменитых хронологов, историков, лексикографов, грамматиков, законоведцев и библиографов Голконды. Возьмем одну из них, например ту, с большим красным носом, и, для удобнейшего объяснения, снимем также с нее череп, примечательный своею толщиной. Господа, прошу сюда поближе! Это голова славного африканского библиографа. Извольте заметить, что она внутри имеет вид шкатулки с множеством перегородок и ящичков, которые битком набиты заглавиями и форматами книг, книжечек, брошюр, уставов, уложений, положений и учреждений всех известных и неизвестных народов. Эти заглавия теперь перемешаны и лежат в беспорядке по разным ящичкам, потому что в таком же виде они всегда лежали в голове и при жизни глубокоученого законоведца. Вы, может статься, думаете, что подобные головы ни к чему не годятся?.. Вы ошибаетесь: в нужных случаях с ними делают чудеса. Так, например, этот глубокоученый библиограф имел обыкновение сверлить пальцем в ухе при всяком затрудни-

тельном случае: ему довольно было повернуть палец известным образом, и эти заглавия и форматы вдруг приходили в брожение, ворочались, шевелились с шепотом, как раки в кастрюле, перескакивали из ящика в ящик, строились в шеренги, укладывались дивными узорами. Я могу показать вам это на опыте. Вот кладу палец в ухо этой голове, и как скоро поверну им в одну сторону — крак! — смотрите, все издания расположились в голове по алфавитному порядку!.. Что ж вы скажете о такой голове? Теперь поверну пальцем в противную сторону — крак! — ну что, видите ли?.. Те же издания построились в хронологический порядок, по годам своего выхода в свет. Посверлю ей в ухе еще иначе: вот хронологический порядок оборачивается вверх дном, и все книги ложатся отделениями, по содержанию. Удивительная голова! Однако ж обманывать вас не стану: она способна только к таким фокусам; в дело употребить ее никак невозможно. Подобным образом и эта плоская, тощая, бледная голова голкондского грамматика и лексикографа. Позвольте снять с нее очки и парик... Теперь вскройте и по-

смотрите: она верхом насыпана голкондскими словами разной длины, толщины и всех возможных видов и теперь кажется вам четвериком, наполненным рубленой соломой; эта солома — весь запас ее сведений... Голова умом не богатая, но, когда я захочу, она представит вам чудеса еще удивительнее тех, которых уже были вы свидетелями. Пожмите ее под правым ухом! — все слова пришли в алфавитный порядок, и вы имеете словарь. Поташите за левое ухо — они жужжат, движутся, перепрыгивают и становятся под своими корнями. Не угодно ли кому-нибудь покачать ее тихонько в обе стороны?.. Вот они начинают склоняться: *сей, сия, сие; сего, сей, сего... оный, она, оно; оно, оной...* Какой шум, гам! Вы слишком сильно ее качнули. Теперь не удержишь ее ничем в свете: беда раскачать грамматическую голову!.. Как она раздувается! Увидите, что она лопнет! Где буравчик? Дайте скорее буравчик!.. Надо спасать голову! Вот как их лечат в Голконде: как можно скорее сверлят им во лбу дырочку... дырочка готова, и сквозь дырочку сыплется на стол исключения и изъятия. Посмотрите, какая ку-

ча грамматических неправильностей навалилась из нее в одну минуту! Не открой я им отверстия, они разорвали бы ее вдребезги, и я лишился бы лучшей в моем собрании машины для чески языков и наречий. Прошу, господа, поосторожнее с моими головами; не шевелите ими так сильно: ведь это людские головы!.. Но я вам покажу голову еще любопытнее этой. Вот она. Голова тяжелая, плоскодонная, как всегда грамматические головы. Она совсем похожа на предыдущую, с тем только различием, что кроме рубленой соломы, составляющей единственно ее богатство, есть здесь еще разные; презрелые ухищрения механики. Посмотрите в этот уголок... самый темный уголок головы, которая, впрочем, вся не очень светла. В нем стоит чудная машинка... Это модель машины для битья по карманам, потому что голова эта принадлежала главному из голкондских карманников. В противоположном уголку, как вы изволите видеть, висит мешочек с ядом, выжатым из злобы и мщенья, для смазки колес и пружин машины. Жаль, что у вас, милостивые государи, нет с собою ни одного лишнего кармана, а

то бы я просил вас одолжить меня им и показал на опыте образ действия этой машинки. Впрочем, он так безнравствен и отвратителен, что вы немного потеряете, если его и не увидите. Две другие головы того же сорта, находящиеся в моем собрании, были, вместо рубленой соломы, набиты такими мерзостями, что когда мой почтенный наставник выбросил их и море, даже акулы гнушались ими и не хотели пожрать их.

Открываю шкаф № 4 — «головы-шифоньерки», с задним умом, не совсем приятного вида, немножко похожие на филинов, но тем не менее достопримечательные. Приподняв крышку, вы видите в них... Об чем изволите вы спрашивать? Где ум этой головы?.. Ум остался назади, за семь столетий отсюда: его никогда нет дома... Вы видите в ней только кучу обломков и лоскутков; но если вступите в разговор с нею, она вам с точностью скажет, к чему принадлежал такой-то обломок, от чего оторван лоскуток и какое было назначение их во время оно. В Голконде люди складывали в эти головы все изношенные, вышедшие из моды или негодные к потреблению поня-

тия. Если, копая землю, случайно отрывали старый горшок, кусок башмака или вилки, то и это прятали туда же. Головы этого рода очень полезны для опрятности общественно-го разума, который без них был загроможден изломанною рухлядью прошедшей образованности или прошедшего варварства, был бы засорен черепками давно оставленных прихотей. Я продал несколько этих шифоньерок в Германии: к сожалению, там цена на них теперь упала, а здесь даже не знают их достоинства; но в Голконде, где очень любят порядок, головы такие были расставлены по всему протяжению общества в известных дистанциях, как у нас по деревням бочки с водой, и жители сбрасывали в них все вещественное и умственное старье. Благодаря этому заведению никакая человеческая глупость не терялась в том краю и казна не издерживала ни копейки на археологические поиски. Люди смышленные, подобно нам, вытаскивали из них потихоньку эти тряпки и, промыв их, подкрасив, продавали тем же жителям за новые идеи: этот порядок водится и теперь во многих африканских землях и называется

там «бесконечным совершенствованием человечества». Ах, милостивые государи и государины, сколько дивных вещей, которыми вас здесь морочат мои почтенные собратия, шарлатаны, узнали бы вы настоящим образом, если б решились съездить летом в Голконду!.. Я открываю вам чистосердечно все тайны ремесла, потому что у меня нет обмана.

В этом шкафу, под № 5 хранятся «головы-собачки», с передовым умом, который тоже никогда не бывает у себя дома; но он не тащится за своей головою в тысяче верст назад, как предыдущий, а обгоняет ее несколькими веками — или, по крайней мере, одним столетием — и мчится вперед, не оглядываясь. Страшные головы! Они совершенно противоположны тем, которые имел я честь показывать вам недавно: всегда в движении, всегда забегают вперед своему веку, скачут ему на шею и лают, подобно моськам, опережающим бегущих лошадей. Они не помнят и не знают ни того, что есть, ни того, что было: все рвутся вперед, все силятся поймать зубами за пята будущность, которая от них ухо-

дит. Вам, может статься, никогда не приводилось заметить — теперь вы видите собственными глазами! — что рождаются на свете головы с таким умом, из которого для настоящего времени нельзя даже сварить каши: он или будет годен к употреблению через тысячу лет, или бы годился десять веков тому назад. «Шифоньерки» — смиренные и полезные головы, но «собачки» ужасно скучны и несносны. Они беспрерывно лают на настоящий век, кусают ноги своего общества и предсказывают ему будущее, обделанное по их желаниям и понятиям. В Голконде не знали, что с ними делать. Наконец, мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум, видя, что они напрасно тратят время на пророчение того, что сбудется едва за сто тысяч лет, а может быть, и никогда не сбудется, пожелал употребить их прорицательный дар на что-нибудь полезное и велел им предсказывать погоду. Плохо шли их предсказания в Голконде. Мудрый султан велел их высечь по пятам, и с тех пор, если случалось, что он страдал бессонницею, то придавал их к себе и заставлял рассуждать под своею кроватью о будущем возрождении мужчин посредством

женщин, что всегда усыпляло его через пять минут. Вы изволите видеть два пустые места: в этом шкафу: здесь были две головы этого разбору; я продал их почти за бесценок: одну господину Морфи в Англии, а другую профессору Штифелю в Германии; они надели их себе на плечи и сочиняют теперь календари с означением на целый год вперед хорошей и дурной погоды.

Вот новый класс голов. Головы, технически называемые у нас «балаганами». Позвольте поставить несколько их на этом столе и снять с них крышки для вашего удовольствия, потому что это чрезвычайно любопытные головы. Прошу посмотреть в середину. Они пусты внутри; в этой пустоте туго натянута ниточка наподобие каната в балагане Лемана; но это не ниточка, а идея... и всегда чужая идея. В этой, например, голове натянута идея — умственное движение; во второй — средние века; в третьей — время и пространство; в четвертой — новая драма; в пятой — промысл народов и так далее. Умов теперь не видно, потому что они за кулисами; но как скоро я подам знак своим жезлом, они вдруг

выскочат, наряженные паяцами, и начнется представление. Шамбара-мара-фара!.. Смотрите в эту голову! Натянутая в ней ниточка названа в моем каталоге, кажется, германскою философией. Видите ли этот маленький, бледный, худощавый ум? Видите ли, как он ловко вскочил на свою идею и как проворно пляшет по ней, без шеста?.. Как прыгает, ломается, кувыркается?.. Какие делает сальто-мортале?.. Вот он берет стул и столик, ставит их на этой паутинной ниточке и будет завтракать! Вот схватил скрипку и пустился плясать вприсядку на канате! Вот поскользнулся и свалился на землю — и в два прыжка опять очутился на своей идее — и танцует по-прежнему! Это голова одного отчаянного писателя; когда, бывало, станет он прыгать по какой-нибудь тоненькой чужой идее, вся Голконда не может налюбоваться на его искусство.

Теперь, господа, пожалуйста в эту сторону: я представлю вам самую богатую часть моего собрания — четыре шкафа голов, названных в моем каталоге «горшками», с умом водянистым. Он жидок, прозрачен и безвкусен как

вода и стоит в них тихо, пока вы не приведете его в соприкосновение с теплотой какой-нибудь модной идеи. Я могу показать вам небольшой опыт с ними: у меня есть для этого полный прибор, очаг с длинной плитой, в которой проделаны отверстия, как для кастрюли. Беру из шкафов двадцать четыре головы-горшка и ставлю их в эти отверстия. Сперва вскрываю черепа, чтоб вы удостоверились, что все они налиты чистым умом из холодной воды и что тут нет обмана. Потом высекаю огонь, зажигаю один роман Вальтера Скотта и подкладываю его под плиту. Прошу обратить внимание: по мере того как огонь согревает, вода более и более шевелится — и вот все горшки вдруг закипели историческим романом! Слышите ли, как в них клокочет исторический роман?.. Теперь надо скорее закрыть горшки крышками и поставить назад в шкафы: а то будут кипеть, кипеть, пока весь их ум не испарится и в другой раз нельзя будет употребить их для опытов! Это, извольте видеть, головы голкондских подражателей.

Вот еще любопытные вещи: «*голова-мор-*

тиры», с умом параболическим. По ним, все дрянь: они знают, как все лучше сделать. Но они не так глупы, как кажутся, и дела свои умеют обдeldывать прекрасно: чтобы казаться глубокомысленнее, они порицают и унижают все, что в них не вмещается. Первое их правило — ничему не удивляться. Приведите их под Тенериф,^[94] и они вам мигом проглотят Тенериф как пилюлю и спросят: «Где же Тенериф? И что находили вы в нем высокого или удивительного?» А если им не удастся проглотить, то вот как они действуют. Они никогда не прицеливаются умом прямо в предмет, но стреляют им вверх, как бомбою, и стараются попасть в цель вертикально, описав наперед по воздуху огромную параболу; само собою разумеется, что они никогда в нее не попадают — всегда или заходят далее, или лопаются с треском в половине пути, исчертив воздушными лентами серного пламени и наполнив его умозрительным дымом. В Голконде это называется — бросать высшие взгляды: не знаю, как здесь?.. Но смотреть на это очень забавно, особенно в темную ночь, когда эти головы, ополчившись, осаждают другую голову, кото-

рой ума они боятся. Мудрый султан Шагабагам-Балбалыкум чрезвычайно любил тешиться этим зрелищем: он готов был оставить самый великолепный фейерверк и ехать смотреть на бомбардировку высшими взглядами, чтобы хохотать над самонадеянностью этих «мортир» и над их бесконечными промахами. Обезглавив все свое царство, он вовсе не раскаивался в этом ужасном поступке, и когда мой незабвенный наставник возвратил ему подданных, султан всего более радовался тому, что они возвращены ему без голов. Однако ж при расставании он сказал ему со вздохом: «Увы! Теперь моим голкондцам не из чего даже бросать высшие взгляды!.. Ну, да они народ смышленный и, спохватясь, что у них нет голов, наверное, придумают средство стрелять высшими взглядами из сапога».

Показывать ли вам еще разные другие редкости моего кабинета, головы, называемые «*плавильными печами*», с умом белокаленным, на который всякое брошенное понятие мигот испаряется в газ, и вы видите от него только туман, мглу, ничто, умозрение; «*голова-насосы*», с умом из грецкой губки, которою вбира-

ют они в себя всякие чужие мысли; наполнившись ими, они выжимают их в грязный ушат своей прозы, чтобы опять вбирать другие мысли и сделать из них то же употребление; «*головы-веретены*», которые бесконечно навевают одну и ту же идею; «*головы — шампанские рюмки*», которые, без всякой видимой идеи, быстро пускают со дна искры пьяного газа и пенятся шумным слогом; «*головы-лужи*», с студенистым умом, который беспрерывно трясется, — это называют они по-голкондски юмористикой, — ни к чему не способен, ничего не производит, а только, если чужая репутация ступит на него неосторожно, он тотчас поглощает ее в свою нечистую бездну или забрызгивает своею грязью; «*головы-мешки*», которые, выбросив из себя мысли, насыпаются фактами; «*головы-волынки*», на которых играют похвалу только всем глупостям; «*головы-туфли*», «*головы-веретена*», «*барабаны*», «*термометры*», «*крысы*» и прочая и прочая?.. Я думаю, вы утомились их осмотром и ожидаете от меня новых доказательств моего искусства. Собираю все мои головы в корзины и высыпаю их перед вами на

середину залы.

Вы имеете перед собою огромную груды голов разного разбора и свойства; груды голов, сваленных, перемешанных, перепутанных, опрокинутых, теснящих, давящих одна на другую, — точный образ благоустроенного и просвещенного общества или кучи яиц. Что из них сделать? К чему годятся людские головы?.. Из туловища можно сделать важного человека; из головы — ничего!.. Вот три большие колпака: прошу посмотреть — в них ничего нет! Из этой груды беру три головы — три какие-нибудь — для меня все равно: одну, например, из «балаганов», другую из «мортир», третью из «плавильных печей». Каждую из них накрываю одним колпаком. Все вы изволили видеть, что под каждый колпак положил я по одной голове: теперь назначьте сами, под которым колпаком должны эти головы очутиться: под первым, под вторым или под третьим?.. Под вторым? Извольте! Поднимаю второй колпак: вот все три головы под одним колпаком... Ах, да это не головы! Это — книги!.. Головы превратились в книги!.. Какое странное явление! Так из людских голов

можно по крайней мере делать книги? Кому угодно раскрыть эти толстые, прекрасные сочинения и посмотреть их содержание? Вы помните, что я взял три головы: в одной из них ум, наряженный паяцом, прыгал по тоненькой идее, натянутой в виде каната; другая стреляла высшими взглядами; третья, с умом белокаленным, мигом превращала понятия в пар, в туман. Поэтому, если я не подменил голов благовременно приготовленными книгами, если я действительно в состоянии делать чудные превращения, эти три книги должны соединить в себе свойства трех умов, вынутых мною навывержку из груди. Милостивые государи!.. Позвольте спросить... нет ли здесь между вами читателя?.. Никто не откликается?.. Вот это досадно! Кто ж будет читать книгу, которую мы состряпали? Господа! Скажите по совести... не стыдитесь... кто из вас читатель? Нет ни одного?

— Есть один... Я читатель.

— Ах, как вы нас обрадовали! Великодушный человек!.. Благосклонный читатель, пожалуйста сюда поближе, благоволите прочитать почтенному собранию заглавие этого со-

чинения.

— *История судеб человеческих...*

— История судеб человеческих? Какое замысловатое заглавие! Эти голкондские головы как будто нарочно созданы для заглавий!.. Загляните теперь в содержание: вы найдете там и пляску на одной идее, и высшие взгляды, и туман, разные разности, о которых и говорить нечего в такой честной и благородной компании. Ну что, есть ли?.. Есть! Тем лучше. Видите, что я не обманываю. Кто хочет купить у меня эту «Историю»? Господа, не угодно ли подписаться на эту любопытную «Историю»? Теперь у меня только один экземпляр; но вы видите, какая здесь куча голов: все это литература!.. Я в минуту сделаю из любой головы точно такую же историю. Прошу подписываться! Кто желает?.. Никто?.. Так надо приняться за другой фокус. Прикажете же теперь сами, что должен я сделать из этой «Истории». Сударыня, что вам угодно, чтоб я из нее сделал?

— Роман.

— Хорошо. А вы, почтенный и добродетельный муж, что желаете из нее сделать?

— Нравоучение.

— Очень хорошо! А вы, прекрасный юноша?

— Портфель с деньгами.

— Бесподобно! Я получил от вас три различные требования; но всех их невозможно вдруг исполнить; одно даже совершенно неудобноисполнимо. Из истории вы хотите сделать нравоучение; этого и сам Великий Альберт,⁽⁹⁵⁾ постигший все тайны природы, никогда не делывал. Видно, что почтенный и добродетельный муж, который предложил мне это требование, никогда сам лично книгами не занимался, а производил чтение посредством секретарей. Согласитесь, что история и нравоучение — две вещи, слишком противоположные, чтоб одну из них можно было превращать в другую: если б люди действовали по нравоучению, истории не было б на свете — было бы только нравоучение; и обратно, если б они вели себя по истории, нравоучение было бы наукою совершенно излишнею: довольно б было поступать по истории. Таким образом, простите меня, почтенный и добродетельный муж, если я предпо-

что приказание этой дамы: прошу пожаловать мне сочинение, которое я сделал из трех голкондских голов. У кого оно?.. Прошу также посмотреть, что у меня нет ничего в руках и рукава засучены: беру эти три книги, которые вы уже видели, и как скоро на них подую... Раз, два, три! Пх!.. Извольте читать, сударыня!

— *Судьбы человеческие. Роман в трех частях.*

— Подменил заглавие! Подменил заглавие!

— Кто говорит, что я подменил заглавие?

Как вам не стыдно, господа, клеветать на меня так ужасно! Вы изволили быть свидетелями, что у меня ничего не было в руках. Разумеется, что самое простое средство сделать из истории роман — это переменить заглавие; но я не такой человек... Я не употребляю таких грубых обманов. Это волшебные превращения, искусство делать из людских голов разные вещи, и вы сами видите, что с помощью этого искусства сочинение чрезвычайно улучшилось и усовершенствовалось, потому что теперь вы читаете его с любопытством, тогда как за историю не хотели мне дать ни копейки... Прошу, однако ж, отдать мне мой

роман: я хочу показать его прекрасному юноше... Прекрасный юноша, вы от меня чего-то требовали: извольте взять в свои руки этот роман и держать его крепко, а когда я на него подую... Раз, два, три! Пх! Посмотрите, что у вас в руках?

— Ах?.. Толстый портфель!.. с ассигнациями!

— Ведь вы требовали портфеля с деньгами! Чему же тут удивляетесь? Все это превращения людских голов и ума человеческого; превращения странных образов мыслей в историю — истории в роман — романа в деньги — а денег... Пожалуйте мне портфель обратно. Почтенный и добродетельный муж благоволит взять этот портфель и положить его себе в карман. Берите смело; не бойтесь... ну, так! Хорошо! Застегните плотно платье, чтоб кто-нибудь не вытащил у вас этого клада. Я между тем, милостивые государи и государыни, покажу вам новое чудо моего искусства. Видите ли эту грудку голов? Все эти головы, принадлежащие моему собранию редкостей: их должно быть двенадцать тысяч без трех голов, которые употребил я для вашей потехи

на выделку разных творений... Почтенный и добродетельный муж, возвратите мне портфель с деньгами: он мне крайне понадобился.

— С удовольствием.

— С удовольствием? Я не думаю! Деньги никогда не возвращаются с удовольствием, даже чужие. Что ж вы это мне возвращаете?.. Ведь это не портфель, а какая-то книжка? Посмотрим заглавие... «Искусство брать взятки, нравоучительная повесть».^{96} Прекрасно! Вы кладете в карман деньги и из того же кармана, вместо денег, вынимаете и дарите почтеннейшей публике нравоучительное слово против взяток! А, господа! Если вы так составляете литературу, то, я удивляюсь, как еще находите вы читателей! Теперь, для удостоверения вас, что здесь не было никакого обмана, я сожигаю эту книжечку, обращаю ее в золу, подливаю немного воды, делаю из всего этого тесто, разделяю его на три шарика, беру три стеклянные трубочки, конец каждой из них упираю в один шарик и соединяю во рту моем три другие конца, при ваших же глазах начинаю дуть... Смотрите, смотрите, как мои шарики раздуваются, растут, растут, растут!..

Вы думаете, может быть, что это мыльные пузыри?.. Нет! Погодите, позвольте мне еще немножко подуть... Узнаете ли теперь, что это такое?.. Три человеческие головы! Извольте рассмотреть их со вниманием: вы опять имеете перед собою те же самые три престранные головы, которые недавно превратили мы в историю судеб человечества, которая превратилась в роман, который превратился в деньги, которые превратились в нравоучение, которое превратилось в прах, который превратился опять в авторские головы. Здравствуйте, мои любезные головы! Наконец вы возвратились ко мне из своего литературного путешествия! Наконец я вижу вас снова целыми, здоровыми, свежими, румяными! Но что проку! Мы из вас выработали было кучу денег, толстый портфель, набитый ассигнациями, а теперь за вас почтеннейшая публика не даст мне и трех рублей, зная внутреннее устройство ваше!.. Идите же, бедные головы мои, опять в грудь; дополните собою число двенадцати тысяч голов, над которыми обещал я показать последний и самый удивительный пример моего искусства... Милости-

вые государи и государыни! Вы видите эту грудю голов? При третьем ударе по ней моим волшебным жезлом все они исчезнут, а вы извольте тотчас смотреть на эти шкафы...

Сказав это, синьор Маладетти Морто взял жезл свой обеими руками, отвесил им три удара по груди годов — два первые слегка, а третий изо всей силы — и в то же самое мгновение головы разлетелись во все стороны и начали укладываться на полках шкафов с страшным шумом и стуком. Род грома раздался по всему зданию. Казалось, будто обрушилась крыша. Все спавшие в доме выскочили из постелей. Александр Филиппович Смирдин вбежал в залу через боковую дверь, в халате и ночном колпаке. Он показался мне ужасно испуганным и несколько времени стоял как окаменелый, не будучи в состоянии произнести ни одного слова. Производитель фокусов продолжал:

— Где же мои головы? Их нет! Головы пропали! Вы видите только шкафы, а в шкафах полки, а на полках книги. Это книги почтенного здешнего хозяина Александра Филипповича Смирдина, которого имеем честь при-

ветствовать здесь лично. И теперь, как представление кончилось, я должен объявить почтенному собранию, что головы, которые вы здесь видели, были головы не голкондцев, а самих сочинителей двенадцати тысяч творений, красующихся на полках этого магазина. Мы, силою нашего волшебного искусства, сперва превратили книги в головы, потом показали вам тайное устройство этих голов и, наконец, снова повелели быть им книгами. Теперь, милостивые государи и государыни, наслаждайтесь ими. Желаю вам много удовольствия и спокойной ночи.

Во время этого последнего монолога я побежал к Александру Филипповичу, который все еще в изумлении стоял у боковых дверей. Я хотел спросить его о причине его странного костюма; но, минуя первые ряды стульев, вдруг увидел другого Александра Филипповича, сидящего на том же месте, где я заметил его еще до начала представления.

— Что это за история! — вскричал я в ошеломлении. — Александр Филиппович!.. Вас здесь двое?.. Посмотрите на вашего двойника!

— Вижу, вижу! — отвечал он дрожащим голосом и повел взором по всему собранию. — Боже мой, что это значит? Откуда весь этот народ?.. Да ведь и вы здесь в двух экземплярах?

Я оглянулся и действительно увидел, в нескольких шагах от себя, точный образ собственной моей персоны, сидящей на стуле между зрителями. Я был поражен ужасом и, в моем смущении, с трудом расслышал только последние слова производителя волшебных представлений, который говорил моему спутнику, поэту:

— Ну, милостивый государь! Мы пришли сюда за вами. Вы не забыли обещания вашего на кладбище? Мы сдержали свое слово: вы, по хирографу, написанному нами на бычачьей шкуре и собственноручно подписанному вами, воспевали мертвецов, ад, ведьм, мы доставляли вам благосклонных читателей и славу и еще, на придачу, дали великолепное представление. Вы желали узнать великую тайну литературы. Теперь вы ее знаете. Мы льстим себя надеждою, что и вам самим не захочется после этого оставаться здесь долее.

Скоро станут звонить к заутрене, нам пора домой. Не угодно ли пожаловать с нами?

И, говоря это, производитель волшебных превращений схватил моего поэта одной рукой за волосы; стекло в окне лопнуло и зазвенело по полу; фокусник, поэт и все собрание улетели в это отверстие. Все это сделалось так мгновенно, что мы едва могли заметить, куда они девались. В зале остались только Александр Филиппович, два его прикащика, прибежавшие, подобно ему, на стук, произведенный возвращением книг в шкафы, и я.

Бесполезно было бы изображать наше изумление и пересказывать разговор, который вслед за этим начался между нами. Александр Филиппович Смирдин уверял меня, что в этом ночном обществе он ясно видел почти всех живых и умерших сочинителей и сочинительниц, которых портреты висят у него на стенах, и что сверх того узнал: тут было множество лучших его покупателей книг.

Я заметил на полу что-то белое. Взяв свечу, мы подошли к этому месту и нашли три звездочки, без сомнения, последний земной след великого безыменного поэта... Я не шу-

чу; Александр Филиппович — свидетель.

Сегодня поутру он и его прикащики осторожно расспрашивали у многих из посетителей и покупателей, виденных нами в зале во время представления, о том, что они делали и где были прошедшую ночь? Все божатся, что они были дома и спали.

Решительно чудеса! Впрочем, я читал что-то подобное в «Черной Женщине».^{97}

А между тем великий безымянный поэт пропал без вести! Его нигде не отыскали сегодня.

[1839]



ПАДЕНИЕ ШИРВАНСКОГО ЦАРСТВА[34]



Взглянув на ничтожные остатки Старой Ше-
махи, русский путешественник не догады-
вается вовсе, что, за два с половиной столе-
тия, это была блестящая столица знаменитых
государей и прекрасного, цветущего царства.
С самой глубокой древности, страна, извест-
ная теперь под названием Ширванской обла-
сти, славилась своей красотой, плодородием
и баснословным богатством. Предания греков
утверждали, что овцы здесь одеты золотою
шерстью. Аравитяне, покорив Кавказский
край, называли эту часть его «Землею Золото-
го Престола». Во все времена Ширван пред-
ставляется Востоку землею роз, золота и на-
слаждения, но никогда не был так славен как
в пятнадцатом и шестнадцатом столетиях, ко-
гда в нем царствовали потомки храброго
Шейха-Ибрагима Дербендского. При этом по-
колении храбрых и образованных государей,
которое обыкновенно зовут династией *шир-
ван-шахов*, Шемаха была одним из великолеп-
нейших городов мусульманской Азии: сотни
золоченых куполов и изящных минаретов,
бесчисленные дворцы, киоски, фонтаны, ме-

чети, бани, базары, караван-сарай, сады украшали столицу Ширван-Шаха, Халиль-Падишаха и Шах-Роха, около престола которых толпилось множество знаменитых воинов, отличных поэтов, ученых, во всем мусульманстве богословов, астрологов, врачей, литераторов. Держава этих государей распространилась по всему западному берегу Каспийского моря, от Дербенда до Тегерана, заключая в своих пределах нынешнюю Русскую Армению, Азербайджан и часть Мазендеранской области. Пышность их двора, говорят ширванские историки, затмевала весь блеск престола Сефидов, которые в то же время владели в Персии, все великолепие Сулеймана-Завоевателя, в Царьграде, и Дели-Ивана, в Москве. Гарем ширван-шахов наполнен был первыми красавицами Закавказья; но промышленность, науки и порядок составляли любимые предметы их мудрых попечений, и при Шах-Рох-Падишахе, по словам местных летописцев, «во всем благословенном Ширване не было других птиц, кроме соловьев, и другой травы, кроме розанов».

Это блаженство страны, которая горячо



придерживалась правоверного суннитского вероисповедания, не могло не возбудить жадности такого еретика, как Шах-Тахмасп, который, из своих испаганских дворцов, с завистью смотрел на безмятежное величие шемахинского падишаха. Царь возрожденной Персии ополчился на ширванского государя и овладел его роскошными землями. Но храбрый преемник Шах-Роха, Бурган-Эддин-Шах, вытеснил его из пределов ширванской державы, при помощи султана Сулеймана, и в 1555

году, после долголетних смут, она снова успокоилась под властью своих законных повелителей. Спустя шестнадцать лет коварный Тахмасп вторично нагрянул на нее со всеми силами Ирана и, в этот раз, ему удалось покорить почти все государства. Бурган-Эддин удержался в одном только Дербенде, где он и кончил жизнь, оставив в наследство сыну своему Халеф-Мирзе несколько неприступных утесов и неровную борьбу с нечистым персидским еретиком. Но молодой Халеф-Мирза-Падишах, прекрасный, как полная луна, и умный, как сатурн-планета, был в то же время блистательнейший герой своего времени. Он не устранился Тахмаспа: с горстью храбрых дербендцев два года мужественно сражался он против иранских полчищ и, наконец призвав в помощь себе крымского хана, знаменитого Девлет-Гирея, исторг свою столицу и все ширванское царство из рук свирепого врага. Порядок, изобилие и счастье снова водворились в этом раю Азии. Шемаха снова начала затмевать все столицы Востока, который из конца в конец прогремел славою подвигов, мудрости и красоты Ха-

леф-Падишаха. Соловьи, улетевшие все до одного при нашествии еретиков, этих отверженных шиитов,^[98] снова собрались в Ширван; розаны, пять лет не раскрывавшие своих почек, расцвели великолепнее, чем когда-либо, и ширванское царство, еще могущественнее прежнего, стало все — радость, песнь и благоухание. От поднятия, подземными силами, грозных хребтов Кавказа за облака не было на земле государства счастливее Ширвана и султана величественнее Халефа.



Во время общей борьбы с персиянами Халеф тесно подружился с храбрым союзником своим, Девлет-Гиреем, которого нашествия на

христианские земли Европы до небес превозносились мусульманами этой части Азии и о подвигах которого они с восторгом рассказывали самые невероятные чудеса. Молва, принятая повсеместно за исторический факт, утверждала, будто гарем крымского хана составлен весь из королевен Франкистана, женщин удивительной красоты, похищенных Девлет-Гиреем во время его удачных набегов на христианские государства, и что на других красавиц он даже не хочет смотреть ханским оком. Эта молва, доверчиво повторяемая визирями и придворными прекрасного ширван-шаха, поразила его ум или его гордость. Он глубоко призадумался: наконец, приказал подать лист бумаги и чернильницу, написал письмо и, позвав к себе младшего своего брата, Хосрев-Мирзу, красивого юношу лет двадцати, сказал ему:

— Свет глаз моих, Хосрев! ты храбр и молод и, по званию своему, должен приобрести себе славу воинскими подвигами. У нас теперь не предвидится никакой войны: государство наше требует отдыха после столь продолжительных бедствий; с нечистым Тахмас-

пом мы не желаем теперь начинать новой борьбы; Грузия и другие неверные области платят нам дань: словом, у нас, покамест, некуда употребить свое мужество, а благочестивый мусульманин должен прежде всего отличиться в лице Аллаха подвигами своими против *кяфиров*, которые отвергают Несомненную Книгу⁽⁹⁹⁾ и не умывают семи членов; должен ратовать за торжество веры пророка безпогрешного и заслужить себе в мусульманстве завидный титул *гази* и в будущей жизни вечное блаженство. Мы признали за благо отправить тебя к первому богатырю нашего времени, к другу и союзнику твоего брата, чтобы ты, под его руководством, учился военному искусству и святому делу истреблять неверных на всей земной поверхности. Поезжай к Девлет-Гирей-Хану, сражайся, учись побеждать, прославь свое благородное имя во всем мусульманстве. Может быть, при этом случае, при особенном покровительстве Господа Истины, посчастливится тебе захватить какую-нибудь королеву франков, и ты, *иншаллах*, буде угодно Аллаху, после славных трудов, будешь наслаждаться ее чудесными

прелестями, прежде чем всевышний наградит тебя на том свете за твои благочестивые деяния бесконечным блаженством с семьюстами-семьюдесятью семью гуриями, которые изготовлены для всякого искоренителя пырея неверия. Ступай, моя утроба, Хосрев!.. Да будет покров Аллаха над твоей юною головой!.. Отдай это письмо другу нашему хану и возвращайся к нам славным и великим.

Халеф обнял своего брата, и молодой человек, воспламененный его речью, тотчас занялся приготовлениями к отъезду. Ширван-шах дал ему блестящую свиту и богатые подарки для крымского хана. Пылкий Хосрев-Мирза, стгорая нетерпением сразиться с неверными и обладать европейскою принцессою, спустя несколько дней отправился в путь — через оттоманские владения, в Синоп, откуда турецкое судно благополучно перевезло его на берега Крыма. Принятый с отличною честью при багчисарайском дворе, ширванский принц, на другой день после своего прибытия, был представлен хану, объяснил ему цель своего путешествия и вручил письмо брата, которое Девлет-Гирей велел тотчас

перевести для себя с персидского языка на турецкий. Этот перевод найден лет десять тому назад в архиве багчисарайского дворца при бумагах, составляющих обширную корреспонденцию крымских ханов с разными владельческими лицами Кавказского перешейка, и из них-то выписаны все документы, которые в этом историческом рассказе будут приведены в русских переводах.

ПИСЬМО ХАЛЕФ-ПАДИШАХА К ДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ-ХАНУ (Перевод с турецкого)

«Образец всех исламских царей, сливки чистые правоверных князей, славный отпрыск мощного древа Чингисхана, Рустем великого Татаристана, подпора веры Аллаха и его пророка, богатырь без страха и без порока, избранник судьбы и победитель злого рока, благополучнейший, могущественнейший, светлейший, Девлет-Гирей-Хан — здрав буди!

После обычного представления, с нашей стороны, надлежащих подарков, а именно нити избранного жемчугу чистосердечнейших приветствий и коро-

бочки самых отличных яхонтов доброжелательства, к которым брат наш, Хосрев-Мирза, поручаемый Вашему высокому покровительству, присоединит от нашего имени несколько ничтожных вещиц из нашего скарбу, — приступается к объяснению настоящей цели этого дружеского послания. Да будет вам известно, что дружба и привязанность наша к вам упрочена на твердом основании и не поколеблется до дня преставления. Великие услуги, оказанные вами нашему царскому дому, никогда не сотрутся с зеркала нашей памяти и, буде угодно Аллаху, благодарность наша и союз двух государств прославятся навеки между народами. Искренний друг ваш томится желанием усладить нос души своей благоуханием вечно цветущих роз вашего мудрого ума и неустрашимого сердца, но отдаленность места и морские бездны препятствуют ему каждое утро гулять в этом чудесном саду всех доблестей и добродетелей, и потому не может быть более вожделенного сведения, как известие о состоянии здоровья возлюбленного из дру-

зей. Как нам на этот раз более нечего писать и в виду не имеется никакого особенного дела, то молим Аллаха о продолжении вашей жизни до бесконечности и даровании вам бесчисленных побед над всеми врагами и неприятелями.

Раб Божий, Халеф-Мирза-Падишах.

Р. С. В нашем ничтожном гареме есть первые красавицы всех здешних народов, но они далеко не могут сравниться с теми земными гуриями, которые населяют светлый рай вашего сокровенного блаженства и которые, как мы слышали, блеском своей красоты освещают весь Крым ночью ярче весеннего солнца. Убедительнейшая просьба искреннего друга состоит в том, нельзя ли, громя неверные земли, похитить и для него не более как одну кралицу, одну которую-нибудь из дочерей короля Франкистана, и прислать ее сюда, чтобы мы также могли узреть чудное сияние лиц этих заморских волшебниц?»

Девлет-Гирей, прочитав это послание, покрутил свои длинные усы и призадумался.

— Наш друг, — сказал потом хвастливый

татарин Хосрев-Мирзе, — желает от нас такой безделицы, что мы, право, не можем отказать ему в просьбе, хоть и решились было, для отдыха, не воевать неверных нынешнею весною. На мой глаз и на мою голову! буде угодно Аллаху, мы услужим ему такую *красавицей*, что отец всех ширван-шахов в гробу вскрикнет — *Машаллах!*

Турецкое судно, привезшее Хосрев-Мирзу, должно было возвратиться в Синоп с двумя приближенными беями Халефа, которые сопровождали Хосрев-Мирзу до Багчисарая. Девлет-Гирей послал с ними ответ своему дорогому союзнику.

**ПИСЬМО ДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ-ХАНА К
ХАЛЕФ-ПАДИШАХУ
(Перевод с турецкого)**

«Солнце ясное правоверия, истребитель ереси и неверия, лев ислама, наследник Фергада и Сама, светлый царь ста племен, герой веков и времен, мудрейший, славнейший, вечно победоносный и бесконечно возлюбленный друг, Халеф-Мирза-Падишах — здрав буди! Расточив все сокровища молитв о ва-

шем благоденствии и принеся в дар, скрепляющий дружбу и согласие, все изумруды комплиментов, приступаем к ответу. Речь наша такова: драгоценное письмо ваше мы получили и поняли его сладкое, благоуханное содержание; слабое здоровье чистосердечного друга, благодаря Аллаха, находилось и находится всегда в самом возделенном состоянии; и как нам на этот раз больше нечего сказать, и в виду никакого особенного дела не имеется, то молим всевышнего о сохранении навсегда нашего союза и вашей славы на погибель всем врагам веры и на торжество ислама.

Раб Божий, Девлет-Гирей-Хан.

Р. С. Во Франкистане не один, а три короля, Лях, Немец и Англиз. О Немце, за дальностью мест, сведений теперь не имеется. Но Лях известен нам по поводу соседства, а Англиз — через купцов, которые привозят сюда сукна и перочинные ножики. Один из них живет на земле, другой на море. На море царствует нынче дева удивительной красоты, по имени Лизабет. На земле, в последнее время, король Ляхов умер,

род его прекратился, и осталась только одна сестра, наследница огромнейшего государства в мире, тоже девушка, и еще прекраснее той морской девы. Иншаллах, буде угодно Аллаху, сделав внезапное нападение на эти два государства с бесчисленною конницею татар, в одолжение возлюбленного друга, мы, при помощи предопределения, похитим обеих этих королевен и не замедлим доставить их к нему, на его царское благоусмотрение».

На следующее же утро по всему Крыму был объявлен клич — собираться всем богатырям татарским в акын, или набег, на ляхскую землю, которой красавицы всегда были в большой моде в багчисарайских гаремах. Спустя две недели туча крымцев высыпала с полуострова на Перекопскую степь и понеслась по направлению к Днепру. Переплыв эту реку близь Черного моря, татары, никем не замеченные, в несколько дней прошли обширные ногайские пустыни и, около нынешнего Тульчина, разделились на два отряда: главные силы, под начальством ханского дяди, Каплан-Гирея, удалого и опытного наезд-

ника, быстро устремились вперед, к границе Чермной Руси:^{100} Хосрев-Мирза находился в этой колонне, которая все грабила и жгла на лету; остальная часть, предводительствуемая самим ханом, подвигалась за нею в расстоянии двух переходов, подбирая добычу, награбленную первым отрядом, и посылая летучие партии вправо и влево для нападений на богатейшие замки, лежащие вне главной черты набега.

Татары нигде не встречали сопротивления. Все польское и литовское дворянство было занято интригами по случаю предстоящего выбора короля на опустевший престол Ягеллонов. Почти все европейские дворы старались возвести своих принцев на это блестящее место, сыпали деньгами и обещаниями и заготовляли для себя партии. Кроме иностранных соискателей, многие из туземных магнатов, полагаясь на родство с угасшею династией, на личную славу или на свое богатство, предлагали самих себя в кандидаты на королевский сан и собирали своих приверженцев. Крепости оставались почти без защиты, войска без полководцев, в частных замках

никого из мужчин не было дома. Гетманы, коменданты, хозяева замков и их дружины — все поскакали в ближайшие города, для избрания благоприятствующих своим партиям депутатов на сейм, который должен был решить участь королевства и дать ей нового государя. Никогда еще татары не попадали в такую удобную пору для грабительского набега. Оба отряда беспрепятственно проникали далее и далее, обременяясь добычей и пленными. Никто не дожидался появления первых передовых наездников: бросив дома и драгоценности, все в ужасе уходило за Буг и за Березину.

Следуя за своим торжествующим братом, хан узнал через жидов, которые всегда служили татарам вожатыми и покупали у них похищенные вещи, что вправо от Дубна, в обширном лесу, лежит на берегу небольшого озера старый, полу развалившийся замок, Олита, принадлежавший жене серадзского воеводы пана Альберта Олеского. По рассказам евреев, хозяин этого замка был еще дома, но не имел при себе никакой вооруженной свиты: недавно возвратясь из Лондона, он

привез с собою какого-то англичанина, который умеет делать золото, и они удалились в это глухое место, чтобы превратить весь олитский песок в драгоценный металл. Пан Олеский, говорили всезнающие евреи, хочет сам быть королем, но он не спешит на выборы депутатов, надеясь купить оптом весь избирательный сейм изготовленным втайне богатством: работа теперь идет у них жарко; они уже наделали целые горы золота, и пани Олеская торопит мужа поскорее увезти эти сокровища в Варшаву; но пан-воевода боится, что этого количества не хватит на покупку всех совестей, которые нынче очень вздорожали от соперничества между московским, австрийским и французским кандидатами, и потому он и англичанин днем и ночью трудятся в подвалах олитского замка. Этой молвы было совершенно достаточно для возбуждения жадности в татарском повелителе. Он решился сам произвести нападение на Олиту.

Своротив с главной дороги с тремя или четырьмя сотнями отборных всадников, Девлет-Гирей под руководством жидов пробрался болотами и лесами, и, среди глубокой

ночи, нагрянул с криком и визгом на беспечную Олиту. Ворота замка в несколько минут были выломаны; но испуганные жители успели между тем спастись в лес противоположным выходом. Татары погнались за ними и поймали в кустарниках несколько человек старых служителей и больных баб. Вместе с ними пряталась молодая девушка, выскочившая из постели в ночном наряде и без обуви: ноги ее были изранены; она уже не могла бежать и при появлении диких крымцев с факелами и саблями в руках упала в обморок. Один страшный татарин проворно втащил ее на свое седло и поскакал с нею обратно в замок; другие погнали перед собою захваченных слуг, и вся эта живая добыча немедленно была представлена хану. Девлет-Гирей уже успел обшарить все строения, комнаты и дворы: в подвалах действительно найдены горны, котлы, кубы, реторты, тигли, множество дивных инструментов, пережженные и еще теплые сплавы меди и свинца; в печах еще горел огонь; из кубов еще струились какие-то кислые жидкости: все доказывало, что таинственная работа производилась весьма недав-

но; но обещанного евреями золота нигде не было. Допросы, произведенные пленным, не обещали ничего блистательного: по этим показаниям, пан-воевода занимался уже четыре месяца выделкою золота с паном Джоном, англичанином в широкой шляпе и с длинною рыжею бородою; во все это время в замок не пускали никого постороннего, кроме мужиков, беспрестанно привозивших дрова для топки плавильных печей; эти горны горели днем и ночью, и пан-воевода сжег уже семь десятин лесу, но пан Джон никак не мог добиться до той степени жару, которая нужна для превращения свинца и меди в серебро и золото, и утверждал, что здешний огонь холоден. Хан не удовольствовался этим объяснением. Несчастных слуг, даже детей, открытых в замке, жадные дикари подвергли страшным мучениям: они их кололи саблями, поднимали на веревках, жгли факелами и никак не получили удовлетворительного ответа. Одна только девушка в ночном наряде, благодаря своей необыкновенной красоте, избежала этих ужасных истязаний. Это была панна Марианна, восемнадцатилетняя дочь воево-

ды-алхимика. Хан взял ее под свое покровительство.

Татары, однако ж, не верили этим неблагоприятным результатам своих допросов и пыток: они остались в Олите до утра, чтобы осмотреть ее при дневном свете. Весь следующий день рылись они под полами погребов, вскопали дворы, обыскали ближайшую часть леса и берега озера и ничего не нашли. Хан в бешенстве приказал повесить на воротах Олиты четырех жидов, которые так жестоко обманули его, ограбил замок дочиста и, взяв с собою панну Марианну, которую татары посадили на лошадь и привязали к седлу, ночью выступил в обратный путь на прежнюю дорогу.

Девлет-Гирей употребил четыре дня на эту неудачную экспедицию. Между тем Каплан-Гирей был уже в окрестностях Бреста-Литовского: но здесь неожиданно напал на него гетман Ходкевич с несколькими тысячами наскоро собранного войска. Татары были разбиты и рассеялись в разные стороны. Вся их добыча осталась в руках поляков. Каплан-Гирей проворно спасся от преследующего побе-

дителя; но ширванский принц, Хосрев-Мирза, непривычный к тактике этих набегов и не знающий местности, был мгновенно окружен серебряными гусарами и взят в плен. Девлет-Гирей, еще не вышедший из проселочных дорог, уже встретил татар, бегущих поодиночке во всех направлениях: они одногласно показывали, что Каплан-Гирей опрометчиво наткнулся на армию многочисленнее звезд на небе и песку в море и что эта страшная рать повсюду их преследует. По обычаю крымцев, хан тотчас повернул со своим отрядом, с бывшею при нем добычею и с панною Марианною, к Черному морю, пробираясь в Подольские степи неизвестными тропинками. Несчастливая пленница изнемогала от этой усиленной скачки. Татары привезли ее почти мертвою к верховью реки Балты, условленному сборному месту на случай неудачи похода и рассеяния полчища. Здесь хан остановился на пять дней, пока не собрались беглецы, спасшиеся от поражения, и этот отдых несколько восстановил ее истощенные силы. Отсюда татары шли уже короткими переходами к Перекопу. Они воротились в Крым в ав-

густе месяце.

Девлет-Гирей приказал поместить прекрасную пленницу в особенном отделении своего гарема, доставлять ей все удобства и обходиться с нею с уважением. Это ласковое обращение хищника, веселые игры и нежные утешения новых подруг и особенно надежда на скорый выкуп, для которого родители ее, конечно, готовы были пожертвовать всеми сокровищами мира, возвратили ей жизнь, бодрость и здоровье: панна Марианна зацвела краше всех роз багчисарайских, и татарский хан торжественно покручивал свои колоссальные усы, глядя на пленительное лицо и прелестный стан дочери ляха.

Однажды, после обеда, хан, сидя в киоске, ^{101} казался в необыкновенно хорошем расположении духа: стрелял из лука в проходящих жидов и христиан, дал щелчка в нос своему визирю и, наконец, кликнул к себе главного евнуха. Очевидно было, что какая-то остроумная мысль воссияла в его чингисханородной голове.

— Пезевенг-Бег! — сказал он великому стражу целомудренности своих супруг. — Же-

лаем увидеть твоё искусство. Этой дочери ляха, которую привезли мы из набега, с завтрашнего дня имеете все вы оказывать почести, присвоенные царскому сану, обращаясь с нею с таким же благоговением, как с моей собственною дочерью.

— На мой глаз и на мою голову! — отвечал жирный кызлар-ага, кланяясь в пояс. — Светлая воля вашего ханского присутствия будет исполнена во всей точности.

— Но это не все, — прервал хан, — Ты должен рассказать по секрету нескольким нашим женщинам, что из ляхской земли, то есть из Ляхистана, получены очень важные известия, а именно, что отец этой девушки единодушно избран в короли; что он идет на нас войною с бесчисленною ратью разных неверных народов, чтобы отбить свою дочь; что хан очень встревожен этим известием и хочет отослать ее к отцу, и так далее. Это должно быть так сказано и так сделано, чтобы завтра поутру все в гареме, и особенно сама девушка, были совершенно уверены, что она королева. Это не правда; но мне так нужно. Понимаешь ли?

— Что я за собака, чтоб сметь не понимать такой высокой и светлой речи! — воскликнул евнух. — Слава Аллаху, у нас есть кусок ума для пользы службы хана. Будет исполнено на славу.

Евнух удалился. Его подчиненные тотчас начали чистить, мыть и убирать коврами небольшой отдельный дворец, в котором покойная сестра хана, Бюльбюль-Ханым, жила до своего замужества: остатки этого красивого строения доныне видны в восточном углу садов гарема. Пезевенг-Бег отрядил пятьдесят молодых невольниц для прислуги, на всех лестницах и крыльцах расставил почетных евнухов и из заслуженных старух сформировал полный штат придворных сановниц, как для настоящей султанши, наименовав одних комнатными дворянками, других постельничными, хранительницами драгоценностей, инспекторшами вареньев, лейб-ключницами и так далее. К вечеру панна Марианна торжественно была переведена в новое свое жилище, в сопровождении всего женского народонаселения гарема, которому главный евнух приказал, от имени хана, отдавать

дочери ляха все почести, присвоенные принцессам из рода Чингисхана. Изумление пан-ны Марианны равнялось одной только зависти и злобе многочисленных подруг ее за-творничества: в первую минуту они не сомневались, что хан хочет на ней жениться законным порядком, и многие даже утверждали, с отчаянием, что он решился быть ей неукоризненно верным. Но пущенная в то же время сплетня об избрании и походе ее отца вскоре облетела все маленькие и большие уши таинственным шепотом и произвела совсем другое впечатление. Почти все сердца забились радостью. В числе гаремных невольниц было множество полек, русских, молдаванок, венгерок, немок: они торжествовали, будучи уверены, что пан-король Олеский завтра или послезавтра явится перед воротами гарема с огромною армией, чтобы свернуть шею этим отвратительным евнухам и освободить несчастных пленниц из заключения. Ясно было, что хан ужасно испугался пана Олеского, когда он вдруг стал оказывать такое почтение его дочери.

Все эти вести и рассуждения были сообще-

ны ночью панне Марианне за большую тайну. Она легко им поверила; честолюбивые планы отца давно были ей известны: в доме ее родителей непрерывно толковали о будущем величии пана-воеводы серадзского; пан Джон, знаменитый алхимик и в то же время великий астролог, ясно прочитал в звездах непреложный приговор судьбы о скором возведении своего друга на один из самых славных престолов Европы; и почтенная пани Олеская заранее уже разбирала с Марианною разные казусные случаи туалета и обращения, которые должны им встретиться, когда мать будет наияснейшею королевою польскою, великою княгинею литовскою, русскою, прусскою, мазовецкою, и киевскою, и прочая, и прочая, и прочая, а дочь пресветлейшею королевною. Нетрудно представить себе восторг панны Марианны: в первом пылу радости, расцеловав любезных вестниц, она обещала, как скоро папа сокрушит гаремные стены, сделать всех их своими фрейлинами в Варшаве, выдать замуж за молодых и прекрасных сенаторов и никогда не разрывать дружбы с ними. Но вскоре чувство самодостоинства

умерило эти излишества сердца, внезапно переполненного счастьем: она вдруг сделалась важною, степенною, осторожною в словах, величавою в приемах. На следующее утро панна Марианна казалась уже такою принцессою, как будто родилась на престоле царя Гороха Великого. Она старалась в походке, речах и обращениях подражать английской королеве Елисавете, при дворе которой отец ее был послом до кончины Сигизмунда-Августа и которой сама она почиталась в Лондоне любимицею. Подражание, это, как, все подражания, не совсем было чуждо уродливости, но, во всяком случае, оказываемые ей почести принимала она с сановитостью, достойною маленькой Семирамиды.^{102} Когда главный евнух рассказал об этом хану, Девлет-Гирей от удовольствия крепко ударил его плетью по спине и вскричал:

— *Аферим!* — bravo, Пезевенг-Бег!.. Дарую тебе за это сто палок, которые суждено твоим пятам получить от меня за первую глупость.

— Милосердие эфендия нашего неисчерпаемо! — с чувством воскликнул евнух, ударив челом перед ханом.

— *Аферим!* — повторял Девлет-Гирей. — Аферим... Ну, теперь сочини мне письмо к ширван-хану. Ты грамотей: напиши, знаешь, тонко, но понятно, стамбульским слогом. Я скажу тебе, в чем дело...

Хан в немногих словах объяснил евноху свою мысль. Пезевенг-Бег тотчас принялся за работу.

ПИСЬМО ДЕВЛЕТ-ГИРЕЙ-ХАНА К ХАЛЕФ-ПАДИШАХУ (Перевод с турецкого)

*«Солнце ясное правоверия, искорени-
тель ереси и неверия, лев ислама, на-
следник Фергада и Сама, и прочая.
Похвальный обычай обсыпая друг
друга подарками, будучи надежней-
шим основанием дружбы и взаимного
доверия между царями, повелевает
нам прежде всего высыпать на ковер
приязни отличнейшие перлы привет-
ствий и все сокровища молитв и ком-
плиментов наших, которые и просим
принять благосклонно. Единственная
цель этого послания есть нижеследую-
щая. Розан сердца нашего, не поливаем-
ый водою известий об ароматном*

здоровье достойнейшего друга, иссох совершенно: почему, кланяясь сказанному другу, желаем знать, в каком положении находится вышеупомянутое здоровье, дабы увядшие почки реченного розана могли снова расцвести во всей красе и привлечь к себе соловьев радости и наслаждения. А как нынче не об чем более писать, и дела никакого в виду не имеется, то желаем, чтобы Всевышний Аллах упрочил ваше могущество до дня преставления света.

Раб Божий

Девлет-Гирей-Хан

Р. С. Мы недавно воротились из победоносного похода нашего против врага веры, которого при помощи Господа Истины разбили в прах, уничтожили и искоренили совершенно. Аллах за совершение столь благого дела даровал нам несметную добычу и целую тьму невольников. Плененная при этом случае дочь короля ляхов, наследница многих государств, земель и владений, при сем прилагается. Судьба не решила нам в этот поход похитить заодно и королеву англизгов. Громя и побеждая неверные народы по всему простран-

ству вселенной, мы наконец пришли к берегу большого моря; как из расспросов оказалось, что англиз обитает за этим морем, а кораблей у нас с собой не имелось, то мы и принуждены были воротиться. Просим извинения в оплошности.

Р. S. Всякого добра у нас бездна, но в последний победоносный поход мы замучили и потеряли почти всех лошадей наших, будущей же весной намерены, во славу Аллаха, уничтожить и искоренить москвитянина. Для этого благочестивого подвига требуется самых лучших лошадей и наличных денег. Карабагские лошади славятся своей быстротою и силою. Находимся тоже в необходимости занять где-нибудь денег. Нам довольно четырех, шести, много двадцати тысяч золотых тюменов.

Р. S. Высокостепенный брат ваш Хосрев-Мирза — богатырь под пару самому Рустему. Он и многие из моих молодых еще не возвращались из похода: они еще искореняют неверных.

Р. S. В Стамбуле изобретено новое наслаждение для души: пьют дым, то

есть режут одну чудную траву в мелкие кусочки, набивают ими крошечный горшочек, зажигают и сквозь длинную палку, приставленную к горшочку, втягивают в себя дым, который, растялаясь по душе, наполняет ее блаженством раежителей, возносит выше созвездия Ориона и располагает к созерцанию девяноста девяти свойств Аллаха. Три фунта этой благословенной травы с надлежащим снаряжением для питья дыма вручены приближенному нашему послу Мурад-Бегу, который и покажет их употребление.

P. S. Парчи и термаламы персидские славятся во всем мире чудесною красотою своей отделки: здесь они очень редки, и в настоящее время по случаю войны между собачьим племенем этих еретиков, персиян, и высоким порогом оттоманского дома нельзя достать этих материй ни за какие деньги. О чем извещается.

P. S. Повторяем бесконечно вышесказанный поклон наш сказанному возлюбленнейшему другу и с неизъяснимою тоскою ожидаем известия об упомянутом бесценном здоровье, как

единственной цели этого послания».

— *Машаллах!* — воскликнул хан, когда Пезевенг-Бег прочитал ему это письмо. — Ты удивительный мастер на слог, даром что у тебя не растет борода! Хорошо! очень хорошо!.. Сам реис-эфенди великого турецкого головореза не сочинил бы ничего лучше, тоньше и докладнее.[35] *Иншаллах*, буде угодно Аллаху, мы продадим очень выгодно эту ляхскую девочку. Безмозглому ширванцу засела в голову неверная королева! Вот ему королева!.. Я прикажу Мурад-Бегу запросить с него двести карабагских аргамаков. Если ширван-шах пришлет нам все, на что мы здесь намекаем, это составит около полумиллиона пиастров. *Анасыны! бабасыны!* славно им спустим с рук нашу пленницу!.. Одна она покроет собою издержки и потери последнего похода. Отец ее не в состоянии дать мне за нее и пятой доли этой суммы: по собственным словам его служителей, он человек совершенно разорившийся, в долгах по уши, людям своим не платит жалованья и на последние остатки прежнего богатства ищет *альхимия*, «философского камня». Подай мне это письмо!

Евнух поднес хану свое остроумное сочинение, уже перебеленное на длинном и узком листе бумаги, которого средину занимало главное послание, а все поля кругом были исписаны многочисленными постскриптами, Девлет-Гирей вынул из грудного кармана своего две небольшие печати, связанные вместе и называемые хасс, или «частными царскими»; осмотрел обе с большим вниманием и указал евнуху на одну из них. Пезевенг-Бегнатер ее жирными чернилами и приложил к грамоте; потом, очистив камень и обмыв обе печати розовою водою, благоговейно представил их обратно своему повелителю, и тот снова осмотрел ту и другую с таким же вниманием. Удостоверившись, что они не подменены во время операции, хан спрятал их за пазуху. Девлет-Гирей всегда соблюдал строго эти предосторожности. Восточные не подписывают своего имени под бумагами: оно вырезано у них на печати, которую каждый тщательно хранит при себе, и приложение ее к документу равносильно собственноручной подписи. Вверить кому-нибудь свою печать все равно что дать ему всеобщий бланк; лишиться ее

посредством подмены или похищения значит лишиться своей подписи и некоторым образом личности. Чем важнее лицо и его подпись, тем необходимее подобная недоверчивость. Государи на Востоке официальную печать свою вручают верховным визирям в знак неограниченного их полномочия, но с малюю, или «частною», они никогда не расстаются. Все несчастья того, к кому Девлет-Гирей отправлял свое письмо, произошли именно от несоблюдения этого коренного правила.

Когда печать обсохла и письмо было сложено и завернуто в парчу по всем правилам этикета, хан с этим замысловатым узелком в руке вышел из гарема в диванную залу, где крымские султаны, визири, беги и мирзы уже ожидали его светлого присутствия. Заняв привычное место на софе, он подал любимцу своему, Мурад-Бегу, знак подойти поближе и, объяснив тайну узелка, велел приготовиться к отъезду с приличною свитою мирз и бегов. Главная статья особенного наставления послу состояла в том, чтобы он, по испытанному усердию к пользам своего высокого благодетеля, старался содрать с его друга и союзника

как можно более для хана и как можно менее для себя. Что касается до издержек на путешествие, то Девлет-Гирей, по своему ханскому великодушию, не хотел даже и входить в эти мелочные расчеты: в ознаменование своего отличного благоволения он позволял Мурад-Бегу, слывшему ужасным скупцом, нанять на свой собственный счет венецианское судно отсюда до Синопа и взять на себя все расходы по посольству с правом вознаграждать себя за этот маленький ущерб своему карману, хоть вдесятеро и более, грабежом в земле неверных при первом набеге. Хан требовал от своего любимца только иметь неусыпное смотрение, чтобы пленница во все путешествие оставалась в полной уверенности, будто ее отвозят в Польшу, к батюшке, к королю, и чтобы все члены и слуги посольства говорили в Шемахе о Хосрев-Мирзе и о прочем по точному содержанию грамоты, которой копию главный евнух вручит послу вместе с мнимою королевною и ее прислугою. Все остальное предоставлялось сто благо-разумному усмотрению.

Несчастный Мурад-Бег был поражен как

громом этим отличным доказательством все- милостивейшей доверенности искусного крымского грабителя. С отчаянием в душе воскликнул он: «На мой глаз и на мою голову!» — и с бесчисленными *анасыны!* *бабасыны!* занялся мерами к исполнению столь лестного поручения. В двадцать дней все было готово. Панна Марианна пролила несколько слез, прощаясь с крымскими приятельницами, которые, со своей стороны, горько, горячо и долго плакали о том, что она их оставляет до прибытия папеньки в Багчисарай с многочисленною армиею молодых «серебряных гусаров». От Синопа до Шемахи посольство должно было следовать сухим путем. Высокую путешественницу, закутанную с ног до головы, несли в богатом *тахтреване*. Мурад принимал особенное попечение об ее удобствах, спокойствии и здоровье. Но если бы даже предусмотрительность хана и не поселила в ней животворной надежды на скорое соединение с родными, то уже самая необходимость явиться в Варшаве вполне прекрасною и очаровательною принцессою достаточно была для поддержания ее прелестей в надле-

жащем блеске и совершенной нежности. В самом деле, панна Марианна во всю дорогу соблюдала невероятные меры предосторожности к сохранению своей красоты, и когда вдруг ввели ее в Гюлистан, роскошный загородный дворец ширван-шаха, когда Мурад-Бег, с приличною речью, сдал ее в исправности, вместе с письмом, табаком и трубкою, новому обладателю, когда, наконец, по удалении всех мужчин евнухи церемониально сняли с нее покрывало, у Халеф-Падишаха закружилась голова и в глазах заиграли все огни радуги: он должен был сознаться в душе, что никогда еще Ширван и, следовательно, вся Азия, с тех пор, как они существуют, не видела такой белой, розовой, чудесной гурии. Он не мог говорить. Одни только *машаллах* и *аферим* вырывались из его разинутого рта, в который он поминутно клал палец удивления. В восторге своем он пожаловал на весь гарем новые платья, приказал удвоить содержание посольства, одарил всех его членов, Мурад-Бега осыпал своими щедротами и для его хана назначил к выдаче лошадей, материй и денежной ссуды гораздо более, нежели

сколько сметливый хищник просил и ожидал. В первые трое суток главный евнух шемахинского гарема, Ахмак-Ага, человек известный по своей дальновидности, крепко опасался, что его мудрый падишах с ума сойдет от радости.

Новой гостье гарема отвели самое великолепное его отделение. Почести оказывали ей еще **большие**, чем в Багчисарае. Панна Марианна не постигала, что это значит и где она находится. Но Халеф-Падишах хотел доказать ей, что он *дюнья-и билир* — знает свет и умеет прилично обходиться с особами ее сана.

Между тем в Шемахе и ее окрестностях быстро распространилась молва, что крымский хан подарил гарему падишаха дочь короля всех франков, царевну неслыханной и невообразимой красоты. Многие утверждали, что ночью, когда она выходит в сад, чтобы подышать свежим воздухом, весь Гюлистан бывает освещен сиянием ее лица, как майским солнцем.

— Надо сказать по совести, — говорили шемахинцы, — что такого счастливого государя, как наш падишах, и такого благословенного

государства, как Ширван, нет во всей поднебесной. Пусть же этот сожженный отец, шах Тахмасп, покажет у себя что-нибудь подобное!.. А с этою красавицею в своем гареме наше убежище мира может осквернить на славу гробницы всех дедов и прадедов его!.. может делать на них все, что его светлой душе угодно!..

С этим мнением своих подданных вполне был согласен и сам Халеф-Падишах. Он почитал себя славнейшим государем во всей Азии; один он мог показать в своем гареме дочь короля Франкистана, древо всех земных прелестей, торжественно пересаженное на мусульманскую землю, совершеннейшую жемчужину моря неверия, нанизанную во славу Аллаха и его пророка на нить радостей магометанского властелина... Он уже был страстно влюблен в нее.

Обладание такою девушкою казалось Халефу верхом чести и блаженства, но, как человек благородный, великодушный, он желал сперва заслужить ее любовь и, для собственного счастья, пользоваться только теми правами над нею, которые добровольно уступает

сердце женщины, погруженное в очарование. Затруднение состояло только в том, как выразить царевне франков свои трогательные чувства. По-персидски она еще не знала, а кратковременное пребывание в багчисарайском гареме не могло ей сообщить глубоких сведений в анакреонтических тонкостях турецкого языка. Халеф-Падишах должен был прибегнуть к мимике. Он для почину позволил себе со своей *дильбер*, со своей «сердцепохитительницею» несколько безмолвных нежностей в ширванском вкусе, но они возбудили в ней страшное негодование: панна Марианна отразила их с таким великолепным достоинством, что азиатский падишах, вовсе непривычный к подобной гордости в женщине, был уничтожен стыдом за свое невежественное обращение со светлейшею королевою неверных. Халеф понял, что на первый случай, кроме почтительности, угождений и вздохов, ему не остается никакого другого пути к ее высокому сердцу, и решился следовать этим путем неуклонно, впредь до усмотрения.

Но это обстоятельство раскрыло глаза бес-

печной панне Марианне. Несмотря на ограниченность своих познаний в восточных языках, бедная девушка вскоре поняла из разговоров с раболепными прислужницами, что она подарена ширванскому падишаху и что татары завезли ее на край света, противоположный ее отечеству. Тогда слезы и отчаяние заступили место лучезарных мечт надежды. Но, видя ее бледною и печальною, Халеф поспешил усугубить свою нежную почтительность и тонкие внимания к несчастной «сердцепохитительнице». Печаль проходит так же скоро, как счастье. Во мраке своего горя панна Марианна начала примечать этого великодушного азиатца: он был молод, красив и особенно такой *гржечный!* (*galant*)... Его изысканная восточная вежливость очень понравилась молодой польке. Борода ширванского падишаха нисколько не пугала панны Марианны; отличнейшие кавалеры и почти все государи в Европе носили еще тогда это природное, хоть и совершенно бесполезное прибавление к мужскому лицу. Он даже казался ей прекрасно воспитанным, хоть и не говорил ни слова по-итальянски, на языке модном в

тогдашнем образованном свете. Притом он был король: следовательно, панна Олеская не унижала себя, даря иногда этого человека ласковой улыбкою. Ей уже на роду было написано рано или поздно выйти замуж за какого-нибудь короля: за этого или за другого, конец концов, оно все равно, лишь бы он был король, а она царствовала!.. так уж скорей за этого, который молод, влюблен и мало знает женщин! из него можно все сделать!.. Все эти соображения и сверх того невозможность изменить судьбу свою мало-помалу примирили пленницу с ее настоящим положением. Чем больше знакомилась она с персидским языком, тем сильнее действовали на ее воображение рассказы о славе, геройстве, уме, деятельности и прекрасном сердце владетеля этой волшебной страны. Она душевно любила его. Но панна Марианна недаром была европейка: прежде чем осчастливить Халефа благосклонным приемом его сердца, она решилась пройти с ним полный курс западного кокетства, порядком помучить этого восточного тирана женщин и приучить его к повиновению. Его страстная любовь и, как каза-

лось, беспредельная преданность обещали ей полный успех.

В самом деле, не прошло десяти месяцев от приезда пленницы в Шемаху, как Халеф, влюбленный до безумия, уже совершенно был в ее власти. Ширван-шах сделался игрушкой панны Марианны. Она управляла им полновластно. Халеф давно уже предлагал ей свою руку и свое царство, но она искусно отклоняла до времени все его предложения, чтобы сдаться не иначе как на самых выгодных условиях. Наконец она объявила эти условия: во-первых, развестись со всеми женами и торжественно вступить в законный брак с нею, как с дочерью могущественного государя, обеспечив ей свободу вероисповедания; во-вторых, со дня брака, впредь на будущее время, не иметь более никакой другой жены, кроме нее; в-третьих, не держать *ода-лык* и не позволять себе ни малейшей неверности, и, наконец, в пределах гарема предоставить ей неограниченную власть и подчинить всех ее указу. Что касается до внешних дел, то панна Марианна, принимая со дня брака, в угождение своему возлюбленному су-

пругу, имя *Фириште-Ханым*, то есть «Ангела-государыни», обещает ему не вмешиваться в государственное управление, но позволяет прибегать во всем к своему совету.

Из вышеписанного видно, что ловкая дочка серадзского воеводы, следуя коренным правам своей родины, хотела из восточного деспота сделать польского мужа, другими словами, безгласного раба своей супруги. Многие из этих условий, конечно, казались азиатскому супругу очень тягостными и противными здравой логике; но он был так влюблен, так счастлив, так восторжен, что принял их все до одного, не только без возражения, но даже с радостью. Халеф просил только позволить согласить все это по возможности с обычаями и понятиями страны, дать два месяца сроку на расчеты с прежними женами и фаворитками и на приготовления к празднеству.

Это самоотвержение ширванского падишаха не совсем еще было бы понятно, если бы один из закавказских летописцев не сохранил нам известия о том, что после любви сильнее всего подействовало на решимость

Халефа. Незадолго до того времени в Шемахе было получено через армянских купцов письмо из европейской Турции, в котором упоминалось, что брат ширван-шаха, Хосрев-Мирза, находится в плену у короля ляхов. Один из ширванских бегов, находившийся в свите этого принца, был вместе с ним взят поляками, но успел ночью ускользнуть из когтей неверных и после тысячи приключений добрался до Аккермана, турецкого города на Днестре. Находясь там в крайней нищете и без средств возвратиться на родину, несчастный бег писал к своим родным о высылке ему денег, присовокупляя, что и храбрый их царевич, Мирза-Хосрев, по милости этих нечестивых крымских собак разделяет ту же участь, но тот находится еще в худшем положении: король ляхов содержит его при своем дворе в тяжком плену и крайнем поругании; мирза принужден каждый день, поутру и вечером, целовать руки всем женщинам королевского гарема, не исключая даже самых гадких старух; его заставляют, для потехи шаха неверных, танцевать публично во дворце с девушками, у которых лицо, плечи и грудь полны,

как полная луна; кофе дают ему не чистое, а пополам с молоком, и он, бедняжка, должен наравне со всеми пить вино, потому что в том отверженном крае вода неизвестна. Родные бега сообщили это письмо визирю, который представил его падишаху. Халеф заплакал о горестной судьбе своего брата. Несколько дней не выходил он из гарема, предаваясь там глубокой печали: более всего огорчало его неслыханное унижение, до которого был доведен принц благородного рода ширван-шахов, обреченный неверными целовать женщинам руки и плясать с такими созданиями! Любовь к брату и личная гордость побуждали его озаботиться облегчением участи угнетенного пленника. Женясь на дочери свирепого короля ляхов, он надеялся прекратить эти поругания при помощи родственных отношений и хотел тотчас после свадьбы отправить к нему посольство. По мнению летописца, именно это и заставило Халефа поспешно согласиться на все условия панны Марианны, хотя автор и не отвергает, что страстная любовь падишаха к прекрасной дочери неверных много участвовала в этом до-

стопамятном происшествии.

Панна Марианна согласилась на благоразумные требования Халефа и, впервые поцеловав своего владыку, заиграла ему на испанской гитаре, найденной в гареме крымского хана. Халеф расплакался. Восточные плачут беспрестанно.

Привести, однако ж, в исполнение все ее условия было довольно трудно. Следовало опасаться, с одной стороны, формального восстания в гареме, с другой, негодования многочисленного сословия ханжей в народе. Халеф прежде всего сообщил свои намерения главному евнуху и верховному визирю, поручая тому искусно приготовить умы в гареме к великим преобразованиям, другому поправить общее мнение в городе к постижению столь лестного для всего Ширвана события, каково бракосочетание непобедимого падишаха ширванского с единственною дочерью могущественного короля всего Франкистана. Ахмак-Ага, сообразив дело на месте, как человек дальновидный, предложил весьма простое средство к отвращению взрыва в гареме: выдать жен за визирей, а невольниц, которых

считалось до осьми сот, за богатейших мирз и бегов, на правах панны Марианны, а именно с преимуществом для каждой из них считаться полною хозяйкою в доме своего мужа под особенным покровительством государя, которому они могут во всякое время приносить жалобы на тиранство своих супругов. Эта мера чрезвычайно понравилась Халефу, и он сам лично занялся составлением разрядных списков ширванских бояр и богачей, между тем как главный евнух сочинял аналитический указатель всех жительниц гарема, с распределением их на классы, по возрасту, красоте и характеру, чтобы падишах в своем правосудии мог наделить каждого из своих служителей женою по его заслугам. Труд был исполинский; дело требовало самых тонких соображений, и Халеф-Падишах, говорит ширванская летопись, проработал со своим главным евнухом круглый лунный месяц, пока привел в ясность все сокровища своего гарема и совестливо устроил судьбу каждой и каждого.

Визирь доносил, что известие о скором бракосочетании падишаха с королевною

неверных принимается довольно хорошо в народе, который вообще опечален несчастьем Хосрев-Мирзы. Халеф пожелал сам удостовериться в расположении чувств народных. Усердно стараясь повсюду искоренять злоупотребления, он, по примеру знаменитейших восточных государей переодетый купцом, ремесленником, поселянином, муллою или писцом, часто вмешивался в разговоры своих подданных на базарах, в банях, кофейнях и других публичных местах, прислушивался, узнавал многое, помогал несчастным, исправлял несправедливости. Списки еще не совсем были окончены, как однажды поутру, нарядясь в купеческое платье, нарочно для него сшитое накануне, он вышел из сераля тайною дверью и отправился в город. Побывав на нескольких базарах и посидев в двух или трех кофейнях, зашел он в одну из самых модных бань, где всегда рассказывались любопытные анекдоты и отдыхающие после паров посетители любили пускаться в политику. В уборной, где они раздевались и одевались, висело и лежало множество платьев, и какой-то человек с загорелым лицом, длинною рыжею

бородою, широким ртом, огромным носом и серо-зелеными глазами навывкате скидал с себя последние статьи своей неизящной одежды. Халеф не обращал на него внимания. Он проворно разделся, свернул свое платье и, положив его отдельно от других в углу, вошел в баню. Незнакомец вошел вслед за ним, но они тотчас потеряли друг друга из виду в толпе.

Шах недолго парился в бане, но человек, вошедший с ним вместе, кажется, еще менее был расположен впивать в себя блаженство высокой температуры. Он только окатил себя водою и вышел в сушильню. Служители хотели начать длинную операцию пеленания, прохлаждения и обсушивания его тела, но он сказал, что с ним сделалось дурно в бане, что он вовсе не парился и желает поскорее выйти на свежий воздух. Служители отвортились. Он пошел в уборную, и прямо к углу, в котором Халеф поместил свое платье; преспокойно облекся в его рубашку и шаровары, надел его кабу и черную баранью шапку, опоясался его шалью, накинул на себя его новую ферязь и, вынув какой-то кожаный мешочек из свое-

го старого платья, исчез на улице.

Спустя полчаса Халеф тоже вошел в сушильню. Это была обширная комната с прекрасным куполом. На веревках, протянутых в разных направлениях, сушилось банное белье. Вокруг стен высокие эстрады, устланные коврами, заняты были разбухшими в пару рабами Аллаха. Служители, повязав им голову белым платком; и обсушив тело, завертывали их в простыни, и в этом наряде честное собрание, уложенное в подобающем порядке на возвышениях и совершенно недвижимое в своем сладостном покое, походило на ряды мертвецов в саванах в подземельях старинных западных церквей; никто не шевелился; никто не произносил ни одного слова; только все важно пыхтели и наслаждались, что показывает, какие изящные нравы господствовали тогда в Шемахе и в каком хорошем обществе лежал ее падишах, закутанный и завязанный в простыни!

Люди высшего тона, накинув на себя род белого бумажного пеньюара, из этой залы переходили в другую, более великолепную, убранную тюфяками и подушками под шел-

ком и, разлегшись на них, пили шербет, кофе и предавались удовольствиям беседы. Халеф из сушильни отправился туда. Заняв одно из лучших мест, он учтиво приветствовал своих соседей, велел подать шербету и варенье и сделал несколько замечаний о погоде. Все были того мнения, что она прекрасна и продолжится в том же виде до глубокой осени, что, конечно, должно приписать особенному и испытанному благополучию падишаха: он, как слышно, вступает в брак с дочерью падишаха всего Франкистана и готовит для народа большие увеселения. Только что завязался этот интересный разговор, как вдруг сильный подземный удар поколебал всю залу. Свод купола лопнул, на собеседников посыпался песок; зала и смежные комнаты, в которых произошло то же самое несчастье, наполнились густыми облаками пыли. Два быстрых последующих удара еще опаснее потрясли здание: в разных частях его слышался грохот падающих камней и сосудов. «Землетрясение! землетрясение!» — раздались голоса отовсюду. В самом деле, это было достопамятное землетрясение, превратившее значительную часть Старой

Шемахи в развалины, которые видны и доныне. Нежившиеся в простынях соскочили с эстрады; те, которые были в бане, выбежали оттуда в страшном испуге и все вместе бросились в уборную одеваться и уходить под открытое небо. Каждый торопливо хватал свои вещи, накидывал их на себя как ни попало и выбежал на улицу. Долго в этой суматохе Халеф отыскивал свое новое платье: его нигде не было! Полагая, что кто-нибудь похитил его по ошибке, со страху, он, скрепя сердце, оделся в старую, изношенную одежду, которую благосклонно оставили ему в углу, и последний вышел из бань. Эта одежда породила в нем отвращение: но где отыскать похитителя!.. Да, собственно, и не стоило труда! Это инкогнито было еще лучше прежнего.

Похититель между тем, оставив бани, скорым шагом отправился в другую часть города, чтобы не встретиться с хозяином своего нового наряда. Не должно думать, чтобы это был вор. Он, как мы увидим впоследствии, также имел нужду в инкогнито и поменялся костюмом просто для личной своей безопасности. Это был, напротив, один из знаменитейших

людей шестнадцатого столетия, человек, пользовавшийся дружбою многих государей и известный своими познаниями, опытами, удивительными открытиями, которых тайна, к сожалению, погибла с ним вместе, прославив его у современников колдуном и чернокнижником. Обстоятельства заставили его прибегнуть к поступку, которым бы он гнушался при всяком другом случае: но дело шло об его жизни; он спасался от преследователей и должен был поскорее укрыться под чужим платьем.

Пробежав несколько базаров и улиц, Сычан-Бег — это имя носил он в Шемахе — увидел небольшую цирюльню и зашел в нее, чтобы побрить себе голову и довершить свое преобразование.

Бородобрей, Фузул-Ага, болтун, известный в целом околотке, занят был бритьем одной из важнейших голов своего квартала и, не прерывая работы, сказал новому посетителю:

— Свет глаз моих!.. добро пожаловать!.. посидите немножко, отдохните!.. Я сейчас кончу и примусь за вашу благородную голову!.. Странные дела происходят на божьем све-

те! — продолжал он, утирая голову пациента мокрым полотенцем. — Но хоть мы сегодня и испытали большое несчастье, хоть град, говорят, побил за городом все посеvy и сады, однако ж вы пришли сюда в самый благополучный час для бритья... Ваш раб немножко знает толк в звездах и сегодня утром смотрел на небо с астробией: вся эта неделя будет чрезвычайно благоприятна для истребления волос на человеческих головах, и бритье их в эту минуту удивительно здорово для тела. Слава Аллаху, мы тоже смекаем тонкости вещей!.. Да умножится сила нашего падишаха, в его государстве таки водятся астрологи. Что и говорить, Шемаха — благословенное место! В Ширване всегда процветали науки...

Теперь эта голова была отделана по всем правилам искусства. Фузул-Ага учтиво простился со своим знакомцем и на его стул посадил посетителя в новом платье. Ловко сняв с него шапку и бросив ее на прилавок, лишь только незнакомая голова предстала перед глазами ученого бородобрея, он пришел в восторг.

— *Машаллах!* — вскричал он. — *Машал-*

лах, какую удивительную голову привела к нам судьба сегодня!.. Мудреца узнаешь, прежде чем он заговорит: осла узнаешь, прежде чем он заревет. Умные люди тотчас узнают друг друга: дураки, напротив, полагают, будто все люди так же глупы, как они сами...

Фузул-Ага начал проворно натирать куском мокрого мыла эту удивительную голову, которая, как ему казалось, уже две недели была не брита. Работая над нею, он все болтал, восклицал, отпускал комплименты, которые Сычан-Бег слушал в глубоком безмолвии. У прилавка, куда он бросил его баранью шапку, давно уже стоял один молодой мастеровой, ожидая, пока хозяин отбреет господ поважнее его и благоволит приступить к нему. Этот мастеровой, по странному случаю, был работник тайного Халефова портного, который изготавливал костюмы для всех его прогулок инкогнито. Шапка, лежащая на прилавке, привлекла к себе внимание парня: точно такую же шил он вчера по приказанию своего мастера!.. Он взял шапку в руки, с любопытством, даже с некоторым страхом, осмотрел

ее подкладку и маковку, потом взглянул на Сычан-Бега, потом опять на шапку, еще раз, и еще пристальнее осмотрел кусок шалевой материи, пришитый на маковке, и с благоговением обратно положил на прилавок. Явное беспокойство овладело любопытным работником: он то брал, то назад клал шапку, всматривался в ее швы и в платье незнакомца, здесь узнавал все свои стежки, там материи, над которыми работали его товарищи, и все удивлялся. Продолжая обзор своего произведения, на дне его, в тайном кармане, скрытом в подкладке, он нащупал что-то твердое и вынул: это были две маленькие печати, на которых он увидел царские вензели и без труда разобрал надпись: *Раб Божий, Халеф-Мирза-Падишах*. Испугавшись своей дерзости, он поскорее засунул печати обратно в тот же карман, положил шапку на место и, дрожа от страха, отошел в угол. Он не знал своего государя в лицо, но знал очень хорошо, что ширван-шах часто гуляет по городу переодетый, и после этих печатей нельзя было сомневаться в личном его присутствии в лавке.

Работник сообщил о своем открытии дру-

гому мастеровому, который, спустя немного, вошел в цирюльню. Тот, со страху, выбежал на улицу и стал предостерегать проходящих, что падишах — тут, в этой лавке, что он переодет и Фузул-Ага бреет ему голову и рассказывает всю подноготную квартала. Нельзя себе представить действия, произведенного этим известием. Никакой удар землетрясения не взволновал бы так сильно и быстро целой части города. Халеф был обожаем своими подданными. Огромная толпа народу собралась перед лавкою Фузул-Аги и загородила улицу прохожим. Люди толкались, чтобы сквозь масляную бумагу окошка или в щелку дверного замка взглянуть на своего государя. Наконец, в ту самую минуту, как бородобрей оканчивал отделку головы и Сычан-Бег сообщал в уме, что сделать со своей рыжею бородою, велеть ли выкрасить ее в черный цвет или сбрить до основания, замок не выдержал напора, дверь распахнулась, и народ ввалился в цирюльню.

— Что это значит? чего хотят эти люди? — вскричал незнакомец.

— Да здравствует наш падишах долгие ле-

та! да умножится его сила! да продлится его царство до дня представления! — закричали передовые, и вся улица отвечала им громовым возгласом.

— Кого вы приветствуете? — спросил изумленный Сычан-Бег. — Кого здесь ищете? Чего хотите?

— Мы рабы падишаха, убежища мира! — отвечали голоса в толпе. — Наши головы — выкуп за его голову! Мы ваши жертвы!

— Что мы за собаки, чтобы не знать своей «тени Аллаха на земле»? — присовокупили иные.

— Вы сумасшедшие! — возразил Сычан-Бег. — Что вы вздумали насмехаться над моей бородою? Да у вас мозг превратился в грязь!.. Я не падишах. Ни я, ни мой отец, ни дед, ни прадед никогда не бывали царями. Я — сын честного купца, и сам — купец. За что вы стали чествовать меня тенью Аллаха и убежищем мира?

Между тем работник портного шепнул бородобрею, что это переодетый ширван-шах: эту шапку сам он вчера сработал для падишаха; платье сшито у них для него же, и в шапке

находятся даже частные царские печати. Бородобрей повалился Сычан-Бегу в ноги.

— Да не уменьшится никогда ваша тень! Да блаженствуют в ней навеки рабы ваши! *Машаллах!* Видите ли, падишах, какой это был благополучный час, в который вы удостоили своего пришествия убогое жилище Фузул-Аги: голова раба вашего вдруг стала выше вершины Эльбурза от чести, славы и знаменитости, которые вы внесли в эту лавку. Слава Аллаху, звезды не врут! Нельзя отвергать их влияния на дела житейские! Они-то направили сюда священные стопы нашего убежища мира, и по их-то указаниям слабая рука ничтожнейшего из бородобреев безопасно водила бритву по ароматной поверхности его высочайшей головы. Простите промахи и погрешности раба вашего... Ну, *валлах! биллях!* ей-ей, он узнал с первого взгляда, что это за голова! Слава Аллаху, раб ваш производит до пятидесяти голов каждый Божий день, а еще никогда не видал такой удивительной!.. такой светлой, тонкой, дальновидной, глубоко-мысленной!.. такой мудрой, высокой, лучезарной...

— Перестань есть грязь! — с гневом закричал Сычан-Бег, который начинал уже угадывать драгоценность своего приобретения, но еще не смел принять на себя его последствий или не совсем был уверен в его подлинности. — Перестань! — повторил он важно. — С чего вы взяли, будто я падишах? Какие имее-те доказательства?.. Говорите, люди! объяс-няйтесь!

— Да как же! — воскликнул работник портного: — разве раб ваш не видал частных царских печатей за подкладкой этой шапки?.. Простите его дерзновенное любопытство! Ему только хотелось посмотреть свою работу. Раб ваш учится у вашего тайного портного. Эту шапку он только вчера кончил по заказу падишаха. Да разве и это платье не у нас сши-то на его светлую особу?.. Слава Аллаху, мы узнаем нашу работу за три дня пути впотьмах!.. Кто смеет надеть ее и носить при себе частные царские печати, кроме самого падишаха?.. Простите!.. мы ваши жертвы!

Сычан-Бег засунул руку в шапку и действительно нашел на дне ее две прекрасные небольшие печати с царскими вензелями, ко-

торые на Востоке бывают начертаны на всех казенных зданиях и на всех вещах, принадлежащих царствующему лицу. Вид этих печатей мгновенно обнаружил преследуемому страннику всю опасность его нового положения и всю пользу, которую можно извлечь из такой находки. В самом деле, как теперь уклониться от толпы, которая приветствует в нем своего государя? Она будет следовать за ним повсюду, и он сделается предметом внимания всего города. Ширван-шах, со своей стороны, непременно велит отыскивать человека, который украл его платье и его печати, и все тотчас укажут на бедного Сычан-Бега: его поймают и предадут казни как вора. Не осталось другого средства для спасения своей головы от новой гибели, как принять на себя отважно звание, пожалованное толпою по ошибке, и защититься его властью и от прежних и новых преследователей. И если уж преобразовать свою наружность так, чтобы никто не мог и не смел в новом лице узнать прежнего человека, так уж лучше преобразовать себя в полновластного шаха, чем в купца, зависящего от произвола всякого поли-

дейского дароги. Первый шаг был сделан благополучно: платье — это человек; печати — это его подлинность: только довершить начатое преобразование подделкою черт лица, бездельною операцией, известною Сычан-Бегу, которому известны были все тайны природы, науки и искусства. Он решился; и, приняв величественный вид, грозно сказал народу:

— Кто смеет узнавать падишаха, когда он выходит в город переодетым по делам Аллаха и государства?.. Оставьте его сейчас в покое! Ступайте каждый в свою сторону и не тревожьте вашего государя.

Народ не трогался с места.

— Пошли по домам, негодяи! — закричал он толпе во все горло. — И никто не смей выходить на улицу до самого вечера! Приказ падишаха!.. Почитай каждый его крепкое слово!

Толпа мигом рассеялась. Сычан-Бег, ощутив у себя в кармане деньги, вынул одну золотую монету, бросил ее бородобрею и важно вышел на улицу, опустевшую как по мановению волшебника. Он знал в этой части города одну развалину, с давно забытым и одичавшим садом, куда никто не заходил, кроме со-

бак и детей за птицами, и поворотил прямо в ту сторону. Он шел скоро, не оглядываясь, и только на минуту остановился у одной из лавок, торгующих посудой, чтобы купить себе глиняную чашку. Наконец, вот он в саду, у небольшого пруда, почти превратившегося в болото. Кругом никого нет. Он зачерпывает воды чашкой, садится на пенек и вынимает из кармана свой кожаный мешочек, в котором находились ножик, белый, прозрачный выпуклый камень, два или три мелких инструмента, книжечка, писанная загадочными знаками, употреблявшимися тогда в медицине, алхимии и других сокровенных науках, и несколько бумажных пачек с порошками и зельями. Высыпав на колени все содержание своего мешочка, он заглянул в таинственную рукопись; выбрал три пачки; взял из каждой по щепотке порошков; бросил все это в чашку и смешал; потом взял белый камень и долго прислушивался к нему и смотрел в него перед солнцем; потом, спрятав камень, книжку, инструменты и порошки в мешочек, обратился к востоку и стал водить или резать указательным пальцем по лицу, как будто рисуя

что-то на нем, лепя или выдавливая фигуры; наконец вдруг нагнулся к чашке, помыл лицо приготовленным раствором и чашку бросил в пруд. О чудо! черты Сычан-Бега совершенно изменились. Он стал как две капли воды похож на того, чье уже носил платье: они поменялись лицами!..

Я говорю «о чудо!» — потому что нынче ничему не верят, готовы назвать этот факт чудом и, пожалуй, не захотят даже и ему верить. Между тем теперь уже не подлежит сомнению, что вместе с сокровенными знаниями средних веков, которые новейшая наука опрометчиво отвергла, попрала и истребила в своей безрассудной гордости, погибли многие удивительные открытия человечества, многие бесценные тайны природы, известные тогда людям, посвятившим всю жизнь неусыпному ее изучению. В том числе погиб и секрет изменять природные черты своего лица — мгновенно и без всякой боли срывать с человека его живую маску и переносить ее на другую голову, словом, «меняться лицами», как тогда говорили. Что такое искусство действительно существовало и было извест-

но многим посвященным в сокровенное знание, свидетели тому — пятнадцать веков истории, — весь Запад и весь Восток, — показания ученейших и самых почтенных людей древности и средних веков. Если этого мало, если нужны материальные доказательства, то Ширван — у нас перед глазами; Ширван, страшное и печальное доказательство той истины, что люди некогда знали способы преобразования черт лица по данному образцу. Что можно сказать против Ширвана!.. У двух человек лица взаимно преобразовались: событие совершилось при глазах целого народа; вследствие этого события славная династия ширван-шахов опрокинута, и сильное, знаменитое государство пало перед лицом всего Кавказа, всей Азии, всего света: против такого огромного факта можно ли делать возражения?.. Да! искусство, о котором мы говорим, существовало: это положительно. На Западе оно называлось *defaciatio*; на Востоке — *теркруй-бази*. Это искусство теперь потеряно, это также несомненно. В одном только можно сомневаться: достигнем ли мы опять до полного познания этого великого секрета, хотя но-

вейшая наука старается всеми силами восстановить его? Вы не верите?.. Да что же делает нынешняя хирургия, налепляя нам на лица живые носы, уши, губы, подбородки какой угодно формы и величины, если не преобразования черт лица? У Ивана и Петра отвалились носы и губы: нынешняя хирургия, охотно восстанавливающая этого рода потери, берет, если заплатишь, дать Ивану точно такой нос и такие губы, какие были у Петра, и обратно. Разве это не то же искусство «меняться лицами»? Вся разница в том, что теперь это делается из живого мяса, с помощью ножа и форм, неловко, неполно, с болью, с мучениями и часто без успеха, а тогда, посредством неизвестных нам нынче процессов и препаратов, делалось вдруг, мигом, совершенно и так неприметно, что не успеешь, бывало, оглянуться, как уже у тебя похитили все лицо, с носом, губами, щеками, подбородком и бородою, и приставили другое.

С Халеф-Падишахом случилось то же самое. Когда Сычан-Бег растворил порошки в саду возле пруда, Халеф выходил из бань на улицу. Едва прошел он двести или триста ша-

гов, как ощутил на лице своем неприятное щекотание, колотье, давление: в это время Сычан-Бег водил и резал пальцем по своему лицу, как будто чертил новый план его. Лишь только тот умылся раствором, у Халефа закружилась голова: ему показалось, будто старая метла быстро летит в воздухе и спускается прямо на него; он уклонился вправо — метла поворотила в ту же сторону и проворно впи-лась ему в подбородок. Это, наверное, была длинная рыжая борода Сычан-Бега. В то же время испуганный ширван-хан почувствовал, что нос у него растет страшным образом и рот раскрывается почти до ушей. Но это не продолжалось и двух секунд: операция в саду была кончена, и Халеф уже несколько не походил на себя, а являл верный слепок безоб-разной маски Сычан-Бега, которого носил и платье. Как он не мог видеть своего лица и на улицах господствовала страшная суматоха по поводу землетрясения, то вскоре и забыл неприятные ощущения, испытанные во вре-мя внезапного и быстрого переворота в его физиономии. Одному только он удивлялся: отчего борода у него вдруг так вытянулась и

полиняла?.. Прежде щеголял он красивою черною бородою, в два дюйма с половиною, а теперь у него болталась на груди гадкая, рыжая борода в пол-аршина!.. Ну, да время ли думать о бороде, когда дома валяются, народ кричит и волнуется, раздавленные стонут, улицы загромождены мертвыми и больными? Полагая, что у него рябит в глазах, Халеф оставил бороду в стороне и пошел далее.

Мы встретимся с ним в другом месте. Теперь нужно поскорее воротиться к Сычан-Бегу, от которого зависит судьба ширванского царства.

В одном из боковых карманов похищенной Халефовой кабы было маленькое зеркальцо, которое восточные почти всегда носят с собою. Сычан-Бег, изучивший уже всю статистику карманов своего облачения, прибегнул к этому зеркальцу, чтобы удостовериться, в какой степени новое его лицо похоже на лицо человека, с которым он раздевался в уборной публичных бань. Сходство показалось ему разительным. Он из саду отправился прямо во дворец. Землетрясение случилось в то время, когда он входил в сад. Там

оно было нечувствительно.

Сычан-Бег мог опасаться, не опередил ли его Халеф возвращением своим в сераль, и это обстоятельство сильно тревожило поддельного падишаха: но, по всем его соображениям, Халеф еще должен был делать кейф в бане. Подходя к главным воротам сераля, Сычан-Бег рассудил, что неприлично и невозможно переодетому государю вступать во дворец этим входом и что Халеф, вероятно, отправился в город другим путем. Он повернул в сторону, пошел вдоль окружной стены сераля и вскоре открыл калитку, служившую тайным выходом. Тотчас можно было заметить, что Халеф еще не возвращался и что его ожидают во дворце: караул, сидевший у калитки, вскочил с земли, начальник его отворил дверь, и все посторонились с благоговеиным почтением. Отворив калитку, начальник караула закричал на двор: «*Падишах гельди!* Царь пришел!» Два чауша, с серебряными палками стоявшие за калиткою, лишь только Сычан-Бег появился в двери, повернулись и пошли впереди его. Он преважно последовал за ними. Таким образом благополуч-

но достиг он второй калитки, у которой чауши остановились, и один из них, отворяя дверь, произнес также: «*Падишах гельди!*» За калиткой стояли телохранители: начальники их, подобно чаушам, проводили Сычана до третьей калитки, закричали: «*Падишах гельди!*» — и передали его садовой страже. Сычан-Бег благодаря этому порядку прошел целый лабиринт калиток, дворов, садов, лестниц и коридоров легче и удачнее, нежели как мог ожидать человек, вовсе не знакомый с внутренним расположением своего огромного жилища. Последних два провожатых, чиновники вроде камергеров, доставили его к железной двери гарема, постучались, провозгласили урочное «*Падишах гельди!*» и сдали Сычана на руки евнухам. Те привели его к собственным покоям государя.

Искусство средних веков «меняться лицом» все же не было так совершенно, как многие их обожатели полагают. Оно могло изменять наружность головы — это бесспорно, однако ж не простиралось ни на ум, ни на голос. Ум убежища мира никогда не подлежал разбору подданных в Ширване, но голос

у Сычан-Бега был сильный, густой, очень неприятный и поставлял его в большое затруднение. Этот голос мог тотчас возбудить подозрение. Сычан-Бег решился молчать на своем царстве до последней крайности.

Когда он воссел на софу своего предшественника, подошел главный из комнатных служителей и, по неизменному этикету шемахинского двора, почтительно начал раздевать его с ног до головы, снял с него запыленное платье, шапку, даже рубашку и передал его другому жителю. Этот другой служитель, в широких шароварах и узком жилете, с засученными по самое плечо рукавами рубахи, принялся изо всей силы править ему суставы, тормошить ноги и руки, рвать пальцы, натирать тело тонким войлоком, щелкать, щекотать и ворочать его, как мячик: он с таким свирепством овладел светлою особою Сычана и так его измучил, что новому падишаху не оставалось ничего более как возложить свое упование на Аллаха или испустить дух. Это был *бербер-баши*, главный бородобрей и банщик ширван-шаха, обязанный содержать его тело в надлежащей свежести и исправно-

сти. Он знал все пятнышки, все знаки и царапинки на лучезарной коже своего владыки и должен был отдавать ему отчет в их состоянии. Никакие особенные приметы на теле Сычана не поразили внимательного взора бербер-баши, но ему показалось, будто светлое тело с вчерашнего числа стало капельку полнее и немножко короче и притом на правом ухе — ушами-то Сычан и забыл поменяться! — на правом ухе есть рубец, которого решительно тут не было. Докладывать ли падишаху об этом открытии? Заводить речь, когда падишах молчит, неприлично, но и нельзя же не доложить по долгу службы и для выказания своего усердия. При всем своем страхе нарушить этикет бербер-баши не выдержал и, зная неисчерпаемую щедрость своего повелителя, воскликнул:

— Я жертва падишаха, убежища мира, но тут есть рубец!

Лицо Сычана запылало огнем при этой улике: он не отвечал ничего, но заворчал таким грубым и сердитым басом, что бербер-баши отскочил со страху. «Точно ли это наш падишах?» — подумал он. Привычной ласково-

сти и любезности Халефа со своими служителями и чиновниками и следа не было в этом человеке со вступления его во дворец. Совершенная разница в походке, приемах, движениях и общении крепко подтверждала сомнение главного цирюльника. Но оно рассеялось при первом взгляде на лицо.

Бербер-баши поспешил окончить свое производство и удалиться. Но лишь только вышел он из собственных комнат ширван-шаха, этот рубец на ухе лег камнем на его душу: рассуждая со своими приятелями о страшных последствиях случившегося в этот день землетрясения, о разрушенных караван-сараях, лопнувших куполах, опрокинутых минаретах, он заметил, что, между прочим, и в одном ухе падишаха образовалась расселина, да и голос у него совершенно изменился. Все воскликнули: «Аджаиб! — Чудеса!»

Служители принесли Сычану ежедневное платье Халефа и он великолепно облекся в царскую одежду. Они тоже разделяли наблюдение, сделанное главным цирюльником над коренным изменением характера, приемов и привычек падишаха. Все в нем казалось

странным или по крайней мере новым. Он был угрюм, дик, неловок, на все смотрел с любопытством и как будто не знал, что делать и как говорить. Главный евнух стоял со списками женщин для окончательного решения дела: падишах и не напоминал о них. Ферраш-баши явился по приказанию Халефа, данному лично поутру: тот и не посмотрел на него. «Падишах сегодня не в духе!» — перешептывались царедворцы. Общее мнение приписывало все это землетрясению, которого бедствия, верно, очень опечалили доброе сердце падишаха. Но подали ужин, и падишах стал пожирать блюда с такою жадностью, как будто голодал трое суток. Это уже не похоже на печаль! Но, с другой стороны, удары были сильны и многочисленны: вероятно, потрясло светлый желудок страшнейшим образом. Падишах, казалось, хочет наконец сказать что-то. Он дуется, посматривает во все стороны, шевелит губами. Все вытягиваются, напрягают внимание, с благоговением прислушиваются к его первому слову. Наконец он раскрывает рот и громовым голосом произносит первое слово:

— *Шераб!* — Вина!

Молния, упавшая на лучезарный дворец ширван-шахов, не произвела бы такого сотрясения и ужаса в многолюдной толпе прислужников. Халеф был примерный мусульманин и не только губ своих, но даже и дома не осквернял отверженным напитком. Во всем дворце не было ни капли вина. Но падишах приказал. Несмотря на осто́лбенение, все бросились искать, спрашивать, суетиться: самые сметливые побежали в город, в армянские трактиры, взводя руки к небу и в замешательстве повторяя везде: «Падишах после землетрясения изволит требовать вина!» Но в самом деле, для такого требования и нельзя было придумать другого благовидного повода. Оно могло объясниться одним только землетрясением.

Принесли крепкого мингрельского вина. Сычан выпил два турьи рога. Это придало ему смелости, и он бодро утвердился на престоле ширван-шахов. Для прочности царства он опорожнил еще два рога и наконец стал изрядно весел.

При шемахинском дворе издревле суще-

ствовал обычай, что после ужина главный евнух выступал вперед и спрашивал, которую из красавиц всестыднейшего гарема падишах прикажет пригласить к себе на свою царскую беседу для нынешнего вечера? С некоторого времени это делалось только для соблюдения формы, потому что каждый вечер после ужина Халеф отправлялся в покои панны Марианны, которая составила себе очень приятный двор из открытых в гареме талантов, и проводил остаток вечера у своей любезной и остроумной невесты. В этот вечер так же Ахмак-Ага, строгий блюститель этикета, по долгу своего звания преважно выступил вперед и, ударив челом, сокращенно спросил — которую.

— Что? — вскричал Сычан. — Что такое?

Это ужасно изумило главного евнуха, который ожидал, что ширван-шах по обыкновению махнет рукою и скажет: «Не нужно!» Ахмак-Ага должен был снова повалиться наземь и повторить свой официальный вопрос громче, полнее и яснее:

— Ничтожнейший из рабов дерзает всеусерднейше спрашивать, которую из блестя-

щих и блюстителем им хранимых жемчужин, то есть красавиц своего моря наслаждения, то есть гарема, падишах, убежище мира, благоволил приказать сказанному рабу, Ахмак-Аге пригласить сюда на свою светлую и радостную беседу сегодняшнего вечера?

— Самую жирную! — отвечал Сычан своим густым басом.

Ужас обнял великого хранителя жемчужин. Не вставая с земли и не поднимая головы, он со страхом примолвил:

— Ничтожнейшему из рабов послышалось, как будто убежище мира изволило сказать... самую... жирную?

— Ну да! самую жирную! — прогремел Сычан на всю залу. — Зови сюда самую жирную, собачий сын и рассуждать не смей. Я вам не падишах, что ли?

Ахмак-Ага стремглав побежал в гарем, дрожа от страха и позволяя себе только то рассуждение, что у убежища мира землетрясение, видно, вытрясло весь ум из головы. В гареме вспыхнул настоящий мятеж, когда он объявил там волю владыки. Все женщины вскрикнули и захохотали. Слова «самую жир-

ную» повторялись из конца в конец с разными насмешками над главным евнухом и с дерзкими толкованиями нового вкуса убежища мира, на которое жемчужины моря наслаждения уже давно негодовали, что оно перестало «благоволить» к ним, с тех пор как в гареме появилась проклятая королева неверных. Ахмак-Ага с трудом мог унять этот соблазн. Он приказал всем женщинам выстроиться в два ряда и начал производить им правильный смотр, чтобы безошибочно определить самую жирную. Женщины теряли терпение. Из разных мест строя раздавались восклицания: «Я самая жирная!» Объявительница своего права на выбор тотчас встречала противоречие от соперниц. Поднялся спор, шум, беспорядок. Ряды расстроились. Одни кричали: «Я самая жирная!» — «Врешь!.. я! — Нет, я!.. Посмотри, сколько у меня жиру! — Да посмотри-ка как я-то полновесна! — Жирнее меня и быть не может!» Ахмак-Ага чуть с ума не сошел с этим народом, который не слушается никакой дисциплины. Он мерил их шнурком. Но это не вело ни к какому определенному результату: одни были жирнее

прочих в стане, другие в плечах. Он велел идти всем на серальскую кухню и стал взвешивать их на кухонных весах. Таким только образом добился он до толку в их жире. По мерке и по весу искомою красавицей оказалась гаремная судомойка, грязная невольница Шишманлы. Она единодушно была провозглашена самою жирною. Ее тотчас помыли, причесали, принарядили, и главный евнух отвел эту массу сала в собственные покои падишаха, среди общего хохоту, шуток и насмешек всех худых и жирных.

Причина этой суматохи не могла долго оставаться неизвестною в павильоне, занимаемом высокостепенною королевною Франкистана. Узнав об ней через своих женщин, панна Марианна пришла в страшное негодование на своего лучезарного жениха.

Оставим Сычана с гаремною судомойкою и возвратимся к Халефу.

Мы недавно видели его пробирающегося сквозь толпу народа, испуганного и разоренного землетрясением. На улице все говорили, что здесь это еще ничего, но что самое горестное бедствие произошло в старом караван-са-

рае, где мгновенно обрушившиеся стены раздавили пятьдесят человек на месте и переранили до двухсот. Добрый, сострадательный Халеф, забыв о своей бороде, побежал на место страшного происшествия, чтобы подать руку помощи несчастным. Развалины старого караван-сарая представляли самое печальное зрелище. Земля устлана ранеными и ушибленными, воздух наполнен их стонами. Многие из работников еще придавлены обломками стен или тяжелыми тюками товаров, и народ, столпившийся около караван-сарая, стоит неподвижно и зевает, не думая даже спасти погибающих. Халеф сгоряча совершенно забыл, что он переодет. По привычному сознанию своей власти, он грозно закричал на бесчувственных ленивцев и приказал им расчищать мусор, отваливать тяжести и освобождать страждущих. Многие, полагая, что он чиновник, присланный падишахом, повиновались его голосу, и благородный Халеф, чтобы подать им пример, сам начал отбрасывать камни и перетаскивать тюки. Один из купцов, которым принадлежали эти товары, видя, что он раскидывает собственность его во

все стороны, сказал своим товарищам:

— Что это за человек? Что он здесь распоряжается как в своем доме? Надо сжечь его отца! Где *дарога*?

По их жалобе, пришел полицейский чиновник и, посмотрев значительно на странную фигуру, затасканное платье, вытертую шапку распорядителя, торжественно подбоченился.

— Человек! — спросил он Халефа. — Ты здесь *дарога* или я? Как ты смеешь трогать чужие вещи, не спросясь ни у их хозяев, у господ купцов, ни у меня?.. Пошел прочь!

Халеф оставил работу и, подойдя к *дароге*, грозно сказал ему вполголоса:

— Молчи!.. не ешь грязи!.. Не видишь ли, кто я?.. не узнаешь меня?.. Я — ширван-шах. Я — твое переодетое убежище мира. Это что за речи? Молчи?.. и гони сюда народ!.. Приказывай всем работать и работай сам!

— Оскверню я могилы твоих отцов! — с гневом закричал на него *дарога*. — Что ты это здесь вздумал, сожженный отец, повелевать мною? Ты — мое убежище мира?.. ты?.. Ты смеешь выдавать себя за ширван-шаха, да

умножится его сила?.. Посмотри на свою ро-
жу! похож ли ты хоть немножко на нашего
падишаха, да не уменьшится никогда тень
его? Да, видно, землетрясение расшатило у те-
бя череп и потрясло мозг до основания! Мне
ли не знать моего падишаха?.. Прочь отсюда,
пезевенг! Не то велю тотчас схватить тебя и
запереть в тюрьму как самозванца.

Халеф опомнился. В самом деле, под эту
грязную одежду, которую оставили для него
в бане, никто, по его мнению, и не должен
предполагать одного из великолепнейших
властелинов Востока. Не сказав ни слова в от-
вет грубому *дароге*, он сошел с развалин и от-
правился в свой дворец. Бесплезно было под-
вергаться дальнейшим неприятностям в этом
наряде, и притом печальные обстоятельства
требовали поспешить отдачею приказаний,
которые могли изойти только из дворца.
Идучи домой, он часто посматривал на свою
бороду и удивлялся, что землетрясение оказа-
ло такое чудное действие на ее цвет и длину.
Но у тайного входа в сераль встретила его но-
вая неприятность: караульные подняли свои
палки и без церемонии прогнали его от ка-

литки с теми же замечаниями и эпитетами, какие он уже слышал от дороги. По их словам, падишах только что прошел этим путем в свой высокий дворец: сами они его видели и приветствовали. «Дели! дели! — Сумасшедший! сумасшедший!» — кричали они бедному ширван-шаху и советовали ему убираться оттуда, если он не хочет подвергнуться опасным последствиям своей дерзости.

Халеф отошел от них в изумлении и негодовании и обратился к главному входу, который звали «Воротами Счастья». Дорогой он ощупывал свое лицо, нос, губы, глаза, которые, видно, изменились так же, как и борода, когда в этих чертах никто не узнает лица своего повелителя, и действительно находил в них какую-то перемену. У Ворот Счастья — та же история. Его прогнали с насмешками над безобразием лица и расстройством ума. Он обошел таким образом все входы в свой дворец и везде встретил одинаковый прием: «Сумасшедший! сумасшедший!..»

Отчаяние овладело Халефом. Он должен был согласиться, что, вероятно, стал вовсе не похож на себя. Но как это могло случиться?..

Халеф решительно начал предполагать, что тут замешалась какая-то чертовщина. Идучи, печальный, от своего дворца обратно в город, он увидел между проходящими одного старого муллу и остановил его обыкновенным у мусульман приветствием:

— Мир с вами!

— И с вами мир!

— Душа моя, мулла! — сказал Халеф. — Ты умный и правдивый человек: борода у тебя белая; ты не захочешь насмеяться над моей... хоть это и вовсе не моя! Извини, если я предложу тебе вопрос, который может показаться странным. Каково у меня лицо? Опиши по совести!

— Аллах да простит тебе, сын мой, такие неприличные вопросы! — важно отвечал старый мулла. — Но если тебе это нужно...

— Очень нужно!

— Изволь, я опишу. У тебя лицо ужасно загорелое.

— Аллах! Аллах! Сегодня поутру оно у меня было белое как стамбульская бумага, и притом я пополудни был в бане.

— Нос вот с мой кулак!

— Аджайб! — Чудеса! Еще недавно в бане я смотрелся в зеркало, и нос мой был средний, правильный, очень хороший!..

— Рот преширокий и губы синие.

— *Ля илях иль Аллах!* — Нет божества, кроме Бога! Рот и губы мои славились своей красотой! Их сравнивали с расцветающей розой.

— Глаза зелено-серые и торчат вон из головы, как у рака.

— *Ля хевль ве ля куввет илля биллях!* — Нет силы ни крепости, кроме как у Аллаха! Да у меня глаза всегда были черные!

— Этого уж я не знаю, — возразил мулла. — Я говорю по чистой совести то, что есть. Около глаз у тебя красные круги, и все лицо... извини, мой сын!.. пребезобразно.

— Так уж, видно, Аллах наказал меня за какое-нибудь прегрешение! — с отчаянием вскричал Халеф. — Клянусь тебе, мулла, твоей жизнью и солью падишаха, что я слыву красавцем... то есть слыл... еще за два часа до этого. Мужчины и женщины, все говорят... говорили... что я прекраснее полной луны и мог бы поспорить в благолепии с *Юсуфом эль-Хусн*. Душа моя, свет глаз моих, мулла! ты

мудрый человек: скажи, как это случилось, что у меня так вдруг все черты лица оборотились вверх ногами?

— Судьба! — воскликнул старый мулла, взводя глаза к небу. — Так было написано в Книге Судеб! Оборотились вверх ногами, и конец!

— Конечно, судьба, — возразил Халеф, — но ведь судьба употребляет же какие-нибудь средства к исполнению того, что написано в Книге. Говори, мулла: как это случилось? отчего?

— Если ты честный человек и не морочишь меня, не смеешься, не лжешь...

— *Валлах! биллях! таллах!* ей-ей, не лгу! До смеху ли мне теперь, когда я в отчаянии? когда я не знаю, где преклонить голову? когда у меня нет ни гроша, ни куска хлеба? Когда я лишен всего...

— Аллах велик! — торжественно произнес мулла.

— Да! Аллах велик! — повторил Халеф с нетерпением. — Но говори, мулла: как это могло случиться?

— Если ты меня не обманываешь и уважа-

ешь свою собственную бороду...

— Пропади она! это не моя борода! Моя была коротенькая, черная, очень красивая. Эта упала на меня с неба. Она ко мне прилетела по воздуху.

— Как прилетела?

— Да так! Прилетела и вцепилась мне в подбородок, как колючая шишка в полу кафтана. Я сам видел! Прежде думал я, что у меня рябит в глазах: но теперь совершенно убежден, что я точно видел. Помню, как летело прямо на меня что-то похожее на огненную метлу... Ведь эта борода — рыжая? не правда ли, мулла?

— Удивительно рыжая. Красна, как пламя.

— То-то и есть! Я полагал, что огненная метла, которую заметил в воздухе, принадлежит к явлениям землетрясения; но теперь вижу, что это была моя нынешняя борода. Скажи, мулла, что ты об этом думаешь?

— Я скажу тебе, мой сын: что касается до лица, то тебя, очевидно, сглазил злой завистник; а что до бороды, то, по моему мнению, она в самом деле должна принадлежать к явлениям землетрясения, которое, как стоит в

книгах мудрецов, часто сопровождается страшными молниями, огнями, кометами и разными другими метлами.

— Аллах! Аллах! все мы собственность Аллаха, и к нему возвратимся! — уныло воскликнул Халеф. — Кто разгадает все чудеса природы? Странные вещи происходят в мире Аллаховом!.. Но борода — небольшая важность: я, пожалуй, велю ее выкрасить. Главная сила — в лице. Если мое лицо сглажено, то есть оно очаровано, тогда можно было бы снять чары и возвратить его к прежнему виду.

— Конечно, можно! Есть люди, которые умеют это делать.

— Не знаешь ли хорошего колдуна, который бы оказал мне эту услугу?

— Право, не знаю! Недалеко отсюда есть один бородобрей по имени Фузул-Ага. Он занимается разными ремеслами и, между прочим, немножко известен как колдун... а более как астролог... но все-таки более как бородобрей. Обратись к нему. Фузул-Ага живет вон там, на углу. Мне недосуг. Солнце заходит: пора молиться. Поручаем вас Аллаху!

Старый мулла простился и ушел. Халеф побежал к Фузул-Аге и через несколько минут уже был в его лавке.

— Мир с вами!

— И с вами мир!

— Все ли вы в хорошем кейфе, ага?

— Как не быть подлому рабу в хорошем кейфе, — воскликнул бородобрей с изъявлениями глубочайшего почтения, — когда убежище мира два раза в один день освещает его темное жилище своим лучезарным присутствием?.. Нет, звезды никогда не врут! Подлый раб правду сказал, утверждая, что этот день — самый благополучный в целом столетии. Славный был день, нечего сказать! Я отделал более двухсот голов. Все бритвы иступились. Но когда подлая рука коснется светлой головы падишаха, так уж благополучие непременно распространится на всю особу, на весь дом. Я должен лобызать прах следа священных туфлей падишаха за все милостивейшее пожалование дважды в один день к моему низкому порогу.

— Это что за речи? — вскричал изумленный Халеф. — Обо мне ли говоришь ты это?..

Если обо мне, так где же ты меня видел прежде? откуда знаешь мое нынешнее лицо? Говори, бородобрей: можешь ли сказать, кто я таков?

— Да что я за собака, — отвечал Фузул-Ага, — чтобы, когда последует повеление, не уметь сказать, кто вы таковы?.. Только я теперь вижу, что вы переоделись опять в другое платье: может быть, вам не угодно, чтобы я узнавал вас?

— Я тебя не понимаю! — возразил Халеф. — Если ты где-нибудь видел меня прежде, так узнавай. Говори: кто я?

— Кто вы?.. — вскричал бородобрей. — Слава Аллаху, вы — наш всеправосуднейший, могущественный, всегда победоносный падишах, убежище мира, наш зиждитель правове- рия, искоренитель ереси и неверия, наша тень Аллаха на земле, наш полюс вселенной, центр мудрости и столб величия, потомок Джемджага и наследник Фергада и Сама. Вы всегда были этим и будете? Чем же вам быть?

И в заключение полного списка титулов ширван-шаха бородобрей упал ниц и с благоговением поцеловал край полы высокого по-

сетителя.

— Слава Богу, — сказал Халеф, — что хоть один из моих подданных узнал меня сегодня. Встань, мой друг, Фузул-Ага. Говори со мной запросто, без всяких церемоний. Я пришел к тебе за делом. На благословенный наш Ширван странная слепота нашла сегодня после землетрясения: никто не узнает меня! Я слышал, что ты занимаешься звездами и еще кой-каким делом. Нет ли средства извлечь наших шемахинцев из этого искаженного состояния их чувства зрения? Ты меня узнал: стало быть, можно узнать меня, допустив даже, что во мне кое-что изменилось...

— Я нахожу, — заметил бородобрей, — что у вас, падишах, изменился всего один только голос. Вы прежде говорили... так!.. немножко басом!

— Ну, это тебе так кажется! — возразил Халеф. — Мой голос ничуть не изменился. Но положим, что изменился: все же ты мигом узнал меня! Так зачем же другие ширванцы не узнают меня?.. Ясно, что у них исказилось зрение!

— Великое слово сказали вы, падишах! —

воскликнул ученый бородобрей. — В природе есть сокровенные силы, которыми управляют только люди, проникшие ее тайны. Подлый раб кое-что смекает в этом деле, и тонкости вещей не совсем чужды его слабому разумению. В этом городе должен быть страшный колдун!.. Сегодня перебивало у меня множество народу, и все одногласно приписывали землетрясение нечистой силе. Я не обращал внимания на эти толки, потому что землетрясения случаются иногда и от действия других сил. Но теперь, соображая это бедствие с тем, что изволите рассказывать об искажении зрения у людей ширванских до того, что они не видят такой лучезарной персоны как ваша, и не узнают своего падишаха, я вижу ясно, в чем дело. Наш город испорчен! Тут непременно есть колдун. Это землетрясение, это искажение глаз, и все другие несчастья, которые еще последуют, все это — его работа. И знаете ли, падишах, кем он подослан?

— Кем же?

— Дели-Иваном!

— Московским царем?

— Именно! Он ваш завистник и наслал сю-

да колдуна... если только не сам он здесь! Это дело известное... все армянские купцы, которые бывали в Москве, скажут вам... что он занимается чернокнижием, обладает альхимией, то есть «философским камнем», предводительствует целым полком колдунов, у которых, как сказывают, головы — волчьи, и сам — преопасный колдун. В его земле, далеко на севере, есть огромное озеро, замерзающее каждый год на семь месяцев, и около этого озера живет народ, с длинными белыми волосами, преданный весь колдовству. Весь свет знает, что колдовством покорил он и Казань и Астрахань! Без чернокнижья не победить бы ему мусульман. Или он, или его чародей-визирь, непременно здесь! Многие уже догадывались, что землетрясение произведено ими. Но теперь это — верно. Надо открыть этого чернокнижника! Когда я сегодня отбрил светлую голову падишаха, убежища мира...

— Когда ты сегодня отбрил мою голову?.. — вскричал Халеф. — Да я у тебя не был сегодня... и уже четвертый день как моя голова не брита!.. Видно, кроме землетрясения и искажения глаз, колдуны еще испортили твой

ученый мозг. Посмотри, если не веришь!

Халеф снял шапку и обнаружил голову, покрытую уже волосками порядочной величины, которые своим цветом и лоском придавали ее поверхности вид черного атласа. Фузул-Ага остолбенел.

— Аллах! Аллах! — воскликнул он вне себя от изумления. — Я — жертва падишаха, но это уж явно колдовство! Ваша светлая голова околдована!

— Сам ты, братец, околдован! — возразил ширван-шах. — Можешь быть уверен, что в длине этих волосков нет никакого чародейства.

— Ну, так это от действия звезд! — заметил бородобрей-астролог. — Звездам нет ничего невозможного в природе. Влияние их удивительно могущественно на все обстоятельства нашего быта. Принимая в соображение, что сегодня — самый благополучный день для бритья, чудо длины этих волосков удовлетворительно объясняется тем, что я, наверное, точил утром бритву в момент соединения Марса с Венерой. Эти планеты имеют сильное влияние на рост волос. Но вот что удивитель-

но! — прибавил бородобрей, взяв Халефа за ухо, почтительно, кончиками пальцев: — на этом светлом ухе сегодня был рубец, а теперь его нет!.. *Валлах! биллях!* как я мусульманин, так тут был рубец!

— Так или ты в горячке, или тут случилось нечто совершенно неразгадаемое, — с нетерпением сказал ширван-шах, задумавшийся во время этого рассуждения. — Поддай мне зеркало!

Фузул-Ага принес небольшое круглое зеркальцо. Халеф взглянул и ужаснулся.

— *Аман! аман!* — закричал он отчаянным голосом. — Я погиб! я умер!.. это не я!.. это кто-то другой!.. Мне налепили чужое лицо!

Рука с зеркалом упала на колени, голова печально поникла, и Халеф погрузился в раздумье. Спустя мгновение он вдруг выпрямился, как будто оживленный лучом внезапной мысли, еще раз посмотрелся в зеркало и воскликнул:

— Я знаю, чье это лицо!.. Это — того мотешенника, который сегодня раздевался вместе со мною в уборной Сулеймановских бань и вместе вошел в банную. При моем выходе его

уже не было: он-то, наверное, и похитил мое платье, а мне оставил свои лохмотья!

Пораженный этим замечанием, Фузул-Ага осмелился спросить, каково было платье падишаха. Халеф подробно описал весь свой костюм и присовокупил, что в шапке были спрятаны его частные печати.

— Ну, так это он был у меня пополудни, а не падишах! — с ужасом воскликнул бородобрей. — Так это поганому колдуну брил я сегодня голову, полагая, будто брею светлую голову ширван-шаха!.. Проклятие на его бороду!.. Но позвольте доложить, падишах, что это должен быть колдун большой руки!.. чародей первого разбора!.. сам Дели-Иван лично по крайней мере!.. Такие штуки весьма немногие в состоянии отпускать. Знаете ли, что он с вами сделал?.. Он сделал *теркруй-базу!* Он поменялся с вами и, верно, сидит теперь на вашем престоле...

Халеф заплакал.

— Не унывайте, государь! — сказал Фузул-Ага. — Аллах велик! Мы сообразимся с книгами мудрецов и посмотрим, что можно сделать против его адского искусства.

— Я здесь у тебя останусь, если ты не выгонишь меня, — печально сказал ширван-шах. — Один только ты в этом государстве не отвергаешь своего государя.

Фузул-Ага утирал свои слезы рукавом и, целуя край полы Халефа, клялся остаться своему ширван-шаху верным до последней капли крови. Добрый цирюльник предлагал ему свой дом, все имущество, свою помощь и обещал работать на него всю жизнь, если им обоим не суждено низвергнуть злого колдуна соединенными силами и Халеф никогда не возвратится на царство.

— Ты женат? — спросил ширван-шах.

— На пользу службы падишаха, убежища мира, — отвечал Фузул-Ага.

— Попроси для меня у своей хозяйки чего-нибудь покушать, — сказал Халеф. — Я умираю с голоду, ничего не ел во весь день.

— Пожалуйте в убогий дом ваших рабов, — промолвил бородобрей, запер лавку и повел Халефа в свой гарем.

Укрепив силы своей простою пищею, Халеф лег отдохнуть. Тысяча грустных мыслей и печальных предчувствий стесняли благород-

ную грудь его, поселяя в ней страшное беспокойство. Он не мог уснуть. Более чем о своем царстве сожалел он о панне Марианне, которой любовь теперь, в годину несчастья, ценил еще выше прежнего. Уже было около полуночи. Он разбудил хозяина, достав у него *фередже* и *яшмак*, женский плащ и покрывало, плотно свернул эти вещи, положил их под мышку и вышел на улицу. Халеф знал, что одна из калиток, ведущих в сады гарема, бывает ночью отворена для вывозки мусора из отдельного гаремного дворца, который тогда отделяли для королевы Франкистана, будущей супруги ширван-шаха. Он надеялся проникнуть этим путем в сад под видом работника, и в самом деле это удалось ему. В саду он тотчас за первым кустом закутался в покрывало и женский плащ из опасения встречи с евнухами, и в этом наряде благополучно достиг павильона своей невесты. Здесь он уже никого не боялся: панна Марианна терпеть не могла евнухов, и около ее крыльца эта гадкая порода мужчин не могла появляться ни днем ни ночью. Из сада маленькая лестница вела на крытый балкон, с которого входили в

род открытой передней, смежной с ее спальнею. Халеф успел во всем. Вот он уже в этой передней, у дверей заветной комнаты невесты. У панны Марианны виден еще огонь. Она не спит. Он стучится.

— Свет глаз моих, панна Марианна! отворите!

Она узнала Халефа по голосу и встала.

— Я вам говорила, что это невозможно.

— Умоляю вас, отворите! Моя утроба превратилась в воду!

— Не отворю! Ступайте к своей судомойке Шишманлы. Зачем вы оставили такую милую собеседницу?

— Я никакой Шишманлы не знаю и никогда в жизнь свою не беседовал с нею. Отворите, умоляю!

— Как вы ее не знаете?.. Не вы ли недавно приказали привести к себе «самую жирную»?.. Фи! Фи!.. стыдно! гадко! отвратительно!.. Вы никогда не будете образованным человеком!.. Пора бы уж оставить эти азиатские вкусы.

— Не браните меня понапрасну, душа моя, панна Марианна. Я ни в чем не виноват. От-

ворите поскорее.

— До свадьбы нельзя!

— Да я не для бесед прихожу сюда! Отворите поскорее, если не желаете моей смерти! Заклинаю вас жизнью вашего отца, впустите меня! спасите! я погибаю... у меня похищают все, царство, вас, бороду, нос, глаза...

Панна Марианна испугалась и умилилась. Настоящего смысла последних слов она не поняла, но, впрочем, и не заботилась об нем, полагая, что это какая-нибудь восточная фигура, еще незнакомая ей в персидском языке, на котором говорили в гареме и при дворе ширван-шахов. Жених искал у ней спасения: она побежала и отворила.

Наряд Халефа очень удивил девушку: но таково ли еще было удивление, когда он скинул с себя женский плащ, отвернул покрывало и предстал пред нею со своим новым лицом!

— Mr John Dee!.. God! you are here?.. how do you do, Mr. John?^{103} — воскликнула она по-английски в совершенном ошеломлении. — I am very glad to see you again; but it happened...

— Свет глаз моих, панна Марианна! — пре-

рывая ее, воскликнул Халеф по-персидски. — На каком это языке вы говорите со мною? Неужели и у вас мозг потрясен землетрясением?

— I speak English, with you, sir! is it not your national language, — продолжала Марианна, еще более его удивленная этим вопросом. — Are you not an Englishman, a son of merry England, as you say?^{104}

— Да говорите со мной по-персидски, умоляю вас! — с отчаянием сказал бедный Халеф. — Я этого языка не понимаю! время ли шутить над моей бородою, когда я несчастен?

— Хорошо, — примолвила панна Олеская, — я буду говорить с вами и по-персидски, если вы так скоро забыли уже свой природный английский язык. Вы, однако ж, прекрасно умеете подделываться под чужой голос; я была уверена, что это стучится ко мне падишах, мой жених!.. Давно ли видели вы моих родителей? Здоровы ли папенька и маменька?

Халеф, при всей своей любви, принужден был подумать, что она помешалась. Но из опасения, чтобы и читатели не подумали так

же невыгодно о панне Марианне, я прерву здесь ее разговор с женихом и объясню загадку — если только это загадка — особенно для людей, так хорошо знающих историю, как мои читатели. Они уже догадались из первого восклицания панны Марианны, что Сычан-Бег, который поменялся лицом с Халэфом, был не кто иной, как знаменитый доктор Джон Ди: а кто был доктор Джон Ди, о том и не спрашивается. Джон Ди, доктор магии, алхимик, астролог, врач, хирург, механик, математик, ориенталист, богослов, друг Уриила, изобретатель жизненного эликсира и прочая, и прочая, родился в 1527 году в Лондоне, проходил науки в Кембриджском и Парижском университетах с неимоверным прилежанием, с истинною алчностью к знанию, преподавал их со славою в Париже, прославился множеством удивительных механических выдумок, — между прочим, постройкою искусственного летающего жука, путешествовал, был взят в плен корсарами и продан в Анатолию одному турку, который силою принудил его принять мусульманскую веру, — между прочим, хотел в бешенстве отрезать ему голо-

ву ятаганом, но только рассек ухо, от чего и остался известный нам рубец. Впоследствии, однако ж, злой турок даровал ему свободу. Это обстоятельство позволило доктору Ди воротиться в Европу и в свое отечество и снова предаться науке и разысканию великих тайн природы. Его важные открытия по этой части и чудные механические изобретения уже с ранних лет присвоили ему известность чародея. Но в то время все, что казалось непонятным, называли магией, как теперь не верят ничему, чего не понимают: в результате оно одно и то же, потому что и страх истины, и гордое пренебрежение одинаково ведут к невежеству. Доктор Джон Ди говорил и писал на всех языках европейских и на многих восточных. По части наук он знал все, что только люди знали в его время; знал гораздо больше их, потому что изучал природу, как никто не умел изучать в том веке, похитил у нее множество удивительных секретов, которых, к сожалению, никогда не хотел обнародовать и которые последовали за ним в могилу. Что он обладал ими, это вся Европа видела собственными глазами: он был уважаем всеми

государями, все старались привлечь его к своим дворам, и многие давали ему богатые жалованья и пенсии. В числе последних находился и наш Иоанн Васильевич Грозный, один из умнейших людей своего времени, которого не легко было обмануть. Доктор Ди показывал царю свои секреты и производил с ними убедительные опыты в Александровской слободе; и когда, как мы увидим, несчастный случай удалил этого славного человека из России, чтобы дать ему печальную роль в политической истории Ширвана, преемник Иоанна, царь Федор Иоаннович, то есть Борис Годунов, от царского имени, предлагал доктору две тысячи червонцев жалованья в год, чтобы его привлечь обратно в Москву. В Англии, при Эдуарде VI, Марии и Елизавете, он был всегда в величайшей чести и в личных сношениях с ними, и получал от них пенсии, пребенды, подарки и места. Преобразование черт лица, отнесенное позднейшими мудрецами к магическим производствам доктора Ди, было в его руках простым медицинским или хирургическим процессом: он мог в несколько мгновений переделать всякое че-

ловеческое лицо, даже за глаза. В 1572 году открыл он или, точнее, сделал знаменитый белый выпуклый камень, который явственно произносил звуки и показывал разные картины согласно желанию всякого. Ди в своих «Тайных записках» описывает сам, как он получил его и к чему этот камень послужил ему в Ширване. По моде, по слабости века, Ди занимался также поисками философского камня, деланием золота и астрологией: но и Тихон Браге занимался тем же!⁽¹⁰⁵⁾ Делание золота решительно не удавалось ему и было причиною многих несчастий, между прочим, связи с Эдуардом Келли, ворстерским уроженцем, который, потеряв уши у позорного столба за подделку документов, предался чистой магии, вызывал духов, скомпрометировал Ди известною затеей заставить мертвеца предсказывать будущее и наконец украл у него чудный белый камень. Этот дерзкий плут повел его однажды в знаменитые развалины аббатства Гластонбери, в соммерсетском графстве, искать жизненного эликсира, и в этих-то сырых подземельях доктор Ди получил тот сиплый, густой голос, который причинил ему

столько неприятностей в Ширване.

Около 1570 года королева Елизавета и ее любимец граф Лисстер подружили доктора Ди с польским послом, воеводою серадзским, паном Албертом Олеским (Ди, по английскому выговору, всегда пишет это имя Allaski). Когда король Сигизмунд-Август умер, Олеский воротился в свое отечество в 1570 году. Он уговорил Ди и неотступного Келли отправиться вместе с собой в Польшу с женами и детьми. Олеский разорился в Лондоне своим мотовством и хотел делать золото, Ди по звездам предсказал ему, что он будет королем: новая потребность в золоте. И они делали золото, где-то около Дубна, в замке Олите, которого даже и самое имя теперь исчезло. Ди подробно описывает это производство и нападение на них Девлет-Гирея по указанию евреев.

Девлет-Гирей, как мы видели, не нашел золота в Олите. Но как он велел повесить на воротах замка жидов, которые привели его туда, то это обстоятельство чрезвычайно послужило в пользу алхимической славы доктора. Другие, не бывшие на месте евреи распро-

страняли молву, будто хан татарский увез отсюда в Крым целые горы золота. По всей Польше, Литве и России разнеслись слухи о похищении этих несметных богатств, и пан Олеский, которому не хотелось признаться, что его алхимические познания ни к чему не служат, сам подтверждал эти рассказы, вздыхая перед своими кредиторами о золоте, будто бы увезенном хищными татарами.

Спасшись в лес ночью, во время нападения хана на Олиту, доктор Джон Ди бежал без оглядки в сторону, противоположную этим грабежам, и остановился не ближе как в Чернигове. Лишь только узнали в Москве о прибытии туда столь знаменитого человека, его пригласили в столицу, где он был принят с большим уважением. В скором времени татары сделали набег и на Россию. Против них был послан в числе прочих воевода Бельский — Balski, как пишет Ди его имя, — и разбит неприятелем. Ди находился при его отряде в качестве астролога, обязанного определять дни, счастливые для сражений; но астрология обманула его еще хуже алхимии: воевода ушел, а астролог был взят в плен татарами

и в том же году продан синопскому паше Кючюк-Хасану. Этот свирепый фанатик заставил его снова играть роль мусульманина и исполнять все обряды веры пророка. Ди не говорит, за что паша на него рассердился до того, что хотел посадить его на кол, но он откровенно признался, что Его Присутствие имел это благое намерение и что он, доктор Ди, должен был бежать «от таковой неприятности» в Ширван. Уже два месяца жил он в Шемахе под именем Сычан-Бега, претерпевая нужду и голод, как однажды поутру заметил на базаре людей синопского паши. Преследовали ли они его или несчастный доктор с испугу вообразил, будто его преследуют, этого нельзя решить с достоверностью: только от них-то скрылся он в сулеймановские бани, куда, когда он раздевался, пришел и переодетый купцом Халеф.

Остальное известно.

Теперь мы можем возвратиться к разговору между ширван-шахом и панной Олескою, с которою доктору Ди суждено было, после внезапной разлуки в Олите под татарскою саблей, к досаде своей, нечаянно встре-

титься на ширванском престоле.

II

Панна Марианна, как всем известно, сказала Халеф-Мирзе-Падишаху:

— Хорошо, я буду говорить с вами и поперсидски, если вы так скоро забыли уже свой природный английский язык. Вы, однако ж, прекрасно умеете подделываться под чужой голос!.. я думала, что это стучится ко мне падишах, мой жених... Давно ли вы видели моих родителей? Здоровы ли наияснейшие папенька и маменька?

— Роза моего сердца! птичка роци моей страсти, панна Марианна! — воскликнул Халеф в изумлении и отчаянии. — Вы, право, помешались!.. вы едите ужаснейшую грязь!.. что вы это говорите мне на английском языке?.. где мог я видеть ваших наияснейших родителей?.. за кого же вы меня принимаете? Разве вы меня не узнаете?

— Да как мне не узнать вас! — вскричала панна Марианна, до крайности изумленная этими вопросами. — Слава богу, мы давно с вами знакомы... и с тех пор как мы расстались, лицо ваше нисколько не переменилось.

— Так вы знаете мое лицо? вы его видели прежде? — спросил Халеф с удивлением, сквозь которое пробивались и любопытство, и радость.

— Боже мой, что это за вопросы! — возразила девушка в замешательстве. — Вы, очевидно, пришли сюда насмеяться надо мною. Разве я была слепа в течение почти двух лет нашего знакомства, чтобы не видеть вашего лица?.. Извините, оно хорошо врезалось мне в память.

— Так кто же я таков?.. скажите! — примолвил Халеф еще с большим любопытством.

— Да я уже, кажется, сказала вам по-английски, когда вы скинули с себя покрывало, кто вы таков.

— Я не понял... не расслышал... Говорите, свет глаз моих, по-персидски, кто я.

— Вы доктор Джон Ди!

— Доктор Джон Ди?.. Аллах, Аллах! что это такое?.. Кто же я, конец концов?.. Говорите, ради жизни вашего отца!

— Вы друг моего папеньки, с которым граф Лисстер познакомил вас в Лондоне; приехали вместе с нами из Лондона; папеньке предска-

зали по звездам в Варшаве, что он будет королем, а мне, что я выйду замуж за молодого и могущественного государя; и потом делали с папенькою золото в Олите.

— Больше ничего вы обо мне не знаете? — спросил Халеф.

— Откуда же мне знать! — возразила невеста. — Вы, верно, помните, как татары ночью напали на Олиту и как мы разбежались впотьмах. Я была похищена. С тех пор не получала я из дому никаких известий и об вас, будучи в Багчисарае, слышала только то, что находитесь в Москве и опять делаете золото с тамошним царем.

— В Москве! — воскликнул Халеф с ужасом... — В Москве!.. Аллах, Аллах! нет ни силы, ни крепости, кроме как у Аллаха! все мы его собственность и к нему возвратимся!.. Так Фузул-Ага прав! Ну, так и есть: он справедливо говорил, что Дели-Иван подослал сюда колдуна, чтобы сделать с нами то же самое, что уже сделал он с Казанью и Астраханью. Мы пропали!.. мы превратились в прах!.. Друг мой, панна Марианна, вслушайтесь хорошенько в мой голос... взгляните на мои руки,

которые вы так любили... вот они!.. вот ваше бесценное кольцо!.. смотрите!.. я не Джон Ди, не друг вашего светлого отца... не знахарь будущего... я ваш раб... ваш жених!.. я Халеф-Мирза!.. я бедный ширван-шах, которого сердце иссохло, как бурьян в степи, от зноя солнца глаз ваших!.. которого взор еще вчера кувшином желанья почерпал жизнь и счастье в источнике вашей улыбки!.. Я околдован. Мне налепили чужое лицо, в суматохе, во время землетрясения. Это гадкое, злое лицо, которое вы видите... не смотрите так пристально на него!.. оно слишком отвратительно... это лицо — вовсе не мое, а какого-то мошенника, чертова сына, чернокнижника, который украл у меня мой глаз, мой нос, мой рот, мою бороду, мое платье, мое царство и навязал на меня свои адские черты, свои лохмотья и свою нищету, оставив мне только то сердце, которым я вас полюбил, и тот голос, которым я тысячу раз клялся вам, моей полной луне, моей газели, моей дильбер, «сердцепохитительнице», что буду любить одну вас до могилы... которым, повторяю теперь, быть может, в последний раз, что не могу жить без

вас ни одного дня...

Халеф зарыдал и, упав к ногам Марианны, с восторгом поцеловал край ее юбки. Этот голос, столь сладостный для ее слуха, голос, могущественнейшее орудие в мужчине для очарования женщины, глубоко проникал в ее душу. Эти знакомые выражения страсти, составлявшей счастье и надежду пленницы, эти ласки, приемы, движения, все убеждало ее в присутствии любимого человека, хотя в смущении она и не могла ясно понять слов его. Инстинкт любящего сердца говорил ей, что это он, но вид лица поселял в ней недоверчивость и замешательство.

Халеф взял свою невесту за руку, посадил или, точнее, уложил на софу и, заняв привычное место у ее ног, рассказал свои приключения в течение всего прошедшего дня. Марианна слушала его с напряженным любопытством. Когда Халеф стал описывать, как его прогнали с насмешками и угрозами от всех входов в дом его предков, как он удалился, с отчаянием в сердце, от стен, в которых обитала сердцепохитительница, как нашел приют у одного бедного бородобрея, она заплакала,

бросилась к нему на шею и объявила, что дальше не останется здесь ни одной минуты, уйдет вместе с ним из этих дворцов и разделит судьбу его повсюду.

Теперь для нее все было ясно.

Тот ширван-шах, который покоится во дворце, не приходил к ней вечером, в обыкновенное время, на *conversazione*, для которой королева Франкистана ожидала его по уговору и по заведенному порядку: как это не падишах, ее жених, то он и не знал своей обязанности. Он, вероятно, не знает даже, что она здесь. И какая мерзость!.. он для своей светлой и радостной беседы потребовал к себе «самую жирную», и Ахмак-Ага отвел к нему на *conversazione* гаремную судомойку, какую-то Шишманлы! Панна Марианна с негодованием рассказала Халефу это первое правительственное распоряжение его преемника, и они вместе принялись разбирать вероятные причины такой непостижимой меры. Когда ширван-шах объяснил ей старинный этикет своего двора, тогда только поняли они, почему самозванец отдал такой приказ. Он не знает даже и по имени ни одной из сво-

их жен и фавориток, и на вопрос — которую? — не умел назвать желаемой. Как европеец, которому по слуху известен вкус восточных к жирным женщинам, он без сомнения полагал, что в новой роли своей азиатского властелина ему непременно следует отвечать — самую жирную! — чтобы достойно разыграть эту роль, не унижить столь высокого сана и не изменить себе. Приведя это обстоятельство в ясность, Халеф и панна Марианна не могли удержаться от смеха над странными понятиями похитителя престола о том, что на Востоке знаменует царственность в поступках. Они утешились мыслию, что, продолжая таким образом, самозванец скоро наделает столько несообразностей, что все ширванцы убедятся в подлоге его лица.

Что касается до вина, которого искали даже и в гареме для его ужина, то это обстоятельство служило панне Марианне новым доказательством присутствия доктора Ди во дворце. Ее папенька, пан воевода серадзский, для того и был назначен послом в Англию, чтобы достойно поддержать вакхическую славу польского дворянства между англича-

нами, которые в шестнадцатом и семнадцатом веках гордо присваивали себе пальму первых питухов в Европе, к обиде всех народов твердой земли. В самом деле, он перепил там самых благородных лордов и самых красноречивых депутатов — перепил всю консервативную партию и оппозицию — и одного только доктора Джона Ди никогда перепить не мог. Ди был в состоянии выпить целую бочку вина, не переводя дыхания; по крайней мере хвастался этим искусством, которое делало его и знаменитым и страшным в этом веке скверных вин и великих пьяниц. Он не мог жить без крепких напитков, и, очевидно, он-то и велел тотчас подать вина, лишь только взобрался на правоверный престол ширван-шахов. Мысль о таком поношении для всей их династии приводила Халефа в отчаяние. Но панна Марианна удачно успокоила его замечанием, что в то же самое время благополучно процветает в Стамбуле великий Головорез, который прослыл в свете под именем *Селими Мест*, то есть Селима Пьяницы, и это нисколько не мешает ему быть отличным представителем пророка, и его дому считать-

ся в мусульманстве главою всего суннитского правоверия.

Относительно к похищению доктором Ди Халефова лица дело было слишком ясное, как оно ни кажется теперь загадочным и почти сверхъестественным. Эта статья не встречала в убеждении панны Марианны никакого противоречия. «От него это станется! — воскликнула она. — В Англии, во Франции, в Голландии, в Польше, повсюду, где мы с ним были, его называют не иначе, как *шейхи сихр*, „доктором чародейства“». Но если бы она и не верила этим отзывам людей несведущих, то ученый отец ее рассказывал столько непостижимых вещей о сокровенном знании своего друга, доктора, и об его власти над тайными силами природы, и сам Ди так часто изумлял девушку в Лондоне, в Варшаве и в Олите чудесами своего многообразного искусства, не скрываясь, что он может поменяться лицом с кем угодно: столько раз приводил ее в ужас и слезы, обещая в шутку когда-нибудь взять себе ее прекрасное лицо, а ей передать свое, что сомнение было бы еще неестественнее факта, который теперь осуществился перед нею.

Оставалось только обдумать, на что решиться в настоящем положении. Марианна, недолго думая, начала укладывать свои драгоценности: она хотела бежать с Халефом! Ширван-шах был тронут теплотою ее души и готовностью на самопожертвование, но умолял ее не подвергать себя опасностям прежде времени: присутствие ее в гареме может быть гораздо полезнее им обоим, если она захочет наблюдать за самозванцем, сообщая известия Халефу и действуя сама на месте к обнаружению измены. Через женщин можно распустиť молву по всем гаремам о странном происшествии с Халефом и взволновать умы в городе, прежде чем похититель успеет осмотреться в новом положении и принять меры к своей безопасности. «Восемь сот женских языков — это страшная действующая сила! — заметил Халеф. — Эльбурз и Арарат можно поколебать таким могущественным рычагом!»

На мужскую часть придворных служителей и чиновников нечего было полагаться: непроницаемая тайна окружает восточные дворы: там вечно господствует могильная ти-

шина, никто не смеет произнести слова, все ходят на цыпочках, в мягкой поярковой обуви, не производящей никакого шума, люди общаются знаками, входы и выходы заняты глухонемыми, и всякое нарушение придворного секрета наказывается смертью. Следовательно, с этой стороны нельзя ожидать никакого пособия: тайна бессрочно закрывает все действия чернокнижника от города и от народа, и под покровом он будет блаженствовать во дворце ширван-шахов. Вся надежда на женщин, которых Аллах, в своей мудрости, наделил склонностью к болтливости, усиливающейся в геометрическом содержании строгости тайны и странности скрываемого случая. Марианне, по мнению Халефа, легко будет составить себе партию между нами, приняв вид преследуемой и несчастной. Но она как женщина тотчас сообразила, что гораздо сильнее можно заинтересовать это мягкосердечное народонаселение своим затруднительным и необычным положением, в котором страстная любовь ее принуждена будет избрать между ненавидимым человеком, одевшимся в прекрасное лицо возлюб-

ленного, и возлюбленным, облеченным харею ненавидимого человека. Пока женщины решат этот казусный вопрос любви, все они, вероятно, станут принимать живейшее участие в судьбе королевы Франкистана. Для каждой будет важно и любопытно посмотреть, как она выпутается из этого критического обстоятельства и приведет для самой себя в ясность великую задачу: кого тут, собственно, должно любить?.. когда это случится с ее любовником.

К этому обильному началу успехов, остроумно открытому Марианною, Халеф прибавил другой, не менее удобный в настоящем случае: главному евнуху, Ахмак-Аге, давно дано приказание исполнять без доклада падишаху все желания и прихоти королевы Франкистана, а визирю, дефтердару и казначею — отпускать под расписки Ахмак-Аги все, чего он для нее потребует. Эти два обстоятельства представляли большие выгоды и для устройства свободных сношений между Халефом и Марианною, и для получения денежных средств на покупку усердия к правому делу.

Словом, все соображения вели к тому, что Марианне должно остаться в гареме; и она наконец согласилась, но не прежде как убедив Халефа взять себе ее деньги и по крайней мере часть драгоценностей, которые теперь были нужнее ему, чем ей.

Надежда возродилась в сердцах любовников. Они условились в способе и местах свиданий, в средствах взаимной передачи известий, в мерах, которые надлежало принять немедленно для личной безопасности, и долго еще разговаривали о своем настоящем и будущем положении. Об этой отвратительной роже, которую Ди наклеил Халефу, теперь нечего было и думать; надо носить ее до времени, взложив упование на Аллаха: но как быть, если, возвратив престол, бедный Халеф не возвратит себе прежнего лица?.. Панна Марианна заявила, что, несмотря на всю любовь свою, она никогда не решится дать поцелуя Халефу сквозь лицо Доктора Ди и ни за что в свете не позволит мужу поцеловать себя жесткими и нечистыми губами этого гадкого чернокнижника. Я думаю, что при рассмотрении вопроса о том, кого любить и за

кого выходить замуж в случае перемены лиц, это обстоятельство должно принять в первое соображение: в самом деле, что же это за любовь, что за супружество без поцелуев?.. Как у Халефа на виду оставались еще прежние руки, то панна Марианна, повторяя пылкие клятвы в вечной любви своей к несчастному жениху, в состоянии была целовать кончик его мизинца: но Халеф не мог поцеловать ее ровно никуда, не имея при себе своих губ!.. Он печально вздохнул при мысли, что это мучительное для них обоих состояние может продолжиться всю жизнь, и чуть-чуть не подумал — стоит ли в таком случае жениться?.. стоит ли выходить замуж?.. По крайней мере я теперь задаю себе эти вопросы; и, признательно сказать, ума не приложу, как решить их. Много на свете написано романов: но сколько еще остается вовсе не разобранных задач любви, в которых сердце не знает, как поступить безошибочно! Например, эта: когда вы обожаете свою невесту, и невеста вас обожает, и вдруг кто-нибудь поменяется лицом с вами?.. Этот случай, и теперь еще возможный, а в прежние исторические времена

и очень обыкновенный, кажется, до сих пор не приходил в голову ни одному романисту, ни одному великому исследователю тайных мучений женской души. После этого, спрашиваю, какую пользу приносят нам романы, когда в них не находишь решения и руководства даже на такие простые задачи сердца? Но мы уклоняемся от истории, которая важнее всего на свете.

На прощание, по свидетельству самых достоверных историков, как восточных, так и западных,[36] панна Марианна поцеловала только белый и мягкий мизинец Халеф-Падишаха. Он заплакал с горя, что даже и этого ничтожного знака любви, преданности, благодарности не мог дать своей великодушной невесте. Закутав голову в покрывало и надев на себя женский плащ, он с глубоким вздохом снова поцеловал край юбки панны Марианны и удалился. Но прежде сама она, своими прелестными ручками, опоясала его под плащом двумя дорогими турецкими шальями и все карманы набила деньгами, ожерельями, запястьями, жемчугом и золотыми вещицами, которые безопасно мог он продать в горо-

де на свои первые надобности.

Большую часть гаремных садов Халеф прошел боковыми дорожками очень благополучно; но при повороте в одну из главных аллей, которой никак нельзя было избежать, он нечаянно столкнулся с одним из старших и самых сердитых евнухов, который вдруг схватил его за руку и завизжал своим пронзительным дискантом:

— Ах, ты куда, приятельница?.. Стой!.. Кто ты такова? Зачем не в своей комнате?.. и куда это изволила собраться в ночное путешествие?

Халеф испугался. И было чего! Вещи, которые при нем находились, могли послужить самозванцу превосходным предлогом к преданию его смерти как вора, если бы даже и не было доказано, что он проник в священную ограду гарема для любовного свидания с какой-нибудь из женщин падишаха. Но присутствие духа не оставило несчастного Халефа при этой опасной встрече. Узнав поимщика по его писку и полагаясь на действие своего голоса, он важно отвечал ему:

— А!.. это ты, Сиксиз-Бег?.. Хорошо, что я с

тобой встретился. Я искал тебя. Тише!.. не делай шуму!.. Падишах ходит инкогнито. Он переодет женщиною. Что, разве ты не узнаешь меня?

— Что я за собака, чтобы не узнать даже и впотьмах лучезарной персоны падишаха, убежища мира? — сказал Сиксиз, распростершись на земле перед Халефом в еще в большем испуге, чем его повелитель. — Простите раба вашего за дерзость, с какою он.. в первую минуту...

— Ничего! — ласково прервал Халеф. — Падишах доволен твоей бдительностью. Встань и повесь ухо на гвозде внимания. Есть ли у тебя ключ от которого-нибудь выхода за окружающую стену?

— У раба вашего, — отвечал Сиксиз, — есть только ключ от калитки Рока, в которую выносят зашитых в мешок преступниц для бросания их в Озеро Тайны и над которою он начальствует.

— Славно! — продолжал Халеф. — Веди меня к калитке Рока. Ступай вперед.

Сиксиз пошел впереди. Халеф важно за ним последовал. Когда в аллеях, которыми

они проходили, мелькала тень человеческая, евнух издал произносил официальное — «*Сакын ол!* — Берегись!» — и все ночные стражи разбегались в стороны, чтобы не находиться на пути падишаха. Пришедши к калитке Рока, евнух отворил ее своим ключом и посторонился.

— Сиксиз-Бег, — ласково сказал ему Халеф, остановясь у этой страшной двери, — я знаю, что ты усердный и умный служитель, и полагаюсь на тебя больше, чем на кого-нибудь другого. Странные дела происходят в этом городе... появился самозванец, большой черно-книжник, родной сын сатаны: я хочу сам лично удостовериться в его затеях. Сегодня не жди меня здесь; я ворочусь другим путем. Но завтра в час пополуночи сиди у этой калитки и, когда я постучусь, тотчас отвори мне ее. Я выйду из дворца Воротами Счастья и ворочусь в гарем этим входом; пробуду здесь несколько времени, и ты опять выпустишь меня этою калиткою. Но обо всем этом никому в свете не пикнуть ни одним словом!.. И смотри, чтобы в главных аллеях, отсюда до западного павильона, не было на моем проходе

ни живой души!.. За скромность и верность — наша царская награда. За малейшую тень измены — петля!.. — и тебя вынесут в эту же калитку!.. Понимаешь ли?

— Как не понимать? — воскликнул, падая ниц перед падишахом, евнух, ошарашенный таким доказательством его доверенности.

Опасаясь встречи с полицейским дозором, Халеф приказал Сиксизу запереть калитку и проводить себя в город. Когда они приблизились к лавке Фузул-Аги на расстояние нескольких домов, ширван-шах отпустил евнуха и один пошел к двери своего покровителя, который нетерпеливо ожидал его возвращения. При первом ударе в эту дверь она отворилась. Халеф вошел в лавку и тотчас помолился Аллаху за благополучное совершение столь опасного путешествия.

Бородобрей, обещавший не спать до прихода своего высокого гостя, как астролог, принялся в его отсутствие считать звезды на небе, чтобы узнать, какого они мнения о дивном приключении с ширван-шахом и что для него самого изготовлено судьбою за вмеша-

тельство в это страшное дело. Лишь только Халеф окончил свой намаз, положив последний земной поклон и поздравив невидимых духов легким склонением головы направо и налево. Фузул-Ага подошел к нему с испуганным лицом и совершенно расстроенным видом.

— *Чи хабер?* — Что за известие? — спросил его ширван-шах.

— Фена! — Плохо! — сказал бородобрей, печально покачав головою. — Наступило время чудес! Аллах знает, чем все это кончится... Пойдем на двор, падишах. Я вам покажу удивительное чудо.

Встревоженный Халеф безмолвно вышел за ним на маленький двор, занимавший не более шестнадцати квадратных сажень пространства и осененный высоким кипарисом. Фузул-Ага поставил его под этим деревом и указал пальцем на созвездие Кассиопеи:

— Видите ли, падишах?

— Ничего не вижу особенного, — сказал Халеф, — вижу звезды, и только.

— А эту большую, белую, блестящую звезду изволите ли видеть? — спросил цирюльник с

явным выражением страха.

— Да! вижу! — отвечал Халеф. — Что ж из этого?

— Как, что из этого! — воскликнул Фузул-Ага. — Всмотритесь только, падишах, своим светлым оком в ее положение, величину, блеск: ведь она больше *Зюгре*, Венеры!.. яснее Сириуса и Лиры, вместе взятых! Посмотрите, как светло на дворе от нее: дерево бросает тень на землю, хоть на небе луны нет... *Валлах*, *биллях*, клянусь Аллахом, и его пророком, и первыми четырьмя халифами, это новая звезда! Раб ваш знает все звезды наперечет: этой еще вчера тут не было!.. ее нет и в фигуре созвездия, нарисованной на небесной карте *Батальмиса-Мудреца* (Птолемея). Ваш раб справлялся. Это решительно новая звезда!

— Что же она предзнаменует? — спросил Халеф, смущенный странным открытием шемахинского бородобрея.

— Я жертва падишаха, но она предзнаменует недоброе, — грустно примолвил бородобрей. — В книгах мудрецов сказано, что когда наступит время представления света, земля наполнится колдунами, самозванцами и

землетрясениями, все человеческие лица перемешаются, люди не будут узнавать друг друга, и Аллах выведет на твердь небесную новые светила, которые превратят вселенную в горсть пепла... Мы все собственность Аллаха, и к нему возвратимся! Нет божества, кроме него!

Фузул-Ага не ошибся в своем астрономическом наблюдении. В самом деле, это была знаменитая звезда 1572 и 1573 годов, известная у нас под именем «Тихо-новой». Простому шамахинскому бородобрею суждено было прославиться в истории астрономии первым открытием этого загадочного светила, которое он заметил целым месяцем прежде Тихона Браге и которое, как известно, существовало шестнадцать месяцев, непрерывно изменяло свой блеск и цвет, наполняя суеверным страхом Восток и Запад, и исчезло в марте 1574. В восточной астрономии его зовут «Фонарем ширванского самозванца» или «Звездой гибели Ширвана», потому что оно появилось в самые сутки похищения лица у Халеф-Мирзы-Падишаха, в ночь, с которой началось столь нечаянное, столь быстро совершившее-

ся падение сильного, цветущего и совершенно спокойного государства. Замечательно, что и в 1604 году, в эпоху появления другого знаменитого самозванца, именно Лже-Димитрия,^{106} который наполнил Россию смутами и несчастиями, зажглось на небе, в созвездии Змееносца, другое такое же светило, еще ярче и примечательнее «Фонаря ширванского самозванца» и известное под названием «Звезда Кеплера»,^{107} потому что Кеплер оставил нам его описание. Но теперь ничему не верят! А я так думаю, что бессмертный шемахинский астроном, бородобрей Фузул-Ага, был совершенно прав, утверждая, что звезды никогда не врут.

Халеф с ужасом слушал его зловещие предсказания и тайное отчаяние овладело им при мысли, что, может быть, свет кончится, прежде чем он возвратится на прародительский престол и женится на панне Марианне. Ясно было, что надобно поспешить низвержением самозванца. Он стал рассуждать об этом со своим другом бородобреем.

Главная польза всякого рассуждения состоит в том, что в конце его мы приходим к умо-

заклучению, противоположному первым нашим впечатлениям, и можем посредством строгой логики все истолковать в свою пользу. Халеф и Фузул-Ага, считая и пряча в сундуки сокровища, принесенные от панны Марианны, повели рассуждения так логически, что, одушеваясь чудесною замысловатостью своих планов действия против чернокнижника и совершенно довольные своим остроумием, наконец уверили друг друга, будто новая звезда означает новое счастье для падишаха и явилась нарочно, чтобы покровительствовать их начинанию.

Решено было, что Фузул-Ага без потери времени нанесет своим красноречием пробный удар самозванцу на первых головах, которые придется ему брить поутру.

В самом деле, лишь только совершив омовение семи членов и сотворив утренний намаз, отпер он лавку и принялся править бритвы, тотчас явилось несколько человек, с головами, которые нуждались в его операции, из любопытства узнать подробности вчерашнего посещения этой скромной цирюльни падишахом, убежищем мира. Это были купцы,

шедшие на базары, куда каждый непременно старается принести с собою какую-нибудь новость, чтобы иметь предмет для рассказов. Нельзя и желать ушей доверчивее и языков болтливее, когда дело идет о разглашении какого-нибудь странного случая. Фузул-Ага посадил одного из них на стул: прочие уселись на эстраде, устланной старым ковром, чинно поджали под себя ноги, учтиво закрыли их полами и, как люди «знающие свет, понимающие речь», начали в глубоком молчании перебирать четки и от времени до времени восклицать: «Аллах, Аллах!» Бородобрей видел, что их мучит любопытство: он нарочно молчал. Наконец один из купцов, самый «понимающий речь», вздохнул, погладил себе бороду и сказал, обращаясь к другому:

— Джафар-Ага!.. натура судьбы неисповедима. Мир — колесо Аллаха, которое вертится около его мизинца. Вселенная состоит из старого и нового. Что вы скажете?

— Что же я могу сказать! — отвечал Джафар-Ага. — Аллах велик!.. Все в руке Аллаха!.. То, что ново сегодня, завтра будет старо. Мне ровно нечего сказать!

— А вы, Сулейман-Ходжа, — спросил первый купец его соседа, — что скажете? Говорите!

— Мне тоже не об чем говорить, — возразил Сулейман-Ходжа. — Говорите вы, Мустафа-Бег, — прибавил он, обращаясь к четвертому.

— Мне говорить не прилично, — сказал тот, — первая речь принадлежит хозяину дома. Гость — раб хозяина, гласит пословица. Все мы здесь — рабы почтеннейшего Фузул-Аги, да возвысится степень его между равными и подобными... Свет глаз наших, бородобрей-господин! речь за вами... говорите!

— Об чем же мне-то говорить, когда такие умные и высокостепенные головы не находят предмета к беседе? — отвечал Фузул-Ага, быстро отделявая голову своего пациента. — Темному мозгу вашего раба ничего неизвестно и говорить ему нечего. Я сказал.

— Скромность, по сказанию мудрецов, знаменует мудреца, а болтливость означает дурака, — заметил первый купец. — В Несомненной Книге написано: «Взывайте к Господу вашему — Аллах, упаси нас от сраму мно-

горечивости и от порока пустословия! — ибо молчание лучше всякой речи». Блажен тот, кто поступает в точности по руководству Аллаха и молчит. Но каждое наше слово прежде написано у Аллаха. Каждое действие предопределено судьбою. На этом тленном свете ничего не может состояться без воли судьбы... Повествуется, бородобрей-господин, якобы вчерашнего благополучного числа падишах, убежище мира, изволил пожаловать к вашему благородному порогу: не знаю, правда ли это или ложь? Простите мое любопытство. Люди столько лгут, что не смеешь верить даже самым правдоподобным происшествиям.

— Да!.. изволил пожаловать... — равнодушно отвечал Фузул-Ага. — Заходил сюда дважды... куда же ему заходить? Голова раба вашего чрезвычайно возвысилась от его посещений.

— Дважды? — вскричали купцы, — Удивительно! удивительно!.. По какому же поводу дважды? Простите наше любопытство.

— По поводу тех странных событий, о которых вы знаете лучше моего.

— Мы не знаем ни о каких странных собы-

тиях.

— Как же? разве вы не видали новой звезды на небе? разве не слышали, что у нас вместо одного теперь два падишаха?.. Ну, да мне ли объяснять вам эти дела! Вы подробнее меня знаете все, что происходит на свете. Раб ваш последний узнает обо всем и повторяет только общую молву. Что ж ему повторять!

Купцы в удивлении переглянулись между собою и воскликнули:

— Новая звезда! два падишаха!.. это что за известие?

— Мы люди темные, — прибавил один из них, — торгуем на базаре, сидим смирно, ни об чем не спрашиваем, не пускаемся ни в какие рассуждения: наше дело сторона... Мало ли об чем толкуют вокруг нас! Всего не слышишь и не упомнишь. Кажется, будто и на нашем базаре вчера говорили о новой звезде и о двух падишахах. Джафар-Ага! слышали ли вы об этом?

— Да!.. кое-что слышал, — сказал Джафар-Ага, — но не понял хорошенько, в чем дело. А вы, Сулейман-Ходжа, слышали?

— Все, конечно, слышал! — промолвил Су-

лейман-Ходжа. — Только не знаю, верно ли это.

— Ну, вот видите! — воскликнул бородобрей. — Вы все слышали и знаете, а приходите спрашивать ко мне! После того еще скажете, что я же вам рассказываю, и накличете беду на меня. А я ровно ничего не знаю и говорю только то, что слышу от других, от всего города!

— Упаси Аллах, — сказали купцы, — чтобы мы приписывали вам, господин бородобрей, то, что сами знаем и о чем говорит весь город! Притом же мы вовсе не такие люди, чтобы повторять чужие слова: наше дело сторона... Ну, так что ж говорит весь город? Так это правда, что мы слышали о новой звезде и о двух падишахах?

— Разумеется, правда, — примолвил Фузул-Ага. — То, что весь народ говорит, всегда правда. Посмотрите сами сегодня о полуночи: над Шах-Роховою мечетью увидите большую яркую звезду, которая сияет, вот как эта голова, которую раб ваш имеет счастье брить своей слабою рукою. Эта звезда появляется только один раз в восемь сот лет и всегда знаме-

нует большие бедствия — засухи, грады, землетрясения, нашествие колдунов и самозванцев, почему у мудрецов и называется она «Звездою самозванцев». В самом деле, мы имели засуху и грады, а вчера, как все утверждают, и как сами вы знаете, московский король, Дели-Иван, завистник нашего падишаха, да умножится его сила, прислал сюда страшного колдуна, своего визиря, который произвел землетрясение и в суматохе посредством *теркруй-бази* украл у Халеф-Мирзы его светлое лицо, с которым теперь и сидит он на ширванском престоле, между тем как настоящий государь Ширвана скитается без приюта по городу и, может быть, где-нибудь просит милостыни. Вот нашествие колдунов и самозванцев! Звезды никогда не врут.

— Аллах, Аллах! — восклицали купцы, в изумлении покачивая головами.

— Ну, да мне ли рассказывать вам эти дела! — продолжал Фузул-Ага. — Вам они известнее. Вы — господа купцы, я бедный бородаборей. Я ничего не знаю.

— Рассказывай, душа моя, бородаборей! — вскричал один из купцов. — Ради твоей боро-

ды, рассказывай!.. Мы все это слышали и знаем: но в одном слове умного человека бывает более мудрости, чем в длинной беседе тысячи дураков. Пожалуйста, рассказывай!

— Что ж мне вам рассказывать! — возразил Фузул-Ага. — Я могу рассказать только то, что случилось в этой лавке, что все видели. Пришел вчера ко мне визирь Дели-Ивана, колдун, и приказал побрить себе голову. Я тогда еще не знал его и побрил: что мне было делать! Он уже одет был в платье падишаха, уже похитил его частные печати, и ему осталось только побриться, чтобы прилично надеть на себя лицо нашего Халеф-Мирзы. Ушедши отсюда, он тотчас поменялся лицом с ним. Немного спустя приходит ко мне тот же самый человек, но в другом платье и небритый. Что за дьявольщина?.. как же это, думаю я себе, так скоро выросли у него волосы на голове?.. Смотрю: а это наш падишах, да не уменьшится тень его, которому тот колдун наклеил свое поганое лицо!..

— *Аджаиб!* — Чудеса! — закричали купцы в остолбенении. — Так у вас были и падишах и самозванец?

— Были!.. Разумеется, были. Где ж им бывать?.. Ваш раб, Фузул-Ага, читал книги древних мудрецов, знает толк в звездах и немножко постигает тонкости вещей: в этом городе, кроме него, не к кому более и ходить. Тут нет ничего мудреного. Ваш раб не виноват, что они были.

— И вы собственными глазами видели того и другого?

— Видел, как вижу вас! Держал голову обоих в своих руках, как теперь держу эту благородную голову! И не один я видел: видела вся улица, видел весь квартал. Спросите у кого угодно! Народ столпился перед моей лавкою и колдуна приветствовал падишахом. Вероятно, и вы сами видели это собрание: так вам дело лучше известно! Я ничего не знаю.

— И самозванец теперь совершенно похож лицом на нашего падишаха?

— Как две капли воды! Вся разница между ними в том, что у колдуна на правом ухе есть рубец, а у нашего падишаха его нет, и что тот говорит густым сиплым басом, а у настоящего ширван-шаха — *машаллах!* — голос как у соловья!.. В целом мире нет такого сладкого го-

лоса, как у нашего падишаха. Но вы знаете все лучше моего. Я ничего не знаю.

Продолжая таким образом уверять своих слушателей, что он ничего не знает, что они все лучше знают и что он повторяет только известное всему городу, бородобрей изложил им все подробности вчерашней прогулки Халефа инкогнито, его приключения в бане, и того, как он был прогнан от дворца собственными своими служителями, которые не узнали в нем падишаха. Никто не делал возражений. Никто, несмотря на странность факта, не сомневался в его подлинности. Каждый, чтобы не отставать от всего города в знании важной новости, усвоил ее как вещь давно известную и не требующую новых исследований. В это время в лавку набралось еще множество новых посетителей. Фузул-Ага проворно очищал головы и все рассказывал.

Легко вообразить, каким сокровищем была эта история для тех, которые спешили на базары, чтобы завести интересную беседу у своих прилавков и ею привлечь к себе публику. Через час история о звезде, самозванце и похищении Халефова лица визирем мос-

ковского царя посредством колдовства повторялась вдоль всех базаров, и достоверность события уже основывалась не на одном частном авторитете безвестного бородобрея: во-первых, весь город знает дело, — а во-вторых, вот и личные его свидетели. Те, которые спаслись из публичных бань с Халефом, видели, как он там искал свое платье. Бывшие в толпе народа, собравшегося перед лавкою Фузул-Аги, могли сказать много о наружности и голосе колдуна. Старый мулла, который встретил Халефа, возвращающегося от дворца в город, дал ширван-шаху первое понятие об его новом лице и сам присоветовал ему отправиться к Фузул-Аге. Каждый из этих людей имел неоспоримое право быть самостоятельным повествователем и подкреплять сказание своим свидетельством, отвечая сам за достоверность многих обстоятельств. К вечеру оно уже действительно было собственностью всего города; и ни в один год от своего основания Шемаха не навосклицала такой массы *аджаиб!* и *Аллах, Аллах!* как в этот достопамятный день. Старый мулла сделался даже главным помощником Фузул-Аги по ча-

сти успешного распространения истории. С базаров он побежал прямо в его лавку и основал свою главную квартиру на эстраде бородобрея. С этого возвышения мулла, сам, своим высоким словом, принялся рассказывать его анекдот бесчисленным посетителям цирюльни, перемешивая периоды изречениями Алкорана и украшая повесть глубокомысленными рассуждениями «о натуре судьбы», которые производили невыразимое впечатление на правоверных слушателей. Фузул-Ага уже служил ему только случайным свидетелем и комментатором.

Цирюльня Фузул-Аги до того времени была посещаемая почти исключительно лицами среднего и низшего сословий. Теперь, благодаря печальному приключению с ширван-шахом и красноречию старого муллы, она стала совершенно модною. Все изящное шемахинское общество несло головы свои под бритвы знаменитого бородобрея, который на третий день после происшествия принужден был нанять целую толпу подмастерьев, откупил смежную лавку пирожника для распространения своей и распорядился так,

чтобы работа и рассказ могли вдруг производиться на двадцати головах. Несмотря на непомерное возвышение цены и необходимость иногда долго ждать своей очереди, заведение Фузул-Аги с утра до самой ночи было наполнено народом. Мирзы, беги, шейхи и вообще люди хорошего тона приходили к нему уже не для того, чтобы узнать подробности происшествия — они были известны всякому — но только чтобы для устранения последних сомнений в истине рассказа услышать из собственных уст его и старого муллы, что и падишах и колдун действительно были в этой лавке и воскликнуть: *«Ля хевль ве ля кувет илля биллях!»* — Нет ни силы, ни крепости кроме как у Аллаха!»

Действительно, дело уже было так очевидно, что оно не требовало более положительных подтверждений. По достоверным сведениям, получаемым в то же время во всех лучших гаремах столицы прямо из высочайшего гарема, не подлежало спору, что между настоящим ширван-шахом и тем, который коварно занял его престол, существует коренная разница. Женщины, которые всегда знают гораз-

до более мужчин, одногласно утверждали, что это не тот ширван-шах, что тут есть подлог. Панна Марианна через посредство своей казначейши, пользовавшейся ее особенною доверенностью, на другой же день распустила по всему гарему тайную молву о похищении лица у падишаха чернокнижником. Все это народонаселение вдруг зашептало, что ширван-шах подменен. Любопытство женщин было возбуждено до высочайшей степени. Каждой хотелось узнать, что за род мужчины — чернокнижник!.. Если он чернокнижник, так это должно быть нечто совершенно сверхъестественное! Как Джон Ди не показывался в гареме, то они обратились к Шишманлы. Судомойка стала их героинею. Все бегали к ней на кухню, ласкали, допрашивали, мучили. Но показания Шишманлы были вовсе не в пользу чернокнижья: оказалось, что относительно к могуществу очарования ширван-шах, повелевающий тайными силами природы, далеко не стоит обыкновенного ширван-шаха. Те, которые пользовались правом посещать знатнейшие гаремы или имели родных в городе, тотчас собрались с церемо-

ниальными визитами, чтобы сообщить кому следует важное открытие Шишманлы. К другим стали приезжать посетительницы из города, привлеченные этими курioзными слухами. Общее любопытство заставляло всех разведывать о каждом слове, поступке и движении чернокнижника. Этим-то путем вся Шемаха узнала историю «о самой жирной». Не оставалось также никакого сомнения, что новый ширван-шах пьет вино, как грузинец. Говорили, будто он верховному визирю вместо слушания доклада о делах велит рассказывать себе сказки «Тысячи одной ночи». Говорили, что однажды после обеда, выпив целый бурдюк вина, он завел богословский спор с шейхул-исламом и муфтием, доказывая им, что пророк беспогрешный — да будет с ним мир! — был просто обманщик: при этом споре он до того разгорячился, что шейхул-ислама, главу духовенства, назвал сожженным отцом, а муфтия, благочестивейшего мужа во всем Ширване, собачьим сыном. Говорили, что он прогнал от себя главного евнуха, дав ему страшного пинка совсем не по мусульманскому порядку, и запретил стоять в своем при-

сутствии; что он обещает уничтожить гаремы и разрешить всем женщинам ходить без покрывала и принимать у себя всяких мужчин; что ученого *мунеджим-баши*, главного ширванского астролога, велел он отколотить по пятам за незнание своего дела, а *хеким-баши*, главного врача, объявив ослом, обещал сам учить с азбуки медицине. Говорили, что он не совершает омовений, не творит пяти намазов и намерен вывернуть благословенный Ширван вверх дном, преобразовать с ног до головы: завести какую-то *сивилизешн*, открыть зрелища с танцами и масками, построить огромные корабли и учредить в Ширване две палаты отборнейших краснобаев, искусных в споре и всякой брани, с тем чтобы они обо всем между собою спорили, кричали и бранились; а которые из них перекричат и перебранят прочих, по решению тех и действовать визирям и мирзам во всех делах, а падишаха теми делами не обременять и не беспокоить. Тысячу ужасных вещей говорили об этом загадочном человеке благодаря мерам, искусно принятым панною Марианною к обнародованию всего, что происходило во дворце, и док-

тор Джон Ди горько жалуется в своих записках на ее недоброжелательство или, как он называет, неблагодарность. Но и без этого самый уже его голос, его походка, характер, обращение, приемы, все доказывало, что это совершенно другой человек, и королева Франкистана не признавала его своим женихом, а это главное: она лучше всех должна быть в состоянии судить о подлинности ширван-шахов. Следовательно, он был колдун и самозванец.

Тайное волнение господствовало уже во всем городе. Визирь и другие государственные сановники показывали вид, будто они не верят всеобщей молве или, по их словам, дурной сказке, которую не должно даже смущать светлого кейфа падишаха, убежища мира. Но нет сомнения, что и они также в глубине души разделяли общую уверенность в подлоге; доказательство — их совершенное равнодушие к слухам, которые в противном случае должны были бы их встревожить и сделать бдительными. Если мятеж не вспыхнул немедленно, это должно приписать единственно тому, что, почитая самозванца колду-

ном и служителем такого страшного чародея, как Дели-Иван, все боялись его адского могущества. Притом Халеф-Мирза, опасаясь быть схваченным, нигде не показывался народу. Он хотел прежде всего обеспечить себе помощь нескольких сильных бегов, предводителей войска. Надлежало убедить их, чтобы они торжественно объявили себя его защитниками и согласились стать в челе восстания против самозванца. За устройство этого дела взялись бородобрей и старый мулла.

Между тем Халеф почти каждую ночь имел весьма занимательные свидания с панною Марианной. Евнух Сиксиз служил ему верою и правдою в надежде на награду, и никто в гареме, даже сам Ахмак-Ага, не догадывался, что прежний падишах беспрестанно ныряет в «море наслаждения» до самой драгоценной из «жемчужин».

Во время этих посещений Халеф узнал, что его преемник не выходит из покоев ширван-шаха, сказываясь нездоровым, что, однако ж, не мешает ему есть отлично и пить на славу. По мнению панны Марианны, это была просто мера предосторожности: под видом бо-

лезни он хочет постепенно ознакомиться со своими приближенными и сановниками, отклонить от себя на время дела, которых сущность вовсе ему неизвестна, и неприметно разглядеть все и всех. Он допускает весьма немногих к своей особе, желает знать, что кто делает, велит рассказывать себе обо всем и ничего не отвечает, не отдает никаких приказаний, все откладывает до своего выздоровления. Между тем после обеда, забывшись в парках кахетинского вина, отпускает он перед своей прислугой и перед несколькими из придворных, уже успевшими втереться в милость, такие неслыханные вещи, которые заставляют их только разинуть рот и возложить все упование на Аллаха: хочет переделать ширванское царство на английский образец, сжечь отцов шаха Тахмаспа и султана Селима-Пьяницы, и поставить свое государство в такое положение, чтобы ширванцы могли на могилах дедов турецкого Головореза и персидского царя царей делать все, что их душе угодно. Появление новой звезды он, как искусный астролог, толкует в свою пользу и называет звездою своего счастья, которая по-

ведет его к победам над всею Азией и сделает Ширван могущественнейшею в мире державою. Это прельщает воображение многих ширванцев, и он начинает уже снискивать себе преданных приверженцев, даже между теми, которые втайне подозревают в нем гюра и колдуна. Между тем он избегает всякой встречи с женщинами, которых пронзительный взор для него опасен и страшен. Образчик гаремных прелестей Востока в лице Шишманлы, очевидно, ему не понравился, и он совсем не радеет о своем гареме. Ахмак-Ага, прогнанный самым неучтивым образом на следующее утро после воцарения, вероятно, по случаю неудовольствия на прелести Шишманлы, не смеет показываться на глаза сердитому ширван-шаху.

Это обстоятельство подало счастливую мысль Халефу.

Еще в первое свое посещение он оставил было Марианне несколько тайных письменных приказаний и записочек своей руки, какие можно было дать без приложения печати, чтобы она в случае нужды показала их Ахмак-Аге: этими повелениями предоставлял он

ей полную свободу выходов из ограды, позволял принимать у себя кого угодно, отдавал в ее распоряжение гаремную полицию, то есть Ахмак-Агу и всех его евнухов, уполномочивал к требованию весьма значительных сумм из частной казны ширван-шаха и от государственного казначея. На этом основании королева Франкистана уже и прежде царица гарема как царица его хозяйина, теперь была самовластною повелительницею этого заветного женского города. Она смело приказывала, и все ей повиновалось. Два или три раза уже требовала она больших денег: деньги тотчас были ей доставлены, и она передала их Халефу, который таким образом увидел себя в состоянии по-царски бросать золото евнухам, оказывавшим ему услуги, и действовать с большею смелостью в городе. Старый мулла успел частью этого золота задобрить уже двух важных бегов; другую часть тайно рассыпали между солдатами, над которыми они начальствовали. Заговор против колдуна шел довольно успешно, когда известие о немилости к главному евнуху вдруг внушило Халефу надежду на скорейшее окончание тяжбы дру-

гим, более коротким путем.

Он упросил Марианну потушить лампу и известить Ахмак-Агу через одну из своих невольниц, что падишах — у королевы и требует его к себе немедленно. Марианна испугалась смелости этой меры, но Халеф, зная ограниченность ума великого сберегателя добродетели своих супруг, уверял ее в совершенной безопасности их обоих.

Ахмак-Ага явился. В комнате было темно. Это случилось через две недели после землетрясения. Джон Ди все еще представлялся нездоровым.

— Ахмак-Ага!.. это ты, мой друг? — спросил Халеф своим ласковым и приятным голосом, у дверей комнаты невесты.

Ахмак-Ага, в восторге, что ширван-шах выздоровел и что прежний голос к нему возвратился, стремглав упал к его ногам и расшиб себе лоб о порог. Несмотря на это, он откликнулся с чувством:

— Подлейший из рабов падишаха, убежища мира, да не уменьшится никогда священная тень его!

— Ты сердит на меня, Ахмак-Ага? — сказал

Халеф.

— Как может пылинка свинцовых опилок сердиться на солнце, которое своими лучами придает ей блеск серебра?.. Я жертва падишаха, убежища мира. Я меньше собаки. Кто ж я!

— Нет, я знаю, что ты сердишься за тот пиннок, который я тебе пожаловал!.. Ну, извини, мой друг!.. Я был нездоров: землетрясение ужасно расстроило падишаха; а тут еще и ты взбесил его, представив на его светлую и радостную беседу такую гадость, какова твоя Шишманлы...

— Простите недостатки и погрешности подлейшего из рабов!

— Падишах прощает. Теперь все забыто. Падишах любит тебя по-прежнему. Но поблагодари за это благоуханнейшую розу цветника нашего царского сердца, светлейшую королеву: она-то упросила нас простить верного и усердного раба своего, Ахмак-Агу, и возвратить всю нашу милость и благоволение. Она твоя благодетельница. Она здесь то же, что я сам. Будь ей верен и исполняй в точности все ее приказания, какие бы она ни отдала. К ней одной обо всем относись. Кого она прикажет

пускать в гарем, того пускай; кого не прикажет, не пускай. Падишах здесь — она, а не мы. Это ее царство. Понимаешь ли?

— Как не понимать?.. На мой глаз и на мою голову!.. Я жертва благоуханнейшей розы цветника сердца падишаха, убежища мира. Я раб светлейшей королевы, моей благодетельницы.

— Если бы даже приказала она нас самих связать веревками и принести к ногам ее, ты должен исполнить и это беспрекословно, как бы мы ни изволили кричать и сердиться. Понимаешь ли?

— Понимаю. Будет исполнено по первому приказанию.

— Если она останется довольна тобою, то в награду за твою преданность падишах намерен сделать тебя *вали*, генерал-губернатором Шемахи, а там, *иншаллах*, буде угодно Аллаху, ты скоро попадешь у падишаха и в верховные визири. Понимаешь ли?

— Понимаю. Что я за собака, чтоб не понимать такой мудрой речи? Раб ваш стал от нее выше себя целой головою. Светлейшая королева может всегда и везде полагаться на мое

усердие. Голова моя — подножие ее дивана. Преданность подлейшего из рабов истощится только с последнею каплею его крови. Клянусь Аллахом, и его пророком, и солнцем, которое всходит и заходит, и землю, которая разостлана ковром для людей, и звездами, которые...

— Полно, полно! — прервал Халеф. — Верю! Знаешь ли моего резчика?

— Нет, не знаю. Но могу узнать.

— Так узнай осторожно, как его зовут и где он живет. У тебя должны быть разные мои предписания с приложением моих частных печатей?

— Есть, как не быть!

— Возьми же, мой друг, два такие предписания, с двумя различными печатями, и завтра поутру, узнав, где живет мой резчик, снеси тайно эти оттиски к нему. Прикажи поскорее сделать по ним для меня две точно такие же печати, без малейшей разницы, получи их сам лично от резчика, как скоро они будут готовы, и отдай в руки светлейшей королевне.

— Слушаю и повинуюсь.

— Теперь ступай спать, успокой душу

свою. Падишах все сказал.

Ахмак-Ага ударил челом и удалился, счастливый как Мухаммед на возвратном пути из седьмого неба в Медину верхом на кобыле-женщине Эль-Бурак.^{108} Халеф воротился к невесте и поспешил объяснить ей свою мысль. Приказанья, данные главному евнуху, были им полезны в двух отношениях. Обладая печатями, ширван-шах получал обратно власть в свои руки: он мог послать тайное письменное приказание верховному визирю и Эскер-Хану, начальнику всех военных сил, занять ночью весь дворец войсками и действовать по указанию одного из бегов, подкупленных старым муллою, или, если это окажется неудобным, вывести вдруг все войска за город и оставить замок без защиты и без караулов в распоряжение приверженцев Халефа. Повелевая неограниченно главным евнухом, Марианна, со своей стороны, могла, пригласив к себе самозванца, велеть схватить его и запереть в своем дворце: Халефа тотчас известили бы об этом; он и Марианна, которая была в состоянии уличить своего старого знакомца и раздавить совесть его упреками,

легко принудили бы доктора возвратить законному ширванскому шаху лицо и царство на выгодных условиях. Халеф готов был даже, если алхимик не согласится на вознаграждение чистым золотом, уступить ему за лицо Дербенд и весь Лезгистан, чтобы он преобразовал их на английский лад и дал лезгинцам свою любимую *конститушн*. Не в том, так в другом случае успех был несомненный, и низвержение самозванца могло совершиться быстро, тихо без кровопролития.

Любовники, упоенные сладкою надеждою, с восхищением предались обсуждению подробностей этих двух различных планов, которым легко было еще придать множество удачных видоизменений, чтобы скорее достигнуть цели. Время пролетело незаметно, и Халеф тогда только вспомнил, что пора оставить гарем, когда с ближайшего минарета раздался на заре призыв муэззина к первой утренней молитве.

Ширван-шах поспешно простился с прекрасною невестою и вышел в сад. Небо было покрыто черными тучами, проливной осенний дождь наполнял воздух непроницаемым

мраком. В трех пяденях от глаз^{109} никакого зрение не могло бы различить предметов.

Несколько тенистых аллей выходило лучами из полукружия, очертывавшего крыльцо павильона, известного доныне под названием «Дворца королевны Франкистана». Сбежав с крыльца, Халеф впотьмах потерял настоящее направление и попал не в ту аллею, которую пришел. В аллее было темно, как в сундуке. Он не заметил своей ошибки и шел все прямо, думая, что идет к калитке Рока, у которой ожидал его преданный Сиксиз. Не прежде спохватился он, как наткнувшись на какой-то мраморный водоем. Надобно было с большим трудом и совершенно наугад отыскивать между деревьями вход в какую-нибудь аллею, чтобы удалиться от этого места.

Халеф долго искал: наконец нашел дорожку. Эта дорожка привела его к двум другим. Ту, которую он избрал по соображению местности, отвлекла его своими извилистыми отраслями еще далее от настоящего направления. Он совсем сбился с пути, прошел несколько калиток в каких-то заборах, чуть не упал в какие-то пруды и очутился в незна-

комой части сада, где едва ли случилось ему бывать прежде. Перед ним возвышалось большое строение. Это были гаремные прачечные, но Халеф не узнал их, а может быть, и не знал вовсе: они находились в стороне, совершенно противоположной калитке Рока. В строении уже мелькал огонь и слышались человеческие голоса. Надлежало поскорее удалиться отсюда.

Досада и беспокойство смутили в нем присутствие духа. Более часу блуждал он в темноте по неизвестным тропинкам; как вдруг дождь перестал, тучи быстро рассеялись, и в несколько минут на дворе открылось полное и светлое утро. Ширван-шах сообразил местоположение и скорым шагом отправился к спасительной калитке Рока. Сердце билось у него страхом при мысли, что, может быть, Сиксиз, не дождавшись, ушел в свою казарму. Халеф, однако ж, спешил в ту сторону, как самую пустынную во всей ограде гарема. Опять забор и какая-то калитка! К счастью, ключ в двери. Халеф отворил ее. О ужас!.. За дверью стоят несколько человек, то есть не человек, евнухов, и разговаривают с работниками. Ха-

леф бросился назад и скрылся за кустом. Но евнухи заметили его. Эта огромная женщина в промокшем платье и в мужской обуви, показалась им подозрительною. Они побежали за нею. Не видя никого за калиткою и догадываясь, что она спряталась, евнухи принялись искать ее повсюду и наконец нашли. Тут уже нечего длинно и широко рассказывать: бедный ширван-шах попал в когти самых лютых волков. Один из этих зверей сорвал с него покрывало и с ужасом завизжал: «Мужчина!» Другой тотчас снял с себя пояс, чтобы связать руки. Третий, чтобы получить *бахшиш*, «подарочек», побежал доложить Ахмак-Аге о поимке гостя. Пленник хотел оправдываться. Евнухи завязали ему рот покрывалом, чтобы он не делал шуму, говоря: «Оправдаешься перед агою!» — и повели к начальнику. Халеф немножко ожил: по силе недавно отданного приказания Ахмак-Ага обязан был представить его панне Марианне, которая, наверное, велит запереть преступника в своей комнате, впредь до произнесения над ним своего королевского суда и приговора по законам сердца.

Но вот что значит — судьба! Судьба всем

распоряжает, особенно на Востоке. Самые мудрые планы человека часто служат ей орудием к его гибели. Мог ли Халеф вообразить, что, приказывая Ахмак-Аге изготовить для себя всемогущие печати, которые должны подчинить дворец его власти, он подписывает роковой приговор своей голове?.. Его вели к Ахмаку, а Ахмака не было дома! Он уже ушел к резчику.

В отсутствие *кызлар-аги*, «начальника дев», или главного евнуха, власть этого сановника принадлежала его *киахье*, или наместнику. Этим наместником был старый и свирепый Гюнзаде-Мирза, которого Ахмак-Ага за краткостью времени еще не успел предварить о сущности полученного ночью повеления о новом порядке вещей в гареме. Старый евнух, увидев мужчину, пришел в бешенство, в ярость, в исступление. Отсутствие начальника дев доставляло его наместнику прекрасный случай получить награду за усердие и даже попасть в милость к падишаху, явно не благоволившему к великому хранителю «жемчужин» за эту толстую жемчужину, которую слишком аккуратный Ахмак-Ага отыс-

кал для него на кухне. Гюнзаде приказал вести пленника в собственное отделение падишаха и, надев свою красную парадную шубу, пошел сам впереди конвоя. Халефа потащили к доктору Ди.

Стая евнухов, проходя со своей добычей по коридорам, лестницам и передним, беспрерывно увеличиваясь в объеме феррашами, чаушами и всякого рода и звания придворными, которых взволновало известие о соблазне и любопытство. Каждый хотел взглянуть на любовного вора и посмотреть, как ему будут резать голову. Вся эта толпа под предводительством великолепного Гюнзаде-Мирзы вдруг церемониально ввалила в приемную залу, в которой новый повелитель Ширвана сидел один со своим верховным визирем и слушал его доклад.

— Что это? — спросил изумленный Джон Ди. — Чего хотят эти люди?.. Как вы смеете входить к падишаху без приказания?

— Экстренное дело, не терпящее отлагательства, — отвечал наместник начальника дев, распростершись на мраморном полу залы, и тотчас начал речь, сочиненную доро-

гой. — Усердствуя к пользе службы падишаха, убежища мира, и бдительно днем и ночью охраняя священную ограду радостей его светлого сердца от всякого пятна, порока и изъяна, по особенному благоволению Господа Истины к неусыпности рабов тени его на земле и по несомненному содействию испытанного счастья и неизменного благополучия величайшего из ширван-шахов, сказанным рабам удалось поймать в реченной ограде переодетого женщиною вора медовой росы с райских роз, красующихся в цветнике неприкосновенных наслаждений всеправосуднейшего полюса вселенной. Какового вора, открытого усердием подлеиших рабов во время отлучки высокостепенного начальника нашего по неизвестным причинам, за отсутствием упомянутого начальника и имеем счастье представить перед лучезарное лицо падишаха, убежища мира, для изречения над дерзновенным преступником своего равносудбенного приговора и учинения ему примерной казни, как судили Аллах и пророк его...

При этих словах оратора евнухи торжественно сняли с Халефа плащ и покрывало, и

выступивший из толпы палач обнажил свой ятаган. Доктор Ди неожиданно увидел перед собою свое прежнее лицо и покраснел до ушей. Оратор продолжал:

— А что касается до преступницы, которая, состояла в греховодных связях с этим человеком, осквернила чистоту светлейшего гарема, то формальное следствие, имеющее произвестись на месте по возвращении Ахмак-Аги из города...

Но Халеф, зная, что его ожидает, заглушил речи старого евнуха своим отчаянным криком:

— Вор! Колдун! Самозванец!.. Отдай мне мое лицо!.. отдай мое наследственное царство!.. Слушайте меня, люди ширванские...

Доктор Ди протянул вперед руку с выпрямленной перпендикулярно ладонью, и евнухи тотчас завязали рот Халефу его же покрывалом. Несчастный ширван-шах еще произносил под этою тканью какие-то слова, но уже никто их не расслышал.

Визирь, сидевший на полу перед доктором, слегка наклонился к нему и сказал вполголоса:

— Это должен быть тот самый негодяй, о котором я осмелился сейчас упоминать падишаху.

Джон Ди не отвечал ни слова.

Водворилось мертвое молчание. Все ожидали, что по принятому на подобные случаи обычаю падишах, помолчав немного и потупив глаза, тихо приподнимет руку и вдруг проведет горизонтально ладонью по воздуху — роковой жест, означающий в мимике восточных деспотов — «снять голову!». Ферраши уже заняли место евнухов вокруг преступника. Палач уже подошел к Халефу, чтобы при этом торжественном знаке тотчас вывести его на двор и обезглавить. Но Джон Ди грозно посмотрел на своего придворного живодера и закричал громовым голосом:

— Пошел вон, собачий сын!

Палач исчез в толпе. Все удивились. Доктор Ди опять замолк и погрузился в раздумье.

— Сумасшедший!.. У него мозг превратился в грязь!.. Дать этому несчастному человеку пять-десять тысяч золотых тюменов и вывезти его в Грузию: пусть там живет спокойно и врет сколько душе его угодно, не осмелива-

сь, однако ж, появляться впредь где бы то ни было в Ширване. Падишах сказал.

Халефа немедленно вывели из залы. Толпа, изумленная столь непостижимым великодушием убежища мира, удалилась вслед за счастливым преступником. От бегства пророка из Мекки в Медину и начала гиджры⁽¹¹⁰⁾ во всем мусульманстве не было еще примера такой кротости в отношении к нарушителю неприкосновенности гарема. Поступок падишаха всем показался загадочным, и каждый стал толковать его по своему разумению, большею частью не в пользу доктора. Мы, со своей стороны, обязаны представить здесь наше толкование. Рассмотрим этот знаменитый поступок критически.

Почему Джон Ди, имея своего опасного соперника к рукам и имея совершенно законный предлог освободиться от него навсегда и быть по смерть спокойным обладателем похищенной державы, пощадил жизнь преступника с пренебрежением народных уставов и предрассудков и с явным неудобством для прочности своего владычества? На этот как нельзя более естественный вопрос можно от-

вечать, во-первых, что Джон Ди не был человек кровожадный. В записках его, где он всеми мерами оправдывается в похищении короны «у ширванского короля», мы находим второй ответ. Там он утверждает и клянется, что похитил ее единственно для своей личной безопасности, по необходимости, по ошибке и только на время, имея твердое намерение, как честный человек, возвратить царство законному владельцу тотчас по миновании в нем надобности. Он говорит, будто с первого дня со своего воцарения уже обдумывал разные средства, как бы благовидно и без убытка удалиться из Ширвана в Европу, к своим любимым книгам, к жене, к детям, оставив, разумеется, этой прекрасной стране в память своего пребывания на ее престоле кое-какие блага западной образованности: Magna Charta¹¹¹ — парламент — оппозицию — что-нибудь такое. Он положительно утверждает, что он исполнил бы все это тихо, без шума, в самое короткое время, и уехал бы в Англию через Константинополь, если бы не интриги панны Марианны Олеской, ужасной деспотки, которой непременно хотелось па-

дишахствовать по-восточному и которая постоянно мешала самым благородным его намерениям. В доказательство подлинности этих намерений приводит он дарование жизни Халефа после поимки его в гареме, высылку ширван-шаха в Грузию, для того, чтобы возвратить ему лицо и корону при первом удобном случае, и, наконец, самую *кратковременность* своего царствования на шахском престоле. Но должно заметить, что ссылаясь на эту «кратковременность», он нигде не определяет ее меры, а между тем из восточных документов видно, что «ширванский самозванец» обладал престолом более пяти лет, до 1578 года. Если бы почтенный доктор имел искреннее намерение возвратить его несчастному Халефу, то он нашел бы к тому тысячу удобных случаев в продолжение пяти лет. И как он оставил Ширван не по доброй воле, хоть и не говорит об этом ни слова, то все исторические вероятности позволяют нам заключить безошибочно, что доктор счел гораздо приятнейшим брать готовое золото из казны ширван-шахов, чем делать его в тигле, жарясь перед огнем плавильных горнов, и

что он нисколько не был расположен возвращать корону Халефу. Очевидно, что он напрасно обвиняет панну Марианну в страсти к восточному деспотизму: ему самому очень понравилось быть падишахом, и он решительно хотел удержать за собою похищенное царство во что бы то ни стало. Если он пощадил жизнь Халефа, этому были другие причины, чисто хирургические.

В двадцатых годах нынешнего столетия жил в Петербурге отставной коллежский советник Гаврило Петрович П***, добрейший человек в свете, весельчак, хлебосол, приятный игрок, и с весьма порядочным состоянием: судьба одарила его всеми хорошими качествами гражданина и отца семейства и не дала только одного, именно носа — или, может статься, и дала, но потом отняла по какому-то случаю. Это ужасно огорчало Гаврила Петровича. Один из знаменитейших хирургов того времени, игравший с ним по четвергам в вист, вызвался исправить этот недостаток, предлагая вырастить на его лице нос такой величины и формы, какой сам он пожелает, и придать физиономии совсем другой вид. Из-

вестно, как это делается: от руки пациента, между плечом и локтем, отделяется кусок тела, имеющий форму носа, не совсем отрезывая его с одной стороны от руки, чтобы питание этого куска тела могло продолжаться ее кровеносными сосудами, и приставляется другой стороною к фундаменту прежнего носа на лице, очищенному от кожи. Надобно держать руку у лица, в весьма неудобном положении, не шевелясь ни на волос, пока эта сторона не срастется с фундаментом прежде бывшего носа: тогда ту сторону отрезают от руки и залечивают. Можно таким же образом приклеить другие губы, другой подбородок и мало-помалу переделать все лицо, если угодно, по бюсту Каракаллы, Платона, Агриппины или Александра Великого.^{112} Операция мучительная; но теперь иначе не умеют переделывать физиономии по данному образцу после потери древнего секрета «меняться лицами» или «менять лица». Гаврило Петрович не мог на нее решиться, как его ни уговаривал знаменитый оператор: легко ли дело — тридцать или сорок дней сряду держать руку все в одном положении!.. «Нельзя ли выкро-

ить мне носа из чужой руки? — спросил он. — Я, может быть, найду человека, который за деньги уступит мне кусок своего тела и согласится держать руку у моего лица сорок дней неподвижно?» Хирург отвечал, что для него все равно, из чьего тела ни кроить, лишь бы тело было живое и здоровое. В самом деле Гаврило Петрович отыскал одного молодого чухонца,^{113} который за пять тысяч рублей подрядился выставить ему нос из своего тела. Приглашенные художники представили в рисунке и в лепке множество проектов носа, более или менее сообразных с лицом Гаврила Петровича. Одни из этих проектов отверглась, другие не понравились ему самому. Форма будущего носа была рассмотрена и решена в общем совете друзей, и пациент мужественно предался в руки хирургу. Через полтора месяца на лице Гаврила Петровича воздвигся нос, составлявший удивление знатоков и любителей. В целом Петербурге не было носа превосходнее этого. Владелец его удовлетворил чухонца, и тот уехал в Финляндию. Но красота и счастье Гаврила Петровича продолжались не более двух лет и пяти месяцев.

Хотите ли знать судьбу этого знаменитого носа? Однажды ночью он отвалился в постели, и Гаврило Петрович поутру нашел его на полу. Как? почему он отвалился?.. Хирург не мог понять этого чуда. Впоследствии оказалось — этот достопримечательный хирургический случай обстоятельно описан в лейпцигском «Друге здоровья» за 1828 год, № 29, стр. 293 — впоследствии оказалось, что чухонец, уехавший в Финляндию, в эту же самую ночь умер от пьянства. Хирург и тут не понимал!.. А это очень естественно; тело, из которого нос был заимствован, скончалось: нос, как первобытная часть его, должен был скончаться по необходимости. Этого-то простого обстоятельства знаменитый оператор и не сообразил заранее!.. Но Джон Ди, которому известны были все тайны природы, не мог так же легко, как он, попасть впросак. Что вышло бы, если б Джон Ди, увлекшись властолюбием, предал Халефа смерти? Его тогдашнее лицо принадлежало, собственно, телу бывшего ширван-шаха. Да он лишился бы — мало того, носа — а всех черт, заимствованных у этого тела. Все черты исчезли бы в одно мгновение.

Он остался бы... *без лица!*..

Вот почему, если судить по правилам здоровой исторической критики, доктор Джон Ди так великодушно поступил с Халефом. Он не мог поступить иначе.

Он простил Халефа не для того, чтобы возвратить ему царство, как сказано в записках почтенного доктора,[37] но чтобы властвовать под его наружностью, чтобы незаконно пользоваться чужим добром, чтобы упиваться наслаждениями власти и сделаться причиною и орудием падения одной из прекраснейших держав Азии — обстоятельство, о котором он тщательно умалчивает, но которое мы сейчас докажем неоспоримыми фактами.

Халефа вывезли в Грузию. С тех пор, то есть со времени расставания его с панною Марианною, события быстро следовали одни за другими, но самое их разнообразие не позволяет нам входить в подробности, и мы должны удовольствоваться только общим очерком происшествий.

Панна Марианна несколько раз приглашала к себе доктора Ди через Ахмак-Агу. Он не

пошел к ней. Она писала ему пять записочек на английском языке, умоляя о свидании. Доктор отвечал, что он не умеет читать их.

Весьма понятно, почему он не хотел видаться с нею. Доктору Ди очень хорошо было известно, что она невеста Халефа и что свадьба их назначена около того времени, в которое он получал ее приглашение и записки. Что ему было делать с королевною Франкистана? Жениться на ней он не мог. Как доктор прав, он чувствовал, что это невозможно, имея уже одну жену и несколько детей с нею, которые остались в Олите, у пана Олеского. Формальный разрыв с королевною Франкистана представлял также большие неудобства. Доктору Ди, как и всякому в Шемахе, было известно, что Халеф предоставил ей большое влияние на своих государственных сановников, которые усердно исполняли все ее желания, чтобы угодить влюбленному падишаху. Он знал также, что в гареме она полная хозяйка, что все там повинуются беспрекословно ее воле, что своей любезностью и щедростью она приобрела повсюду преданных приверженцев. Притом она гораздо лучше его

была знакома с людьми и делами этой страны, и, следовательно, ссориться с нею было очень опасно. Доктор боялся и ее могущества, и ее ума, и ее любви к своему предшественнику. Чтобы отменить это могущество, надобно сперва самому прочно утвердиться и хорошо исследовать местность, средства, прежние обстоятельства и данные уже повеления. Чтобы продолжать нежные сношения с незнакомою женщиною в качестве заступающего место ее жениха, нужно по крайней мере хорошо знать все предыдущее и точку, на которой они остановились. Все это для доктора Ди было египетскою грамотой, в которой он не мог разобрать ни одного иероглифа, да и не смел, опасаясь обнаружить перед всеми свое невежество. Если бы он знал хоть, какого она королевства королева, а то и ее происхождение было для него загадкою. Расспрашивать неловко. И что пользы в расспросах? Ширванцы, столь твердые во всех науках, были, по несчастию, чрезвычайно слабы в географии; у них все западные христианские государства назывались Франкистаном и над всеми этими государствами царствовало одно собира-

тельное лицо, *краль* Франкистана. О том, что эту *красицу* привезли сюда татары, доктор Ди слышал в Шемахе уже и прежде, не будучи падишахом, а более ничего не знали об ней даже самые ученые ширванцы. Муфтий догадывался, что она, собственно, родом из антиподов, из *Енги дюнья*, или Нового Света, открытого лет за семьдесят перед тем. Но его смелая гипотеза встречала весьма основательное возражение со стороны хороших ширванских политиков. Не только всем западным, но и многим восточным народам тогда было уже совершенно известно, что на Новом Свете, в *Енги дюнья*, в Америке, растет дерево, на котором вместо апельсинов висит у каждой веточки прекрасная *кызь*, девушка, прикрепленная к ней за косу и даже без манжеток. Таков *фрукт* этого дерева!.. К тогдашним географиям была приложена и его фигура. Если бы королева, невеста Халефа, была похищена татарами в *Енги дюнья*, то хан не подарил бы одной ее такому могущественному государю, как ширван-шах: он прислал бы ему целое дерево, осыпанное *красицами*!.. Это ясно!

Я должен предупредить читателей, что это вовсе не шутки, а чистая история, факты, происшествия. Это дерево делало тогда много шума. Его описывали, рисовали, представляли на театральных декорациях. Любители садоводства старались развести его в Шотландии, и Энеас Сильвиус — это можно прочесть в его собственных сочинениях — один из ученейших людей своего века, ездил туда нарочно, чтобы полюбоваться на это интересное растение: но, судя по костюму фрукта, оно не по нашему климату; в самом деле, оно вымерзло зимою, и Сильвиус не видал его. Я говорю это только для того, чтобы из-за этого дерева не подумали, будто все падение Ширвана — сказка, выдуманная мною. Совсем не сказка, а дело, вещь, основанная на документах!.. Я ничего не выдумываю.

Следовательно, Джон Ди имел все возможные поводы и причины избегать свиданий с панною Марианною и не отвечать на ее записки. Он предоставлял ей беспрепятственно царствовать и распорядиться в гареме, Это тем натуральнее, что гаремы совершенно были противны его правилам. Из его равноду-

шения к этого рода заведениям произошло то последствие, что в лучезарном гареме ширван-шахов вскоре уничтожилось всякое благочиние: евнухи весь день спали, и всю ночь по светлому примеру падишаха пили кахетинское вино; их начальники заботились только о том, чтобы расхищать и грабить гаремную кассу; калитки оставались незапертыми, даже и ключи от них были растеряны. Женщины выходили в город, когда хотели, принимали у себя, кого хотели. Ахмак-Ага говорил: «А мне какое дело до них!.. Пусть душа их наслаждается!» В царствование доктора Диего гарем был самое приятное место во всей Азии для людей со вкусом и с чувством.

Одна только владычица этого волшебного места среди общего веселья была задумчива и печальна. Неизвестность о Халефе и упрямое молчание доктора приводили ее в отчаяние. Наконец она решилась написать длинное и страшное письмо к похитителю своего престола: в этом письме она мужественно сорвала с него маску, объявила и его настоящее имя, и свое собственное, обременила алхимика справедливыми упреками, разбила астро-

лога в прах, разметала, уничтожила. Она заклинала мистера Джона памятью своих родителей и его жены, его детей усювеститься, отказаться от похищенного сана, вернуть лицо и скипетр законному их владельцу, предлагала помириться с ним на каких угодно условиях; вызывалась даже вступить в переговоры, присовокупляя, что она уполномочена заключить с ним трактат, который будет принят Халефом без всякого возражения. Мы весьма сожалеем, что это красноречивое и остроумное письмо по своей обширности не может быть помещено в этом обозрении происшествия. Оно сохранилось в персидском переводе, в одной из лучших ширванских летописей, которой автором был родной сын известного бородобрея Фузул-Аги.[38] С какими чувствами доктор прочитал это письмо, неизвестно; но летопись утверждает, что после него колдун был болен две недели. Он, однако ж, оставил Марианну без ответа.

Зачем же Ди, если он овладел ширванским царством только на время и *по ошибке*, не вступил в переговоры с невестою Халефа?.. Случай был прекрасный «удалиться из Шир-

вана благовидно и без убытка». Можно ли после такого доказательства неискренности доктора верить его «прекрасным намерениям» и его запискам?

Между тем несчастный Халеф всю зиму томился в Грузии бездействием, досадою и любовью. Ученый бородобрей и приятель его мулла поняли так же хорошо, как и здравая историческая критика, что великодушие мнимого падишаха по-настоящему происходило просто из опасения остаться без всякого лица, и мнение их вскоре было принято во всем Ширване. Это великодушие, которым Ди так хвастает, именно и послужило каждому здравомыслящему лучшим доказательством, что он колдун. Народ начал волноваться. Все ширванские *têtes-fortes*, то есть те, которые не боялись колдуна и его звезды, взялись за оружие: к сожалению, Ширван никогда не преизобиловал такими головами, и число смельчаков не было несметное. Однако ж несколько бегов со своими отрядами объявили себя защитниками околдованного законного падишаха. Их примеру последовали две северные области, и вспыхнуло междоусобие. Ха-

леф тайно оставил Грузию и принял начальство над восстанием.

Отсюда начинается длинный ряд успехов без последствий и несчастий без славы, из которых состоит знаменитая борьба последнего из ширван-шахов против ширванского самозванца. Несмотря на свое мужество и свои воинские дарования, несмотря даже на многие частные победы, Халеф, который некогда с горстью храбрых преодолел всю силу могучего шаха Тахмаспа, не мог теперь ничего сделать против англиканского доктора богословия, прав и прочее, предававшегося удовольствиям и потехам в его собственном дворце. Самое убеждение визирей, вельмож, полководцев, чиновников в связи своего повелителя с нечистою силою удерживало их в повиновении самозванцу и заставляло сражаться против настоящего ширван-шаха: каждый боялся, что на первом шагу к измене колдун отнимет родное лицо у неверного служителя и наденет ему на голову какую-нибудь песью харю, так что тот станет буквально «менее собаки». Притом колдун щедро сыпал золотом своего предшественника, раздавал имения,

мотал напропалую сокровища старинной династии и государственное имущество. Благоразумные и дальновидные, пользуясь этим, находили, что даже истинный патриотизм не позволяет желать низвержения лже-падишаха, потому что как он прислан сюда Дели-Иваном, просто по зависти к счастью, могуществу и великолепию правоверного властелина, то, если его уничтожить, сам Дели-Иван придет в Шемаху, и выйдет еще хуже. После трехлетней неровной борьбы, в которой, однако ж, гений Халефа часто был уже на краю торжества, ширван-шах, истощивший все свои средства, проиграл известное курское сражение и должен был бежать в неприступные горы лазов.

Халеф еще до этого несчастья обращался с просьбою о помощи к Селиму Второму, который всегда был его другом и союзником; но тогда Селим был расстроен потерей знаменитого лепантского сражения, а потом он уж только читал во весь день Алкоран с бокалом венгерского вина в руке. Халеф много надеялся таки на дружбу и храбрость прежнего сподвижника своего, Девлет-Гирея. Решитель-

ность этого хана и даже то уважение, что, собственно, первою и настоящею причиною всех бедствий Халефа была прекрасная королева, подаренная ему крымским героем, вполне позволяли надеяться, что Девлет-Гирей непременно поддержит ширван-шаха. В самом деле, когда хан узнал, что у Халефа колдун украл лицо и царство и что это тот самый пан Джон, англичанин в широкой шляпе и с длинною рыжею бородою, который делал золото в Олите и был причиною всей неудачи набега на землю ляхов, хан схватился обеими руками за усы и своим стопушечным голосом произнес такое *Анасыны!*, что Аю-Даг поколебался в основании.^{114} К сожалению, тогда уже было поздно: несчастная история королевы Франкистана навлекла и на Девлет-Гирея целую тучу несчастий. Кто бы подумал, что эта невинная девушка, эта белая и розовая панна Марианна, сделается причиною гибели двух героев, двух славных и могущественных падишахов и еще орудием к уничтожению целой державы?.. Но в этом-то и состоит историческая «судьба народов», которая теперь в моде! Все в истории зависит от «судьбы наро-

ДОВ».

И, к счастью, багчисарайский архив сохранил нам подлинные документы того времени, которыми участие панны Марианны Олеской в «судьбе народов» может быть доказано неоспоримо.

Известно, что крымский хан вздумал было сделаться независимым от султана двух материков и хагана двух морей. Зачем? По какому поводу?.. Турецкие официальные летописи умалчивают причину его мятежа, и те, которые у нас писали оттоманскую историю по этим источникам, вовсе не разыскивают подробностей дела. Но в багчисарайских бумагах мы находим чрезвычайно важное письмо верховного визиря Мустафы-Паши к высокосановному хану Девлет-Гирею, которое бросает луч яркого света на эти темные страницы романической истории шестнадцатого века. Мустафа-Паша пишет к крымскому владельцу, что его султан и сам он спать не могут, не зная, в каком состоянии благовонное ханское здравие — здоров ли *Хан али-шан*, «хан высокосановный»? — весел ли он? — поют ли соловьи его драгоценного кейфа на розах радо-

сти и наслаждения? — а впрочем, дела у них на этот раз не имеется никакого и писать больше не об чем.

«P. S. До фениксвидного Стремени падишаха, убежища мира, дошло сведение, доставленное пашами, начальствующими над ширванскою границею, что в победоносных походах своих на земли неверных вы изволили пленить королеву франков, гурию удивительной красоты, и подарить или продать ее ширван-шаху. Таковой поступок, доказывая ваше недоброжелательство к Высокому Порогу счастья и нося на себе все признаки хиянет, измены, возбудил в нашем эфендии, султানে двух материков и хагане двух морей, справедливое негодование на вас. Верный слуга должен всегда и во всякое время думать прежде всего о чести, славе и удовольствии своего господина. Море души эфендия нашего закипело от ветра громоносной досады, и волны его гнева катятся со страшным шумом к берегам вашей неверности своему долгу. Нет возможности усмирить их иначе как повергнуть фениксвидному Стремени сто отбор-

ных молоденьких кыз, свежих, как розы, и прекрасных, как полные луны, для гарема падишахова, и с ними сто тысяч червонцев, сто ковров и сто соболей. Каковую пеню и приказано мне светлым падишаховым словом, силою равным приговору судьбы, взыскать с вас, высокосановного хана, дав вам строгий выговор. Требуется от вас выслать все это без потери времени, с извинительною грамотою и повинным посольством. А впредь имеете быть осторожнее».

Уже при многих других случаях стамбульский Диван⁽¹¹⁵⁾ старался унижить крымского владетеля и поставить его в ряду обыкновенных пашей, «рабов Порога». Гордость Девлет-Гирея, не могла ужиться с этими надменными формами Высокой Порты, которая притом с завистью смотрела на его славу и почитала его самого помехою своим видам. В Стамбуле неудачу экспедиции для соединения Дона с Волгою приписывали решительно его недоброжелательству и непокорности. Там искали предлогов, чтобы его низвергнуть. С некоторого времени хан явно был не в ладу с визи-

рями Порты и они искали только предлогов к уничтожению его. Мустафа-Паша, личный враг хана, воспользовался историей королевы, чтобы нанести самый жестокий удар его самолюбию и вывести из терпения гордого крымца. Он действительно успел в этом. Бурный Девлет-Гирей вспыхнул, прочитав его послание. В бешенстве своем он кричал, шумел, отзывался о матерях и отцах стамбульских визирей с весьма невыгодной стороны и, наконец, отвечал Мустафе-Паше, что, слава Аллаху, здоровье его цветет пышно под живительными лучами солнца милости и благоволения падишаха и при благотворном дуновении зефиров неизменной дружбы его верховного визиря, — соловьи поют, — розы красуются, — одно только горе, что теперь нет никакого особенного дела и ему совершенно не о чем писать!..

«P. S. Я не пезевенг султану двух материков и хагану двух морей. Я хан — высок мой сан! — мне предок Чингисхан! — и могу делать с моими пленницами что мне угодно».

Судьба его решилась. После такого пост-

скрипта надобно было готовиться к борьбе. Видя, что к нему явно придираются, и полагаясь на свое испытанное воинское счастье, он отверг и обиды, и коварные ласки Порты, вознамерился быть независимым на своем полуострове и начал вооружаться.

В это время прибыл к хану с письмом от Халефа великий посол, бородобрей Фузул-Ага, которого доктор Ди давно уже приказал выслать из Шемахи, как самого деятельного и опасного приверженца ширван-шаха, Девлет-Гирей был опечален известием о несчастиях своего друга, но в настоящем своем положении он не мог предложить Халефу полной и действительной защиты. Хан обещал, однако ж, прислать к нему весною шесть тысяч ногайской конницы.

С приездом Фузул-Аги в Крым сопряжено обстоятельство, весьма важное в истории жизни Халефа. Эдуард Шелли, товарищ доктора Ди, выехавший вместе с ним из Англии по убеждению воеводы Олеского, находился тогда в Багчисарае. Этот плут, как известно, занимался всеми возможными ремеслами, между прочим магией и некроманцией.^{116}

Тысячу раз обманывал он доктора Ди, и тысячу раз доктор по непонятной слабости своей к нему прощал его и снова удостаивал своей дружбы. Между тем Шелли формально крал у Ди его лучшие изобретения, его прекраснейшие открытия и обращал их на предметы своего шарлатанства. Без Ди он существовать не мог. После нападения татар на Олиту они разлучились. Ди отправился в Чернигов, откуда пригласили его в Москву. Шелли остался в Олите, по болезни своей жены, которая, скрываясь несколько дней в лесах с ним и с семейством доктора, простудилась и едва не умерла. Мистрис Ди написала к своим родным в Лондон о несчастье, случившемся с ними в Олите: многочисленные друзья и энтузиасты ее мужа донесли о том графу Лисстеру; граф доложил Елисавете, и королева поручила своему любимцу написать к доктору письмо, с изъяснением всего прискорбия ее величества и вызовом воротиться в Англию, где ему, как члену англиканского духовенства, будет дано доходное место каноника лондонского собора Святого Павла. Граф Лисстер тотчас исполнил волю великой государыни, которая всегда же-

лала удержать Джона Ди в Англии и обратить его необыкновенный гений на пользу отечества и славу своего царствования. Жена доктора, получив письмо в Олите, уговорила Шелли отправиться с ним в Москву и склонить ее мужа к принятию столь лестного и выгодного предложения. Мистрис Ди дала ему еще другое письмо от себя, в котором она заклинала своего супруга не презирать звания лондонского каноника, потому что, по ее убеждению, из делания золота ничего не будет и они никогда не разбогатеют от алхимии.

Эдуард Шелли пустился с этими двумя письмами в Москву, но уже не застал там доктора Ди. Узнав, что его приятель взят в плен татарами, он отправился в Крым, где также не нашел доктора. Без средств к дальнейшим поискам Шелли жил там в бедности, промышляя медициною и продажею жизненного эликсира. Прибытие великого посла Халефа в Багчисарай подало повод к молве о необычайном приключении с лицом этого государя. Татары, бывшие с Девлет-Гиреем в Олите, стали вспоминать англичанина, который там делал

золото. Шелли, наконец, попал на след своего друга. Он старался познакомиться с послом, нашел даже средство вступить в его службу и отправился с ним в Батуми, надеясь пробраться оттуда в Шемаху под видом купца.

Великий посол, бородобрей Фузул-Ага, который сам был астролог и имел немножко притязания на сведения в магии, очень подружился с Шелли во время этого путешествия. Друг доктора Ди, тщательно скрывая от посла свое знакомство с ширванским самозванцем, совершенно обаял нового дипломата своими фокусами. Фузул-Ага уверял своих товарищей, что это великий человек, читал книги древних мудрецов и удивительно знает все тонкости вещей. В Батуми, однако ж, они расстались. Фузул-Ага должен был отыскивать своего государя, который в это время скрывался в горах Мингрелии. Шелли взял направление к Ширвану и наконец очутился в Шемахе. Он смело явился к визирю в качестве гонца от королевы Франкистана и вручил ему в большом конверте с надписью *Его Величеству королю всея Шервани* два письма, данные докторшею, с приложением тре-

тъяго от себя. Шелли хохотал при мысли о том, какой эффект произведет в падишахе Ширвана неожиданное предложение английской королевы быть у нее каноником. Он был уверен, что Джон Ди чрезвычайно обрадуется его прибытию: взяв себе лицо ширван-шаха, он натурально пожалует лицо его верховного визиря своему закадычному другу и они вдвоем будут чудесно управлять Ширваном. Не тут-то было! Джон Ди был осторожен и, вспомнив всю бессовестность мистера Эдуарда, не допустил до себя человека, который мог обесславить его своими наглыми проделками. Доктор велел объявить ему, что, как франкского языка, на котором писаны те грамоты, никто в Ширване не знает, то и ответа ее величеству королеве Франкистана теперь дать нельзя, а потому тот гонец может ехать обратно в ту заморскую землю, из которой пожаловал, а на проезд ему до той земли отпустить из ефимочной казны¹¹⁷⁾ падишаха десять тысяч ефимков, а понапрасну ему в благословенном Ширване не жить и не шататься.

Несмотря на все свои усилия, Шелли ни-

как не мог проникнуть до своего прежнего товарища и оставил Шемаху в бешенстве на доктора.

Это случилось уже после выезда панны Марианны из столицы Ширвана. Пока более или менее значительные успехи Халефа поддерживали в ней надежду на торжество правого дела, она жила спокойно в своем дворце. Но после курского сражения нечего было более оставаться в Шемахе. Когда прошла первая горечь, Марианна почувствовала, что теперь ее очередь одушевиться мужеством и пожертвовать собою для Халефа: собрала все свои драгоценности, которых было у ней на несколько миллионов, и все деньги, какие накопились в ее кассе во время продолжительного уединения, и велела объявить доктору свое ultimatum: что она требует, чтобы он отослал ее к родителям, прилично сану царской невесты. Джон Ди был весьма рад отделаться от нее под этим благовидным предлогом. Он приказал выдать ей значительную сумму денег, доставить все нужное для великолепного путешествия и проводить под прикрытием почетной стражи. Панна Марианна, которая

постоянно находилась в тайных сношениях с Халефом, отправилась в путь через Грузию, Имеретию и Мингрелию, где Халеф должен был ожидать ее. Все эти сокровища везла она своему другу. Она решилась отныне разделять его судьбу, страдать и погибнуть вместе с ним.

Шелли, обманутый в своих расчетах и не зная куда деваться, вздумал догнать ее, чтобы вступить в ее службу или по крайней мере присоединиться к ее каравану. Соображая то, что слышал в Крыму о королевне, отправленной к ширван-шаху, с рассказами Фузул-Аги, он догадывался, что это должна быть панна Марианна Олеская, похищенная татарами в Олите.

Фузул-Ага и панна Марианна почти в одно время приехали к Халефу, который, лишись всего и будучи отделен от последних своих приверженцев, скитался в крайней нужде и не знал, куда приклонить голову. Тот привез обещание о скорой помощи, другая — свое сердце и другие сокровища, гораздо менее важные в жизни. Любовь, деньги и надежда среди нищеты и отчаяния! Можно с ума сой-

ти от счастья! В самом деле Халеф был счастлив, как любовник на другой день после свадьбы. Кстати должно заметить, это не метафора: он в самом деле женился в тот же вечер на своей великодушной невесте. У мусульман дела этого рода не терпят проволочек.

Этот брак, эта решимость, это самопожертвование со стороны панны Марианны произвели неизъяснимое впечатление по обоим сторонам Кавказа. Снова и еще сильнее прежнего возник вопрос: кого должно любить и за кого, собственно, выходить замуж в случае размена лиц между прекрасным обожаемым другом и гадким душевно ненавидимым врагом?.. Этот вопрос женщины разбирают там и до сих пор.

Дела ширван-шаха вдруг поправились. Приверженцы вновь стали собираться. Шесть тысяч храбрых ногаев могли доставить им важное подкрепление. В то же время Селим Второй угорел в новой бане, которую вздумалось ему выстроить в своем гареме, и умер. На престол султанов вступил сын его, Мурад Третий. Халеф тотчас обратился к нему с просьбою о покровительстве, отдавая себя и

весь Ширван под защиту Порты и в зависимость от нее.

В Эрзеруме был тогда бейлербеем известный Осман-Паша, который несколько лет спустя был разбит персиянами. В Карсе и Ахалцыхе начальствовал знаменитый Уздемир-Оглу-Паша, оттоманский Сампсон,^{118} силач, ломавший железные булавы, богатырь турецких сказок, прославляемый в них доныне как идеал восточного витязя. Халеф настоятельно убеждал этих пашей своими письмами оказать скорейшую помощь, потому что он уже признал верховную власть султана над собою и своим государством и должен почитаться их товарищем. Но Джон Ди опередил его: шемахинский визирь написал к эрзерумскому бейлербею и к Уздемир-Оглу, что Халеф — сумасшедший, плут, самозванец, что никто уже в Ширване не верит его глупой сказке о мнимом похищении у него лица, что он, *эль хемд лиллях*, слава Аллаху, разбит, уничтожен, вырван с корнем из почвы надежды и брошен на забор отчаяния, и паши отвечали ширван-шаху, что они не могут решиться ни на какие действия в пользу его до

получения повелений из Стамбула. Но как Джон Ди, узнав о ходатайстве Халефа у турецкого Высокого Порога, из предосторожности отдал себя и свое царство под покров шаху Тахмаспу и персияне начинали уже вводить свои войска в Ширван и Грузию, то Осман-Паша разрешил карсскому и ахалцыхскому правителю дать приют претенденту и его приверженцам в своей области и позволить им действовать против соперника по их средствам и личному усмотрению.

Долго из Константинополя не было никакого известия, и долго ждал Халеф в Мингрии обещанного ханом подкрепления. Ногайская конница не являлась. Она и не могла явиться: новый султан оставил верховным визирем Мустафа-Пашу, полководца, приобретшего громкую славу многими походами, и Девлет-Гирей должен был крепко помышлять о своей собственной безопасности. Известно, чем впоследствии кончилось это дело: Мустафа-Паша напал на Крым с грозными силами, отрубил голову Девлет-Гирею и, посолив ее как следует, отослал к стремени султана двух материков. Панна Марианна стояла жизни

знаменитейшему из крымских ханов!

Эдуард Шелли отыскал свою высокую путешественницу уже в Мингрелии, по соединении ее с Халефом. Фузул-Ага, визирь, посол, камергер и бородобрей изгнанного падишаха, представил его султанше Фириште-Ханым — так звали Марианну, — которая приняла своего старинного знакомца довольно ласково, но не удостоила никакими расспросами о прошедшем. Шелли при этом свидании издали и только мельком увидел Халефа; он вдруг покраснел, вспыхнул, чуть не бросился на ширван-шаха с бешенством, чтобы выцарапать ему глаза и вырвать эту рыжую бороду: так он был зол на доктора Ди!.. Математическая верность сходства не дозволила Шелли в первую минуту вспомнить о проделке с лицом Халефа: он принял его за самого доктора. Фузул-Ага заметил это движение. Когда они вышли из аудиенции, бородобрей спросил его:

— *Джаным хеким!*, «душа моя, врач»! вы знаете это лицо, которое прошло через комнату во время нашей беседы с султаншею?

— Как не знать! — воскликнул Шелли. —

Это бывшее лицо ширванского самозванца; это лицо моего прежнего товарища, доктора Ди... Как мне не знать его! Наши жены и теперь еще живут под одною крышею. Наши дети бегают вместе, у отца султанши. Я знаю всю подноготную этого негодяя, неблагодарного, эгоиста. Я был его помощником и поверенным во всех его штуках и затеях. Я знаю все, что он знает, и, может статься, более его!..

— *Машаллах*, свет глаз моих, *хеким!* что ж вы этого прежде мне не сказали? — вскричал обрадованный бородобрей. — *Машаллах!*.. *барекаллах!* вы — человек!.. вы — истинный человек!.. в этом нет ни спору, ни сомнения. Правду сказал я султанше, что такого человека, такого мудреца, как вы, не сыщется на всей земной поверхности. Мудрый издали узнает мудрого!.. Так вы знаете и его проклятый, адский, нечистый секрет меняться лицами?

— Разумеется, знаю! Адского тут ничего нет. Дело совершенно простое, физическое, врачебное. Я был свидетелем, когда он открыл этот важный секрет науки, с некоторого времени забытый и потерянный, и на мне

сделал он первый опыт: со мной прежде всего поменялся своим лицом. Эту же самую рожу, которая теперь у вашего ширван-шаха, я носил более двух часов и через нее поцеловал даже жену доктора, которая была очень хорошенькая...

— Знаете ли, *хеким*, что в таком случае мы с вами можем сострять великое дело?.. Если секрет его вам известен, если вы действительно в состоянии менять лица одно на другое, то планета вашего счастья достигла зенита, ваша голова стала выше всех голов. Что мне вам сказать?.. Дербенд, Баку, Салиан, любая область ширван-шахов — ваша!.. Вы будете удельный князь. Точно ли можете чье угодно лицо заменить лицом другого человека?

— Могу! Я видел все его производство — и оно совсем не трудно. Если б у меня теперь были все нужные составы, порошки, инструменты, я тотчас показал бы этот опыт перед вами на любых двух человеках.

— Какие же вам нужны составы, порошки? Скажите, из чего они делаются — мы все достанем.

— Этого-то он и не открыл мне! Как я ни

упрашивал его, этот эгоист никогда не хотел сообщить мне рецепта своих препаратов, отговариваясь тем, что такой секрет весьма опасен в обществе и людьми неблагонамеренными может быть употреблен во зло, может сделаться орудием к обманам, замешательствам и большим несчастиям. По этой причине Ди всегда желал быть один обладателем своей тайны и поклялся не открывать никому в свете сущности составов, производящих размен двух лиц. В наше время один он знает ее вполне. Если бы мы могли достать кожаный мешочек, который он всегда носит при себе и в котором хранит снадобья и инструменты, необходимые для этого производства, тогда дело другое: я подметил все бумажки, из которых брал он ингредиенты, и могу безошибочно повторить опыт.

Фузул-Ага призадумался.

— Хорошо! — сказал он, помолчав немного, — *иншаллах*, если угодно Аллаху, кожаный мешочек самозванца, если только он еще у него есть, будет в наших руках. Я поговорю с султаншей.

Чтобы не распространяться в излишних

подробностях и как дело обстоятельно описано в напечатанных мемуарах доктора Ди, то довольно будет сказать здесь, что сам Эдуард Шелли, условившись о значительной награде в случае успеха, отправился за мешочком в Шемаху. Марианна дала ему несколько записок к преданным ей обитательницам лучезарного гарема, которые были в состоянии помочь вору в похищении знаменитого кожного мешочка.

Между тем дело Халефа в Стамбуле шло очень медленно. Мурад Третий по неопытности не знал, должно ли принять его предложение или нет. Диван собирался по три раза в неделю, чтобы представить султану свое заключение о том, естественно ли дело, чтобы колдун, чернокнижник, гяур или кто бы то ни был мог сорвать с человека его родное лицо и наклеить ему свое. Забирали справки, справлялись с книгами мудрецов, требовали мнения сословия улемов, то есть ученых, писали в Брусу, в Дамаск и Каир, к знаменитейшим богословам. Верховный визирь Мустафа-Паша упрямылся и утверждал, что рассказы об искусстве меняться лицами — *бок тур* —

грязь есть; что сѣз башка, филь башка — сказать и сделать разница большая! Великий муфтий и оба казыльаскера, напротив, полагали, что, «если взять в соображение натуру судьбы, козни Сатаны против чад Магометовых и коварство племени неверных, то такое чудо, будучи весьма правдоподобно и вероятно, нисколько не выходит из черты возможности». Прения длились более полутора года и верно кончились бы ничем, если бы Халеф, выведенный из терпения турецкою медлительностью, не начал сам действовать против самозванца. Он оставил Мингрелию, где так долго и напрасно ожидал появления ногайской конницы, и, собрав своих приверженцев, двинулся через ахалцыхский пашалык к границе Ширвана со стороны карсской области. Уздемир-Оглу-Паша, избегая всякого свидания с претендентом, не мешал ему набирать людей в своем наместничестве, от которого зависели Карс, Ахалкалаки и Ахалцых. Ширван-шах, устроив по возможности свою небольшую армию, вторгнулся в ширванское царство, разбил бегов самозванца близ нынешнего Елисаветполя⁽¹¹⁹⁾ и перешел через

Кур у Мангичаура. Счастье благоприятствовало предприимчивому и храброму. Халеф уже был в Карамарьяне, в двух переходах от Шемахи, и, вероятно, овладел бы своею столицей, если бы персияне, покровители самозванца, не вмешались в дело. Токмак-Хан, их сердар, прибежал с значительными силами из Эривани через Шах-булак и Зардаб и атаковал его в тыл. Защитники Халефа разбежались, и сам он с трудом спасся от плена. Персияне, преследуя беглецов, перешли границу карсского пашалыка и разграбили несколько турецких селений. Уздемир-Оглу предложил Халефу немедленно удалиться из оттоманских владений и донес в Стамбул, что *Кызылбаши*, Красные Головы, нарушили их спокойствие вооруженною рукой и посылают новые войска для занятия Ширвана и Грузии. Порта вдруг решилась. Диван признал доктора Диколдуном, а Халефа законным падишахом всего Закавказья и верным вассалом султана двух материков и война была объявлена ширванскому самозванцу и его покровителям, Кызылбашам. Верховный визирь Мустафа-Паша принял начальство над всеми сила-

ми азиатской Турции и отправился в Карс.

После неудачного похода к Шемахе и отказа в дальнейшем пребывании на оттоманской земле Халеф удалился в Гурию. На это несчастное предприятие издержал он почти все сокровища своей жены, и положение их снова было незавидное. Мустафа-Паша, приехав на место, не нашел ничего готового; чтобы выиграть время, он начал переговариваться с персиянами о вознаграждении за убытки, причиненные ими на турецкой границе, и о мире, а между тем укреплял Карс и заготовлял жизненные припасы. Халефу дано было знать, что приличие не позволяет ему являться в главную квартиру визиря во время этих переговоров. Он оставался в Гурии. Марианна своим женским инстинктом тотчас проникла, что у турков должны быть тайные планы; что они хотят пожертвовать Халефом в случае неуспеха, а при победе овладеть сами его царством; что война эта решена у них против усиливающегося могущества Персии, а не для защиты законных прав ширван-шаха. Но Халеф не верил ее предчувствиям. Не зная духа турецкой политики и судя о других по себе,

как всегда судят благородные сердца, он твердо полагался на великодушие и правоту султана Мурада.

Все эти заботы, несчастья, происшествия заставили совсем забыть о Шелли. Он пропал без вести. Фузул-Ага уже думал, что он погиб, как вдруг Шелли является к нему в Гурии с кожаным мешком. Расстройство всех уз прежнего строгого порядка в гареме и во дворце ширван-шахов совершенно благоприятствовало его смелому предприятию, но доктор так хорошо запрятал было драгоценный мешочек, что нигде не могли отыскать его. Наконец сокровище было найдено одною из бывших фавориток Халефа.

Фузул-Ага и Шелли тотчас заперлись в комнате любопытного бородобрея и приступили к обзору содержания мешочка. Все было в целости, по уверению Шелли; но между тем он уже спрятал глубоко в карман знаменитый белый выпуклый камень, как не совсем нужный к производству. Этим чудесным камнем Шелли для своих проказ дорожил более чем всеми порошками доктора, и сам Ди в записках горько оплакивает его потерю.

Надобно было прежде всего приискать человека, который бы согласился подвергнуть себя опыту. Шелли объяснил Фузулу процесс, показал приемы, но это только теория: надо посмотреть действие. Фузул-Ага нашел одного бедного осетинца, который за маленький *бахшиш* позволил произвести опыт над собою, не зная, впрочем, что именно хотят с ним делать. Шелли должен был сам помянуться с ним лицом. Сделали раствор — общими силами нарисовали и выдавили пальцами черты осетинца на лице промышленного англичанина — Фузул-Ага давал советы и поправлял своего приятеля, когда тот ошибался, — наконец Шелли умылся раствором. Бородобрей, взглянув на него, вскрикнул от удивления: «*Машаллах!* нет ни силы, ни крепости, кроме как у Аллаха!.. ну точь-в-точь осетинец!..» Но они оба ужаснулись, когда, оборотясь, посмотрели на осетинца: лицо Шелли прильнуло к нему вверх ногами.

Неопытность... В каждом деле нужна сноровка. Шелли, составляя раствор, перемешал порядок ингредиентов.

Ученик доктора Ди взял другие порошки,

сделал новый раствор и велел умыться им осетинцу. Действие первых снадобий было уничтожено. Лица воротились по местам.

Второй опыт был удачнее. Сам доктор Джон Ди не мог бы произвести его правильнее и с большим успехом. Фузул-Ага прыгал от радости и хотел еще повторить весь процесс своими собственными руками. Но осетинец не согласился на третий опыт. Бородобрей предложил попробовать на своей жене.

— Как! вы хотите приделать к ней свою седую бороду? — вскричал Шелли. — Это нейдет! Она испугается и может умереть от страху.

— *Зарар йок!* — Вреда нет! — отвечал бородобрей. — Стара!.. к чему она годится?

— Но подумайте только! — возразил Шелли. — Вы сами будете после сожалеть, что убили жену!

— Это правда, — заметил Фузул-Ага. — Конец концов она тоже род человека, хоть и женщина. Добрая баба, нечего сказать!.. Пойдите, душа моя, *хеким!* я придумал славную вещь. У моей жены есть молоденькая племянница, красивая, как роза: заставимте их поме-

няться лицами. Этого лица она уже, наверное, не испугается!.. еще будет рада!

Фузул-Ага отправился к своим женщинам и с большим трудом уговорил их выйти без покрывал к врачу, к хекиму. Бородобрей принял сам за дело. Со своей цирюльничьей ловкостью повторил он в точности все приемы Шелли, велел жене умыться раствором и подал ей зеркало.

Старая Магруй вскрикнула: *Аллах, Аллах!* — от изумления и в то же время улыбнулась от удовольствия. Она не сводила глаз с зеркала, ворочала его, вытирала стекло и опять гляделась и улыбалась с наслаждением. В восторге своем она и не посмотрела на племянницу, которая между тем на молодом, свежем и атласном теле носила морщинистое лицо восточной сорокалетней женщины, ничего об этом не зная.

Когда почтенная Магруй вдоволь налюбовалась на свое красивое лицо, Шелли взял зеркало из ее рук и шепнул бородобрею, чтобы он дал ей умыться другим раствором и отпустил ее в гарем. Но Фузул-Ага равнодушно отвечал, что это не нужно. Он вполне был до-

волен опытом.

— Но эта несчастная зарыдает в отчаянии, когда посмотрится в зеркало! — сказал вполголоса Шелли, указывая на девушку.

— *Зарар йок!* — Вреда нет! — сказал боро-добрей. — Поплачет и успокоится. На что ей, бедняжке, молодое и красивое лицо!.. Мужа у ней нет. Когда кто-нибудь станет свататься на ней, мы, *иншаллах*, буде угодно Аллаху, возвратим ей прежнее лицо.

Он слил в склянки остатки обоих растворов, закупорил и спрятал в сундук.

Старый плут мигом исчислил в уме всю цену, для правомерного чада Магометова, секрет, заключенного в мешочке доктора. Ясно, что отныне впредь содержание самого огромного гарема будет обходиться не дороже издержек на одну жену. Заставляя ее меняться лицом каждый день с другою женщиной по вкусу и выбору мужа, он сосредоточивает в ней сто тысяч различных красавиц. С одной женой и этим мешочком в кармане он имеет гораздо более жен и фавориток, нежели турецкий Головорез в стамбульском серале и Великий Монгол в Дегли.^{120} Коротко сказать,

это просто карманный, концентрированный, усовершенствованный гарем!.. Случись такая оказия в наше время, Фузул-Ага, наверное, взял бы четырнадцатилетнюю привилегию именно под этой фирмой.

Он стал укладывать порошки и инструменты в мешочек. Шелли уже протягивал руку, чтобы овладеть сокровищем, но Фузул-Ага поспешно спрятал его в свой карман.

— Впрочем, — сказал Шелли равнодушно, — эта девушка недолго будет плакать. Через полгода, через год прежнее лицо мало-помалу возвратится к ней добровольно, когда ингредиенты, положенные в раствор, потеряют свою силу и испарятся.

— Это что за известие? — вскричал изумленный бородобрей. — Так значит размен лиц — дело не вечное, непрочное?..

— Нет, совсем не вечное. Это производство действует только на короткое время.

— Зачем же лицо нашего падишаха, да умножится его сила, до сих пор не возвратилось к нему само собою?

— Да затем, что доктор Ди прибавляет к этим порошкам еще один какой-то порошок,

который принимается внутрь для укрепления лица на новом теле. С доктора Ди и ножом не соскоблишь лица, которое он наклеил на себя: так плотно прильнуло оно к его мясу и так прочно действие этого порошка!

— Порошков в мешочке много, — заметил Фузул-Ага. — Этот порошок должен быть тут же.

— Наверное! — примолвил Шелли. — Но как его узнать? Доктор не показывал его мне, а пробовать порошки на себе очень опасно: можно отравить себя. Мой товарищ тщательно скрывал от меня и этот порошок, и тот, который должен принять, чтобы уничтожить его действие, когда захочешь взять свое лицо обратно.

— Эээ!.. — произнес бородобрей. — Так ваш секрет никуда не годится!.. Значит, наш падишах посредством его не может отнять своего лица у самозванца?.. Проклятие на его бороду!

— Неужели вы думаете, — сказал Шелли с насмешливою улыбкою, — что я бы сюда воротился, если знал средство, как отнять у него похищенное лицо? Да я сам поменялся бы с

ним лицом и теперь уже сидел бы на ширванском престоле!

«Мошенник!» — подумал бородобрей.

— А мы именно для этого и помогли вам украсть этот мешочек!

— А я принес его сюда для того, что думал, будто падишаху угодно поменяться своим нынешним лицом, которое в самом деле ужасно гадко, с кем-нибудь другим.

— Так мы не поняли друг друга!

— Падишах не принимал внутрь никакого порошка, — присовокупил Шелли, — и это лицо может быть смыто с него раствором и передано другому. На нем оно сидит только потому, что этому лицу некуда деваться.

Фузул-Ага задумался. Спустя немного он ушел к султанше доложить о возвращении хекима и о бесполезности его приобретения.

Марианна, однако ж, имела другой взгляд на предмет. Ей тотчас пришло в голову, что если нельзя исторгнуть у Ди прежнего лица ее мужа, то между его приверженцами есть много молодых и прекрасных мужчин: из преданности всякий из них, конечно, согласится уступить свое лицо Халефу и себе взять

докторскую рожу. Для облегчения участи великодушного можно взять у него лицо на время; потом взять у другого; потом у третьего, у четвертого, и так далее — если война продлится. В положении Марианны и ее мужа это желание совершенно позволительно, и она тотчас стала припоминать, которые лица ей особенно нравятся; потом пошла к мужу с радостным известием о возможности отделаться наконец от этого отвратительного, старого лаптя, который изменнически надели ему на голову. Но, к несчастью, к сожалению, к досаде, Халеф отверг ее нежное, заботливое предложение с твердостью, достойной Кая Муция.^{121} Он хотел свое лицо или... никакого! Тяжба об этом лице, по его словам, должна была решиться силою оружия.

Создал же Бог таких упрямых мужей!.. Вот уж просто — тиранство!

С Шелли рассчитались и отпустили его. Белый выпуклый камень остался у него, кожаный мешочек у Фузул-Аги. Эдуард Шелли отправился из Батуми в Требизонд, а оттуда в Варну и воротился, через Валлахию и Молдавию, в Литву, доложить мистрис Ди, что док-

тор не хочет быть каноником; у него огромный гарем, и он терпеть не может других женщин, кроме самых жирных.

— О, мужья, мужья! — горестно воскликнула докторша. — Негодная порода!.. Все они таковы!

Наконец началась война. Мустафа-Паша открыл осадой Чалдирана и взял эту крепость приступом. Токмак-Хан устремился на него с сильною армией из Грузии. Верховный визирь отрядил, против персидского сердара, пашей эрзерумского и диарбекирского, Османа и Узун-Омера, которые разбили Красных Голов наголову. Их победа открыла дорогу в Тифлис. Турки вступили в этот город и предали его огню и мечу. Тогда уже Мустафа-Паша обратил свои силы против Шемахи.

Донося об этих успехах к Стремени султана, верховный визирь присовокуплял, что приверженцы законного ширван-шаха толпами присоединяются к оттоманской армии; что народ столько же обожает его, сколько боится и ненавидит колдуна-самозванца, и что со дня на день должно ожидать в главной квартире прибытия Халефа из Гурии вместе с

королевной франков, о красоте и уме которой рассказывают здесь чудеса «Тысячи и одной ночи». «До сих пор, — заключает Мустафа-Паша, мы под разными предлогами отклоняли присутствие ширван-шаха на поприще военных действий. В последнее время он, к счастью, был нездоров. Притом и движения паша происходили так быстро, что он даже не успел бы нигде встретиться с нами. Но теперь, когда все отряды наши приняли направление к Шемахе, нет никакой благовидной причины, чтобы препятствовать появлению его среди своего народа, который везде ожидает с нетерпением и встретит с восторгом. Это поставляет нас в большое затруднение».

Турки тремя путями стремились к столице Ширвана — от Тифлиса и Сыгнаха с севера, от озера Гокче запада и через Карабаг с юга. Со всех трех сторон они были уже за Куром или на его берегах. Но продолжительные дожди 1578 года вдруг остановили это сложное движение. В ожидании перемены погоды верховный визирь основал свою главную квартиру в Гюлистане, поселясь сам в роскошном летнем дворце ширван-шахов.

Фузул-Ага и другие верные слуги Халефа прибыли в Гюлистан в половине августа. Сам падишах должен был последовать за ними через трое суток. На другой день по приезде слуг прискакал курьер из Стамбула с ответом на донесение верховного визиря, и в главной квартире произошло таинственное движение. Фузул-Ага был встревожен этим: он стал разведывать, но в первую минуту, пока секрет заключался в кругу немногих старших чиновников, сметливый бородобрей не мог ничего проникнуть.

Халеф и Марианна приехали в Гюлистан в позднее вечернее время. Чиновники визиря встретили их с благоговением и проводили до покоев, которые Мустафа-Паша приказал приготовить для них в том же дворце, где жил он сам. Турецкий главнокомандующий извинился через своего кяхью перед ширванским падишахом, что не может представиться ему сегодня, зная, как нужен отдых высокому путешественнику, но что он не преминет явиться к нему с почтением в первое удобное время. Халеф поблагодарил посланца, и все легли спать.

На следующий день визирь не являлся к Халефу. Прошло еще двое суток: визиря с почетом не видно! Халеф хотел прогуляться верхом по городу: ему не дали лошади под разными предлогами, и один из комнатных слуг его заметил со страхом, что у подъезда и у ворот дворца поставлены сильные караулы. Слуга донес об этом раздосадованному ширван-шаху, и Халеф только тогда начал догадываться, что он в плену у своих покровителей.

Фузул-Агу и приехавших с ним чиновников, которые жили в городе, не велено было пускать во дворец. Но бородобрей пробрался ночью через сад в кухню и неожиданно предстал перед своим повелителем.

— Я жертва падишаха, убежища мира, — сказал он торопливо и дрожащим голосом, — но вам непременно нужно сейчас поменяться лицом с кем-нибудь и бежать отсюда!.. Знаете ли, что эти нечистые собаки, турки, хотят с вами сделать? Они послезавтра отправляют вас на поклонение святым местам в Мекку и Медину; оттуда повезут вас в Мыср, Египет, или в Хабеш, Абиссинию, и запрут где-нибудь в крепость на всю жизнь. Так приказал Голо-

ворез. Священный караван и платье благочестивого путника, хаджи, для вас уже почти готовы. Сегодня посланы повеления ко всем войскам продолжать совокупное движение к Шемахе; завтра на заре происходит у визиря военный совет, и в полдень все они уезжают отсюда, а вас послезавтра посадят на лошадь в полосатом *играме*, и — мир с вами! — кланяйтесь от них Каабе и гробнице пророка!^{122} — Не бывать вам уже, падишах, на ширванском престоле!.. Ваше благословенное царство велено присоединить к Турции. В Грузии, в Кахетии, в Шамшадиле, в Карабаге, во всех областях, которые эти сыны шайтана заняли, повсюду назначены турецкие паши и турки заводят свой порядок. Взяв Шемаху, они объявят, что вы спасение души и вечное блаженство предпочли хлопотам и суете земной власти, и в вашей столице посадят тоже турецкого бейлербея. *Валлах! биллях!* — ей-ей! все, что я говорю, так же верно, как то, что Фузул-Ага — последний из рабов ваших и прах священных туфлей падишаха, убежища мира! Я все узнал. Слава Аллаху, у нас есть кусок усердия для пользы службы нашего шир-

ван-шаха, да не уменьшится никогда тень его!.. Я знаю также, что светлейшую султаншу велено после вашего отъезда отправить в Стамбул на благоусмотрение Головореза — проклятие на его бороду!.. Тут нечего долго думать, падишах. Решайтесь! Рабы ваши спасут свою тень Аллаха на земле! Наши головы — выкуп за вашу голову!

Халеф был мужественный человек. Он не смутился среди нечаянной опасности. Помолчав немного и подумав, он спокойно спросил бородобрея, что такое придумали они против новой беды.

— Что ж нам придумать? — отвечал Фузул-Ага. — Светлейшую султаншу я сейчас беру с собою: пусть она поскорее укладывает свои дорогие вещи. Мы, по милости Аллаха, нашли для ней такое убежище, что и сам отец безмозглых турок никогда не догадается, куда она скрылась. Наш старый мулла приехал сюда вчера из Шуши и устроил это дело со здешним муфтием: старый мулла — человек!.. истинный человек!.. у него в мозгу есть кусок ума!.. Он-то открыл в садовой стене и тайный ход, который турки забыли занять караулом.

Мы с султаншей уйдем этим путем. Вам нельзя: мост на канале снят, и вы не попадете в аквенгское ущелье, где для вас приготовлены лошади. Вам надо выйти в парадные ворота дворца. Я хорошо подметил лицо одного паши, который ростом и толщиною очень схож с вами, и принес с собою сткляночку раствора: вы поменяетесь с ним лицом, слуга засветит вот этот фонарь и понесет перед вами, и вы важно сойдете с крыльца. Караул вас пропустит. Когда выйдете из ворот, поверните вправо и ступайте прямо к кладбищу. Там между кипарисами ожидают наши. Мы разойдемся здесь в одно время.

Постельничему надо приказать, чтобы ваши люди не выходили из комнат весь завтрашний день и не делали никакого шума. Пока турки спохватятся, что вас здесь нет, вы уже будете в Нахичеване. А оттуда поезжайте в Ленкоран: мы все там соберемся, найдем судно и поплывем в Астрахань; там мусульмане хорошо примут нас.

— Быть по-твоему, мой верный Фузул-Ага! — сказал Халеф. — Делать нечего! Аллах велик!.. Но чье же лицо подметил ты для

меня? Кому из пашей хочешь отдать это проклятое лицо, которое у меня?

— Кому же как не Мустафе-Паше! — беззаботно отвечал бородобрей. — Откуда мне взять другого пашу?.. Он почти каждую ночь выходит с фонарем для осмотра караулов: так это и очень кстати... Пусть же верховный визирь Головореза поносится с поганою харею самозванца! Он, говорят, не верит, чтобы возможно было лишиться своего лица и получить чужое: теперь испытает на себе... *Бисмиллях!* — во имя Аллаха!.. Снимите шапку, государь.

Фузул-Ага приступил к операции: вылепил пальцами из докторской рожи полное, круглое, турецкое лицо Мустафы и дал умыться раствором. Преобразование совершилось.

— Наденьте теперь синий *биниш*, — прикомандовал Фузул, — а я вам повяжу на голову шаль в виде турецкой чалмы... Машаллах! точь-в-точь визирь Головореза!.. Баранью шапку спрячьте в карман, падишах: она вам пригодится в путешествии.

Халеф ушел к жене, чтобы объяснить ей причину своего инкогнито и помочь собрать-

ся в путь. Они взяли все свои деньги, драгоценности, отдали нужные приказания слугам, простились и благополучно оставили гюлистанский дворец без всякого приключения. Мустафа-Паша спал крепким сном до самой зари.

Успех смелой меры бородобрея превзошел всякое ожидание. Если Фузул-Ага предвидел и рассчитал все ее последствия, то это был один из самых гениальных людей шестнадцатого века. Сын его, историограф Халефа,[39] уверяет, будто он заранее исчислил в уме все, что должно было последовать, и на этом соображении основал безопасность бегства своих повелителей. Но я полагаю, что это — преувеличение сыновней любви историографа, как вы сейчас увидите сами.

В пять часов утра в главной зале гюлистанского дворца собрался военный совет оттоманской армии, для которого вызваны были все главные начальники корпусов и отрядов, остановившихся в своем движении по случаю продолжительных дождей. Здесь были паши — эрзерумский, Осман; карсский и ахалцыхский, Уздемир-Оглу; диарбекирский,

Узун-Омер; алепский, Пиале; багдадский, Далтабан; требизондский, Фергад; синопский, Кючюк-Хасан; кютагийский, Синан; брусский, Кылыдж-Али — все оттоманские знаменитости блестящей эпохи Селима Второго и Мурада Третьего, и много других, менее известных. Ферраш-баши разбудил верховного визиря, по приказанию, в половине пятого, когда в комнате было еще серо, почти темно. Мустафа-Паша вскочил с софы, совершил омовение всех пяти членов, оделся, сотворил намаз и ровно в пять часов через длинный ряд покоев отправился в залу. Все паши в огромных сапогах уже сидели вокруг длинного стола, на высоких стульях. Турки, которые всегда ходят в туфлях и сидят на полу, поджавши ноги, не держат никакого совета, если у них нет дорожных сапог и узеньких и высоких стульев: без этих двух статей мудрость не всходит у них в голову. В главном конце стола один стул оставлен был для верховного визиря как председателя всех советов, отчего верховные визири и называются по-турецки *садр-азем*, или «великими председателями».

Мустафа-Паша важно вошел в залу собра-

ния, переваливаясь с ноги на ногу, как гусь, для показания своего величия, и направился прямо к председательскому стулу. Никто не привстал при его появлении.

Он торжественно занял свое место и, прикладывая правую руку к сердцу, приветствовал на обе стороны всех членов совета словами вполголоса: «Мир с вами!» Никто не поднес руки к своему сердцу, никто не отвечал: «И с вами мир!»

Паши переглядывались между собою и вертелись на стульях в явном беспокойстве. Садр-азем сначала вознегодовал было на непочтительность своих подчиненных, но потом страшно смутился при мысли, не приехал ли ночью курьер из Стамбула с повелением султана двух материков отнять у него печать государеву и вручить кому-нибудь из этих пашей как его преемнику. Он не знал, как начать речь, чем открыть заседание.

— *Бу ким дир?* — Кто это таков? — спросил Уздемир-Оглу у своего багдадского соседа, Далтабан-Паши.

— *Бильмем!* — Не знаю!.. Аллах лучше знает, — отвечал Далтабан.

Синопский паша, Кючюк-Хасан, который с первого появления визиря не сводил глаз с его лица, всматриваясь в него с удивлением и любопытством, вдруг воскликнул:

— Нет божества кроме Аллаха! да это мой невольник, Джон, который несколько лет тому назад бежал от меня в Ширван!.. Татары продали мне его за великого мудреца, хекима, искусника, знающего все тонкости вещей, которого полонили они во время своего набега на Москву. Я был немножко нездоров: он дал мне каких-то проклятых пилюль, от которых душа моя чуть не уехала из долины тленности в горы вечного блаженства; я хотел посадить его на кол: он скрылся ночью, и потом мои люди, ездившие за покупкою карабагских лошадей, видели его в Шемахе... Джон, — сказал Кючюк-Хасан, обращаясь к визирю, — а ты что тут делаешь, собачий сын?

Эти странные разговоры, эта неучтивость пашей привели Мустафу в такое замешательство, что он не расслышал или не понял дерзкого вопроса Кючюк-Хасана. Киахья верховного визиря, его помощник и первый испол-

нитель всех его приказаний, стоявший за столом Мустафы, подбежал к синопскому паше и сказал ему и его соседям:

— Я думаю, вы обознались! Это ширван-шах, которого велено отправить на прогулку в Мекку! Ваш раб был у него несколько раз с приветствиями и извинениями от имени нашего эфендия, садр-азема.

— Так зачем же он здесь? — воскликнул Фергад-Паша. — Скажите ему, что это место нашего эфендия, и попросите выйти из залы.

— Выпроводите его из заседания! — прибавил Осман-Паша. — Я думаю, что об нем-то и будет первая речь в совете. Он здесь совсем некстати.

Киахья-бей пошел к Мустафе исполнить поручение пашей, но тот между тем собрался с духом и начал речь:

— Развесьте уши! Открывается заседание совета подлеиших рабов эфендия нашего, падишаха, убежища мира. Господь Истины да ниспошлет на нас мудрость и дальновидность для пользы службы тени своей на земле. Цель упомянутого совета есть нижеследующая. Вчера отдал я вам приказание отпра-

вить к войскам своим предписания, чтобы они немедленно выступали в дальнейший поход...

При первых словах этой речи изумление и любопытство присутствующих удержало их в молчании на местах. Но лишь только Мустафа произнес слово «приказание», поднялся шум, все паши встали, и началась такая сцена, какой еще не было примера в чинных оттоманских советах от основания дома Османов. Садр-азем пришел в бешенство, шумел, грозил, бранился, придирался даже к поведению матерей и к нравственности отцов своих пашей и желал непременно знать, что значит этот мятеж против его законной власти. Паша, со своей стороны, кричали киахье-бею, чтобы он позвал чаушей, вывел его из залы и запер в покоях ширван-шаха, приставив к дверям караулы. Верховный визирь вышел из себя: он назвал их бунтовщиками и объявил торжественно, что, слава Аллаху, печать еще у него не отнята и он садр-азем, хозяин правительства, наместник пророка, представитель верховной власти, слово и палец падишаха, коротко сказать, их эфенди, Мустафа-Паша,

который имеет право шить и пороть, портить и дочинивать и который, *иншаллах*, может сейчас всех их отрешить от должности и сослать в ад. Слушатели расхохотались.

— Вы наш эфенди садр-азем, Мустафа-Паша? — воскликнул кютагийский бейлербей Синан, который метил сам в верховные визирь и в самом деле был преемником Мустафы. — Я думаю, вы еще спите! Смотрелись ли вы сегодня в зеркало?.. Если нет, так посмотрите хоть на свою бороду.

Мустафа-Паша невольно взглянул на бороду и изумился: не веря своему зрению, он с любопытством поднял конец ее до самых глаз, поворотил к свету, потер волосы рукавом и еще раз посмотрел на них перед окном.

— *Анасыны!.. бабасыны!..* это что за известие? — протяжно произнес он, устремляя озадаченный взор в глаза присутствующим. — Что за проклятие случилось с моей бородою? Или это не моя борода?..

Среди общего хохота Осман-Паша вынул из-за пазухи бородяную гребенку с зеркальцем в черенке и, подавая ее Мустафе, сказал насмешливо:

— Может быть, вы не хорошо видите?.. Посмотритесь.

Мустафа увидел в этом стеклышке все свои черты, ужаснулся, вспыхнул, зашумел, но должен был сознаться, что по этому лицу никто не в состоянии узнать его, потому что и сам он не узнает себя. При всем том Мустафа уверял пашей, что он все-таки Мустафа-Паша, садр-азем, представитель султана, их эфенди и что они обязаны ему почтением и покорностью.

Начался новый шум. Важный Синан-Паша твердо настаивал, чтобы этого человека вывели из совета для прекращения соблазна. Пришли чауши. Мустафа хотел защищаться. Кяхья-бей приказал им силою вытащить его из залы и запереть в покоях, отведенных ширван-шаху.

— Наш эфенди садр-азем, — сказал Пиале-Паша, — был совершенно прав, утверждая, что так называемый ширван-шах должен быть просто сумасшедший. Ширванцев уверял этот урод, будто он их падишах Халеф-Мирза, а нас, едва увидал, уверяет, будто он наш верховный визирь Мустафа-Паша!

Паши снова заняли свои места, и эта странная сцена доставила им столь обильный предмет для беседы, что они не заботились о причине отсутствия своего великого председателя.

— Где же садр-азем? — спросил наконец с досадою Синан-Паша. — Что он не приходит?

— Верно, еще спит, — заметил нишанджи.

— Пусть душа его отдыхает! — сказал Кылыдж-Али-Паша, приятель Мустафы. — Он вчера очень устал.

И опять у них завелся разговор о сумасшедшем ширван-шахе.

Таким образом прождали они до полудня. Тут голод и досада вывели многих из терпения. Сам Кылыдж-Али стал беспокоиться о своем друге, садр-аземе. Паши убедили киахья-бей пойти посмотреть, что делает наш эфенди и не забыл ли он, что сегодня у них совет.

Киахья-бей ушел и через несколько минут воротился с известием, что нашего эфендия нет в квартире: постельничий его говорит, будто он встал в половине пятого, оделся, помолился Аллаху и в пять часов куда-то ушел.

Послать отыскивать его было бы противно приличиям. Паши должны были возложить упование на Аллаха. Общий их ропот заставил наконец киахью-бея решиться на одну из самых мудрых мер, какие были приняты в продолжение этой кампании: он велел подать в четыре часа и до начатия совета завтрак, приготовленный визирем для пашей, который по церемониалу следовало кушать уже после заседания. Принесли кофе и трубок, и они успокоились до шести часов.

Наступал вечер. Паши не знали, ночевать ли им в зале или разъезжаться по квартирам. Один только садр-азем своей полномочною властью мог разрешить этот вопрос, и киахья-бей пошел наконец отыскивать его повсюду.

Несогласные показания слуг визиря и янычар, содержавших караулы во дворце, привели в страшное недоумение всю турецкую главную квартиру: те утверждали, будто визирь изволил отправиться в пять часов утра в собрание совета; другие — будто он ушел ночью с фонарем осматривать караулы и лагерь своего резервного корпуса и не возвращался;

Ферраш-баши клялся своею бородою, что сам он разбудил и одевал его; янычары клялись Аллахом великим, что сами они кланялись ему ночью, отпирая ворота. Но как бы то ни было, верховный визирь все-таки пропал. В главной квартире поднялась страшная сума-тоха.

К утру священный караван был готов и выступил в поле. Киахья-бей согласно приказанию садр-азема о ширван-шахе хотел уже отправить Мустафу-Пашу на поклонение в Мекку и Медину. Одна только надежда на возвращение визиря удержала его от исполнения этой меры, не терпевшей отлагательства.

Слуги Халефа душевно между тем сожалели о неудаче побега своего господина, когда чауши насильно втокнули к ним Мустафу-Пашу. Визирь не знал ни по-персидски, ни по-грузински и не мог получить от них никакого объяснения о ширван-шахе, которого не находил он в его комнатах. Положение Мустафы было ужасно: он бесновался, бранил пашей, смотрелся в зеркало и плакал. Благодаря отличному порядку, заведенному в доме Халефа, ему по крайней мере подали завтрак и

обед в свое время.

Трое суток турки искали повсюду своего верховного визиря. Мустафа-Паша заболел от досады. Фузул-Ага и его приятель, старый мулла, спрятав султаншу в гареме муфтия и отправив Халефа в Ленкоран, сами преспокойно остались в Гюлистане, как будто ничего об них не знают и ни в чем не бывали. Беспорядок, господствовавший в турецкой главной квартире, позволил им на другой же день выслать и Марианну вслед за Халефом. Путешествие ее было тем безопаснее, что при прощании со своими невольницами она с чудесным присутствием духа раздарила им все свои платья и вещи и велела одной из них, смазливой и остроумной персиянке, играть роль султанши до своего возвращения и, если турки станут спрашивать, выдать себя за королевну Франкистана. «Никто из вас не будет сожалеть, — сказала им Марианна, — если с точностью исполните мое приказание!» Этого было достаточно. Она могла полагаться на усердие своих женщин, которые обожали и ее и Халефа.

Услышав, что Мустафа-Паша нездоров, Фу-

зул-Ага выхлопотал у киахьи-бея позволение навестить его. Бородобрей называл себя хекимом, врачом ширван-шаха, и его присутствие было необходимо. Киахья приказал пропускать его свободно к пленнику.

— Ты кто таков? — сердито спросил Мустафа-Паша у Фузула, который, к счастью его, говорил по-турецки.

— Я раб падишаха, убежища мира. Я ваш хеким, астролог и бородобрей. Чем же мне быть?

— А я-то кто таков, по-твоему?.. Что же ты молчишь? Говори, собачий сын!

— Вы... наш могущественнейший, непобедимый, всегда победоносный ширван-шах, Халеф-Мирза-Падишах, сын могущественнейшего Бурган-Эддин-Падишаха, потомок Фергада и Сама, наследник величия Джемджага, Дария и Нуширвана. Менее этого вам и быть нельзя!

Садр-азем в изумлении и гневе стал бесстыдным образом клеветать на матерей и отцов всех этих знаменитых людей; но мало-помалу из разговора с бородобреем он нашелся принужден заключить, что, вероятно, непо-

стижимое изменение лица сделало его совершенно похожим на их потомка и что отсюда происходит все недоразумение. Когда еще Фузул намекнул визирю, что его даже и отправляют завтра в Мекку, как подлинного ширван-шаха, — что это неизбежно — что нанятые погонщики настаивают на скорейшем выступлении в путь, — он испугался и переменил тон. Садр-азем был уверен, что это интрига Синан-Паши, которому страх хотелось быть верховным визирем, и что его опоили нарочно каким-то зельем, изменяющим черты лица, чтобы послать на поклонение святым местам вместо ширван-шаха и очистить место для Синана. Как Фузул-Ага был хеким и астролог, то Мустафа стал расспрашивать его, нет ли средства поскорее вылечить его от этого безобразия.

— Как не быть! — отвечал цирюльник. — Конечно, есть!.. Если вам угодно, то можно попробовать тот раствор, за которым мы изволили посылать в Индию. Старый мулла воротился вчера и привез с собою целую стеклянку этого чудесного лекарства. Оно не тотчас возвращает прежние черты лица: надо употреб-

лять его некоторое время, каждый день поутру, натошак, надо пройти через разные видоизменения, подвергнуться многим операциям; но все-таки с первого приема можно посредством его мигом смыть это безобразное лицо и передать его кому-нибудь другому.

— Душа моя, хеким! — воскликнул Мустафа, крайне обрадовавшись этому известию. — Я награжу тебя великодушно... ты получишь от меня такой *бахшиш*, какого еще ни один ширван-шах не давал своему врачу... нельзя ли сейчас, сняв с меня, передать это лицо Синан-Паше?

— Почему же нельзя! — сказал бородобрей. — Можно! Извольте!.. Я приведу сюда старого муллу, и мы сегодня же вечером при помощи врачебной науки и его молитв очистим вас от этой проказы.

— *Машаллах!.. барекаллах!..* — вскричал Мустафа в восторге и подумал: «Постой же, мой птенец!.. ты меня хотел послать в пески Аравии: а вот теперь я же пошлю тебя кланяться гробнице пророка, да будет с ним мир»!

— Но я не знаю Синан-Паши, — прибавил

Фузул-Ага, — мне бы нужно сперва посмотреть на его лицо.

— Лицом он как две капли воды похож на собачьего сына, — сказал садр-азем и дал бородобрею нужные наставления, где и как может он увидеть Синана.

Бородобрей ушел, а Мустафе-Паше и на ум не вспало, что это и есть знаменитое «искусство меняться лицами». Но мы всегда таковы! Самые умные люди, смеясь над неправдоподобием какого-нибудь чуда, относимого к колдовству, беспрекословно верят тому же самому чуду, как скоро оно приписывается медицине или вообще науке. В поступке Мустафы нет ничего неестественного. Дело шло о спасении себя и своей власти: он и не вспомнил о ширванском самозванце и об его приключении с колдуном.

Фузул и мулла пришли к нему вечером и остались до поздней ночи под предлогом болезни ширван-шаха. Мулла читал намазы и клал пропасть земных поклонов, чтобы устранить от воображения Мустафы-Паши всякую мысль о колдовстве. Бородобрей творил чистую медицину, и Мустафа благополуч-

но поменялся лицом со своим соперником: лицо доктора Ди перешло к Синану.

Они вышли все трое вместе из покоев ширван-шаха. Сонные янычары пропустили их без сопротивления, удивляясь только тому чуду, что из-за этих дверей неожиданно появился Синан-Паша который, кажется, не входил туда.

Мустафа-Паша отправился прямо в свою квартиру.

Можно себе представить последствия этой новой путаницы в лицах, делах и понятиях турецкой главной квартиры. Мустафа с новым лицом хотел продолжать тон и роль садр-азема. Паши и чиновники были уверены, что это Синан и что он с ума сошел, выдавая себя за верховного визиря и за Мустафу-Пашу. Янычары не понимали, каким образом ширван-шах ушел из своих покоев и очутился в квартире Синан-Паши, который со своей стороны клялся, что он не ширван-шах, а Синан-Паша. Несмотря на это, киахья-бей, взяв с собой отряд чаушей, схватил Синана и запер в покои ширван-шаха как беглеца. Мустафа настаивал, чтобы его поскорее отправ-

ляли в Мекку. Киахья не слушался человека, которого он принимал за рехнувшегося Синан-Пашу. А верховного визиря все еще нет: сипаги ищут его по всем дорогам, отыскивая своего полководца; в главной квартире — беготня, споры, брань, удивление, страх, беспорядок!..

На третий день суматоха еще увеличилась, когда Мустафа, продолжая начатое лечение, умылся снова индийским раствором и поменялся лицом Синана с Пиале-Пашою, а Фузул-Ага, пробравшись при помощи новой хитрости в покои ширван-шаха, к Синану, взялся лечить его таким же образом и страшную рожу доктора перенес на утесистое туловище великана, силача Уздемир-Оглу-Паши, преобразовав кютагийского бейлербея в карсского и ахалцыхского наместника. Уздемир-Оглу заревел как тигр от бешенства и хотел переломать кости всему штабу армии. Нужно было употребить целый эскадрон чаушей, чтобы связать и отвести его в покои ширван-шаха опять как беглеца.

Фузул-Ага и мулла, чтобы доставить падишаху и султанше нужное время на безопас-

ный проезд до Ленкорана, деятельно продолжали эти врачебные операции, находя при столь верной оказии и некоторое народное удовольствие потешиться над тем, что ширванцы и персияне называют «тупостью безмозглых турков», *хемакети Этрак би-идрак*. Вскоре все лица высокостепепных пашей перепутались; никто не хотел узнавать своего товарища, думая, что это, может быть, и кто-нибудь другой; каждый, получив рожу доктора, бежал тотчас к хекиму и мулле лечиться и передавал ее своему врагу. Это неблагополучное лицо свирепствовало по турецким шеям, как чума, и навело ужас на весь Гюлистан. Паши, беи, эфендии, весь генералитет и штаб армии на ночь заворачивали головы свои шалями из предосторожности, чтобы оно к ним не прилетело и не пристало; днем они беспрерывно отплевывались во все стороны как от наваждения и читали молитвы. Некоторые до конца держались той теории, что это лицо заразительно, что оно просто проказа, и европейские врачи, находившиеся при армии, усердно поддерживали потом это смешное мнение во Франции, Италии и Англии. Но

огромное большинство чиновных турков твердо было убеждено, что тут действует *шейтанлык*, дьявольщина. С тех пор как лицо доктора явилось на исполинской фигуре Уздемир-Оглу, они смекнули, и никто из хороших и хладнокровных наблюдателей более не сомневался, что это не ширван-шах ежедневно уходит из своих комнат, а, собственно, его поганое лицо перескакивает с головы на голову. Таким только образом догадались они наконец, что тут решительно проказничает колдун-самозванец: ясно и очевидно, что он придумал это адское средство для своей защиты и, колдуя в своей столице, наклеивает из Шемахи свое старинное лицо на всех пашей поочередно и делает из их собственных лиц настоящую кашу, чтобы удержать победоносное стремление оттоманской армии.

Как скоро этот факт был приведен в ясность, киахья-бей принял свои меры. Между тем как в Гюлистане продолжалась страшная безладица, войска шли вперед без начальников и подошли к самой Шемахе. Но благоразумный киахья послал им предписания от имени садр-азема остановиться в движении и

неприметно отступать к Куру. Чтобы не перепугать их могуществом колдуна, он, с одной стороны, распустил слух, будто садр-азем уехал в Стамбул для отдачи отчета в своих действиях, а с другой, донес Стремени падишаха, что по причине дождей армия должна опять остановиться у берегов Куры; а как притом садр-азем Мустафа-Паша пропал без вести, то и требуется новый верховный ви-зирь. Это донесение напечатано у историографа Наимы.

Синан-Паша был назначен на место Мустафы.

Разумеется, что бородобрей и мулла благо-разумно улизнули из Гюлистана еще в самом разгаре ужаса и суматохи. Лицо доктора Ди окончательное досталось повару Далтабан-Паши: бедный *ашчи* так перепугался этой отверженной хари, что бежал с нею в муронские горы; но его поймали и для очистки дела от-правили на поклонение святым местам под именем ширван-шаха.

Горничная Марианны, объявившая себя королевой Франков, была закупорена в *тах-тиреван* и отослана в Константинополь, где

она, как известно, сделалась одною из самых любимых супруг Мурада Третьего.

Все пришло в должный порядок, тем более что киахья-бей, за свою мудрость, получил чин полного паши и тифлисское наместничество.

Остальное может быть рассказано в нескольких словах. Когда турецкие войска приближались к Шемахе, и ширванские полки, бросая оружие, стали перебегать к неприятелю, ужас объял бедного доктора Ди, и, по зрелому соображению всех обстоятельств, он решился послушаться жены и принять место каноника при соборе Святого Павла. Но как явиться в Лондон без своего лица? Кто ему там поверит, что он точно доктор Джон Ди?.. Он бросился к своему кожаному мешку: его нет!.. и никто не знает, куда он девался!.. Это очень опечалило доктора, потому что там же находился и белый выпуклый камень, но не привело в отчаяние. До приказал своему хеким-баши достать в городе все снадобья, какие были нужны, сам приготовил из них порошки и сочинил себе новую карманную аптечку. Однажды утром, переодевшись в одно

из платьев, которые Халеф употреблял для своих таинственных прогулок, он набил карманы деньгами и дорогими каменьями, взял с собой порошки и вышел в город «по делам Аллаха и государства».

Горько было доктору расставаться с этим великолепным дворцом, раем всех земных наслаждений; с этим блеском, могуществом, обилием; даже с этим чудным хрустальным небом, сквозь которое видно, как звезды рождаются в вечности: но судьба решила!.. надо смиренно идти отыскивать свое лицо, осторожно справляясь у всякого, куда оно девалось!.. Положение ужасное!.. Но Ди сочинил его сам, своими руками. Такого человека нечего и жалеть, при всем должном уважении к его необыкновенному гению. Скрепя сердце, он пошел. По слухам, Халеф находился в Гюлистане. Множество шемахинцев переходили к неприятелю: он также принял вид переметчика и благополучно проник до главной квартиры турецкой армии. Здесь узнал он, что его лицо поехало на поклонение Каабе и гробнице пророка. Он догнал священный караван и явился к мнимому шир-

ван-шаху в качестве врача, присланного садр-аземом. Тут уж небольшого труда ему стоило выменять свое лицо у повара Далтабан-Паши на подлинное лицо ширван-шаха, броситься через Анатолию в Константинополь и оттуда пробраться в Олиту, где мистрис Ди при первой встрече — бац! бац! — дала ему две пощечины за... «самую жирную»!

Сведения о Халефе и панне Марианне прекращаются в истории с эпохи их бегства из Гюлистана. Сын бородобрея, историограф, провожал их до Ленкорана и упоминает, что они, прожив некоторое время в Астрахани, переселились в Россию, где царь *Буреиш* — вероятно, Борис — пожаловал им значительные поместья. Как лицо Халефа не было укреплено у повара Далтабана-Паши приемом внутреннего лекарства, то через девять месяцев оно добровольно возвратилось к нему в Астрахани. Тогда только и Мустафа-Паша, который действительно исчезает в истории на девять месяцев, получил обратно свое настоящее лицо и, снова сделавшись визирем, мог предпринять крымскую экспедицию (1579). И тогда только восстановился вполне порядок в

лицах шестнадцатого века, перемешанный опасным секретом доктора Ди.

Всякий знает, что после внезапного побега этого незабвенного доктора турки заняли Шемаху, и славного ширванского царства не стало.



Юрий Медведев «...И ГЕНИЙ, ПАРАДОКСОВ ДРУГ»

В России истина почти всегда имеет характер вполне фантастический... Истина лежит перед людьми по сту лет на столе, и ее они не берут, а гоняются за придуманным, именно потому, что ее-то и считают фантастичным и утопическим.

Ф. М. Достоевский

В последние годы будто плотину забвенья вдруг прорвало: вышло один за другим несколько сборников дореволюционной русской фантастики, о коей раньше никто вроде бы и слыхом не слыхивал. Широкий читатель начинает осознавать, что к этой отрасли словесности причастны и Пушкин, и Лермонтов, и Тургенев, и Лесков, и Бунин, и... Десятки, сотни имен — от классических до ныне забытых. И вот уже издательство «Советская Россия» объявило подписку на двадцатитомник «Русская фантастика XI–XX веков». Но даже

это событие затмилось в сознании тех, кто постарше, тремя громоносными известиями. Первое: опубликованы трехсоттысячным тиражом и в один день раскуплены «Сочинения Барона Брамбеуса» Сенковского. Второе: вот-вот появится на прилавках «Черная женщина» Греча, наполненный причудливыми видениями роман, над страницами которого проливали слезы наши прабабки. Третье: «Правдоподобные небылицы, или Странствия по свету в ХХІХ веке» вместе с некоторыми другими фантастическими поделками пресловутого Булгарина входят в состав его увесистого однотомника и тоже вскоре станут добычей воротил «черного рынка».

Чтобы читатели (те, что помоложе) уяснили, почему в сознании тех, кто постарше, реабилитация «пресловутой троицы» Булгарин — Греч — Сенковский сродни метафизическому чуду, попробую обратиться к собственному опыту. Четверть века назад, в бытность мою студентом Литературного института, попал я как-то на поэтический вечер. Помню, больше всего хлопков досталось тогда еще мало известному, а ныне уже утвердив-

шемуся в массовом сознании литератору Н*. Под конец своего выступления он блеснул звонкой, но для меня дикою строфой:

*И грозно летит отовсюду:
«К ответу мерзавцев привлечь!
Будь проклят, Сенковский — уда!
Да сгинут Булгарин и Греч!»*

Громом оваций выразил зал общее воодушевление против «мерзавцев». По окончании вечера, когда Н* сошел со сцены, я осторожно спросил его, в чем именно провинились перед нами, потомками, названные им писатели. К моему удивлению, поэт развернулся ко мне грудью, руку приподнял и, жестикулируя, громко отвечивал, так, чтоб слышали все: «Вам неизвестно, милостивый государь, что вся эта троечка была холуями у дубельтов и бенкендорфов! Что они писали доносы! Что Россия прокляла их еще при жизни!» Я был ошарашен таким натиском и молчал. О Булгарине и Грече знал я тогда позорно мало, кроме тех убийственных характеристик, что давали этим «ретроградам» преподаватели Литинститута, а вот с жизнью Сенковского познакомился как раз незадолго до описыва-

емого вечера, притом сразу по двум книгам. Одна принадлежала перу Вениамина Каверина, а другая — Луиса Педротти, была опубликована на другой стороне земного шара, в Лос-Анджелесе. Об этих-то книгах и пролепетал я что-то такое Н*, который, как тут же выяснилось, оказался человеком запасливым. Выдернув из бокового кармана пестрого пиджака записную книжку, Н* мгновенно нашел нужную страницу и, не снижая тона, изрек: «Ведомо ли вам, что Николай Полевой уличил вашего Сенковского сразу в шести гнусностях? Загибайте пальцы, защитничек. Во-первых, в неумной жажде барыша от продажи своих (и чужих) творений. Во-вторых, в порче русского языка. В-третьих, в писании развращающих и ругательских статей. В-четвертых, в грубом эмпиризме и практицизме. В-пятых, во всезнайстве и гордом самоуверении. И, в-шестых, в дерзости, самохвальстве и порче юного поколения». «Но Сенковского хвалили и Пушкин, и композитор Глинка, одобряли Белинский, Чернышевский», — попытался я возразить поэту, однако книжица была уже захлопнута, а ее владелец холодно

со мною раскланялся.

Случай этот, при всей его курьезности, типичен и для не столь отдаленных времен. Когда в 1975 году кандидат филологических наук В. М. Гуминский попытался вставить в молодогвардейский сборник «Взгляд сквозь столетия» болгаринские «Правдоподобные небылицы», последовал окрик с таких административно-командных высот, откуда дважды об одном и том же не предупреждают... Более того, один преуспевающий фантаст спустя некоторое время обнародовал рассказ, где школьники следующего тысячелетия вызывают из тьмы забвения электронную тень Булгарина и учиняют оной допрос с пристрастием, — удалось-таки «к ответу привлечь».

Однако, как говорится, нет худа без добра: в том же «Взгляде сквозь столетия» В. М. Гуминский сумел напечатать «Ученое путешествие на Медвежий остров». Так спустя почти полтора столетия в России возродилась фантастическая проза обрусевшего поляка Осипа Ивановича Сенковского.

* * *

Потомок древнего шляхетского рода,

Иосиф-Юлиан Сенковский родился в 1800 году в поместье неподалеку от Вильно. Еще в детстве у него выявились необыкновенные способности к изучению языков древности, а затем и восточных. В 1819 году студента Виленского университета послали углублять свои обширные познания на Восток. За два года путешествий по Турции, Сирии, Египту он столь преуспел, что писал изысканные стихи на арабском и турецком, свободно говорил на сирийском, персидском, новогреческом и многих других языках. Русская дипломатическая миссия взяла Сенковского на службу еще в Турции, а по приезде в Петербург (1821) он определен переводчиком в Коллегию иностранных дел. Еще через год он назначается профессором Санкт-Петербургского университета и за двадцать с лишним последующих лет внесет столь основательный вклад в изучение мусульманского Востока, что станет главою и основателем знаменитой школы русской ориенталистики.

Но вот парадокс! — академические лавры не так уж, видно, и прельщали Осипа Ивановича, если уже в 1823 году начинает он вра-

щаться в литературных кругах, публикуя одну за другою «восточные» повести, причем не где-нибудь, а в декабристском альманахе «Полярная звезда». Кто его наставник в начале писательского пути? Другой обрусевший поляк, Фаддей Венедиктович Булгарин. Они познакомились еще в Вильно, но уже тогда о Булгарине ходили легенды: его отца сослали в Сибирь за убийство русского генерала Воронова, что не помешало сыну убийцы поступить в Петербурге в кадетский корпус, а по окончании одного стать лейб-гвардейцем, участвовать в походах 1805–1807 годов и в сражении под Фридландом. Затем возвращение в Россию, какая-то темная история, арест, перевод в драгунский полк, побег в Варшаву, служба (в составе польского легиона) у Наполеона, ознаменованная походами в Италию и Испанию, пребывание в корпусе маршала Удино, действовавшего в 1812 году на территории Литвы и Белоруссии против графа Витгенштейна, отступление во Францию, позорный плен, возвращение в Варшаву. В 1820 г. Булгарин приехал — теперь навсегда — в Петербург, вынашивая планы об издании жур-

нала «Северный архив», о славе профессионального литератора. «Северный архив» начал выходить в 1822 г., а спустя три года Булгарин вместе с Николаем Гречем, обрусевшим немцем, принялся выпускать «Северную пчелу» — самую читаемую газету пушкинских времен. Популярность Булгарина с этой поры росла как на дрожжах, все зачитывались его повестями и романами, в общем, он стал кумиром непритязательной публики, разбогател.

Повлияла ли история фантастического возвышения Булгарина на честолюбивого Сенковского? Безусловно. Иначе трудно объяснить еще один парадокс: в начале 30-х годов он опять круто перекладывает руль собственной судьбы — профессор востоковедения становится еще и редактором «Библиотеки для чтения», «толстого» журнала, задуманного книгоиздателем Смирдиным как «журнал словесности, наук, художеств, промышленности, новостей и мод, составляемых из литературных и ученых трудов...» Успех нового начинания ошеломил всех — и ругателей его, и хвалителей. В новом массовом издании пол-

новластно царил лишь один редактор Сенковский — ироничный, насмешливый, саркастичный, многознающий, проницательный, мгновенно улавливающий перемены в обществе. Он покушается на любые авторитеты, способен дурно отзываться о Бальзаке — а вскоре напечатать бальзаковскую повесть, сокращенную на треть! Рядом с творениями Пушкина, Жуковского, Вяземского помещал писания «корифеев вульгарного романтизма» — так сказать, все на продажу. «Пишите весело, — говаривал он авторам, — давайте только то, что общественный желудок переваривает». Раздраженный Гоголь сравнил Сенковского со старым пьяницей, который «ворвался в кабак и бьет, очертя голову спьяна, сулеи, штофы, чарки и весь благородный препарат», жаловался, что редактор «Библиотеки для чтения» «марает, переделывает, отрезывает концы и пришивает другие к поступающим пьесам». В ответ Сенковский объявил войну Гоголю, на что Николай Васильевич публично заявил о тождестве «Библиотеки...» и ультрамонархической «Северной пчелы». Вон, оказывается, откуда тянется миф о

«презренном триумвирате», хотя Сенковский собратьев-литераторов в неблагонамеренности не упрекал, симпатий к жандармским начальникам не питал, а «Библиотека...» испытывала всегда жестокое давление цензуры.

Любопытно, что на страницах детища Сенковского публиковался как он сам, так и его двойник, литературный призрак — Барон Брамбеус. Еще в 1833 г. собранные под одной обложкой «Фантастические путешествия Барона Брамбеуса» успех имели немалый, а затем неоднократно переиздавались. Чем привлекала читателя «брамбеусиана»? Парадоксальностью. Ниспровержением привычных догм. Иронией вперемежку с самоиронией, пародией — с самопародией. Лучше всего это пояснить на примере «Ученого путешествия на Медвежий остров». Что это за странная фантазия у Барона? Как так? Еще не утихла скорбь по поводу кончины двух всемирно известных ученых, палеонтолога Жоржа Кювье и основателя египтологии Жана-Франсуа Шампольона-младшего, а уж Брамбеус позволяет себе высмеивать покойников!

Общество тех времен увлекалось «месме-

рическими опытами» на основе «животного магнетизма» и столоверчением, носились слухи о комете Галлея (или Беллы, или Вьеллы), коя намерена «сделать удар в нашу бедную землю» и т. д. Отголоски этих слухов и этих увлечений явственны и в «Ученом путешествии на Медвежий остров». Но время, как известно, все ставит на свои места, и нынешний читатель замечает в первую очередь не «закусившую удила насмешку» (так отозвался о Сенковском Герцен), а картины гибнущего человечества. Да, вот какие случаются в литературе «перевертыши». В наш термоядерный век эта повесть предстала как одна из первых в мировой литературе антиутопий. Описание катастрофы, где сама планета сдвинулась в космическом пространстве так, что на месте прежнего Запада стал Север, вызывает в воображении отнюдь не удар кометы «в нашу бедную землю». Сенковский, как беспощадный патологоанатом, не боится приблизить к нам мертвое тело земли: волнующие на поверхности воды странного вида предметы, темные, продолговатые, походившие издали на короткие бревна черного дере-

ва, оказываются трупами воинов противоборствующих армий. Враги еще истребляли друг друга, когда грянула всеобщая катастрофа и умертвила тех и других, умертвила, перемешала, выбросив на скалу жалкий манускрипт — «Высокопарное слово, сочиненное накануне битвы для воспламенения храбрости воинов». Весьма современно и поучительно именно теперь, когда человечество начало осознавать возможность самоуничтожения...

«Ученое путешествие на Медвежий остров», «Большой выход у Сатаны» (здесь автор высмеивает неприязненное отношение николаевской администрации к революционным волнениям 1830 года в Европе), «Записки домового», «Превращение голов в книги и книги в головы» — примеры литературного гротеска. И понятно, почему подобный «грубый эмпиризм» и рационализм так раздражали Николая Полевого. Ведь знаменитый беллетрист, историк, критик, издатель журнала «Московский телеграф» был ярким поборником романтизма. Романтики верили безусловно в ощущения сверхчувственные, в существование некоей духовной субстанции,

владычествующей бытием каждого. Подобная тяга к «таинственным стихиям» сопровождает всю историю нашей цивилизации, начиная с откровений орфиков (последователей учения Орфея), неоплатоников, пифагорейцев, Следующий пик интереса к «невещественным чудесам» пришелся на средневековье, а затем — на пушкинские времена. Фантастические повести Владимира Одоевского, Александра Вельтмана, Александра Бестужева-Марлинского явили целую галерею тем, образов, сюжетов, где так или иначе исследуется взаимосвязь двух миров — тустороннего (иррационального, стихийно-чувственного, метафизического) и сущего (материального, вещественного). Читатель вынужден постоянно выбирать между рациональным и сверхъестественным. Но интересно, что конфликта в его сознании не возникает, ибо **двомирие** обычно присутствует на равных правах.

А как относится к этим крупным чувственным построениям Брамбеус? Ему что Пифагор, что китайский мандарин, что классицизм вкупе с романтизмом, что собственное

детище ориенталистика, — над всем он потешается, все высмеивает беспощадно, всех мистифицирует, даже самого себя помещая в ад!

Но заметим: «Записки домового» породили целое направление в нашей прозе — исследование парадоксов общества глазами умершего. Достаточно вспомнить «Между жизнью и смертью» Апухтина, «Сон смешного человека» Достоевского, «Смерть Ивана Ильича» Толстого.

Но заметим: возмущившая хулителей Сенковского фраза «...я без сомнения буду колесован или удушен в темнице, без огласки, на небольшой, но весьма уютной машине» сразу же вызывает в памяти у каждого из нас и «Процесс» Кафки, и «Приглашение на казнь» Набокова.

Но заметим: Михаил Булгаков не уставал восхищаться портретами четырех разных чертей в «Большом выходе у Сатаны» и не скрывал, что кое-что в «Мастере и Маргарите» навеяно образами «брамбеусианы».

Хотели того современники или нет, но, играючи, как бы мимоходом, с улыбочкой, ухмылочкой, Сенковский составил реестр всех

пороков общества — здесь и лихоимство, и казнокрадство, и низкопоклонство перед Европой, и чиновная сытость и тупоумие. Составил в формах причудливых, ирреальных, но ведь и впрямь «в России истина почти всегда имеет характер фантастический».

В последние годы жизни Сенковскому предстояло испытать еще один парадокс: сама фантастика ворвется в его бытие. Он будет биться над созданием «оркестриона» — огромного, вровень с двухэтажным домом музыкального колосса, долженствующего заменить целый оркестр. И потерпит незадачу, и разорится, и снова начнет поправлять дела, блеснув в «Сыне Отечества» фельетонами «Листки Барона Брамбеуса», пока в марте 1858 г. нежданная смерть не прервет стремительный бег его пера. Пера основателя русской **парадоксальной фантастики**.

Современникам казалось, что он воюет с ветряными мельницами. Никто, кроме него, не подозревал, что внутри этих мельниц беспощадно действует хитроумная система «из зубчатых колес, поршней и вертящихся камней», — система, олицетворяющая земное

зло.

Одинокий стрелок победил в этой борьбе.

Но о его победе мы узнаём полтора столетия спустя.

Юрий МЕДВЕДЕВ

ПРИМЕЧАНИЯ

Произведения настоящего сборника даются в хронологической последовательности. В конце каждого произведения приводится в скобках дата его создания или, если таковая неизвестна, первопубликации (авторская датировка дается без скобок).

УЧЕНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА МЕДВЕЖИЙ ОСТРОВ

Текст печатается по изданию: Взгляд сквозь столетия. Русская фантастика XVIII и первой половины XIX века. М.: 1977. С. 130–214.

СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ НА ГОРУ ЭТНУ

Текст печатается по изданию: *Сенковский О. И.* Сочинения Барона Брамбеуса. М.: 1989. С. 139–186.

БОЛЬШОЙ ВЫХОД У САТАНЫ

Текст печатается по изданию: *Сенковский О. И.* Собр. соч. СПб.: 1858. Т. I. С. 384–428.

ПОХОЖДЕНИЯ ОДНОЙ РЕВИЖСКОЙ ДУШИ

Текст печатается по изданию: Сочинения Барона Брамбеуса... С. 334–378.

ЗАПИСКИ ДОМОВОГО

Текст печатается по изданию: Сочинения Барона Брамбеуса... С. 440–475.

ПРЕВРАЩЕНИЯ ГОЛОВ В КНИГИ И КНИГ В ГОЛОВЫ

Текст печатается по изданию: *Сенковский О. И.* Собр. соч. СПб.: 1858. Т. 3. С. 269–316.

ПАДЕНИЕ ШИРВАНСКОГО ЦАР- СТВА

Текст печатается по изданию: *Сенковский О. И.* Собр. соч. СПб.: 1858. Т. 3. С. 317–503.

В послесловии и примечаниях использованы наблюдения и факты, которые содержатся в трудах ученых: В. В. Виноградова, В. М. Гуминского, А. А. Карпова, А. И. Клибанова, В. А. Кошелева, Е. А. Маймина, А. Е. Новикова, В. И. Сахарова, И. Н. Фоминой, К. В. Чистова и других.

1 р. 90 к.



Примечания

Pallas, Reise, t. II, p. 108.

[^^^]

Reineggs, Reise, p. 218.

[^^^]

Origines Russes, extraits de divers manuscrits orientaux, par Hammer, p. 56.— *Memoriae populorum*, pag. 317.

[^^^]

Klaproth, Abhandlungen über die Sprache und Schrift der Uiguren, p. 72. См. также Описание Джунгарии и Монголии, о. Иакинфа.^{123}

[^^^]

Ученый (нем.).

[^^^]

6

Предваряю однажды навсегда, что объяснения имен собственных, заключенные в скобках, прибавлены к моему переводу диктором Шпурцманном: они, без сомнения, весьма основательны, но я не диктовал их ему.

[^^^]

Прибавление Шпурцманна.

[^^^]

8

Тоже пояснение Шпурцманна.

[^^^]

Пояснение доктора Шпурцманна.

[^^^]

Аноплотериум, *anoplotherium gracile*, род предпотопной газели, из которого жаркое, с испанским соусом и солеными сибирскими бананами, по мнению ученого Шлотгейма, должно было быть очень вкусно. — *Примечание доктора Шпурицманна.*

[^^^]

Объяснение, данное сочинителю этой надписи касательно причины пожара в воздухе, весьма основательно. Изо всего явствует, что предпотопный воздух был составлен из газов, неизвестных в нынешнем воздухе, и что в нем не было кислотвора;^{124} или если и был кислотвор, то в другой пропорции. Я теперь знаю, из чего он был составлен, и издам о том диссертацию. Кстати, написать из Якутска в Геттингенский университет об ученых заслугах гофрата^{125} Шимшика, знаменитого предпотопного химика и астронома, и предложить, чтоб его бюст был поставлен в университетской библиотеке. — *Приписка на поле рукою доктора Шпурицманна.*

[^^^]

Пояснение доктора Шпурцманна.

[^^^]

Строки, наполненные точками, означают те места надписи, которые время совсем почти изгладило и где никак нельзя было разобрать иероглиф. — *Примечание доктора Шпурицманна.*

[^^^]

Точно так! (*нем.*)

[^^^]

Зри «Умозр. физику», стр. 649, 651 и многие другие.

[^^^]

Черт побери... (*англ.*).

[^^^]

Хорошо! (*лат.*).

[^^^]

Хорошо! (нем.).

[^^^]

Очень хорошо (*польск.*).

[^^^]

Напоследок (*лат.*).

[^^^]

«Немецкая трибуна» (нем.).

[^^^]

«Мой любимый Августин...» (нем.).

[^^^]

Я вас (*лат.*).

[^^^]

Здесь: задом (*лат.*).

[^^^]

Официальные титулы Шеккямуни. Надобно помнить, что это говорит лама о божестве, которому он поклоняется.

[^^^]

Читатели, верно, мне заметят, что слог и даже понятия этой части переводимой мною шастры вовсе несходны со вступлением в нее, где описаны жизнь ламы Мегедетая и свидание его с Шеккямунием. Но в этом нет ничего удивительного. То писал калмык в бодром состоянии, а это пишет калмык спящий. Разница большая! Прошу не сомневаться, что это буквальный перевод с монгольского.

[^^^]

Странная эта сказка находится в XIII книге Веды и в Пуранах. Нараянпала жил около I или II века нашей эры.

[^^^]

Черепановый (фр.).

[^^^]

Конфуция.

[^^^]

Возможно, может быть (*англ.*).

[^^^]

Это должна быть метафора. У мертвеца, кажется, не было уст.

[^^^]

Здесь: предпринять несколько решительных государственных действий (*фр.*).

[^^^]

Здесь: для осуществления решительных государственных действий (*фр.*).

[^^^]

Главное содержание этой повести и некоторые отдельные места заимствованы из сочинения Мориера: *The Mirza*. (Изд.)

[^^^]

Хункяр — кровопроливец, головорез — есть официальный титул оттоманских султанов и притом самый важный из титулов: им означает исключительное право султана казнить смертью, или, по-восточному, «резать головы».

[^^^]

См. «Тарихи Ширван»,^{126} то есть «Летопись Ширвана», рукопись Азиатского Музеума, № 928, стр. 183. — «Надаир эль вакай», то есть «Редкости исторические, относящиеся к падению славного ширванского царства», рукопись № 933, стр. 94. — «Memoirs of doctor John Dee, edited from original papers», etc., London, 1838, p. 246. — Lives of necromances, etc. London, 1836, p. 201, и прочая.

[^^^]

Memoirs of doctor John Dee, etc., p. 304, 599.

[^^^]

См. «*Надаир эль вакаи*», или «Редкости исторические, относящиеся к падению славного Ширванского царства», с. 201.

[^^^]

Надаир эль вакаи, «Редкости исторические, относящиеся к падению славного царства ширзанского», стр. 298.

[^^^]

Комментарии

Эпиграфы — придумал сам Сенковский.

[^^^]

Потопы... в одном Париже было их четыре !.. — Это установил геолог и палеонтолог Александр Броньяр (1770–1847), изучавший совместно с Ж. Кювье третичные отложения Парижского бассейна.

[^^^]

3

Обербергпробирмейстер — горный мастер (нем.).

[^^^]

Гулянов Иван Александрович (1789–1841) — русский египтолог.

[^^^]

Египетский мост — был воздвигнут через Фонтанку; его чугунные ворота испещряли металлические иероглифы. Мост украшал Петербург 80 лет, пока в 1905 году не обрушился под тяжестью отряда кавалерии.

[^^^]

Берд К. И. — владелец чугунолитейного завода в Петербурге.

[^^^]

Паллас Петр-Симон (1741–1811) — немецкий естествоиспытатель. Был приглашен в Россию, где по поручению Петербургской академии наук совершил несколько путешествий от Урала до Китая, а также на Кавказ.

Гмелин Иоганн Георг (1709–1755) — немецкий ботаник. Вместе с Витусом Берингом побывал на севере России. Автор трудов «Путешествие по Сибири» и «Флора Сибири».

[^^^]

Клапрот Генрих Юлий (1783–1835) — немецкий востоковед, автор книг по истории и этнографии Азии и Кавказа. В 1823 г. выпустил книгу о Сибири с копиями надписей на скалах.

[^^^]

Плано Карпини (1182–1252) — итальянский путешественник, побывавший у монгольского императора. Сочинения Карпини изобилуют вымыслами, однако упоминаний о пещере с надписями на языке, «которым говорили в раю», в них нет. Это выдумка Сенковского.

[^^^]

...могущественной *Барабии*... — фантастическая страна, чье название выдуманно Сенковским по имени Барабинской степи.

[^^^]

Клок — здесь: женский плащ.

[^^^]

Шейхцер Иоганн Якоб (1672–1733) — немецкий естествоиспытатель, веривший в гибель древних организмов от «всемирного потопа». В 1700 г. оскандалился тем, что принял скелет ископаемой саламандры за скелет человека.

Гом Эверард (1756–1832) — английский анатом.

Букланд Вильям (1784–1856) — английский геолог и палеонтолог.

Броньяр Александр (1770–1847) — французский геолог.

Гумбольдт Александр (1769–1859) — немецкий натуралист и путешественник.

[^^^]

...столчены в иготи... — т. е. в ручной ступке.

[^^^]

Вертеп — здесь: пещера.

[^^^]

Персть — земля, прах.

[^^^]

Проякляя — пронизанная.

[^^^]

Десть — мера бумаги: 24 листа.

[^^^]

Толмачев Яков Васильевич — автор учебника «Правила словесности» (СПб.: 1822).

[^^^]

Гайленд и *Гиль* — имена выдуманные.

[^^^]

«*Чем тебя я огорчила?..*» — начало известной песни на слова А. П. Сумарокова.

[^^^]

Катана — город в Сицилии, близ Этны.

[^^^]

...потомки Брута и Катона... — Брут Децим Юний (84–43 до н. э.) и Катон Марк Порций (95–46 до н. э.) — герои Древнего Рима, прославившиеся своей неподкупностью.

[^^^]

Скориш — куски застывшей лавы.

[^^^]

Гроденапль — шелковая ткань.

[^^^]

...к пособию «Умозрительной физики» г. академика В***... — Имеется в виду неоднократно высмеянная Сенковским «Опытная, наблюдательная и умозрительная физика» философа Велланского Данилы Михайловича (1774–1847).

[^^^]

...танцуем по Кеплеру и Ньютону... — т. е. по привычным законам тяготения небесных тел. Законы эти открыты Иоганном Кеплером (1571–1630) и Исааком Ньютоном (1643–1727).

[^^^]

Котильон — старинный танец.

[^^^]

Не были ли вы там знакомы с Пифагором или с Эмпедоклом? — Пифагор (ок. 580–500 до н. э.), древнегреческий философ, жил на Сицилии, в Сиракузах, где и похоронен; Эмпедокл (ок. 490–430 до н. э.), тоже философ, по преданию, бросился в кратер Этны, дабы встретиться с богами подземного мира.

[^^^]

...стоит только провалиться в Этну, чтоб понимать язык Канта, Фихте, Шеллинга... —
Здесь автор высмеивает тяжелый академический язык представителей немецкой классической философии.

[^^^]

...сочинения знаменитого певца взяточников Ф. В. Булгарина... — В своих многочисленных сочинениях Булгарин (1789–1859) зачастую выводил фигуры взяточников, казнокрадов, лихоимцев, сурово их осуждая.

[^^^]

...не женируйтесь... — не стесняйтесь.

[^^^]

Сбир — полицейский стражник в Италии.

[^^^]

...но «Отечественным запискам» ни в чем... верить невозможно. — Ежемесячный журнал под таким названием выходил в Петербурге с 1818 по 1839 г. Его издатель П. П. Савиньин хотя и обладал разнообразными дарованиями (писатель, географ, историк), однако слыл человеком ненадежным.

[^^^]

Бузенбаум Герман (1600–1663) — немецкий богослов, автор иезуитского трактата (переизданного свыше 50 раз), где разрешалось царевубийство. После покушения на Людовика XV трактат предали проклятию и публично сожгли.

[^^^]

Лукулл Луций Луциний (117—56 до н. э.) — римский полководец, славившийся богатством и пирами («Лукуллов пир»).

[^^^]

Обергофмейстер — придворный чин (соответствовал чину действительного тайного советника).

[^^^]

...два большие портерные котла... — т. е. котлы для варки пива (портера).

[^^^]

...Иппократ... — Гиппократ (460–356 до н. э.). — Врач, один из основателей медицины.

[^^^]

Харон — в древнегреческой мифологии перевозчик душ умерших через Лету — реку забвения в подземном мире.

[^^^]

...ец... оман... торич..., сочин... н... 830. — Намек на книгу «Дмитрий Самозванец, роман исторический, сочинение Ф. Булгарина, 1830».

[^^^]

Вельзевул — в древнееврейской мифологии дьявол, «повелитель скверн»; по христианским представлениям — «князь бесов».

[^^^]

Он взял *Гернани*, *Исповедь*, *Петра Выжигина*, *Рославлева*, *Шемякин Суд*... — «Гернани» — драма В. Гюго «Эрнани»; «Исповедь» — произведение Ж.-Ж. Руссо; «Петр Иванович Выжигин» — роман Ф. В. Булгарина; «Рославлев, или Русские в 1812 году» — роман М. Н. Загоскина; «Шемякин суд» — лубочное издание произведения древнерусской литературы.

[^^^]

Юнта (хунта) — название комитетов, сообществ в Испании.

[^^^]

Архитрава (архитрав) — основа верхней части здания.

[^^^]

...шепнул ***ову, известному любителю Канта, Окена, Шеллинга, магнетизму и пеннику
... — ***ов — подразумевается русский философ-шеллингианец М. Г. Павлов. Окен Лоренц (1779–1851) — немецкий натурфилософ. Пенник — хлебная водка.

[^^^]

...как ***ой о древней российской истории. —
Намек на сочинение Н. А. Полевого «История
русского народа», написанного в противовес
«Истории государства Российского» Н. М. Ка-
рамзина.

[^^^]

Белландисты — монахи, которые разрабатывали свод житийной литературы о святых католической церкви (1643–1749). Основания этому труду положили бельгийские иезуиты Г. Росвейд и И. Белланд. В XIX веке издание возобновилось и ныне насчитывает свыше 70 томов.

[^^^]

Петр Пустынник — организатор первого крестового похода монах Петр Амьенский (1050–1115).

[^^^]

...прикинуться несколько раз сряду Димитрием... — подразумевается Димитрий Самозванец — одна из ключевых фигур так называемого Смутного времени.

[^^^]

...в стычке, последовавшей близ Кракова... —
намек на события революции 1830 года в
Польше.

[^^^]

...года два тому назад я произвел прекрасную суматоху в Париже. — Имеется в виду Июльская революция 1830 года во Франции.

[^^^]

...три четверти и два четверика... — Четверть — мера сыпучих тел, соответствующая по весу примерно 1 пуду, в четверти восемь четвериков.

[^^^]

Блонды — шелковые кружева.

[^^^]

...речей, произнесенных в Гамбахе... — 27 мая 1832 года близ замка Гамбах в Баварии состоялось многотысячное празднество под лозунгом объединения Германии и выработки конституции.

[^^^]

...какой-то капуцин гнался за мною... — Нищенствующий орден монахов-капуцинов был основан в XVI столетии в Италии.

[^^^]

Теперь прошел билль о реформе... — В 1832 году в Англии был принят законопроект, изменивший избирательную систему в пользу средних классов.

[^^^]

Вергилий Публий Марон (70–19 до н. э.) — римский поэт, автор эпической поэмы «Энеида».

[^^^]

...после изобретения Фраунгоферова телескопа... — Фраунгофер Йозеф (1787–1826) — немецкий физик, усовершенствовавший оптическую систему в телескопе.

[^^^]

Лафайет Мари Жозеф (1757–1834) — французский политический деятель, во время Июльской революции 1830 года командовал Национальной гвардией.

Наполеон II (Жозеф Франсуа Шарль Бонапарт, 1811–1832) — сын Наполеона I, не сумевший получить престола.

[^^^]

...напевал... арию из «Фрейшюца» — опера немецкого композитора Карла Вебера (1786–1826) «Вольный стрелок».

[^^^]

...*a la Titus*... — т. е. наподобие римского императора Тита (41–81).

[^^^]

...Антони... — намек на пьесу «Антони» (1831)
Дюма-отца.

[^^^]

Жанен Жюль Габриэль (1804–1874) — французский писатель, представитель «неистового романтизма». В своих романах описывал ужасы трущоб, ночлежных домов, тюрем и т. д.

[^^^]

Магомед II Буюк (Великий) — турецкий султан; в 1453 году его армия завоевала Константинополь.

[^^^]

Шекьямуни (Шакьямуни) — один из основателей буддизма, живший в I тысячелетии до н. э.

[^^^]

Шмидт Яков Иванович (1779–1847) — востоковед, путешественник, автор «Истории восточных монголов», переводчик Нового Завета на калмыцкий язык и всей Библии — на монгольский.

[^^^]

Маньджуши — мудрец, мифическая фигура древнебуддистского эпоса «Маньджушриму-лакальпа».

[^^^]

Тегри (тенгри) — в буддийской мифологии божество, повелевающее судьбами людей и народов.

[^^^]

Бурхан — в буддизме изображение бога, будды.

[^^^]

Хормузда — в буддизме один из верховных богов, обитающий на вершине мировой горы Сумеру (Эльбурдж).

[^^^]

Брама — в индийской мифологии бог — создатель мира.

[^^^]

Риши — в индийской мифологии мудрец.

[^^^]

Кун-дзы (Конфуций, ок. 551–479 до н. э.) — великий китайский мыслитель, основатель религиозного учения.

[^^^]

Ава — государство в Центральной Бирме в XIV–XVI вв.

[^^^]

Ногай-хан — властитель Золотой Орды, воевавший в XIII в. с Русью, Византией и народами Балканского полуострова.

[^^^]

На самом деле происхождение слова «копейка» связано с тем, что на монете изображался всадник с копьем.

[^^^]

Семик — народный языческий праздник в четверг Русальной недели (седьмой недели после Пасхи).

[^^^]

...спирт в фаренгейтовых трубках... — Речь идет о термометрах, изобретенных немецким физиком Д. Г. Фаренгейтом (1686–1736).

[^^^]

Гран — единица аптекарского веса (0,062 г).

[^^^]

Силери — разновидность шампанских вин.

[^^^]

Яков II — герцог Йоркский (1633–1701), английский король в 1685–1688 гг., ревностный католик, сторонник абсолютной монархии.

[^^^]

Уснуть или умереть — это все равно. — Имеется в виду знаменитое размышление Гамлета из одноименной трагедии Шекспира.

[^^^]

...как Мольеров дворянин из мещан... — Журден, герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» (1670).

[^^^]

Аддисон Джозеф (1672–1719) — английский писатель-сатирик, журналист, политический деятель.

[^^^]

...в сюрсах... — в козырях.

[^^^]

...называл «эфесскою матроною»... — Матрона — в Древнем Риме жена с хорошей репутацией.

[^^^]

Пусть люди бы житья друг другу не давали
... — Цитата из басни И. И. Хемницера
(1745–1784) «Домовой». Басня эта — вольный
перевод басни немецкого писателя Х. Ф. Гел-
лерта (1715–1769).

[^^^]

...из магазина и библиотеки Смирдина. — Речь идет о салоне издателя, книгопродавца и библиографа Александра Филипповича Смирдина (1795–1857). Салон, который посещали лучшие русские литераторы, располагался во флигеле церкви Святого Петра (ныне это дом № 22 по Невскому проспекту). Сенковский был одним из сподвижников Смирдина.

[^^^]

Синьор Маладетти Морто, первый волшебник и механик... короля Кипрского и Иерусалимского... — Это литературная мистификация, основанная на том, что в переводе с итальянского имя волшебника означает «проклятый мертвец». Королевства Кипрское и Иерусалимское к описываемым временам давно уже не существовали.

[^^^]

Кенкеты — масляные лампы.

[^^^]

Месмер Франц Антон (1733–1815) — австрийский врач, объявивший «магнетизм», или «животный магнетизм», некоей психической субстанцией, характеризующей все живые существа и способной к взаимопроникновению. Долгое время последователи Месмера пытались использовать «животный магнетизм» для лечения душевных недугов.

Калиостро Алессандро (1743–1795) — авантюрист Джузеппе Бальзамо, который выдавал себя за чародея, алхимика, пророка земных судеб, Вечного Жида, изобретателя эликсира неувядающей красоты. Был кумиром французского двора, некоторое время жил в Петербурге под именем графа Феникса, сумев войти в доверие к всесильному Потемкину. Был осужден в Риме как масон к пожизненному заключению.

Пинетти — итальянский фокусник, приезжавший в Петербург.

Голконда — государство в Индии в XVI–XVII веках, которое славилось добычей алмазов.

[^^^]

Бентам Иеремия (1748–1832) — английский юрист, философ, публицист, основатель теории утилитаризма, согласно которой мерилом всех человеческих ценностей и побуждений является польза. В трехтомном проекте «Паноптикона» (1791) тщательно разработал систему тюремных учреждений, построенных на началах обязательной артельной работы. Своими идеями пытался заинтересовать императора Александра I, вступив с ним в переписку, но успеха не добился.

[^^^]

Тенериф — один из Канарских островов в Атлантике.

[^^^]

Великий Альберт — граф фон Больштедт (1193–1280), средневековый энциклопедист, за свои необыкновенные познания в философии, физике, ботанике заподозренный в колдовстве. Сочинения его насчитывают десятки томов.

[^^^]

«Искусство брать взятки, нравоучительная повесть» — книга Э. П. Перцова (1830).

[^^^]

«Черная женщина» (1834) — популярный роман Н. И. Греча (1787–1867), приятеля Сенковского. Этому сочинению последний посвятил работу «Черная женщина и животный магнетизм».

[^^^]

...этих... шиитов... — приверженцев шиизма, одного из двух (наряду с суннизмом) основных направлений в исламе.

[^^^]

*...отвергают Несомненную Книгу... — т. е. Ко-
ран.*

[^^^]

...к границе Чермной Руси... — речь идет о Червонной, или Галицкой Руси, древнем Галицко-русском княжестве.

[^^^]

...хан, сидя в киоске... — в беседке.

[^^^]

Семирамида — царица Ассирии, правившая в конце IX в. до н. э. По преданию, при ней возведены были «висячие сады» — одно из «семи чудес света».

[^^^]

Mr John Dee!.. — Мистер Джон Ди! Боже! Вы здесь? Ну как Вы, мистер Джон?.. Я очень рада видеть Вас снова; но как Вы здесь оказались?

[^^^]

— *I speak English...* — Я говорю с Вами по-английски, сэръ! разве это не Ваш родной язык... Разве Вы не англичанин, не сын доброй старой Англии, как любите Вы говорить?

[^^^]

...но и Тихон Браге занимался тем же! — Браге Тихо (1546–1601), датский астроном, астролог, один из тех алхимиков, кто пытался получить золото с помощью так называемого «философского камня».

[^^^]

...в эпоху... Лже-Димитрия... — Имеется в виду Лжедмитрий I (?—1606), перешедший русскую границу в 1604 г. с польско-литовскими отрядами.

[^^^]

Кеплер (1571–1630) — один из творцов астрономии, открывший законы движения небесных светил. Будучи учеником Тихо Браге, занимался также астрологией.

[^^^]

...как Мухаммед на возвратном пути из седьмого неба в Медину... — Имеется, в виду одно из видений или сон пророка Магомета, описанный в Коране.

[^^^]

В трех пяденях от глаз... — Пядень — расстояние между большим и указательным пальцем, около 18 см.

[^^^]

От бегства пророка из Мекки в Медину и начала гиджры... — Летосчисление у мусульман ведется от дня бегства («хиджры», «геджры», «гиджры») пророка Магомета из Мекки в Медину (дословно: «город пророка»), случившееся 16 июля 622 г.

[^^^]

Magna Charta — Великая хартия вольностей — грамота, подписанная в 1215 г. английским королем Иоанном Безземельным, в которой предоставлялись некоторые привилегии рыцарям, городам, свободным крестьянам.

[^^^]

...по бюсту Каракаллы, Платона, Агриппины или Александра Великого. — Каракалла (186–217) — римский император; Платон (428–348 до н. э.) — древнегреческий философ; Агриппина — видимо, имеются в виду либо мать римского императора Калигулы, либо ее дочь Юлия-Агриппина, убитая по приказанию ее сына, римского императора Нерона; Александр Великий (356–323 до н. э.) — царь Македонии, величайший полководец древности.

[^^^]

Чухонцы — прежнее название эстонцев, а также карело-финского населения в окрестностях Петербурга.

[^^^]

...Аю-Даг поколебался в основании. — Гора на побережье Крыма, близ Гурзуфа.

[^^^]

Стамбульский Диван — совет при владыке Османской империи.

[^^^]

...занимался... некроманцией... — Некромантия — одно из 12 гадательных таинств древности; вызывание духа умершего над его трупом.

[^^^]

...отпустить из ефимочной казны... — Ефимок — русское название талера, монеты, имевшей хождение до середины XVIII в.

[^^^]

...Самсон, силач... — имеется в виду библейский персонаж богатырь Самсон.

[^^^]

Елисаветполь — Елизаветполь (в древности Ганжа, Гендже, Ганджах), центр Елизаветпольской губернии в 1804–1918 гг.

[^^^]

...и Великий Монгол в Дегли. — Великие моголы — титул, присвоенный европейцами тюркской династии, правившей в так называемой Могольской империи в 1526–1858 гг. на территории Индии. Столицей империи был город Дели.

[^^^]

...с твердостью, достойной Кая Муция. — Гай Муций Сцевола, легендарный древнеримский герой, схваченный врагами и добровольно опустивший руку в огонь, чтобы показать презрение к смерти.

[^^^]

...кланяйтесь... Каабе и гробнице пророка! —
Кааба — мусульманский храм в Мекке; гробница пророка Магомета (Мухаммеда) находится в Медине.

[^^^]

О. Иоакимф — Бичурин Никита Яковлевич
(1777–1853) — русский китаевед.

[^^^]

Кислотвор — кислород.

[^^^]

Гофрат — коллега (нем.).

[^^^]

См. «Тарихи Ширван»... — Все источники, упоминаемые в сноске, выдуманы Сенковским.

[^^^]